

И О В Ъ И У
М У Р

И О В Ъ И У
М И Р

119(6)4

9



119(6)4

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 9

Сентябрь, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЕРА ПАНОВА — <i>Рабочий поселок</i> . Киносценарий	3
С. МАРШАК — <i>Из стихов последних лет</i> (с предисловием А. Гвардовского)	44
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ — <i>Рассказы</i>	49
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — <i>Небо</i> , стихотворение	76
НАДЕЖДА ПОВЕДЕНОК — <i>Соперницы</i> . рассказ	77
ЛЕВ КРОПП — <i>Пружина времени</i> , стихотворение	84
О. МОРОЗОВА — <i>Одна судьба</i>	86
ЛУИС АРДИ — <i>О мой край, Испания!</i> Стихотворение. Перевела с испанского Н. Горская	151
<i>К 70-летию со дня рождения Сакена Сейфуллина</i>	
К. ДЖУМАЛИЕВ — <i>Наш Сакен</i>	154
САКЕН СЕЙФУЛЛИН — <i>Ашай</i> (Из книги «Трудный путь»)	159
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. ОСИПОВ — <i>Брат Апшерона</i>	163
ПУБЛИЦИСТИКА	
Е. ГНЕДИН. <i>Модель и действительность</i>	172
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМА ДЕЯТЕЛЕЙ I ИНТЕРНАЦИОНАЛА	188
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. МАРШАК — <i>О Шекспире</i>	199
Академик Н. КОНРАД — <i>Шекспир и его эпоха</i>	203
М. ТУРОВСКАЯ — <i>Гамлет и мы</i>	216
Ю. КАРЯКИН — <i>Эпизод из современной борьбы идей</i>	231

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	240
Ст. Рассадин. О людях, которые работают.— Л. Лебедева. Выбирать могут все.— В. Непомнящий. Могушество любви.— М. Ландор. Рассказы о современной Америке.— Л. Швецова. Обобщение или упрощение?	
<i>Политика и наука</i>	257
Л. Сухаревский. Ленинская забота о здоровье трудящихся.— В. Гоффеншефер. Жизнь, не ставшая прошлым.— Мих. Лифшиц. Книга, которую следует переиздать.— Марк Поповский. Хорошая память современников.— В. Сиденко. В джунглях апартеида.— Р. Ланда. Голос свободного Алжира.	
КОРОТКО О КНИГАХ	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	283
ОТ РЕДАКЦИИ	286
Василий Семенович Гроссман	288

ВЕРА ПАНОВА

★

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

Киносценарий

Поселок этот стоит у реки.

Река течет широко, медленно и серебряно. Скобкой через нее переброшен мост.

До войны в поселке было много старых деревянных домов: таких почернелых, одноэтажных и двухэтажных, с цветами на окнах. Но и новых, в пять этажей, уже стояла целая улица. Некрасивые были эти дома первых пятилеток, вот уж излишеств ни малейших: все как один голые, пятнисто-серые, с ржавыми прутьями балконов. Но селились в них охотно, потому что там был водопровод, паровое отопление и другие культурные условия.

Поселок лепился вокруг большого завода. Не будь завода, не было бы и поселка. Старинный завод, трубы толстые и тонкие, царство закоптелого стекла, закоптелого кирпича и дымов, поднимающихся в небо.

Кругом темнели леса. За лесами лежали деревни. Многие рабочие жили в деревнях, иные даже в дальних, и на работу приезжали поездом.

И с того берега каждое утро приходил поезд. С грохотом шел он по мосту. Люди высаживались из вагонов и спешили к проходной.

Среди тысяч рабочих были на заводе трое молодых мужчин, трое приятелей: Леонид Плещеев, Алексей Прохоров и Григорий Шалагин.

Плещеев самый старший из них, у него уже сын был шестилетний.

Прохоров женился недавно, детей еще не было.

Шалагин жил у матери-колхозницы в деревне Подборовье, километрах в восьмидесяти, пил молоко по утрам и вечерам и был холостой и вольный.

Может быть, их сближала работа. Может быть — то, что все трое относились к жизни основательно, без озорства, и на этой почве друг друга уважали. В общем, их часто видели вместе, хотя Плещеев много времени уделял семье, Прохоров переживал медовые месяцы с молодой женой, а вольный Шалагин любил позубоскалить и погулять с девушками, которые очень и очень к нему хорошо относились.

Однажды летним утром они подходили к проходной и вдруг услышали дальний гул, слабый и прерывистый. Он шел сверху. Но не был похож на рокот наших самолетов. Что такое? — подумали люди и приостановились, подняв головы...

Так для них началась война.

Дальний голос ее приближался, грубел, свирепел... То был первый налет, и после него не стало одного деревянного дома — в нем, слава богу, никого не было, все выбежали глядеть на самолеты, — и не стало

моста: вся его середина обрушилась, казалось — два гиганта стоят на коленях друг против друга на берегах реки, бессильно опустив руки в воду.

К заводу немцы не пробились, но фронт пролег совсем близко, и поселок сполна испытал чашу горькой беды.

Сначала трубы завода еще дымили. Все меньше, но дымили. Потом работать никакой не стало возможности.

Сначала старались женщины (мужчины, за которыми женщины могут укрыться, ушли воевать), — старались женщины, кто не так слабонервный, удержаться в своих жилищах. Как ни страшно, цеплялись за свое место. Тяжко с детьми, с немощными стариками, с трудно нажитым, для жизни необходимым добром ринуться в бездомность, безвестность. Не цыганки же, не бродяжки — жительницы.

Но все-таки постепенно пустел поселок. А когда грянули решающие бои — самые отчаянные не выдержали, ушли в лес, унося что можно.

Скоро у меня это рассказалось, а дело длилось не дни, не месяцы — длинные годы. Чего не было, сколько народу полегло в битвах, блокадах, оккупациях, пока они тут сидели в поселке, сотрясаемые разрывами, и берегли капелку тепла в своем очаге...

Ушли-таки, забубенные головы, в лес. И хорошо сделали. Когда стих наконец-то ад и настал день возвращения, и потянулись жители из лесу со своими узлами и мешками (а кто и с корытом; кто с кроватью, разобранной и сложенной, — были и такие предусмотрительные; кто козу ведет, кто коровку), — в день возвращения жители не увидели своего поселка: только груды праха да печные трубы среди праха. Больших домов не осталось. Редко где уцелела одна, другая старая деревянная изба. Сбивались в каждой избе десятки душ. Остальные — а что делать? — землянки стали копать, ставить хибарки.

Помаленьку объявлялись и те, кто эвакуировался в тыл. И тем же занялись: копают, сбивают себе жилье на скорую руку. Временное жилье, а все же кровлю нужно. Печку нужно. Дверь нужно.

Старались, не ленились, и это не жизнь была, а только подготовка к ней, настоящая жизнь все маячила впереди, и они к ней рвались, и сколько на это рвение сил уходило — поди сосчитай...

Полина Прохорова долго рылась в развалинах, устала, присела отдохнуть над кучкой скарба, в поте лица ею собранного. Кучка была увенчана паровым утюгом. Деревянная его рукоятка превратилась в уголь, но сам утюг уцелел.

Когда-то семья Прохоровых жила на этом месте. Здесь стоял пятиэтажный дом. Здесь было Полинино счастье. Сейчас тенями бродили по пепелищу женщины и дети, что-то выбирали из-под камней и пепла — остатки порушенной, поруганной своей жизни.

Небольшим казалось пепелище, не верилось даже, что столько тут жило народу, столько было квартир, и окон, и абажуров в окнах.

К Полине подседа Тоня, фельдшерница. Когда-то, в школе, они были подружками, потом разошлись дороги. Полина вышла замуж, Тоня нет. Полина всю войну оставалась с родителями мужа, Тоня уехала, работала в прифронтовых госпиталях, вернулась недавно. Полина была красивая, видная, Тоня — худенькая, бесцветная, незаметная.

— Полина, — сказала Тоня, — я хотела тебе сказать. Старики обижаются очень.

Полина смотрела прямо перед собой.

— Не лезли бы старики, — сказала она.

— Поля... Ты память Алеши беречь должна.

— А твое какое дело, ты тут при чем? — спросила Полина.

— Вчера опять, говорят, до света гуляла...

Полина повернулась к Тоне.

— А что мне, под землей с ними сидеть? Стариковским ихним духом дышать? Я под землей — как в гробу! И что я вам далась, сами-то святые! Думаешь — поверю, что ты в армии ни с кем дела не имела? Целую роту небось перебрала.

— Ну вот клянись тебе!.. — в ужасе сказала Тоня, прижимая руки к груди.

— А не клянись, — оборвала Полина и встала. — Нужны мне твои клятвы... Но и в мою душу не лезьте!

Леня Плещеев вытащил из груды обломков исковерканный непонятный предмет и закричал радостно:

— Мам! Посмотри, что я нашел!

Для десятилетнего и такое занятие — игра, и всякая находка — трофей.

— Что такое? — спросил Павка, товарищ Лени.

— Мамина шляпа. — Леня подул на изуродованную шляпу. — Мам! Смотри! Вот. Цветы...

— О господи, Ленечка, — лихорадочно сказала Мария, не отрываясь от поисков. Она была в ватнике, голова обмотана платком, лицо запылено. — Все не то ты находишь. Отцов ящик с инструментами, вот что ищи.

Но Полина подошла к Лене и взяла шляпу из его рук.

— Ты смотри пожалуйста, — сказала она.

— У мамы две было! — похвалился Леня.

— Надо же! — сказала Полина. — Вот уж чему не пропасть... — Она со злобой отшвырнула шляпу. Взметнулось облачко пепла.

— Ящик с инструментами, — бормотала Мария, не видя ничего. — Неужели же сгорел, неужели железный ящик с железными инструментами — и сгорел?!

— Сгни все, — сказала Полина. — Подумаешь, ящик с инструментами!

— Можно подумать, я кроме этого ящика ничем не пострадала, — сказала Мария, задетая. — Я не меньше твоего пострадала!

— Меняюсь! — уходя, жестко бросила Полина. — Хочешь?

— Ой, Ленечка, — бормотала Мария, роясь в обломках, — Ленечка, ой да неужели... Ленечка, нашла! — раздался ее радостный вскрик.

Леня и Павка бросились к ней, втроем они стали нетерпеливо разгребать обломки.

А причина радости была: покореженный железный ящик, в нем молоток, да клещи, да топорик, да плоскогубцы, да пилы без рам и прочий простой рабочий инструмент.

Инструмент был нужен Марии, чтобы хоть какое построить жилье для семьи — для мужа и сына.

Вот сидит ее муж на солнышке. Он пробовал ей помогать. Досок им выдали, он с сынишкой доски носил... Он вернулся живой, Мариин муж Леонид Плещеев, с руками и с ногами вернулся — но слепой. Ослеп после ранения. Распилить доску — это кой-как можно, если жена направит его руку. Повыдергать из старых досок гнутые гвозди — это он был в силах и без подмоги. Он пытался выпрямить один гвоздь молотком; но

попал себе по пальцам и бросил это дело. В ожидании, какую еще дадут ему работу, сидел и перебирал инструменты. Нашупал в ящике лекало, повертел, бросил...

Самим бы, конечно, ничего им не построить. Но приходили люди — кто на час, кто на два — и помогали. Вдова Капустина приходила, мать Лениного товарища Павки. Павка вертелся тут же. На грузовике подъезжал шофер Ахрамович, гигант с добрыми глазами, всегда под мухой немножко. Подмигнув Плещееву, словно тот мог видеть его подмигиванье, Ахрамович доставал из кабины флягу, давал Плещееву хлебнуть, отхлебывал сам и брался за работу.

А Мария, женщина хрупкая, работала неумело, но без усталости, горячечно. Она вообще в постоянной была горячке — на нервном накале тянула все эти годы небывалых бедствий.

— Ну вот, и стены есть, — звенел ее голос. — А где четыре стены — там дом. А где дом, там и жизнь. Тоня бинтов обещала дать, покрашу синькой, голубые занавески сошью. Все приложится постепенно, пойдет жизнь, куда ж она денется, господи...

Неподалеку остановилась молодая женщина, недурная собой, в платочке по-деревенски и с кошечкой в руке.

— Помогай боже, — сказала она.

— Спасибо, — сказала Мария. — Нездешняя?

— Приезжая, — степенно объяснила женщина. — По вербовке, на восстановление народного хозяйства. Муж-то больной?

— Не повезло нам, — тяжело вздохнула Мария.

— Бог, значит, судил, — сказала женщина. — Молиться надо.

— Исцелит, что ли?

— Его святая воля, захочет — и исцелит.

— Если б я вот столечко верила, что это может быть, — сказала Мария.

— А ты молись. Будешь молиться, и вера придет. Сейчас ты в темноте, не хуже как хозяин твой. А в молитве свет увидишь. Ну, Христос с вами, — сказала женщина и пошла.

— Сама ты темнота, — сказала Мария. — Господи, и какого только народу на свете нет!

Заводоуправление временно помещалось в бараке. Кабинет директора был обставлен скудно, по-бивуачному.

К директору Сотникову пришел предзавкома Мошкин, маленький хмурый человек в потрепанном кителе без погонов.

Сотников разговаривал по телефону. Еще человека два сидели тут, ожидая, пока он освободится.

— Я бы просил уточнить, — говорил Сотников. — Бульдозеров сколько? Цемент? Железа?.. Мало. Мало. Что ж торговаться, вы же знаете обстановку. Всё начинаем заново. И людей, людей, как можно больше людей!.. Хорошо. Ждем.

Мошкин сел и расстегнул нагрудный карман. Достал бумагу и положил на стол.

— Я вас слушаю, товарищ Мошкин.

— Собрание рабочих бывшего цеха номер два, — сказал Мошкин, — приняло резолюцию. Не тратьте людей и средства на строительство барраков. Обратит все ресурсы на восстановление завода. Собрание призывает весь коллектив присоединиться к этому решению.

— А где, — спросил Сотников, — думают жить рабочие цеха номер два?

— Они постановили зимовать в землянках и временках.

— А те, кто к нам едет на помощь,— спросил Сотников,— они как? Тоже будут рыть землянки? Каждый себе? Изроем землю, как кроты? — Он читал резолюцию.— Вот как: и школу туда же? Детям не учиться?

— Школа может обойтись постройкой барачного типа.

— Мы достали прекрасный проект школы,— сказал Сотников. Взглядом он как бы пригласил присутствующих порадоваться этой удаче.— С учебными кабинетами, с залом для спорта. Ну, это, конечно, на будущее. Пока что один этаж возведем — но как следует, капитально, чтоб потом расширять! Уважим детишек... Что касается жилья — в ударном порядке будем ставить бараки. До лучших времен. Чтобы ни один человек не думал, где ему приклонить голову, когда зима грянет.

— Не понимаю,— сказал Мошкин,— почему вы против этой резолюции? Она патристическая...

— А потому, что,— ответил Сотников,— если вы хотите иметь от человека хорошую работу, потрудитесь подумать, чтоб этому человеку получше жилось. В этом, между прочим, патриотизм, а не в том, чтобы держать рабочего в землянке. И вы очень хорошо знаете, товарищ Мошкин, что рабочие не сами додумались до этой резолюции.

— Никто их не заставлял,— сказал Мошкин.— Сами поднимали руки.

— Конечно, сами,— сказал Сотников.— Уж кому-кому, а вам известно, как надо ставить вопрос, на каких струнах играть, чтобы люди подняли руки.

— За десятью зайцами, значит, погнались,— сказал Мошкин, нервно убирая свою бумагу и застегивая карман.— А если не справимся? Тогда что?

— Не справимся — отвечу я,— сказал Сотников и отвернулся к другому посетителю.

— Ясно, не справимся! — уходя, тихо сказал Мошкин третьему посетителю.— Все фантазии, лишь бы власть показать. Видали барина: «Отвечу я!» — украдкой передразнил он Сотникова.— Другие, значит, такая мелочь, что им и отвечать не придется... На всю страну могла бы резолюция прозвучать! А теперь только и жди провала — тыщу обязательств наберем и сядем в калошу...

— Поживем — увидим,— сказал посетитель.

На огромном пространстве развернулась стройка.

Разрушенные заводские корпуса были обставлены лесами. В поселке за руинами рос новый город из длинных барачков. Строилась школа. На реке восстанавливали мост. Работой были заняты тысячи людей — каменщики, кровельщики, штукатуры, водители машин, саперы, разнорабочие, в военной и штатской одежде, демобилизованные и приехавшие по вербовке, мужчины, женщины, подростки.

По ночам пылали над поселком электрические солнца: работа не прекращалась.

Почти не было таких, чтоб сидели тогда по кабинетам. И днем и ночью то на одном участке, то на другом появлялась видная фигура Сотникова в генеральской форме и мелькал присматривающийся, вдумчивый Мошкин.

Женщины расчищали цех, заваленный битым кирпичом. Мошкин остановился возле одной из них. Это была та молодая женщина, что советовала Марии молиться, ее звали Фрося. Она заметила пристальный взгляд Мошкина, но продолжала работать с усердным и скромным видом.

— Это о вас говорят,— негромко спросил Мошкин,— что вы у себя в селе насаждали религиозный дурман?

Фрося подумала мгновение.

— То ж при немцах было,— ответила она спокойно.— А при немцах чего не было? Страдал невыносимо народ, ну и пошли в религию, чего ж вы хотите?

— В церковь небось ходила?

— Ходила.

— И других подбивала?

— Не то чтоб подбивала,— еще секунду подумала Фрося,— а просто обсуждали мы между собой, что, возможно, это нас бог наказывает за грехи.

— А теперь не обсуждаете? — строго спросил Мошкин.

— Теперь нет, не обсуждаю.

— Имейте в виду, мы здесь у себя подобной деятельности не допустим.

— Буду иметь в виду,— согласилась Фрося, твердо глядя в глаза Мошкину.

— А вы знаете, кто с вами говорит? — спросил он.

— Ну как же,— сказала Фрося почтительно и даже поклонилась небольшим поклоном.— Председатель завкома товарищ Мошкин.

Мошкину ее ответ понравился.

— Вообще,— сказал он покровительственно,— я вам рекомендую почитать научную литературу. Наука давно доказала, что бога нет, а вы всё обсуждаете.

И проговорив это равнодушным голосом, Мошкин двинулся дальше. Фрося посмотрела ему вслед прозрачными глазами.

В том же цехе работала Мария Плещеева. Исхудавшая, мрачная, она рассказывала женщинам:

— И никакого просвета. Что ни дальше, то хуже. Связался с этими пьяницами, Макухиным и Ахрамовичем, друг дружку взбадривают. На коленях стою, плачу — не губи нас,— нет! И Ленечка это все видит. Дождался отца.

Через пролом в крыше огромный ковш крана уносил горы мусора, и светлел цех. Вот все уже очищено и проломы заделаны, и женщины моют окна, впуская все больше солнечного света, а голос Марии жалуются, жалуется:

— Уедем, прошу, к моим родным, не могу я больше так мучиться! У меня родные на Алтае, хорошо живут. Так не хочет — конечно, ему там не будет той воли...

— Христос терпел и нам велел,— сказала Фрося.— Грешим много, по грехам и муки.

— Где я нагрешила? — страстно спросила Мария.— Женой была, матерью была, работала, все исполняла,— чего я нагрешила?.. Лопнет мое терпение, возьму Ленечку и уеду. Ты бы уехала? — спросила она у Полины Прохоровой.

— Не знаю,— сказала Полина.— Как же он без никого?

— Вот вернись твой Алеша и веди себя, как мой,— уехала бы?

— Вернись Алеша слепой?..

— Как до дела — он слепой,— сказала Мария, яростно выкручивая тряпку,— а для выпивки — это он зрячий, будь покойна... Уж ты-то в два счета бы уехала, не говори мне... если б тебя капли радости лишили...

Подошла вдова Капустина с листком и карандашом:

— Мария! Твой Леня в какой класс идет?

— В третий,— ответила Мария.

— Зайдешь с ним после работы,— сказала Капустина, делая пометку в списке,— получишь костюмчик и ботинки.

— Да он и сам может получить,— сказала Мария, радостно оживляясь.— Он у меня толковый, куда ни пошли, все сделает... Костюмчик и ботинки уж так кстати, вырос изо всего, а ботинки ну совсем развалились...

Костюм был из жесткой темной бумажной материи: блуза вроде гимнастерки и длинные брюки, доставлявшие Лене особенное удовольствие. Еще и еще раз прикладывал он их к себе: хороши! А лучше всего были ботинки, кожаные, с болтающимися шнурками, и к ним пара сияющих калош.

Все эти обновы лежали на столе в плещеевской хибарке, и Леня с Марией ими любовались.

Новый приятель Плещеева, Макухин, находился тут же. Он протянул руку, взял ботинок, сказал уважительно:

— Вещь.

— А вы положите! — раздраженно и неприязненно одернула Мария.— Непременно вам трогать! — Она ревниво прикрыла лежащее на столе газетой.— И вообще нечего вам тут делать.

— Маруся,— сказал Плещеев,— он ко мне зашел...

— Вот и идите отсюда оба! — забушевала Мария.— Сил моих нет на твоих гостей смотреть! И так повернуться негде! Идешь домой как на пытку, все одно и то же, одно и то же...

Плещеев и Макухин вышли из хибарки, присели на лавочку, прилаженную у входа.

— Сердится Маруся,— сказал Плещеев.

Макухин скрутил папиросы ему и себе. Закурили.

— Чего это Ахрамович не едет? — сказал Плещеев.

— Приедет.

— А вдруг он тоже не достанет?

Они сидели плечо к плечу на лавочке и ждали Ахрамовича.

Мария спрятала обновы под сенник на нарах.

— Наденешь, когда в школу пойдешь,— сказала она Лене.

Она силилась и в этом жилье сохранить крохи уюта. На окошке висела занавеска, сшитая из бинтов, и какой-то стоял цветок в горшке.

Наступил день, когда дети пошли в школу.

Это не было первое сентября. Может быть, это было первое октября, или десятое, или пятнадцатое: в те годы не везде удавалось придерживаться узаконенного расписания. Но так или иначе первый этаж новой школы был отстроен, над входом висел транспарант «Добро пожаловать!», и туда потянулись дети всего поселка. Сотников пришел посмотреть, как они в первый раз входят в новую школу, он был доволен и морщился, чтобы скрыть улыбку.

— Мальчики налево, девочки направо,— говорила молоденькая учительница, стоя в вестибюле.

Среди мальчиков, идущих налево, был Леня Плещеев. Вместе со своими товарищами он переживал оживление и ожидания первого школьного дня. Одет был не в новое, как предполагалось, а в прежние свои одежды с заплатами и старые, разбитые ботинки, но радость его не была этим отравлена — в его возрасте мальчики вообще мало внимания обращают на одежду, а в ту пору, пережив военные лишения, и во все не обращали. Смятение в его душе вызывали отец и мать. Он не мог

разобраться до конца, что же происходит. Ему было хорошо вдвоем с отцом и вдвоем с матерью, а с обоими вместе — плохо. Обоих было жалко, но отца особенно. Леня стряхивал с себя эту тяжесть, уходя от них. Поэтому в школе, среди сверстников, он был веселый и беззаботный, а дома — серьезный и много старше своих десяти лет.

Делая вид, что спит, слушал он ночью разговор матери с отцом.

— Что же мне делать! Что мне делать! — как в бреду вскидывалась Мария. — Ну за что нам такое с Ленечкой! За что ты ребенка обездолил! Да есть ли сердце у тебя. есть ли у тебя сердце, или всё в тебе фашисты убили?!

А отец плакал, и слезы его были для Лени ужас и мучение.

— Маруся, — говорил отец, — это Макухин сделал, гад, я и не знал! Маруся, да разве бы я мог, если бы знал, откуда эта водка!

— Ничему не верю, ничему! — металась Мария. — Ты не отец, ты не человек после этого — и что мне делать, что делать?..

— Ну поверь! В последний раз поверь, слышишь? Маруся, как я к тебе рвался, как ждал — вот приеду...

— А я как ждала?

— Никого никогда, кроме тебя...

— Чтоб этого Макухина не было здесь больше!

— Да я его сам видеть не могу!

— И водки этой проклятой — чтоб и не пахло!

— Да я о ней думать не могу после этого!

— Ох, как я хочу тебе верить! — сказала Мария. — Как хочу, ты бы знал! Господи!

Она обессилела и лежала как мертвая, протянув руки вдоль тела.

«— Вот ты господу поминаешь, — вспомнился ей Фросин наставительный голос, — а ведь ты его без всякого соображения поминаешь. Просто от привычки. Это грех. Ты к нему сознательно обратишься, лично, чтоб укрепил тебя.

— Отвяжись от меня! — в мыслях отвечала ей Мария нетерпеливо.

— Обратись, Мария, — убеждала Фрося. — Легче тебе будет свой крест нести.

— Не хочу крест нести. Хочу жить разумно, ясно, — отвечала Мария. — Ну хорошо, пусть уж без счастья. Но покоя, покоя хоть капельку — можно?..»

В конце месяца Леня Плещеев забежал после уроков в карточное бюро. Перед окошечком, где выдавали продуктовые карточки, стояла очередь.

— Кто последний? — спросил Леня и чинно занял место в хвосте.

— А, Леня Плещеев, — ласково сказала женщина в окошечке, когда очередь дошла до него. Ему пришлось подняться на цыпочки, чтобы расписаться в ведомости.

— Получай: мамины... папины... твои.

Новенькие карточки, все в цифрах и надписях, ложились перед Леной. На одних талонах было напечатано: «Хлеб». На других: «Сахар», «Жиры», «Мясо». Леня бережно сложил карточки и спрятал за пазуху.

Плещеев сидел в хибарке, чистил картошку. Он был трезвый, благодушный, и дело у него получалось ловко. Вбежал Леня.

— А, сынок, здоров.

— Пап, я карточки получил. У нас сбор отряда, ты отдай маме. Вот. Только спрячь хорошенько. Постой, я сам спрячу. — Леня положил карточки в карман отцовской гимнастерки и заколол булавкой. — Вот так не потеряешь.

— Ты поешь,— сказал Плещеев.— Там картошка в чугушке.

— Потом. Опаздываю... Тебе ничего не надо?

— Ничего. Беги, сынок.

Леня схватил из чугушка на плите картофелину и побежал, откусывая на ходу.

Под вечер того же дня Плещеев, Макухин и Ахрамович выходили из столовой, разговаривая. Они были сильно пьяны и склонны к откровенности.

— А я сам себе главный друг,— говорил Макухин,— потому что я на себя самого положиться могу полностью, а на других, даже на вас,— не полностью.

— Почему же на нас не полностью? — обиженно спрашивал Ахрамович.

— А я на себя не могу положиться,— сказал Плещеев.— Прежде мог, теперь не могу. Эх, Гришку бы мне, Гришку!

— Кто такой Гришка? — еще больше обиделся Ахрамович.

— Шалагин. Хороший человек — Гришка Шалагин.

— Чем же он такой хороший? — спросил Макухин.

— Всем хороший,— сказал Плещеев.— Ходит прямо, говорит весело. Дружили мы когда-то: я, он, покойный Прохоров Алеша... В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря... Вам не понять!

— Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет! — запел вдруг во все горло Макухин, и Плещеев с Ахрамовичем подтянули.

Они проходили мимо школы. Распахнулась дверь, послышалась барабанная дробь, на улицу высыпали пионеры. Среди них был Леня. Он выбежал радостный и остановился, увидев отца, которого Ахрамович вел под руку.

— Всё гуляют,— вздохнув, как взрослый, сказал Павка Капустин.

А Леня испугался. Его испугала страшная догадка. Хотел броситься за отцом, окликнуть, но стыдно было перед ребятами. Он медленно пошел домой.

Мать уже пришла. Она рылась в постели на нарах. Подушки и все тряпье были разбросаны, и руки ее двигались судорожно, торопливо, как тогда, когда она искала на пепелище ящик с инструментами.

— Ты где до ночи ходишь? — напустилась она на Леню. И, не дожидаясь ответа: — Ты где дел карточки? — Он молчал. — Не получил?

— Получил.

— Так давай сюда. У тебя они?

Он стоял, не зная, что сказать.

— Леня! Где карточки?

— Я их положил куда-то,— сказал он.

— Куда?

— Я не помню.

Он отвернулся, чтобы не видеть ее глаз.

— Потерял?.. — спросила она шепотом. И села — не держали ноги. Пот выступил каплями на лице.

— Без хлеба,— шептала она,— без ничего... целый месяц... — И вдруг громко: — Ничего ты не потерял, Ленечка. Неправда. Это опять злодей этот...

Пьяные голоса донеслись с улицы. Мария замолчала.

— А ты ее поставь на место,— говорил Макухин.— Чего она тебе, на самом деле, повернуться не дает!

— Да ну, боялся я ее! — отвечал Плещеев.— Пусть только попробует скандалить!

— Небось, когда ты ее в шляпах водил, она шелковая была, — подначивал Макухин.

— Пусть только!.. — хорохорился Плещеев.

— Ты все-таки не очень, — жалостно сказал Ахрамович. — Я считаю — женщин мы жалеть должны и оберегать.

— Во-первых, — сказал Макухин, — там и твои были карточки. Государство тебе их выдало.

— Вот именно! — повысил голос Плещеев. — Мои кровные, начнем с этого...

Он толкнул дверь и ввалился в хибарку. Макухин и Ахрамович заглянули через его плечо и исчезли.

— Две мои были, верно? — спросил Плещеев. — Как хочу, так и распоряжаюсь.

— Дверь закрой, — безжизненно сказала Мария. — Выстудишь избу.

Леня закрыл дверь.

— Значит, так, — продолжал Плещеев, — человек все отдал — это хорошо, да, хорошо... А взять чего-нибудь для себя — моментально глаза колотить... Коли, на, коли сколько хочешь, все равно ничего не видят. Видели когда-то.

— Ложись, — сказала Мария.

— Захочу — лягу, — сказал Плещеев, — а не захочу — не лягу. И ничего такого страшного нег. Скажешь там, что потеряла, — не могла потерять, что ли? Придумают, помогут... У нас не капиталистические джунгли, где человек человеку волк. У нас все за одного...

Он повалился на нары.

— И один за всех, — заключил он и всхрапнул. Мария и Леня сидели молча.

Они ехали в поезде дальнего следования.

С верхней полки Леня смотрел в окно. Плыл за окном снежный лес.

Снизу доносился до Лени голос матери, разговаривавшей с пассажирами.

— Вы поймите меня правильно, — говорила Мария. — Разве я от трудностей уезжаю? Сын не даст мне соврать: на какую хотите тяжелую работу — я первая. Я на трудности, как на азот, грудью кидалась! Но с пьющим человеком существовать немыслимо, и тем более, чтоб у вас на глазах страдал ребенок.

Настал вечер, в вагоне зажегся слабый свет. Леня все лежал на полке, глаза его блестели в полумраке. Внизу говорила мать:

— Ну что ж, у него пенсия, проживет. Если, конечно, не будет пропивать.

— Кроме пенсии, уход требуется, — сказала старая женщина в очках.

— Вот пусть его приятели за ним и ухаживают, на которых он нас променял, — возразила Мария. — А моих сил нет больше этот воз везти. Должно же и мне что-то от жизни быть, господи!..

Но вот стихли разговоры. Вагон уснул. Леня привстал — рядом с ним, с краю, спала мать, подложив узелок под голову. Леня стал слезать с полки. Мария шевельнулась, спросила:

— Ты что?

— Я сейчас, — пробормотал он.

И она опять уснула и не видела, как он взял свое пальтишко и шапку и оделся. Углем из ведра, что стояло в тамбуре, он написал на мешке, лежавшем возле матери: «Я ушел к папе»; подумал и переделал «о» на «е». Кругом спали люди, и даже во сне лица у них были серьезные, напряженные, словно и сны их так же трудны были, как явь.

Мела метель. Поезд стоял на большой станции. Шла посадка. У входа в вагон сгруппировались люди, мешки, чемоданы; проводница проверяла билеты. Леня соскользнул с площадки — никто не остановил, — и метель его скрыла.

Он остановился, посмотрел, как прошел мимо него, светя окнами, тронувшийся поезд, который вез его к какой-то более легкой, вероятно, жизни и из которого он сбежал.

На пустоватом ночном вокзале он познакомился с компанией мальчишек постарше, чем он, в ватниках и стеганых штанах. Они отвели его в комнату, куда пассажирам вход воспрещен, и напоили кипятком.

— А хлеба, брат, нет, — сказал тот, что наливал ему кипяток из кипятильника. — Чего нет, того нет.

Леня пил, обжигая губы о жестяную кружку.

— А вы кто? — спросил он.

— А мы тут работаем, — ответили они с важностью. — Мы железнодорожники.

Самый старший сказал:

— Тебе надо ехать местными поездами, с пересадками. Вот мы тебя утром посадим, до Грязнова доедешь, слезешь. А там опять на местный поезд садись — и дальше.

— Только к дядькам не обращайся, — сказал самый младший. — И особенно к теткам. К ребятам обращайся, если что надо спросить. А то сцапать могут.

Ночь прошла. Солнце светило в вагонное окно.

Далеко позади остался родной поселок.

Мария сидела, закрыв лицо. Вздрагивал от толчков поезда мешок с надписью: «Я ушел к папе».

— Возвращаться вам придется, — сказала старушка в очках.

— Нет! — крикнула Мария, затрясла головой, открыла измученное лицо. — Вернусь — больше не вырвусь до смерти, так и пропадет жизнь! Одумается, заскучает, прибежит небось к маме, сыночек мой, Ленечка...

— Ничего, Леонид, — говорил Макухин, поддерживая Плещеева. — Будь мужчиной.

Они брели по поселку, направляясь к плещеевской хибарке.

— Она подлая! — говорил Плещеев. — Она мразь!

— Подлая, а ты будь мужчиной. Тут канавка, Леонид.

— Все ясно! — говорил Плещеев. — Конечно, со зрячими лучше жить, чем со слепым. Распутничать легче, чем за инвалидом ухаживать... Чего уж тут! Ясно все!

— Тут бугорочек, Леонид.

— Но сына отнять у отца! Это что ж такое делается, я тебя спрашиваю! Кто ближе сыну, чем отец?! Я спрашиваю!

Плещеев спрашивал уже в одиночестве. Макухин ушел, доведя его до порога.

Дверь была не заперта. Плещеев поднял шеколду и вошел в хибарку.

— Спрашивай не спрашивай, — сказал он, ощупью вешая шапку на гвоздь, — отвечать некому. — Он замолк, постоял, вслушиваясь, вскрикнул: — Кто здесь?

Голос Лени ответил виновато:

— Я.

— Сынок! — сказал Плещеев и протянул руки.

Леня подошел к нему, взял за руку, прижался... Плещеев жадно ошупывал и гладил его плечи и голову:

— Вернулись! Милые вы мои!.. А мама где?

— В Барнаул поехала,— тихо и не сразу ответил Леня.

— Как! Без тебя?

— Я вылез потихоньку. Пап, я местными поездами обратно ехал, с пересадками.

Плещеев притиснул его к себе:

— Сынок! Сынок!

— Я не хочу уезжать. Я с тобой буду.

— С кем она поехала?— громко и грозно спросил Плещеев.

— Ни с кем. Сама.

— Правду говори!

— Я — правду,— недоуменно сказал Леня.

— Без меня, без тебя,— сказал Плещеев,— совсем, значит, мы ей не нужны? Отрезала начисто?

Он сел и закрылся руками.

А Леня стоял, взгляд его шарил по комнате и не находил того, что искал. Наконец, догадавшись, Леня достал с полки старый греснувший глиняный горшок, накрытый дощечкой, и заглянул в него. В горшке лежал кусок хлеба.

— Пап, можно я хлеба возьму?

Плещеев не ответил — не слышал. Леня отломил хлеба и стал есть.

Плещеев поднял злое, несчастное лицо.

— С кем она поехала, мерзавка, дрянь? Говори, ну?! С кем она, гадина?..

Леня заплакал.

Пригородный поезд дачного типа, весь обшарпанный и переполненный, полз медленно. На одной из остановок в вагон вошли Плещеевы, отец и сын. Опустив по швам руки — в одной была старая пилотка,— слепой запел «Землянку»:

Бьется в тесной печурке огонь...

Вагон слушал молча, понимающе и строго.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой...

Он пошел по вагону, и со всех сторон к его пилотке потянулись руки с бумажными купюрами и мелкой монетой.

Когда он прошел, один гражданин сказал:

— Шел бы, милый друг, хоть что-нибудь работать, чем попрошайничать.

— Позвольте,— возразил другой,— вы же сами, я видел, положили ему пятерку.

— Ну да,— смутился первый,— но это неправильно. Ему указать надо, а мы, дураки, потворствуем.

— Дураки?!— вскинулась пожилая женщина.— Молчите лучше! А то я вам укажу,— век не забудете!

Гражданин посмотрел на ее лицо в морщинах, мужские руки, разъяренные глаза,— отвернулся молча.

А Плещеев пел уже в соседнем вагоне:

Пой, гармоника, вьюге на зло,
Заплутавшее счастье зови...

— Потрудились,— сказал он Лене, выйдя в тамбур,— на сегодня хватит.

— Пошли домой,— сказал Леня.— Не надо за водкой.

— Сынок,— сказал Плещеев.— ты книжку можешь почитать, верно? Вечером в кино убежишь, верно? А мне что? А? Умирать? А?

Леня зажмурил глаза, чтобы представить себя слепым, и мрак обступил его. Во мраке стучали колеса... И Леня, как всегда, пожалел отца и не стал уговаривать.

Потом в хибарке, где было теперь мусорно и темно — стекло в окне разбито и заклеено газетой,— Плещеев пил водку и говорил:

— Все-таки по ее не вышло. Хитро придумала, а не вышло по ее: ты не с ней, а со мной, с отцом.

Леня растапливал печку. Отсветы огня дрожали на его худеньком грязном лице. В дверях стояла женская делегация с вдовой Капустиной во главе.

— Выше отца,— говорил Плещеев,— нет ничего. Никто отца заменить не может. Особенно сыну.

— Леонид, здравствуй,— сказала вдова.— Это я, Капустина. Мы к тебе по поручению общественности.

— Чего еще от меня надо общественности? — спросил Плещеев.

— Глаза бы мои на тебя не смотрели,— сказала Капустина.

— А мои на тебя давно не смотрят. Дальше?

Другая женщина втихомолку достала из сумки бутылку молока и судок и поставила на табуретку возле печки.

— Поешь,— сказала она Лене.

— Леонид,— сказала Капустина Плещееву,— мы с тобой детьми по поселку бóсье бегали.

— Ты на мое место себя поставь,— сказал Плещеев надменно,— и тогда ты со мной говори.

— Что уж нам местами считаться,— сказала Капустина.— Мы вот тебя на свое место не приглашаем. А тоже, уж ты поверь!.. Сколько нас тут — все слезами плачем. Моего-то — в первый же месяц не стало... Возьми ты себя в руки, просим тебя. Имей рабочую гордость.

— Свяжите меня,— сказал Плещеев,— положите меня в угол, как полено, чтоб не портил вам вид, этого вам надо?

— Ну как с ним разговаривать? — обратилась Капустина к женщинам.

— Нам надо,— сказала третья женщина, смертно худая и беспощадная,— чтоб вы себя вели, как нормальный советский человек. И чтобы ваш мальчик регулярно посещал школу, как всякий нормальный советский ребенок.

— Времени у него мало посещать,— сказал Плещеев.— Мать его меня бросила, приходится ему отдуваться. Она меня бросила на произвол судьбы!

— Марию общественность осуждает,— сказала Капустина.— Она должна была за тебя бороться, а не бросать. Это если каждая так все кинет да улетит — это что же получится?

И женщины посмотрели в сторону и вверх, как бы прикидывая, что получится, если они всё кинут и улетят.

— Мы решили вот что,— продолжала Капустина.— Устанавливаем дежурства. Коллективно будем за вами присматривать. В отношении питания, уборки, стирки и так далее. Чтоб жили вы, как люди. Так мы постановили.

— Но, конечно,— сказала беспощадная,— чтоб вы свое поведение в корне бросили. Иначе никто не вынесет.

— Леня! — крикнул Плещеев, шаря руками.— Где бутылка? Леня!

— Да на столе,— сказал Леня,— перед тобой.

Плещеев нашёл бутылку, хлебнул прямо из горлышка.

— Хорошо! — сказал он.— Сынок, слышишь, как жить будем — уборка и так далее. И так далее. Нянечки за нами присмотрят, чтоб мы... всё, как люди. Сейчас мы не люди, нет... Нянечки добрые веником помахают, и мы станем, как люди. И сейчас же они нас на поводок — раз и все... А идите вы с уборкой знаете куда!.. Идите, идите! Будьте здоровы! Афидерзейн!

Он встал и взмахнул бутылкой так, что женщины шарахнулись. Капустина схватила его за локти:

— Да ты что, да ты стой!

Но он кричал:

— Будьте здоровы, живите богато! Афидерзейн! — И замахивался бутылкой, как гранатой.

— Ну, стыд! Ну, стыд! — убивалась Капустина.— Мы к тебе со всей душой...

— Придется говорить в другом месте,— сказала беспощадная, выходя.

Все стали выходить гуськом. Та, что принесла еду, тихонько сказала Лене:

— Соберешь что постираешь и принесешь. Отцу не говори.

— А жену мою судить не смейте,— кричал Плещеев,— вы ей не судьи, ей только я судья, ничего вы не знаете!

Леня тронул его и сказал:

— Пап, а пап. Никого нет уже..

Кончилась война, и вернулся Григорий Шалагин.

Неся через плечо свой солдатский багаж, шел он по поселку.

За развалинами жилых домов виднелись крыши новых бараков. Часть заводских строений еще стояла в лесах; но другие были восстановлены и имели хороший вид, и по легкому дымку из труб, по освещенным окнам было видно: многие цеха вступили в строй.

Навстречу показалась пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле — Ульяна Прохорова, мать Алексея.

— Здравствуйте, Ульяна Федоровна! — сказал Шалагин.

— Да не может быть! — сказала Ульяна, у нее дыхание перехватило.— Гриша! Ты чего приехал?

— Жить,— сказал Шалагин.

Жесточая боль воспоминания проступила в ее лице, но она не стала жаловаться, сказала, бодрясь:

— Нашел куда ехать жить. Держал бы курс, где получше.

— Именно туда и держим, где получше,— сказал Шалагин.

— Ну, пойдем,— сказала Ульяна.

Прохоровы жили в землянке. Она была построена хорошо, добротно.

— Узнаю аккуратность вашу, Ульяна Федоровна,— сказал одобрительно Шалагин.

— Что б ни было,— сказала Ульяна,— порядок должен быть. На дереве, как птицам, жить случится — и на дереве надо соблюдать порядок.

В землянке стало светло, когда она зажгла керосиновую лампу.

Осветился выскобленный добела стол, опрятно застеленные нары, посуда на полке. Стекло на лампе было чистое, как слеза.

— Снимай шинель, умывайся, отдохай,— сказала Ульяна.— Сейчас хозяин придет, ужинать будем.

Над столом висела фотография Алексея с Полиной.

— И когда это?..— спросил Шалагин, глядя на портрет.

— Давно. Когда из-под Киева немца гнали.

— А невестка с вами?

— Невестка с нами,— безрадостно ответила Ульяна и переменяла разговор.— А ты совсем целый? А в госпитале чего лежал?

— В семи госпиталях я лежал,— отвечал Шалагин.— Семь раз в меня всаживали — то осколки, то пули.

— Семь раз! — повторила Ульяна.

— Угу. Семь раз.

— И ничего!

— Да, ничего,— слегка виновато сказал Шалагин.— Заштопали.

Пришел с работы старик Прохоров. Обнял Шалагина.

— С возвращением, Гриша,— сказал тихо.

Отвернулся, чтоб скрыть выступившие слезы, и пошел в угол к умывальнику, снимая спецовку.

— Где жить думаешь? — спросил он, умываясь.— С жильем плохо. Барак переполнен. Пока, конечно, ночуй у нас...

— У мамы в Подборовье дом был,— сказал Шалагин.— Съезжу, посмотрю — цел ли.

— Хороший был дом,— рассказывал он за ужином.— Сюда бы его перевезти. Хватило бы на несколько семейств. Проще, чем новый ставить.

— Только слушай меня,— сказал Прохоров,— становись-ка ты на работу сразу, приживляйся к делу. Без работы портится человек. Поглядишь, что с Плещеевым сделалось. Ты знаешь, что он слепой вернулся?

— Писали мне...

— С ним, сам понимаешь, тяжелый разговор. На завком его вызывают. Не перенес Плещеев своего несчастья...

Перед сном Шалагин вышел на воздух покурить. Было тихо, лунно. Спал поселок, только очень издалека доносился еле внятный шум — пение, взвизги, вскрики гармонии, женский разудалый, раскатистый, ведьмовской смех: «ах-ха-ха!» Гуляли где-то. С разных сторон на шум тревожно откликались собаки..

Шалагин вернулся, лег на лавке, где постелила ему Ульяна. Фитиль на лампе был спущен. Старики Прохоровы спали или притворялись спящими. Шалагин лежал, думал... Среди ночи скрипнула дверь, вошла Полина. Сбросила с головы на плечи душный платок, жадно выпила ковш воды.

— Явилась-таки, полуночица,— проворчала, не поднимаясь, Ульяна.— Ишь, разит, как из пивной.

— Терпение, мамаша,— сказала Полина громким нетвердым голосом.— Зинченко вернулся, отметили.

— Каждую ночь повадилась отмечать. Уже не только женщины — мужчины говорят...

— Ха, мужчины! — сказала Полина.— Где вы, мамаша, мужчин нашли? Остатки одни, инвалидная команда. Труб печных больше, чем мужчин.

— Цыц, женщины! — сказал Прохоров.— Люди спят.

Полина увидела лежащего на лавке. Отчаянным движением вывернула ламповый фитиль так, что копоть заплясала в стекле и вскрикнула Ульяна,— склонилась в неистовой безумной надежде,— распрямилась,

медленно спустила фитиль... На табуретке лежала гимнастерка Шалагина. Полина взяла ее, сосчитала нашивки: семь нашивок — семь ранений. Затряслась от неслышных рыданий, уткнув лицо в чужую гимнастерку.

Дом в Подборовье, полученный Шалагиным в наследство от матери, в самом деле был хорош, хоть и обветшал за войну, — просторный, добротный, с мезонином и стеклянной верандой.

Шалагин подходил к нему вместе с председателем сельсовета. Председатель говорил:

— Ты, конечно, владелец. Твое законное имущество. Не взыщи за самоуправство. Суди сам: от войны бежали, все потеряли — куда их девать? А твой дом пустой стоял.

Из трубы шел дым. Во дворе женщина развешивала белье. Детишки с криком играли в снежки. Стекла веранды были оклеены изнутри старыми газетами, по заголовкам и фотографиям можно было прочитать всю историю Великой Отечественной войны.

С веранды выглянула встрепанная старуха с папиросой во рту и чадающей сковородкой в руке. Она свирепо глядела на Шалагина. Он спросил:

— И много вас тут?

— Много, — ответила старуха. — Как сельдей в бочке. А ты комнату ищешь?

— Что мне комната! — сказал Шалагин. — Мне нужен дворец и с принцессой в придачу.

— Принцесс хватает, — сказала старуха, — а вот дворца нету.

— Да ты зайди посмотри, — сказал Шалагину председатель. — Ты владелец, твое право, в чем дело? Постучись и зайди.

Шалагин взошел на крыльцо, стукнул, услышал крики в ответ: «Да! Входи!» — и пошел из комнаты в комнату, а председатель осторожно держался за его спину.

И правда, дом был полон жильцов.

Молодых принцесс не было видно: они на работе были в этот час. Но старух — хоть пруд пруди.

Там стряпали, толпясь у плиты. Там учили ребенка ходить и приговаривали над ним:

— Иди, иди. Ножками, ножками. Вот как наш Юрочка ножками ходит!

Сапожничал инвалид с одной ногой, сидя на полу и разложив вокруг себя свой товар. Спросил у вошедшего Шалагина:

— Огонь есть? — И Шалагин дал ему прикурить.

Заходилась кашлем полуживой старик, глядя на Шалагина выкаченными глазами, и видно было, что ему уж ничто не поможет, кроме смерти.

— М-да, — сказал Шалагин, выйдя на воздух.

— Твое право, Григорий Ильич, — повторил председатель. — По суду всех их можешь выселить.

— Ну да, — сказал Шалагин. — Что я, больной — судиться? Пока с ними со всеми пересужусь — так и жизнь пройдет.

Вдруг дворовый пес, вихрем пронесаясь через двор, кинулся к нему. Положив лапы ему на грудь, дрожа от восторга, лез целоваться.

— Жук! — сказал Шалагин, глядя его. — Жучок, Жучок, хорошая псина, узнал меня! — Он обратился к председателю: — Вот как давай, председатель. Домом пользуйтесь пока что, а мне лесу выпиши взамен, строиться буду.

— Сделаем,— сказал председатель.— Только на корню бери лес, заготовленного нет у меня.

— Ладно, что поделаешь,— сказал Шалагин.— Ну, Жук, пошли!
И зашагал прочь от своего дома, а счастливый Жук бежал возле его ноги.

Мошкин держал речь:

— Товарищи, в этом вопросе мы обязаны быть принципиальными и непримиримыми до конца! Тут, товарищи, всякое проявление либерализма — преступление! Мы не можем терпеть личностей, потерявших облик! Каленым железом будем их выжигать из своей среды!

Речь Мошкина была направлена против Макухина, Ахрамовича и Плещеева, которые сидели рядышком на стульях у стены. Посреди комнаты за столом заседали завкомовцы.

— Наш облик вас не касается,— сказал Макухин, обидясь.— Какой есть.

— Ты скажи, ты где кровельное железо взял? — обратился к нему один из членов завкома.— Это раз. Как вас угораздило стекла побить, это два. Шутка сказать, по зимнему времени, стекла днем с огнем не найдешь — и нате, окна перебить... Ну, почему обязаны люди такое терпеть через вас?

— И кто его знает, как оно вышло, действительно,— вздыхая, виновато сказал Ахрамович.

— Но про облик он не имеет права,— настаивал Макухин.— Облик сюда не относится. Не крал я железа, слева купил.

— Значит — краденое купил,— сказал кто-то.

— Да уж накладных не спрашивал,— огрызнулся Макухин.— Не брильянты покупал, крышу купил, крышу над головой, для детей, понятно?

— А получку пропиваешь — это тоже об детях заботишься? — спросила Капустина.

Ахрамович, вздыхая, сказал примирительно:

— Знаете ведь — работаем всегда, а пьем иногда.

— Наоборот скажи,— возразила Капустина.— Пьете всегда, а работаете иногда. Так вернее будет.

— Лично я,— сказал Плещеев,— ничего слева не купил и не тянул ничего, и пью на свои заработанные, и чего вы меня сюда привели, спрашивается?

— Леонид, Леонид! — сказала Капустина.— На свои ли?

— Я ващего суда не признаю,— сказал Плещеев.— Я за вас жертвы принес, а не вы за меня.

И на эти заносчивые слова в комнату вошел Шалагин.

— Пстойте, товарищ Плещеев,— равнодушно сказал Мошкин.— По порядку давайте. Закончим с Макухиным. Значит, так, товарищи, запомним: просить прокуратуру разобраться, откуда у гражданина Макухина кровельное железо...

— Минутку, товарищ Мошкин,— сказал Сотников, стоявший с папиросой у приоткрытой двери.— Погодите с прокуратурой. Товарищи, не хочу я Макухина и Ахрамовича под суд отдавать! Не нужно мне сажать их на скамью подсудимых, они заводу нужны! Их меньше нам нужно — что мы, не знаем, какие это работники, когда они трезвые?.. А Плещеева мы разве не помним, как замечательного слесаря? И разве исключено, что товарищ Плещеев вернется на завод?

— Конечно, сейчас! — сказал Плещеев.

— Я убежден, что он сможет вернуться,— продолжал Сотников,— если захочет. Если захочет! Так что давайте, друзья, без прокуратуры. Берите себя в руки, кончайте с этой нечистью и будем сообща делать то, чего от нас народ ждет.

Капустина сказала задумчиво:

— Верно, пора, товарищи, кончать. Никто, только мы сами можем навести порядок и на заводе, и в поселке, и везде. Давайте братья, товарищи.

Пьяницы вышли из комнаты. Придерживаясь за спину Ахрамовича, последним шел Плещеев. Шалагин остановил его:

— Леонид.

— Кто это? — в раздражении сердито спросил Плещеев.

— Шалагин. Не узнаешь по голосу?

— Гриша! — сказал Плещеев. — Ты здесь! А я — вот видишь...

Лицо у него задрожало. Он нетерпеливо оттолкнул Ахрамовича:

— Вы идите! Идите без меня! Я с Гришей!

Макухин и Ахрамович ушли, оглядываясь. Шалагин обнял Плещеева за плечи и повел.

Сотников и Мошкин вместе вышли после заседания.

— Слабо провели,— сказал Мошкин.— Никаких, в сущности, выводов.

— Все вам выводов хочется,— сказал Сотников.— Иногда мудрее оставить вопрос открытым.

— Не понимаю вас. Вы бы попроще выражались, по-нашему, по-рабочему.

Сотников усмехнулся.

— Оставьте, Мошкин, демагогию.

Мошкин покосился на него. Сильно отличались они друг от друга: большой, сильный, подтянутый директор с умным лицом, выражающим энергию, юмор и жизнелюбие, и щупленький Мошкин, с впалой грудью, недоверчиво настороженный, в мешковатом кителе.

— Насквозь я тебя вижу,— сказал Мошкин, переходя вдруг на «ты». — Мало тебе власти, хочешь любви широких масс? Доморощенный вождь местного значения? Я в эти игры не играю. Каждый обязан долг свой сполнять, а нет — заставим. Сказано не пей — не смей пить. Сказано работать — иди работай. Твоими методами людей не воспитаешь. И нет твоим заигрываниям и утопиям от меня поддержки. И не жди. Тебе налево, мне направо.

— Верно,— сказал Сотников.— Вам туда, мне сюда. Но не забывайте — работать-то нам вместе.

— Не пугай,— сказал Мошкин.— Под меня не подкопаешься.

Шалагин и Плещеев сидели в столовой за столиком.

— Сейчас принесут нам кашу и омлет,— сказал Шалагин,— и будет нам хорошо. Продолжай, рассказывай: как дальше жить думаешь?

— А что продолжать? — надрывно спросил Плещеев.— Какое у меня может быть дальше?

— Как же?.. — спросил Шалагин.— Как вообще жить, если нет «дальше»?

— И не надо бы,— сказал Плещеев.— Ради Лени живу, ради сына — только!

— И хорошо получается?

— Значит хорошо, если от матери ко мне прибежал! — огрызнулся

Плещеев. Помолчав, сказал угрюмо: — А что я должен делать? Живу, как могу.

— Мог бы иначе, — сказал Шалагин.

— Это работать?

— А ты пробовал?

— И пробовать нечего. Вот! — Плещеев вытянул пальцы, они дрожали.

— Так, — сказал Шалагин. — Еще не до того себя можно довести умеючи.

Им подали еду.

— Одну неделю ходишь трезвый, — сказал Шалагин, — трястись перестанут. Самому небось тошно с протянутой рукой ходить.

— Я не хожу с протянутой рукой! Я артист!

— Брось, какие мы с тобой артисты. Что песенки умеем петь? Это все умеют. Ты что не ешь?

— Водочки, — сказал Плещеев. — Глоточек.

— Тут нельзя. Плакат висит.

— Плакат!.. Позови официантку. У нее такой чайничек есть.

Официантка, стоя у буфета, на них уже поглядывала в ожидании.

Шалагин пристально посмотрел на Плещеева.

— Вот, ей-богу! Ну... — Он обратился к официантке. — Принесите... это самое... из чайничка.

— Один момент, — виолончельным голосом сказала официантка.

— Письмо есть от Марии? — спросил Шалагин, понизив голос.

— Была телеграмма. Про Леню запрашивала. Я ей написал, что он у меня. Посылку присылала...

— И все?

— Пишет иногда. Леня отвечает...

Официантка поставила перед ними два стакана в подстаканниках.

— Ну, за твое здоровье, — сказал Шалагин.

— За твое! — сказал Плещеев. Выпил и пригорюнился. — Эх, Гриша, помнишь, как ты про нас говорил: в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря... Вот тебе и тридцать три богатыря! Алеши нет, и я не жилец уже...

— Ты брось этим козырять, что ты не жилец, — сказал Шалагин. — Не очень-то жизнью швыряйся, рассердится. Я заметил: когда человек от нее отворачивается — она от него юже. Она, брат, тех любит, кто на нее насадет... Насчет сына, — продолжал он. — Ведь это он для тебя живет, а не ты для него. И вечно это, конечно, продолжаться не может. Сейчас он с тобой нянчится, а скоро — увидишь — покрикивать начнет.

— Не посмеет! — сказал Плещеев.

— Вырастет — посмеет! И будет тебе тогда, Леня, кисло.

— Мне и сейчас не сладко!

— Тем более, — сказал Шалагин. — Надо, значит, стать на такую позицию, чтоб он тебя уважал. А попробуй на завод. Что-нибудь подходящее подберем, а?

Плещеев оттолкнул тарелку:

— По-вашему, человек пострадал в бою — этого мало, чтоб его уважать...

— Ты б, брат, видел, на что ты похож, — тихо сказал Шалагин.

— Имею право на уважение, — ожесточенно твердил свое Плещеев, — даже если не буду работать в социалистической промышленности! А что я одет неважно...

— Только ли, что одет неважно! Давай-ка, знаешь, не о социализме и коммунизме, а о том, какой ты вид имеешь. Совсем молодой еще...

— Ну, где там! — возразил Плещеев, не без кокетства, впрочем.

— ...а на старика смахиваешь. Сколько дней не брился?.. Ты все на высокие материи сворачиваешь, а знаешь, что от тебя разит, да, разит?! Перегаром, болезнью... от молодого, сильного, да, сильного, не морочь мне голову! Ты воображаешь, Мария от разбитого сердца сбежала? От отращения!

— Ну да! — ужаснулся и не поверил Плещеев.

— От духа твоего чумного! Попробуй подыши. Я бы сбежал! Да сын подрастет — он же тебя стыдиться будет, а что ты думал? Разве что и его погубишь — приучишь... Не ради социалистической промышленности приглашают тебя работать, а тебе, дура божья, надо из болота ноги вытянуть, чтоб не захлебнулся в собственной дряни!

— Слушай,— спросил Плещеев не очень решительно,— а какое ты имеешь право меня оскорблять?

— Я тебе правду говорю,— ответил Шалагин,— а не оскорбляю. Ты себя не видишь — я вижу и обязан сказать. А то он страдалец, понимаешь, он артист!.. Одним словом — кончай перекур, выходи строиться!

Последнюю фразу он сказал громко, так что многие оглянулись; но встретив веселые, дружелюбные шалагинские глаза, не рассердились, даже заулыбались. Улыбнулся с подбострастием и парень пропитого, запущенного, даже антиобщественного вида, явно подбиравшийся к стакану, из которого Шалагин только отхлебнул. Однако Шалагин, приметив манипуляции парня, бросил на него такой взгляд через плечо, что тот поскорей отчалил подальше, а подумав — счел за лучшее и вовсе убраться из столовой.

Резко разносился звук пилы в зимнем лесу... Шалагин сложил вместе очищенные от ветвей стволы, рядом — сучья. Управлялся с трудом — в работе ранил левую руку, рана кровоточила. Он обмотал руку платком, зубами затянул узелок.

Поздно вечером он вернулся в поселок и пошел к новому, в три окошка, домику, где на двери под лампочкой была вывеска: «Поликлиника». Крайнее окошко, с белой тюлевой занавеской, молочно светилось. Шалагин заглянул: фельдшерица Тоня сидела у стола, читала книгу, плакала и сморкалась в платочек. Шалагин постучал — она повернулась к окну своим заплаканным, добрым, бесцветным лицом...

В маленькой перевязочной, надев белый халат и косынку, Тоня привычными движениями перевязывала Шалагину руку, а он говорил:

— То ли руки пилу забыли, то ли на войне недополучил, что мне причиталось...

Она ответила рассеянно, мысли ее были в книге:

— Да, вы сильно себя хватили.

Уронила пинцет и нагнулась поднять, и Шалагин нагнулся — их головы сблизились, она увидела, что перед нею не просто пациент, а молодой привлекательный мужчина, что это его рука в ее руке,— и Тоня смутилась.

И Шалагин понял ее смущение, потому что сам почувствовал себя неловко, когда они столкнулись головами. Они были вдвоем в маленькой поликлинике, кроме них ни души. Он сказал мягко, маскируя неловкость:

— А вы хорошее что-то читали, я видел.

— «Войну и мир» Льва Толстого,— с пугливой готовностью ответила Тоня.— Я как раз читала, как один тоже раненый умер. Князь Андрей Болконский. Очень умный был человек, так жалко. В те времена еще не было пенициллина, а то бы спасли.

— Я тоже люблю книгу почитать,— сказал Шалагин.— Когда время есть. В госпитале много читал.— Перевязка была окончена.— Спасибо!

— Постойте! — окликнула она. — Надо заполнить карточку. Фамилия, имя, отчество?

— Шалагин Григорий Ильич.

— Шалагин Григорий Ильич, — повторила Тоня. Она писала медленно, ей хотелось, чтобы он побыл тут подольше, а удержать не умела. — Год рождения?..

Еще раз окликнула, уже с порога:

— Григорий Ильич!

Шалагин остановился.

— Я вам не туго перевязала?

— В самый раз! Очень благодарен! Всего вам хорошего!

Тоня постояла на пороге. Сколько мужчин вот так уходило, приняв от нее помощь и сказав «спасибо», а то и не сказав. И ни один никогда не оглянулся. И она увядала...

Не оглянулся и Шалагин. Растаял в темноте...

Сотников сидел в гостях у Прохоровых в землянке. Ульяна хлопотала, подавая угощение.

— Нет, — говорил старик Прохоров. — Не трогайте меня с моего места. Не гожусь в начальники, никогда к этому вкуса не имел. Привык к машинному отделению, полжизни в нем прошло.

— Так расти же надо, Дмитрий Иванович, — шутиливо уговаривал Сотников.

— Честолюбия, думаете, не имею? — улыбнулся Прохоров. — Имею. Где-то я читал: в средние века в Шартре — это во Франции, кажется, — строился замечательный собор. И вот идет человек и встречает на дороге трех строителей. Каждый тачку толкал с камнями. Прохожий у них спрашивает, у каждого: «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Тачку тяжелую ташу, пропади она пропадом». Второй отвечает: «Зарабатываю на хлеб семейству». А третий пот с лица вытер и гордо так сказал: «Я строю Шартрский собор!» Вот такая есть очень старинная притча...

На ступеньках показались статные, аккуратно ступающие ноги — пришла Фрося.

— Извините, если некстати, — сказала она учтиво. — Приятно кушать. Ульяна Федоровна, я вам грибочков принесла, мне из деревни прислали. — И достала из кошелки низку сушеных грибов.

— Спасибо, Фрося, — сказала Ульяна. — Садись, пирога отрежу. — Она усадила Фросю за кухонный столик в уголку, отдельно от мужчин. — Дай бог здоровья.

За столом у мужчин продолжался разговор.

— Народ к нам идет хороший, — говорил Сотников. — Крепкий.

— Всякий попадает.

— В основном хороший. Знаете, Дмитрий Иванович, кажется мне, что фронтовики принесли с собой из окопов очень что-то важное. Большую правду, я бы сказал.

— Кто принес, а кто, наоборот, разбаловался.

— Неважно, — сказал Сотников. — Решают не те, кто разбаловался, а те, кто правду несет! Обязательно должно свежим ветром повеять! Народ какую победу выиграл, братья-то и сестры?.. — Сотников понизил голос. — Помните, как по радио обращался: «Братья и сестры». — когда немец нас бить пошел... Как графин-то об стакан звенел — воду, значит, пил в волнении, — помните?.. И с кадрами теперь придется советоваться нельзя игнорировать кадры, не выйдет...

К столу подошла Ульяна.

— А в собственном особняке, землячкй, хватит вам жить,— сказал Сотников, меняя разговор.— Вот достроим наш пятиэтажный, перебирайтесь-ка.

— Мы не спешим,— за Ульяну ответил Прохоров.— У нас детей и внуков нет.

— Детей, да... Я вот наконец-то семью выписываю.

— Ну, слава богу. Что ж все в разлуке.

— Соскучился жить бобылем. Хочу сам воспитывать сыновей.

— Хорошее дело,— сказал Прохоров.

На портрете Алексей словно слушал разговор. А с другой стороны, деликатно кушая пирог, слушала разговор Фрося.

Шалагин работал в цехе — монтировал новые станки, привезенные из Германии. С ним рядом работал Макухин.

— Слушай,— сказал Шалагин,— помоги немножко в личном вопросе, а?

— В каком это? — брюзгливо спросил Макухин.

— Строиться начинаю.

— Ну что ж,— сказал Макухин,— договориться можно.

— Мне договариваться не из чего,— сказал Шалагин.— Московских длинных копеечек нет у меня. По-товарищески: люди мне, я людям.— Макухин работал молча.— Как при коммунизме.

— Кабы здоровье,— сказал Макухин.— Вот в чем дело. Помочь можно. И как при коммунизме можно. Все можно. Да печенка у меня больная. Вот в чем дело.

— Ну, если печенка...— сказал Шалагин.

Идя с работы, он увидел Ахрамовича. Тот копался в потрошках своего грузовика.

— Слушай,— сказал Шалагин,— ты в сторону Подборовья не собираешься?

— Может случиться,— отозвался Ахрамович,— а что?

— Лес мне оттуда надо привезти.

— Привезем, коли надо,— сказал Ахрамович.

Под вечер Шалагин проходил мимо крытой загородки временного поселкового клуба. Там рядом рос старый прекрасный тополь, а вправо и влево от него тянулись тоненькие, только что посаженные топольки. Висела рукописная афиша: «Сегодня кино». Молодежь по дощечкам обходила весенние лужи, группками собиралась у входа.

Шалагин шел медленно, кого-то ища,— нашел: под гополем стояла Полина, нарядная, шелкала орешки. С ней была Тоня, она первая увидела Шалагина и просияла радостью. Он остановился:

— Привет, принцессы. В кино собрались?

— Приглашаем тебя с нами,— с усмешкой сказала Полина.

— Вот построю дом, тогда буду с вами ходить. Помогла бы мне, Полина, а? Полина!

— Шутишь, Гришенька.

— Не шучу. Поехали за материалом.

— На чем поехали?

— На Ахрамовиче.

— О, в кузове трястись!..

— Следующий раз легковую тебе подам. А пока в кабину посажу. Давай-давай!

— А мы уже билеты взяли,— с той же усмешечкой ответила она.

— Ай-ай-ай! Громадный расход понесли! Ну, ладно, поищу пойду, которые еще билетов не взяли.

Он двинулся дальше. Тоня метнулась:

— Григорий Ильич! Я поеду! Я вам помогу! — Он оглянулся. — Я сейчас! — торопилась Тоня. — Только переоденусь сбегаю...

Полина догнала ее, взяла за локоть:

— Стой, Тонька. Остановись, говорю. Можешь не переодеваться: не поедешь. В кино иди.

Тоня возмутилась:

— Что ты командуешь? Почему не помочь человеку? Ты же отказалась...

— А ты уж и рада, что я отказалась...

— Жадная...

— Вот и жадная...

Тонино оживление погасло.

— Пожалуйста! — сказала она, дернув плечиками, и скучная пошла назад, а Полина с веселым лицом поспешила за Шалагиным:

— Надумала все же, Гриша, тебе помочь.

— Больно платье шикарное, — поддразнил он. — Не испортишь?

— А что на него, на то платье, молиться, что ли? — сказала Полина.

— А правду говорят, — спросил Ахрамович, когда они втроем в Подборовье грузили на машину заготовленный Шалагиным лес, — будто ты Плещеева с мальчонкой к себе забрать собираешься?

— Не совсем так, — ответил Шалагин. — Два входа будут: один мой, другой его.

Полина, подняв бровь, поглядела любопытно.

— Это в том случае, — продолжал Шалагин, — если хозяйка моя не будет возражать.

— И хозяйка уже есть? — спросил Ахрамович.

— Да наметил.

— Хорошая?

— Да ничего вроде.

Полина, отвернувшись, силилась поднять бревно. Шалагин подошел, сказал с лаской:

— Дай я, Поля.

И такими добрыми глазами взглянул ей в глаза, что озарилось, смягчилось, стало девичьим от растерянности ее дерзкое лицо.

Снова, как когда-то, шел Плещеев утром на завод. Он был побрит и почищен. Шалагин вел его.

Сотни людей их обгоняли.

— Здоров, Леонид! — окликнул знакомый. — На работу, что ли?

— Я — только попробовать! — сказал Плещеев. Беспокойная усмешка являлась и пропадала на его губах. — На автомат какой-то ставят... Не получится — бывайте здоровы!

— Слышишь, Григорий, — капризно сказал он Шалагину, — не понравится — уйду, и ты ко мне тогда не приставай.

Несколько парней приостановились у входа в цех, глядя на приближающегося Плещеева. Они молча расступились перед ним. Он шагнул — и во мраке, окружающем его, услышал родной, деятельный, многоголосьный шум цеха.

Это не тот был жалостный вид, что у Плещеевых на постройке. Двое здоровых, сильных взялись за дело. Пилили ли они, работал ли Шалагин рубанком, подносила ли ему Полина готовую оконную раму, — все у них получалось ловко, споро, им на радость. И выросал дом.

Светил месяц на белые стружки, на брошенный топор. Шалагин и Полина сели передохнуть. Он нарезал хлеб складным ножом. Пили молоко, передавая друг другу бидончик. И Жук был тут же.

— Была ты Алешиной женой, — говорил Шалагин, — не то что сказать что-нибудь — сам перед собой старался делать вид, что ничего у меня нет к тебе...

Полина смотрела на месяц.

— Ты, конечно, Алешей на все сто процентов была занята, иной раз встретимся — даже не заметишь меня...

Она повернула голову и серьезно, внимательно оглядела его лунно-светлым взглядом.

— А то улыбнешься, поздороваешься — хожу и тоже улыбаюсь, как малахольный...

— Надо же! — шепнула Полина. — У меня и мысли не было... Ты все с девчонками гулял. Не похож был на вздыхателя.

— Еще чего! — сказал Шалагин. — Это уж совсем было бы ни к чему.

— Я... — начала она, глотнула воздуха и замолчала.

— Что?

— Да нет, так... Ты, наверно, про меня чего ни слышался...

Она говорила с трудом, запинаясь.

— Это им ничего не стоит — разобрать человека по косточкам... Никто не подумает, что женщине нужно... Женщине основа жизни нужна. Если она взялась за руку, то чтоб в уверенности была, что крепко...

Он взял ее за руку.

— Все будет хорошо, Поля.

— Разве может быть, как было? Как было — никогда уже не будет.

Молоденькие мы были...

— Погоди, может, лучше будет, — сказал Шалагин.

— Тогда у нас за плечами, — сказал он, — ничего, кроме юности, не было, а сейчас оглянешься — ух ты, сколько!..

— Глянь на меня, — сказал он.

Леня Плещеев прибежал в барак, где жила вдова Капустина со своими четырьмя детьми: сыном Павкой и тремя девочками поменьше, похожими друг на друга, как три белых мышонка. Девочки выносили из барака узлы и всякую утварь, а Павка укладывал это имущество в тачку, стоявшую на улице.

— Переезжаешь? — спросил Леня.

— Как видишь, — солидно ответил Павка. Он прилаживал среди вещей небольшую коробку, перевязанную веревочкой.

— Не сомнеюсь? — спросил Леня. — Хочешь, я понесу?

— Не должна смяться.

Павка в их дружбе главенствовал. Он был ловок, крепко сбит. В семье между погодками-сестрами держался хозяином и мужчиной. Кроме того, у него имелись высшие интересы. В коробке, перевязанной веревочкой, находилась его коллекция марок.

Из барака вышла Капустина с узлом, за ней гуськом три девочки.

— Поехали! — сказала Капустина. — В добрый час!

Павка покатил тачку. Леня помогал ему руками и животом.

Капустины вселялись в новый пятиэтажный дом. Он только что был отстроен, пока один-единственный — там, где до войны тянулась целая улица высоких домов. Его окна еще забрызганы были мелом, кое-где лишь виднелись занавески.

В одной из квартир Капустиным предоставили хорошую, просторную угловую комнату.

— Мама, мама, — спрашивали девочки, — а где мы будем спать?

— Мы с вами в этой половине будем спать, — отвечала Капустина, — а Павка здесь. Это пускай его будет окно. Вы сюда не касайтесь.

— А почему Павке целое отдельное окно? — спросили девочки.

— Потому что он молодой человек, — ответила Капустина, и видно было, что этот молодой человек — главная в ее жизни любовь и надежда.

А Павка и Леня, небрежно оглянув квартиру, уединились в чистой, еще пустой кухне и занялись коробкой с марками.

— Вот это новая, — сказал Павка, раскладывая марки на плите. — Бразилия.

— Вот дьявол! — восхитился Леня. — И откуда ты достаем?

— Это мне старик дал. Знаешь — который зимой без шапки ходит. Ух, у него коллекция!.. Надо попробовать зимой ходить без шапки.

— А не загнемся?

— Старик не загнулся, а мы загнемся? — сказал Павка.

Они заворожено перебирали пестрые разноязычные марки, воплощавшие для них весь земной шар.

— Вот, везде побывать, — сказал Павка, — тогда можно умереть спокойно.

— Ясно, тогда и умирать не жалко, — подтвердил Леня.

Они говорили о смерти с беспечностью людей, убежденных в своем бессмертии.

И Сотников привез в новый дом свою семью. Прямо со станции привез жену, двух сыновей и старушку мать. Они поднялись по лестнице, шофер помогал нести чемоданы. Вошли в квартиру — там было пусто-вато, необходимо, но уже стояла нужная мебель. Старушка села в кресло и сказала:

— Прямо не верится

Сотников наклонился, поцеловал ее седую голову, прикрытую старинным черным кружевным шарфом:

— А ты, мама, прекрасно выглядишь.

— Говори громче, — вполголоса сказала жена. — Она слышит неважно.

Жена Сотникова была не первой молодости, судьба трудовая и скитальческая была написана на ее лице, руках, одежде. Она сразу принялась разбирать чемоданы, устраивать детям постели, готовить чай.

Сотников с мальчиками вышел на балкон. Оттуда, с высоты, как на ладони был виден завод, железная дорога, шоссе с бегущими машинами.

— Вот, ребята, — сказал Сотников, — мое хозяйство. Ничего?

— Ничего, — застенчиво откликнулся старший сын. Оба сына немножко стеснялись отца — отвыкли.

— А вон, — сказал Сотников, — самолет летит.

— Мы видали самолеты, — сказал младший сын.

— А вон там, — сказал Сотников, — это еще следы бомбежки.

— Мы видали бомбежку, — сказал младший сын.

Потом оба мальчика крепко уснули вдвоем на одной кровати, а для Сотникова с женой настал час тихого душевного разговора.

— Как я устала, — сказала жена. — Если бы ты знал.

— Теперь отдохнешь, — сказал Сотников.

Наступила ночь. Публика расходилась с последнего киносеанса Гасли окна.

По шоссе по направлению к поселку шла машина.

Последние парочки исчезли с улиц. Закрылся магазин, сторож уселся возле него на ночное дежурство. Машина тихо въехала в поселок, заскользила по улицам и пустырям, остановилась перед новым домом.

Резко прозвучал в тишине звонок. Позвонившие неподвижно ждали на лестничной площадке. Отворил Сотников, в пижаме.

— Что такое? — спросил он недовольно.

— Сотников, Александр Васильевич? — спросил один из ночных гостей.

— Ну?..

Ночной гость сказал скороговоркой:

— Ознакомьтесь — ордер на производство у вас обыска с последующим вашим арестом.

Сотников не взял бумажку. Лицо его стало тяжелым, старым...

На обратном пути машина прошла, ныряя по колдобинам, мимо плещеевской хибарки. Плещеев как раз выходил из дому, стоял на пороге. Невидящими глазами проводил он прошумевшую мимо машину.

Арест директора был, само собой, предметом раздумий и волнения. Перешептывались боязливо на заводском дворе, в курилках, в кабинетах заводоуправления. Перешептывались женщины с ведрами у водо-разборных кранов. И пронзительно озираясь, безмолвный и загадочный проходил по заводу Мошкин, весь как бы изнутри светящийся бдительностью. Что-то в нем вдруг проступило в высшей степени сурово государственное.

Старик Прохоров, придя с работы, спросил у Ульяны:

— Слышала?

Она ответила вопросом:

— А тебе ничего быть не может? Он к нам заходил...

— А!.. — С тоской и отвращением махнул рукой Прохоров и ушел.

А Полина пришла веселая, помолодевшая.

— Ну вот, мамаша, — сказала она. — Не буду вас больше обременять.

— В общежитие уходишь, что ли? — сухо спросила Ульяна.

— Не в общежитие — замуж.

— Это за кого же?

— Угадайте, нетрудно.

— За Шалагина? — упавшим голосом спросила Ульяна.

— А что — плохой жених?

— Ты-то больно хороша невеста.

— Чем же это я так уж нехороша?

— И он, змей, — сказала Ульяна, — чуть ли не родным прикинулся, пришел и чужую вдову сманил... И трех лет не прошло!

Полина резко засмеялась.

— Да разве бывают чужие вдовы? Вдовы, мамаша, ничьи... А три года — дайте сосчитаю — больше тысячи дней. Тысяча дней, это надо же!

— Ты эту тыщу дней даром не теряла...

Они обменялись ненавистным взглядом.

— Уходи отсюда, — сказала Ульяна. — Забирай свои манатки и уходи, и чтоб Гришки тоже духу здесь не было.

Она отвернулась и не оборачивалась, пока Полина собирала свои вещи. Портрет Алексея и молоденькой Полины смотрел со стены.

— До свиданья, мамаша, — сказала Полина, собравшись.

Ульяна не ответила. Весь ее вид выражал осуждение, непонимание, **беспомощность.**

— Алешенька! — зарыдала она, когда Полина ушла. — Сыночек! Алеша!

Так, рыдающей перед портретом, застала ее зашедшая Фрося. Быстро сообразила, взяла за плечи ласково:

— Ульяна Федоровна, голубушка, слезами не вернешь, его святая воля...

— Фросенька! — бессвязно жаловалась Ульяна. — Никого не осталось... Хоть бы внук либо внучка... Околевать вдвоем старым...

— Ульяна Федоровна, — сказала Фрося, — вы помолитесь. Молитва горе умягчает. Легче вам будет. И Алеше вашему радость, что за него мать помолится. Давайте вместе: упокой, господи, душу усопшего раба твоего война Алексея.

— Упокой, господи, — повторила Ульяна.

А Полина жаловалась Шалагину — и так не похожа была на счастливую новобрачную:

— Как я к ним пришла когда-то, когда меня Алеша привел... и как ушла... Как будто я виновата, что его убили...

А Шалагин утешал ее, говоря:

— Ничего. Ничего. Все наладим. Все залечится. Ничего.

Десять лет прошло.

Старый тополь изменился мало, а молодые выросли и окрепли... Не узнать поселка, только река да лес остались на своих вековых местах, да завод стоит, где стоял, а остальное все наново. На месте временного клуба появился Дом культуры, большой, по недавним временам — модный, с колоннадой и высокими ступенями, как у паперти. Громадные просторы той части поселка, что покрыта была развалинами, землянками, бараками, — эти просторы застроены аккуратно распланированными большими домами со сквериками и уютом. К реке спускается крыло поселка. Там стоит дом Шалагина. Чем ближе к реке, тем больше похож поселок на деревню с вольно разбросанными домиками, огородами, петушиными криками и лодками на берегу. И так как поселок все стремится расширяться, прихорашиваться, достраиваться и перестраиваться, то вперемежку с местечками благоухоженными и даже вылощенными в нем встречаются местечки вовсе неблагоухоженные, немощные, разрытые, с кучами песка и щебня, со сваленными строительными блоками и трубами...

В Доме культуры шло собрание. Большой зал был битком набит. С трибуны читали материалы XX съезда партии. Был март 1956 года.

Зал слушал не двигаясь, не перешептываясь, не кашляя — замер слушая. Тут были и Шалагин с Полиной, и Капустина, и старик Прохоров, и около Плещеева сидели два парня — его сын Леня и Павел Капустин.

Мошкин видел их всех, сидя за столом на эстраде. С одного лица на другое, подолгу задерживаясь, изучая, переводил он взгляд. За эти годы он приобрел начальственную осанку, то есть научился высоко держать подбородок и топорщить плечи, он был теперь на месте Сотникова — директор завода. Но никогда еще не всматривался он в зал так, как сейчас. Потому что привык видеть в зале массу, а сейчас ему важно было увидеть каждого.

При этом, однако, он избегал встречаться глазами с кем бы то ни было; с непроницаемым видом отводил их, едва возникала такая опасность. Так же поступила сидевшая у окна Фрося, когда чуть-чуть было не соприкоснулась с ним взглядом. При этом она потихоньку, незаметно для окружающих, перекрестилась под шарфом.

И Макухин с Ахрамовичем были в зале и слушали, гигант Ахрамо-

вич — в изумлении и испуге, Макухин — изобразив на лице благородное негодование.

Чтение закончилось. Выступлений не было. Так же тихо, благообразно расходились, как слушали.

Плещеев пошел с Шалагиными, а Леня с Павлом. Некоторое время парни шли молча.

— Нет! — сказал Павел. — Я знаю, что ты думаешь, — нет!

— Твой отец в бою погиб, — сказал Леня, — мой — зрение потерял... Шли со словами — за Родину, за Сталина...

— Ну, лично я считаю, — сказал Павел, — слова — это на собраниях. Настоящее дело молча делается... Убили отца, да. Но мне это обидно связывать... Не за Сталина он погиб! За жизнь народ боролся, за все, понимаешь, что своими руками сделал и собирался сделать...

— Не персонально за Сталина, — согласился Леня, — но все-таки... как-то... Всегда, наверно, трудно такие вещи узнавать. Спокойней, должно быть, не узнавать... Правда же!

— А еще бы! — воскликнул Павел. — Конечно, растительной жизнью куда спокойней жить! Чтоб ни о чем голова не болела — делай, что тебе велят, и ладно. Слушай, много ли мы с тобой вообще-то думаем? Работа, да учеба, да киношка, да девчата...

— Я, наверно, много пропустил, когда читали, — говорил Павел дальше, — а почему — потому что я слушал-слушал и задумывался. задумуюсь и перестаю слышать... Пусть трудно. Но я все хочу знать. Так лучше.

Потом они говорили о себе.

— У тебя, значит, все решено, счастливый, — сказал Леня.

— Да. Летаем, Ленечка. — Павел легко перескочил через лежащую у них на дороге трубу.

— Полетишь, все повидаешь...

— Жалко, что не вместе, — сказал Павел. — Здорово было бы.

— Ну, где мне, — сказал Леня с горечью. — Я и проситься не могу. Я — сиделка.

Они замолкли и шли плечо к плечу, как братья. Их дружба стала с годами еще крепче. В этой дружбе Павел по-прежнему держался как старший, хотя они были ровесники, а Леня гордился им и смотрел на него с доверием и любовью.

Плещеевы жили теперь в доме, построенном Шалагиным и Полиной, и хотя к ним был отдельный вход и жизнь у двух семей была розная, — Шалагины присматривали за Плещеевыми и не назойливо их опекали. Когда после собрания Леня ушел с Павлом, Шалагины привели слепого к себе и усадили ужинать. О том, что было прочитано на собрании, почти не разговаривали. Шалагин сказал только:

— Вот так и Сотников, наверно, сгорел.

Но когда Плещеев вдруг заговорил повышенным тоном:

— Что ж это делалось, что делалось?.. — Шалагин положил руку ему на руку, остановил:

— Потом. Не хочу об этом говорить с кондачка. Подумавши хочу говорить. — После молчания добавил: — Думать в основном о чем надо? Чтоб больше не стряслось такое.

— Об этом. думай не думай, — сказал Плещеев, — от нас не зависит.

— Ну как не зависит! — возразил Шалагин. — Очень даже зависит. Теперь мы, брат, ученые.

— Дай я нарежу, — сказала Полина, увидев, как Плещеев режет мясо.

— Добрая ты, Поля,— сказал он благодарно.

Она грустно пошутила:

— Муж велит быть доброй.

И Шалагин поглядел на нее с выражением ласки и заботы, потому что помимо общих, громадных, вселенских дел у них были свои дела, от которых голова, как говорится, болела только у них двоих, и в этих делах имелась незадача, обида, печаль, мешавшая их счастью: не было детей, и гордая Полина, отложив свою гордость в сторонку, ходила в поликлинику и советовалась с Тоней, которая тем временем выучилась на гинеколога и принимала женщин в кабинете. Поликлиника была новая, отлично оборудованная,— тогодомишки, где Тоня когда-то делала Шалагину перевязку, и след простыл.

— Все ж таки, ну отчего оно может быть? — спрашивала Полина.— Сколько лет женаты, уже сколько могло бы детей быть — и ничего. Если уж у нас с ним организмы не здоровые, у кого ж они тогда здоровые? Сказать бы, он много раз ранен был; так доктора признали — это не причина. Неужели во мне причина?

Тоня выписывала рецепт. На ее бесцветном лице боролись разные чувства. Сопернице было плохо, соперница страдала, но соперница была пациентка, а она, Тоня,— врач. Поджатыми бледными губами Тоня сказала:

— Аборты делала, вот и причина.

— Так ведь давно...

— Очень может быть — это результат. Бывает. Попробуешь принимать вот это.

Полина уныло пошла с рецептом, а Тоня глядела ей вслед — какая она красивая, сильная, привлекательная даже в унынии.

Что это за шаги слышатся, сперва негромкие, потом все ближе — и вот они рядом? Это заживо погребенные выходят из своих безвестных могил, забытые выходят из забвения, это Сотников идет по заводу.

Он шел мимо новых цехов, заходил — смотрел на новые машины, останавливал взгляд на лицах. У фрезерного станка работала Фрося, степенная, как всегда. Пронзительно взглянула на приближавшегося Сотникова, опустила глаза на работу. И он смотрел на нее пристально, вспоминая,— не вспомнил, прошел. Фрося с облегчением подняла взор к потолку.

Во дворе навстречу Сотникову попался Ахрамович. Таким же изумленным стало его лицо, как тогда на собрании.

— Здравствуйте! — сказал он празднично и снял шапку.

— Добрый день,— ответил Сотников.

— С возвращением! — сказал Ахрамович.

— Спасибо.

Сотников прошел. Ахрамовичу стало неловко.. Подошел Макухин.

— Видал, Сотников вернулся! — сказал Ахрамович.

— М-да,— сказал Макухин.— Не все ему обрадуются...

Из машинного отделения вышел Прохоров. Не в его характере было ликовать вслух, но сейчас он, широко улыбаясь, шагнул к Сотникову:

— С приездом, Александр Васильич!

— Здравствуйте, Дмитрий Иваныч,— отозвался Сотников, остановившись. Он был приветлив, но какая-то новая появилась в нем сдержанность, почти замкнутость.

— А вы не постарели, Александр Васильич,— сказал Прохоров, желая всячески его приветить.— Ей-богу, если постарели, то самую ма-

лость! Заходите к нам, по старой памяти. Милости просим. Мы теперь в новом доме, сейчас вам адрес запишу.— Он торопливо вытащил блокнотик и карандаш, стал писать. Сотников вежливо ждал.

— Вот,— протянул Прохоров листок.— Сегодня же, вечером!

— Постараюсь,— сказал Сотников.

— Как супруга, детишки, все ли благополучно?

— Спасибо, всё в порядке.

И, кивнув, Сотников пошел своей дорогой.

Во втором этаже заводоуправления сквозь стекло смутным пятном глянуло внимательное лицо — Мошкин...

Вечером старики Прохоровы, приодевшись, сидели в своей новой квартире с радиолой и телевизором и ждали.

— Хватит,— решительно сказал Прохоров.— Хватит ждать. Ужинать давай.

— Сколько тебя из-за него таскали,— не выдержала Ульяна,— сколько допрашивали, как ты его выручить старался, а он не пришел. И не предупредил даже. Уж предупредить мог бы. Были когда-то земляки, а теперь, видать, мы для него мелкая сошка.

— Сошка? — возмутился Прохоров.— Это что значит? Что это за слово такое? Сошек нет на свете, это слово, знай, глупые люди придумали и подлые, да, подлые, а в моем доме чтоб я этого слова не слышал!..

Мошкин обитал в заводоуправлении за обитой дерматином дверью, на которой висела дощечка: «Директор». Он проводил там время до позднего вечера, и с ним бодрствовали в боевой готовности секретарши и телефонистки.

Он сидел под канцелярской лампой слегка постаревший, научившийся начальственно держать подбородок и плечи, облаченный в штатский костюм,—при этом новый пиджак сидел на нем так же нескладно, как в былые времена старый китель, потому что меньше всего интересовало Мошкина, что как на нем сидит.

При виде Сотникова, вошедшего в приемную, секретарша вскочила, побежала в кабинет. Сотников усмехнулся и прошел за нею, не дожидаясь, пока она доложит.

Лицо Мошкина, освещенное лампой, не дрогнуло.

— Это вы,— сказал он равнодушно.— Мы, помнится, договорились, что вы начнете принимать дела с завтрашнего утра.

— Поговорить надо,— сказал Сотников и сел напротив. Взглядом Мошкин усматривал секретаршу.

— Что ж, поговорим. Курите.— Мошкин придвинул папиросы. Сотников достал свои, зажег спичку, закурил.

— Я слушаю,— сказал Мошкин.

— После реабилитации,— сказал Сотников,— следователь дал мне прочесть мое дело. Я прочел все.

— Да? — уронил Мошкин.

— Да. И скажу тебе так. Простить это — нельзя, а переступить через это — придется. Так что будем считать: не ты меня посадил. Сталин меня посадил.

— Конечно, Сталин,— сказал Мошкин.— Как бы я тебя посадил, смешно. Кто я такой, чтоб кого-то сажать?

— Почему приходится переступить? — продолжал Сотников, не слушая.— Потому что работать надо. А если бы не это — судить бы тебя...

— Нет! — сказал Мошкин.— Судить меня не за что. Ведь ты на самом деле говорил те слова — ну, помнишь? Насчет кадров, что дол-

жен советоваться? Насчет свежего ветра?..— Мошкин перечислял, многозначительно прижмурив глаз.

— Да я это где угодно и когда угодно скажу!

— Сейчас-то — конечно. Сейчас это безопасно, даже поощряется... Раз говорил — судить меня нельзя. Я сигнализировал — и каждый обязан сигнализировать, сам знаешь, не маленький. А что тебя посадили — при чем тут я? Ты бы не сигнализировал на моем месте?

Сотников брезгливо сморщился.

— Другое дело, — сказал Мошкин, — что обо мне никто никогда ничего не мог, не может и не сможет сигнализировать!

— Ничего ты не понял, обреченный ты человек, — сказал Сотников.

— Зато ты опять в полном порядке, — сказал Мошкин. — Вернулся — и обратно на старое место, заводом командовать.

— Открой секрет, Мошкин: как это ты им командовал эти годы, с твоим-то багажом?

— Не уязвишь, — сказал Мошкин. — Потому что мне ничего не надо, я солдат. Куда послали — это дело партии. Я иду, как солдат, сражаюсь, и все!

— Только не это слово! — сказал Сотников. — Не солдат ты, Мошкин, а совсем другое.

— А я не могу, — сказал Мошкин, — а мне противен, нутру моему противен гонор твой, барство, интеллигентский душок твой... Серьезный работник, а брюки сузил! Шестой десяток, в каких переплетах побывал, а брючки сузил, эх!

И вдруг Сотников расхохотался — звонко, по-молодому.

— Десять лет я про вас думал, — сказал он, — про вас, мошкиных, десять лет... а до такого не додумался. Чтоб когда я вернусь, ты бы, сукин сын, в душу мне и не посмотрел, на брюки бы мои посмотрел, — до этого не додумался я, нет... Брюки, надо же!.. А впрочем! Что мошкиным душа — чья бы ни было! Что ты о ней, подонок, знаешь! Ты не человеку служишь, так что тебе человек! Я ли, другой ли! Для тебя люди материал, материал, не больше!..

— Ругайся, — сказал Мошкин. — Смейся. Веры моей ты не поколеблешь. Ну, материал. И что? Спасибо скажите, что приняли вас на материал для великих целей. Сейчас твоя взяла... И не нервничай, не грибедся нам вместе работать — принимай дела, а я на другой работе перебуду до пенсии. Работу мне подберут, обязаны, как-никак номенклатура...

— Ну и правильно, — сказал Сотников, вставая. — Вряд ли у нас контакт получится. Об одном подумай: может, если перед судом своей совести ответишь, перед другим судом отвечать не придется. Вот о совести подумай.

— У меня совесть чиста, — твердо отвистил Мошкин.

В доме Шалагина, как уже сказано, были две половины, два крыльца. В одной половине комната и кухня, и в другой комната и кухня. С одного хода жили супруги Шалагины, с другого — Плещеевы, отец и сын. У Шалагиных перед крыльцом росла яблонька, у Плещеевых куст сирени. У Шалагиных было нарядно, кровать под покрывалом, цветы в горшках, а Плещеевы жили по-холостяцки, уютом не интересовались. Но сора у них не было — Полина следила, обстановка была крепкая и опрятная, — и отец и сын работали на заводе, зарабатывали, — на столе стоял хороший дорогой радиоприемник.

Плещеев-отец сидел у приемника, крутил ручку, перебираясь со станции на станцию. В комнате гремели бессвязные громы, обрывки му-

зыка и иностранной речи. Вдруг врывался голос с аэродрома, передававший сводку погоды: «Видимость пятьсот, ветер одиннадцать, направление северо-северо-восток». Леня рядом, в кухоньке, стоя читал газету, развернув ее на кухонном столе.

— Не только о тебе,— сказал Леня, входя с газетой, и Плещеев включил приемник.— Не только о тебе — и обо мне упомянули. А называется «Жизнь — подвиг».

— Мне уже в цехе Макухин читал,— сказал Плещеев.— С выражением. Ерунда, сынок. Гриша уговорил меня работать, я попробовал — вроде получается, ну и остался, чтоб не скучать. Так было дело. Житейское дело, а подвиг — это чтоб людям читать было интересней.

— Все равно приятно,— сказал Леня.— Сегодня вообще день хороший. Павка из училища приехал на целых три дня,— я с ним в Дом культуры схожу, ничего?

— Ясно, иди,— сказал Плещеев.— Чего тебе со мной сидеть, иди гуляй.

— Павка должен зайти, мы пойдем,— ответил Леня. Он прилег с газетой на оттоманку, а Плещеев вернулся к приемнику, и опять забродили по дому эфирные шумы.

За прошедшие годы, превратившие маленького Леню в молодого мужчину, Плещеев-отец почти не постарел. Он казался старшим братом своего сына. Самоуважение вернулось к нему, истеричность исчезла, осталась только некоторая склонность к рисовке. Он уверенно двигался в своем жилище, уверенно, как зрячий, брал папиросы со стола и закуривал. Движения его пальцев были легки, изящны и точны. Одет был хорошо и чисто, даже очки были новые, в красивой оправе.

— Как думаешь,— спросил он вдруг,— может, и она про нас прочтет?

— Может быть,— сказал Леня.

— Пускай там, что угодно,— сказал Плещеев,— пускай. новая семья, все-таки, наверно, приятно ей будет прочитать.

— Не знаю,— сказал Леня.— Думаю, приятно.— Он говорил холодно, как о чужом человеке.— Там, насколько я понимаю, и не семья. Не получается у нее...

— Раз не получается,— сказал Плещеев,— куда ж ей, как не сюда?..

— Нет,— сказал Леня.— Не приедет. Лично я давно уже не жду.

— Ты можешь не ждать, а я не могу. Мне нельзя не ждать. До сих пор все кажется — вот звонок зазвонит, и голос ее услышу.

Леня закрыл глаза, и мрак обступил его. Во мраке громче стали звуки из эфира; стало слышно, как дышит отец... Оглушительно, как будильник, как боевая тревога, зазвонил дверной звонок.

Плещеев слышал, как прогрохотали шаги Лени, вскочившего с оттоманки. Раздались голоса:

— С трудом выбрался. Семейство никак не отпускало.— Голос Павла Капустина.

— Заходи.— Голос Лени.

Плещеев перевел дух. Звуки стали нормальными, будничными... Он снова занялся приемником. Вошел Павел в курсантской летной форме.

— Добрый вечер, Леонид Антоныч!

— Добрый,— отозвался Плещеев.— С приездом.

— Читал в газете,— сказал Павел.— Очень здорово, поздравляю!

Плещеев ничего не сказал. вертел ручку. Из приемника донеслась мелодия, искаженная джаз-оркестром. Сладкий эстрадный голос пел «Землянку» на непонятном языке.

— Так пошли? — спросил Павел у Лени.— Там что, танцы сего-

дня? — Он стал мужественней, стройней, настроение у него было отпусное, праздничное.

— Танцы, — ответил Леня. — Дай галстук завязать.

— Идите, ребята, — сказал Плещеев.

Дом культуры был украшением поселка. Чего стоила одна колоннада по фронтому и площадь, обсаженная молоденькими деревьями, окруженная бесчисленными фонарями. Через площадь ко входу тянулись парни и девушки в лучших своих нарядах, отглаженных и начищенных так, как только бывают отглажены и начищены единственные выходные наряды. Небогатые рыцари не так, наверно, наводили лоск на свои скромные доспехи, отправляясь на турнир, как эта молодежь на свои ботинки, брюки, пиджаки, рубашки и платья.

— Настоящие летчики парашюта терпеть не могут, — оживленно рассказывал Павел, подходя с Леней к Дому. — Когда у нас объявляют прыжки, в медпункт выстраивается целая очередь — все находят у себя какие-нибудь болезни...

— А ты как? — спросил Леня, с восторгом глядя на товарища.

— Я не боюсь, но машина, конечно, надежней, чем тряпка.

Они вошли в зал, где играл оркестр и танцевали.

— Разобьем эту пару? — предложил Павел. Он показал на двух девушек, беленькую и черненькую, которые лениво вертели друг с дружкой в ожидании кавалеров.

Они разбили пару, Павел повел беленькую, Леня — черненькую. Танцую, Леня и не смотрел на свою даму, он следил за Павлом и не переставал восхищаться им. Павел танцевал отлично и с новшествами, ещё не виданными в поселке, — насколько возможны новшества в таком чинном старинном танце, как вальс. Мирная мечтательная музыка, мирная обстановка зала не предвещали ничего недоброго. Поэтому, когда раздался свист и громкий голос одного из молодых парней, стоявших у стены, — обернулись все.

— Эй, Наташка! — крикнул парень беленькой девушке, которая танцевала с Павлом. — Танцуй сюда!

Наташа подумала и пошла к парню. Павел с нею, поддерживая под руку. Как раз и музыка кончилась.

— Чего ты кричишь! — сказала Наташа. — Как в лесу!

И Леня вслед за Павлом подошел со своей черненькой.

— А как тебя звать, — спросил парень, — шепотом, что ли? Приятель мой с тобой знакомиться желает. Потанцуй с ним.

— Я уже обещала, — сказала Наташа нерешительно.

— Кому? — парень вызывающе кивнул на Павла. — Этому шпроту?

— Ну-ну! — миролюбиво остановил Павел.

— Костя! — с укором сказала Наташа. — Его зовут Павел.

— В чем дело? — спросил Костин приятель. — Я подожду, танцуйте, в чем дело?

Оркестр снова заиграл, на этот раз фокстрот.

— А я не подожду! — сказал Костя и подхватил Наташу. Она рванулась, он толкнул ее в спину. Павел, Леня, еще несколько ребят бросились к ним.

— А ну, вон отсюда! — сказал один из парней, энергично выталкивая Костю из круга танцующих.

— Да пошел ты! — отбивался Костя. — Не твое дело!

— Давай, давай отсюда. — сказал другой парень.

Костю вывели из зала. Инцидент был исчерпан, оркестр приутих с новым воодушевлением, танцы продолжались.

К Плещееву тем временем зашел Макухин. Он был неузнаваем: бритый, подстриженный, в новом, из магазина, костюме. При всем том в шалагинский двор он вошел осторожно, с оглядкой, и не позвонил, а тихонько постучал в окно.

— За тобой! — сказал он, когда Плещеев ему отворил. — Уважь, Леонид, — такой день, что отказаться не имеешь права! Даже моя мадам пирогов напекла.

— Ну сколько тебе, ей-богу, говорить! — сказал Плещеев. — Ну бросил я. Соблюдаю норму, а с тобой разве соблюдешь норму?

— Вот честное слово честного человека! — Макухин прижал ладонь к галстуку. — Выпьешь свою норму, и никто ничего тебе не скажет, а мадам даже в восторге будет, она тоже трезвенница. С представителями цехового комитета завтра отмечаю, а сегодня посидим по-домашнему, как старые друзья. Ну? Леонид! Уважь! Не каждый день человеку пятьдесят исполняется. И какие, Леонид, пятьдесят — трудовые! Рабочие! Ну? Леонид!

Из Дома культуры вышли вчетвером: Павел, Леня, Наташа и ее черненькая подруга. Перешли площадь — вдруг из тени им навстречу Костя и с ним человек пять-шесть приятелей.

— Павел, смотрите! — сказала Наташа, прижавшись к его плечу.

Костя стал перед Павлом.

— Ты что за начальник? — сказал он. — Отвечай: кто ты такой, чтоб над нами командовать?

— Иди-иди, парень, — сказал Павел.

— За такие дела, — сказал Костя, — знаешь что бывает? — Его приятели сбступили их стеной. — Мы тебе скажем, что бывает!

— Костя, ты выпил! — сказала Наташа. — Уйди! Ну, я тебя прошу!

Павел улыбнулся открыто и миролюбиво.

— Интересно послушать, — сказал он. — Хором будете рассказывать или по одному?

— Шпрот! — сказал Костя. И понес те дурацкие слова, какими хулиганье разжигает уличную драку средней руки.

— Ладно! Считаю — достаточно. — Павел начал сердиться. — Пропустите, хватит дурака валять!

— За такие дела глаза тебе выбить мало! — театрально хорохорясь, выкрикнул Костя.

Леню при этом слове как подменили.

— Глаза?! — переспросил он не своим голосом. — Ах, сволочь, ах, сволочь!

Он бросился на Костю.

— Ну, ну, ну, — сказал Павел. — Разойдись, брейк, ребята. — И встал между Леной и Костей, разводя их.

Никто ничего толком не заметил — все произошло очень быстро. Павел вдруг стал падать, закричала Наташа, метнулись, убегая, приятели. Костя постоял секунду, не сразу поняв, что случилось, потом тоже побежал прочь.

Павел лежал не двигаясь. Леня наклонился над ним, попытался поднять.

— Павка, Павка! — и тряс его в отчаянии, сам не понимая, что делает. Подбежали прохожие. Толпа увеличивалась, грозно плотнее в темноте.

— В спину, — переговаривались в толпе. — Нечисть проклятая. — А кто? — Найдут. — Расстреливать надо гадов — Парня-то не вернешь. — Чей парень-то? — Курсант какой-то, летчик. — Эх, летчик, долетался...

Подъехали машина скорой помощи и машина с милицией. Люди в белых халатах и форменных кителях прошли через толпу, положили Павла на носилки. Капитан милиции спросил у Лени:

— Вы были при этом?

— Да,— ответил Леня.

— И я была,— сказала Наташа.

— Поедете с нами,— сказал капитан.

Павла понесли, следователь стал писать в блокноте. Леня, Наташа и черненькая пошли за капитаном к машине.

— А зачем к ней сейчас идти, ночью? — сказал капитан.— Утром сходишь. Пускай поспит.

— Она не спит,— сказал Леня.— Она его ждет. Он только вчера приехал.

Разговор происходил в отделении милиции, после того как обо всем было спрошено и записано.

— Ночью — это хуже нет родным сообщать,— настаивал капитан.— Уж ты мне поверь Опыт имею.

— Ладно,— сказал Леня.— Если света нет у них в окнах,— утром схожу.

Огни в окнах гасли один за другим, только улицы оставались светлыми линиями в засыпающем поселке. да светлыми полосками висели лестничные клетки в высоких домах. Вдруг разом выключили уличное освещение — спать пора людям. Леня шел по темной улице, и за ним, на расстоянии, Наташа с подругой.

— Леня! — робко окликнула Наташа.— Может, правда лучше утром?

Леня молчал.

— Леня! Как же вы скажете?..

Леня молчал. Он увидел — окна угловой комнаты Капустиных освещены, там не спят.

Он вошел в подъезд. Беленькая и черненькая, не осмеливаясь ни войти, ни удалиться, сели на каменном крыльце. Ноги их устали от высоких каблуков, и они сняли туфли и поставили рядом. И сидели не говоря ни слова, подпершись кулачками.

Бодрствовала только мать, дочери спали,— все три были еще тут, под материнским крылом.

На столе был прикрыт полотенцем ужин. Капустина стелила постель на диване — аккуратно, любовно — для Павла. Затревожиться она еще не успела, хотя и посматривала на часы — дешевенький будильник. Когда раздался звонок, пошла отворять со счастливым лицом. Увидела Леню, и в первый момент не дошло до нее, что он один. Потом спросила, все еще спокойно:

— А Павка?

Леня молчал,— она посмотрела на его лицо, попятилась... Леня медленно пошел за нею,— она все пятилась, глядя на него, все отступала от страшной беды...

...Она сидела у стола, ее узловатые, натруженные руки безжизненно лежали на коленях. Дочери проснулись, сидели на своих постелях, еще ничего не понимая. Белела постель, приготовленная для Павла.

— Я пойду,— громко сказала Капустина, вставая.

— Куда? — спросил Леня.

— А вдруг он ранен только? Леня, голубчик мой, вдруг он только ранен!!

Она безумно кинулась к двери. Леня ее перехватил. Дочери, забыв об его присутствии, вскочили, окружили мать:

— Мама, что ты, мама, не надо, мама!

Они усадили ее, гладили. Она стихла в изнеможении.

— Значит, еще и это,— сказала.— Значит, еще и это...

— Леня, ты иди,— сказала старшая из дочерей, увидев, что они в одних рубашках.— Мы с ней будем.

— Иди, Леня, иди,— сказала и Капустина.— Отец беспокоится твой, не надо беспокоить...

Одна из девушек, накинув платок, пошла запереть за Леньей.

— Поймают их? — спросила она.

— Уже поймали, наверно.

— Кто же они? — спросила девушка. Она стояла перед ним в передней босая, в рубашке, с вязаным платком на плечах.

— Наши, здешние. Из поселка.

— Свои — своего? — сказала девушка.— Папу нашего — фашисты, а тут?..

Она не досказала, и они только посмотрели с Леньей друг другу в глаза, и взгляд этот был мрачный, остро непримиримый.

У Макухина было накурено так, что люди и предметы еле проступали в тумане. Ахрамович лежал на кровати, вытянувшись во весь свой рост, и мутно глядел в потолок. Плещеев стоял у двери, собираясь уходить, а Макухин его уговаривал:

— Ну послушай, не порти друзьям настроение, посиди. Ну мне это прямо обидно, что ты уже уходишь. Это ты загордился, что про тебя в газете напечатали,— ну и что? Про меня тоже в газете печатали,— ну и что?

— Про тебя печатали, что ты водку лакаешь без просыпа, вот что про тебя печатали! — прокричала из-за перегородки жена Макухина. Она уже легла, но не могла спать.

— Леонид! — Макухин держал Плещеева за рукав.— Ведь пятьдесят лет! А лет было мало, всё больше зимы, Леонид, всё больше зимы! А Ахрамович рухнул,— что ж мне, одному отмечать юбилей?

— Нет, я пошел,— сказал Плещеев, стараясь держаться трезвым, хотя заметно перебрал свою норму.

— И давно пора! — крикнула жена.— Выметайтесь все, юбилейщики!

— Я пошел, пошел,— повторял Плещеев.

— Я тебя провожу, Леня,— сказал Ахрамович и заснул богатырским сном. Плещеев один вышел в темноту.

Шалагин и Леня стучались к Макухину.

— Кого еще черти несут? — провизжала жена.

— Плещеев у вас?

— Нету Плещеева! Домой ушел!

— Как, один, ночью?! — яростно спросил Шалагин.

— А ему не все одно, что день, что ночь? — озлобленно спросила женщина.— Провожатых-то нет. Дрыхнут провожатые.

Шалагин и Леня двинулись дальше на поиски.

Плещеев шел, постукивая палкой по тротуару. Палка ударилась о ствол дерева, выпала из рук. Он нагнулся было ее поднять, но зака-

чался, чуть не упал и пошел дальше без палки, с выставленными вперед руками.

Показалось недостроенное большое здание — об его близости Плещеева предупредили исчезновение тротуара, разрытая земля, колеи, проложенные машинами, дощечки, переброшенные через канавы.

— Уже близко,— сказал Плещеев, нащупывая ногой колею.

Колея шла, шла и свернула.

— Эй! — позвал Плещеев.— Люди! Теперь куда?

Но была глубокая ночь, никто не отозвался. Резко светили лампы... Плещеев постоял и побрел дальше. Потеряв направление, забрел в глубь строительного участка и заблудился окончательно. То его вытянутые руки упирались в штабель блоков, то оскользнулась нога на мокрой глине, и, стремясь удержаться, он хватался за что-то, и это что-то оказывалось кучей песка, и в сыпучий песок уходили пальцы... Но вот он очутился перед стеной. Его пальцы определили точно — это стена. Они нащупали дверной проем.

— Кто тут есть? — позвал Плещеев.— Эй, хозяева!.. — И споткнувшись, полетел в глубь дома.

На заводе кончилась первая смена.

Леня Плещеев почти бегом бежал домой. Распахнул калитку и увидел — на крыльце стоит женщина.

Мать. Он узнал ее сразу.

Они друг на друга смотрели и не могли сказать ничего. Наконец она сказала:

— Ленечка...

Он отозвался растерянно:

— Здравствуйте...

— А я звоню-звоню,— сказала она еще растерянней.

Он открыл дверь. Внес ее вещи. Это надо было, он это сделал. Что еще надо — не знал, не соображал. Так неожиданно. И отвык.

Это был совсем-совсем не тот мальчик в ушанке, что ушел от нее когда-то в вьюжную ночь. И жилье было другое. И она, Мария, другая. И по всем этим причинам, и по многим другим вместе взятым, она горько плакала, сидя на оттоманке,— исходила слезами. И была похожа не на жену, мать, хозяйку, вернувшуюся домой, а на гостью, которую не ждали. Так сиротливо стоял на полу ее багаж: туго набитая авоська и старый чемодан, перевязанный веревкой, чтоб не раскрылся.

— А папа где же? — прошептала она, сморкаясь.

— В больнице.

Она испугалась:

— Что с ним? Опасно?..

— Ничего,— совсем по-шалагински ответил Леня.— Обойдется. Могло быть хуже... Завтра пойдем к нему. Вместе.

— А может,— спросила она,— он не захочет, чтоб я?.. Может, лучше спросить сначала... У него?

— Да нет же! — сказал Леня.— Он рад будет! Честное слово! Он звонки слушал, ждал...

— Господи! — задыхаясь, прошептала Мария.

Лене и жалко было ее, и тягостно, все бы, кажется, отдал, чтоб обошлось без слез,— и, конечно, сумбур в его чувствах был полнейший.— но ему было некогда, он ужасно спешил и сказал:

— Ты не обижайся, мама, мне уходить надо.

Она вся сжалась и быстро ответила:

— Конечно, иди, куда тебе нужно.

Он увидел, что сделал ее уж окончательно несчастной.

— Ты не думай, я... я на похороны иду. Товарищ мой... Ты его, наверно, помнишь: Пава. Капустин.

И то, что он ей это сказал, как бы поделившись с ней своим горем и так просто, без всякого укора, упомянув об их прежней совместной жизни,— облегчило Марию.

— Помню, помню! От чего ж он?.. Ну потом расскажешь, потом!

Леня наспех переоделся и убежал.

Мария прошла по квартирке, осматриваясь робко. На вешалке висело пальто, она осмотрела его с особым вниманием; даже понюхала... Села над своим чемоданом, стала развязывать веревку,— похоронный марш донесся издалека, глухие удары, словно говорящие: «И не жди, и не надейся, ничего уже не будет хорошего»,— опять затосковала Мария, упали руки...

Павла хоронил весь поселок.

Шли старики и старухи, и молодежь, и пионеры, и начальники, и просто жители.

И девушка Наташа шла, и ее черненькая подружка.

И Шалагин с Полиной.

Шли курсанты летной школы, прилетевшие на похороны.

Шла за гробом сына Капустина и три ее дочери.

Медленно двигался грузовик, на котором высоко стоял гроб.

Венками из цветов и свежих веток был завален грузовик.

И ухал, ухал в уши Капустиной похоронный марш.

... В больнице был так называемый впускной день. На людях Мария совладала с собой, даже пыталась весело улыбаться, когда они с Леной в накинутых казенных халатах подходили к койке, на которой лежал Плещеев. Из-за своего злосчастного падения он лежал в гипсе. Глубоко в подушки уходила его голова.

— Вот и я,— сказал Леня, стараясь говорить обыкновенным своим голосом.— Молока тебе принес, хочешь не хочешь — пей, доктор велел...

— Кто с тобой? — спросил Плещеев.— Кто с тобой пришел?

Мария, затаив дыханье, стиснула руками горло.

— Да понимаешь,— неестественно-развязно сказал Леня,— вчера прихожу домой, открываю калитку...

— Маруся! — тихо позвал Плещеев.— Ты здесь?

— Да,— ответила Мария.

На них смотрели и больные и посетители. Только Леня отвернулся, он выкладывал из авоськи на тумбочку принесенные гостинцы.

— Здравствуй, Маруся,— тихо сказал Плещеев и протянул здоровую руку.

— Здравствуй,— сказала Мария.

— Сядь сюда.

Она села.

— Какой ты стал! — сказала она.— Красивый... молодой...

— А какая ты? — спросил Плещеев.

Мария потерянно оглянулась на Леню. Тот посмотрел на ее увядшее лицо и твердо сказал:

... Мама тоже очень красивая.

Вдалеке от новых домов, на дальнем конце поселка, на отшибе, окруженный пустырями, с довоенных времен сохранился домишко, весь черной, боком осевший в землю. Там обитала Фрося.

Маленькие кривые окошки были завешаны, и по вечерам на зана-

весках двигались тени, и виден был неровный колеблющийся свет, и слышалось пение.

Открывалась скрипучая дверь, выходили люди. По двое, по трое расходились, тенями пересекая безлюдный пустырь.

В домишке оставалась одна Фрося. Она гасила и прятала тонкие, как спички, темные свечки, горевшие перед иконами. Прибирала в комнате... После этих молений она бывала в состоянии безмолвной иступленности. Глаза ее горели диковато.

Так она жила, пока однажды Капустина не обратилась к Сотникову:

— Александр Васильич, помощи. Нужно одной работнице квартиру срочно. В новом доме.

Капустина была теперь секретарем парткома. Разговор происходил в парткоме, и там находился в то время старик Прохоров.

— Квартирами занимается жилищная комиссия,— сказал Сотников.— Они в этом деле больше хозяева, чем я.

— Комиссия отказалась включить ее в список,— сказал Прохоров.— Недопонимают товарищи, что тут надо в первую очередь.

— И обязательно в населенном доме,— сказала Капустина.

— Что за работница? — спросил Сотников.

— Иванова, фрезеровщица.

— Да вы ее, Александр Васильич, знаете,— сказал Прохоров.— Она на заводе давно. Помнится, вы как-то к нам домой заходили и она пришла. Еще в землянке, помните?

Он спохватился, что как бы напоминает Сотникову, что прежде между ними существовали более простые и дружеские отношения, и замолчал. А Сотников сощурился, вспоминая, и вспомнил: как он сидел у Прохоровых, и на ступеньках показались аккуратно ступающие ноги, и какая-то женщина вошла и села в уголку, и он при ней сказал те слова, которые были ему вменены в преступление.

Потом он вспомнил, как, вернувшись из лагеря, обходил завод и в одном цехе женщина смотрела на него очень уж пронзительно, она показалась ему тогда знакомой. Это, должно быть, и есть та самая фрезеровщица Иванова.

— Почему же,— спросил Сотников,— ей нужно в первую очередь и обязательно в большом доме?

— Потому что у нее отсталый элемент молится,— объяснила Капустина.

— А вы что же, товарищ секретарь парткома,— удивился Сотников,— хотите им удобства создать? Чтоб в новом доме молились?

— В новом доме они не будут,— сказала Капустина.— Ни в коем случае. Шутите — кругом люди, а им церковное петь. Постесняются. Слышимость в новых домах — сами знаете. Это они к ней бегают, поскольку шито-крыто.

— Точно,— сказал Прохоров.— Им при слышимости неинтересно.

— Может, и интересно,— сказала Капустина,— да неловко перед общественностью.

— Как работает она? — спросил Сотников.

— Да работает старательно,— сказала Капустина.— Вот ведь какая проблема.

— Да, проблема,— вздохнул Сотников.— Много у нас проблем... Посидеть бы как-нибудь, поговорить обо всем по душам, откровенно...

Он чувствовал стыд, что незаслуженно сторонился Прохорова, и этими словами как бы просил старика забыть об этом и вернуться к прежним отношениям.

— А я вас, Александр Васильич, давно для разговора жду,— не

сдержался Прохоров.— Сказали, постараетесь зайти, и нет вас и нет, а материалу поговорить накопилось — ой-ой!

— Я приду, Дмитрий Иванович,— ответил Сотников, выслушав виновато.— Приду...

Леня уезжал в летное училище. На станции его провожали заводские ребята, родители и три сестры Капустины.

— И пожить не успели вместе,— говорила Мария мужу.— И привыкнуть он не успел ко мне.

— Он давно летать хотел,— сказал Плещеев.— Пусть летает.

Поезд тронулся. Еще раз Леня прощался со всеми из вагонного окна: Плещеев шагнул к вагону, протянул наугад руку — Леня взял ее, сжал... Мария подхватила мужа.

— До свиданья, отец! — сказал Леня.

— Летать тебе счастливо, сынок! — сказал Плещеев.

Поезд набирал скорость. Молодежь расходилась. Плещеевы остались одни на платформе.

Из станционного буфета вышли Макухин и Ахрамович. Макухин засовывал в карман поллитровку.

— Святое семейство,— сказал он, заметив Плещеевых и остановившись.— Провожали гармониста в институт.

— Пойдем,— сказал Ахрамович. Он даже испугался.

— Ничего подобного,— сказал Макухин.— Самое время sprыснуть проводы. Пойдем, пригласим — по случаю, в честь и так далее.— И свистнул: — Эй!..

И вдруг робкий, спокойный гигант Ахрамович взъярился.

— Ты!..— сказал он, хватая Макухина за шиворот.— Оставь его, гад, слышишь, оставь его, оставь его, а то я тебя башкой об рельсы — пыль пойдет!..

И зашагал прочь, почти неся Макухина, как котенка.

Мария обернулась, увидела их и вздрогнула.

— Ты что? — спросил Плещеев.

— Старых дружков твоих увидела.

— Не бойся,— сказал он.— Ничего теперь не бойся.

Некоторое время они шли молча.

— Я перед тобой так много виновата,— сказала Мария,— так много.

— Нет, Маруся,— сказал Плещеев.— Это я виноват. Я просто дождался не мог, когда ты вернешься, чтоб сказать тебе, что это моя во всем вина. Во всем... Просто боялся умереть, не сказав.

Опять шли молча, а потом Мария сказала:

— И как ее, жизнь, прожить, как организовать, чтоб шла она по ровной дорожке, от начала до конца, нигде не споткнувшись?..

Мошкин ушел на пенсию и жил в деревне, в небольшом доме. На крыше торчала антенна, у калитки висел почтовый ящик, а Мошкин во дворе возился с цветами, полыл и поливал, как заправский пенсионер. Но при этом мрачное и боевое выражение его лица как бы говорило: «Я делал, что мог, я поступал единственно правильно, вы меня не оценили — ну что ж, нате вам, я поливаю цветы, вам же хуже!»

К калитке подъехал на велосипеде пожилой мужчина — тот, что когда-то дал Шалагину лес для стройки.

— Доброе утро, Пантелеймон Петрович.

— Что скажешь, председатель? — спросил Мошкин, игнорируя приветствие.

— Прямо сказать, опять с просьбой к вам.

— Доклад вам сделать? О чем?

— Да нет, не доклад на этот раз,— деликатно ответил председатель.— Понимаете, какое дело, вы, конечно, человек в годах, и на персональной пенсии, и безусловно имеете право на покой, но мы сейчас все решительно силы мобилизуем на уборку, если б вы были так добры...

— Ну а как же! — сказал Мошкин.— Приду и помогу, не беспокойся. Где мобилизация, там Мошкин всегда. Будь уверен! По первому сигналу в битву! Какой может быть покой! Силенка еще есть, вот попробуй.— Он дал председателю пощупать бицепс. Председатель пощупал и пощелкал языком.

— Так на второй бригаде сбор, пожалуйста,— сказал он, уезжая. Мошкин опрокинул лейку и ушел в дом.

Он шел среди полей и увидел Фросю. С чемоданом на плече она шла ему навстречу по пыльной дороге. Оба остановились.

— Здравствуйте, Пантелеймон Петрович,— сказала Фрося вежливо.

— Ты откуда здесь? — спросил Мошкин.

— В совхоз наниматься приехала,— сказала Фрося и вздохнула.— Ушла я с завода-то.

— Что так?

— Да что, Пантелеймон Петрович,— сказала Фрося.— Сами знаете, жила я на краю поселка, на свежем воздухе. Лес в двух шагах. А меня выселили в новый дом, в самом центре. Сажка, копоть. Мне здоровье не позволяет. А вы как живете?

— Вот,— сказал Мошкин,— урожаем убирать иду.

— Зачем вам урожаем убирать,— изумилась Фрося,— такому человеку выдающемуся...

— Надо убирать! — сказал Мошкин.— С людьми быть надо! Знать, чем они дышат! Все течения жизни улавливать! Призовут меня снова к деятельности — чтоб был я готов!

— Ясно,— протяжно сказала Фрося.

— Это ты, понимаешь, на религию всю жизнь просадила, противно смотреть...

— Ну что ж,— сказала Фрося.— И я у господина как бы в запасе. Так я себя понимаю. Придет мой час — и позовет меня господь во славу его на сподвижничество. Прощайте, Пантелеймон Петрович.

Поклонилась и пошла. Облачко пыли тянулось вслед за ней по дороге.

Утром взмывает в небо могучий гудок. Долго плывет над широкой рекой и медленно смолкает, словно спускаясь на землю...

Он смолк, и новый стал слышен звук, идущий с высоты. Шалагин в это время подходил к проходной, пропуская вперед Плещеева. Нахмурившись, Шалагин приостановился невольно, глянул вверх. И Плещеев поднял голову, черные очки его сверкнули на солнце.

В небе быстро вытягивались три белые полосы, венчаные блестящими черточками реактивных самолетов.

Шалагин улыбнулся и вошел в проходную в бесконечном потоке других людей...



С. МАРШАК

★

ИЗ СТИХОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

У Томаса Манна есть очень верные слова о том, что перед каждым зрелым художником в определенный период встает реальная опасность не успеть многого из того, ни что он еще бывает способен.

Редко бывает так, чтобы писатель завершил все начатое, исчерпал свои замыслы и планы и, как говорят в народе, сбрался с полем, прежде чем перо выпадет из его рук и остановится сердце.

С. Я. Маршак сознавал эту опасность не успеть, хотя не любил говорить об этом, и очень спешил в последние свои годы, отягченные не отступавшим от него недугом. Спешил писать и даже спешил печататься, спешил прочесть в кругу друзей строфу или страницу, чуждый олимпийского безразличия к мнениям и суждениям о его работе. Жизнелюбец, труженик каждодневного литературного дела, он нуждался в живом, сегодняшнем печатном и устном отклике на свою работу. Это сообщало ему силы, скрашивало его дни вынужденного затворничества — в стенах ли своей рабочей комнаты, в палате больницы или санатория.

Иным из нас, близко знавшим поэта и до последних его дней встречавшимся с ним, могло казаться, что мы знаем все до строки, что он пишет, отдает в газеты и журналы или готовит для отдельных изданий. Но теперь, при самом беглом ознакомлении с его посмертными бумагами, обнаружилось прежде всего законченные стихотворения, лирические миниатюры, эпиграммы, четверостишия. Среди этих последних песен поэта, публикуемых нами на страницах «Нового мира», — многие только по времени написания или в силу особой взыскательности автора не вошли в его книгу лирики, удостоенную Ленинской премии.

Особенностью литературной судьбы С. Я. Маршака является то, что период лирического освоения мира, сосредоточенности сил на этом жанре, представляющем, так сказать, привилегию молодости, — этот период пришелся у него на годы, когда обычно слабеет или вовсе затухает жар поэтической мысли. Эту пору лирической активности С. Я. Маршака отделяет от его юношеских стихотворных опытов целое столетие, в течение которого читатели узнали, признали и полюбили Маршака — автора популярнейших книжек для детей, Маршака — драматурга, сатирика, первоклассного переводчика, публициста и литературного критика, редактора и воспитателя молодых литераторов.

И, однако, это обращение к лирико-философическому жанру в поздней зрелости, точнее сказать в старости, у Маршака отмечено глубиной и ясностью мысли, юношеской энергией интонации, непринужденной живостью мудрого юмора и если грустью, то не расслабляющей и безнадежной, но по-пушкински светлой и мужественной.

В этой лирике С. Я. Маршак опирался на богатейший опыт всей своей литературной жизни, в первую очередь — на опыт блистательной переводческой работы, сделавшей многие образцы поэтической классики Запада достоянием современной русской поэзии.

Публикуемые стихи — это только первые страницы из литературного наследия С. Я. Маршака, и они для нас как бы венок, посвященный его памяти, хоть и заготовленный самим автором.

Читателя еще ждут обширные публикации неизвестных переводов С. Я. Маршака, его статей и заметок и многого другого, являющегося частью того, что поэт не по своей вине не успел завершить.

А. ТВАРДОВСКИЙ.

* * *

Свои стихи, как зелье,
В котле я не варил
И не впадал в похмелье
От собственных чернил.

Но четко и толково
Раскладывал слова,
Как для костра большого
Пригодные дрова,

И вскоре — мне в подарок,
Хоть я и ожидал, —
Стремителен и ярок
Костер мой запылал.

* * *

Мой конь крылатый — пятистопный ямб —
Тебе пишу я этот дифирамб,
Стих Дантовых терцин и драм Шекспира,
Не легковесен ты и не тяжел,
Недаром ты века победно шел
Из края в край, звуча в сонетах мира.

Передаешь ты радость, гнев и грусть,
Тебя легко запомнить наизусть,
Ты поэтичен, но в терпимой дозе,
И приближаешься порою к прозе.
Невыносим тебе казенный штамп,
Размер свободный — пятистопный ямб.

Чуждаешься ты речи сумасбродной,
Не терпишь ты и классики холодной.
Ведут поэта, о волшебный стих,
И в ад и в рай пять легких стоп твоих.

* * *

Владеет морем полная луна,
На лоно вод набросившая сети.
И сыплет блёстки каждая волна
На длинный берег, спящий в бледном свете.

А кипарисы темные стоят
Над морем, не пронизаны лучами, —
Как будто от луны они таят
Неведомую ношу под плащами.

*К спектаклю «Виндзорские насмешницы»
в театре Моссовета*

Четвертый век идет на сценах мира
Веселая комедия Шекспира.
Четвертый век живет старик Фальстаф,
Сластолюбив, прожорлив и лукав.

Не книгой он лежит на полке шкафа.
Нет, вы живого знаете Фальстафа.
И множество фальстафов с ним в родстве...
Сейчас его увидите в Москве.

Не в Англии, где встарь Елизавета
С надменной улыбкой на лице
Комедию смотрела во дворце,
А в наши дни — в театре Моссовета.

* * *

Все те, кто дышат на земле,—
При всем их самомнении —
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рождения.
Но для чего страдать должны
Все эти отражения?

И неужели только сон —
Все эти краски, звуки,
И грохот миллионов тонн,
И стон предсмертной муки?..

Последний фонарь за оградой

Я еду в машине. Бензинная гарь
Сменяется свежей прохладой.
Гляжу мимоездом на бледный фонарь —
Последний фонарь за оградой.

Стоит он в углу и не ведает сам,
Как мне огонек его дорог.
Высокий фонарь сторожит по ночам
Покрытый цветами пригорок.

В углу за оградой — убогий ночлег
Жены моей, сына и брата.
И падает свет фонаря, точно снег,
На плющ и на камень шербатый.

В столицу бессонную путь мой лежит.
Фонарь за домами затерян.
Но знаю: он вечный покой сторожит,
Всю ночь неотлучен и верен.

* * *

Над городом осенний мрак навис.
Ветвями шевелят дубы и буки,
И слабые, коротенькие руки
Показывает в бурю кипарис.

Надпись на камне

Не жди, что весть подаст тебе в ответ
Та, что была дороже всех на свете,
Ты погрустишь три дня, три года, десять лет,
А перед нею — путь тысячелетий.

* * *

Если бы каждый, кто чем-то заведует,
Взял да подумал толково, как следует,
Задал себе совершенно всерьез
Краткий вопрос:
— В сущности, ведаю я иль не ведаю,
Чем я на этой планете заведую?

Скажем, заведую сотнею школ
Шумных, как ульи встревоженных пчел.
Школы как школы: девочки, мальчишки,
Классы, уроки, тетрадки и книжки.

Ясно как будто. Да нет, не вполне.
Тысячи жизней доверены мне,
Землю и небо готовых исследовать,
Дело нелегкое — ими заведовать!

Или веленьем судьбы непостижным
Призван я ведать издательством книжным.
Нет, не бумагой, не шрифтом свинцовым,
Не переплетным картоном, а словом.
Призван я править, как маг, чародей,
Мыслями, чувствами зрелых людей
И молодых, что должны нам наследовать.
Дело нелегкое — словом заведовать.

Или, положим, заведую банею.
Всем ли по силам такое задание?
Надо, чтоб радостью баня была,
Кровь оживляла, бодрила тела,
Надо, чтоб душем, и жаром, и паром
Дух обновляла усталым и старым,
Чтобы опрятность могла проповедовать.
Дело нелегкое — баней заведовать!

* * *

Ласкают дыханье и радуют глаз
Кустов невысоких верхушки
И держат букеты свои напоказ,
Как держат ребята игрушки.

* * *

Не надо мне ни слез, ни бледных роз,—
Я и при жизни видел их немало.
И ничего я в землю не унес,
Что на земле живым принадлежало.



ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

★

РАССКАЗЫ

И хорошо и грустно

Таня не могла вспомнить, что ей снилось под утро. Она не слыхала, когда пришла Элка. Очевидно, она пришла часа в три. До двух Таня читала книгу и слышала Элкин хохот под окном. Погода была ужасная, с моря дул сырой ветер, трепал ветви деревьев, выносил тепло из комнаты. Таня грела ноги в духовке, потом легла спать, и все слышался ей Элкин хохот; потом снилось все сразу: Элка, мама, ребята, какая-то дорога — все перепуталось...

В шесть утра еще темно, Элкина кровать разобрана, но самой ее нет. По коридору общежития уже ходили девчата.

— К кому это вчера опять ребята стучали? — закричала комендантша, женщина строгая, но отходчивая. — К вам, шестнадцатая комната? Я выселю вас! Замуж выходите, если не терпится.

— Мы сами не рады.

— Не надо поважаться. А кто под окном хохотал всю ночь? Мне все докладывают, учтите.

— Я хохотала, — услышала Таня Элкин голос в коридоре. — А что?

— Другого места не нашла? Вон за станицу валяйте, там и сходите с ума.

— Там сторож, — захохотала Элка.

— Тогда, дорогая моя, замуж выходи, а нечего мне под общежитие водить всяких...

— Я, милая моя, не хочу замуж, мне и так хорошо. Тут у вас выбирать не из кого.

«Что она там болтает? — подумала Таня. — Болтает, а люди верят. И все соглашаются, что она такая и есть».

Вчера после двенадцати в шестнадцатую комнату ломились пьяные парни. Таня вышла в коридор и попросила их убираться по-хорошему.

— Скажи, какая ты серьезная.

— Да, серьезная.

Таня не терпела пьяных, всегда любила чистеньких, вежливых, скромных мальчиков, и всякая грубость ее выводила из себя: она становилась резкой, говорила быстро и глотала концы слов. Парни все-таки ушли, но и сейчас она с отвращением подумала о вчерашнем, о девчонках из шестнадцатой комнаты, которые потихоньку пускают к себе ночью парней.

Как неохота выбираться из-под одеяла! Так бы потягиваться в кровати, читать, пока не затопят печку. А кто затопит? Мамы здесь нет, Элка не догадается. Понезжить бы хоть полчаса.

Элка вошла с чайником.

— Что ты с ними связываешься? — сказала Тая.

— Я виновата, что я такая?

— Как ты можешь? Человек тебе не нравится, а ты его привораживаешь. Он, бедный, думает, надеется.

— А что мне остается делать? Мне даже интересно посмотреть, как они стараются. У каждого свой подход! Я сижу, смотрю-смотрю, слушаю-слушаю, чувствую — он и так и этак, а потом начнет объясняться — я как заржу. Знаешь, говорю, дорогой, у меня муж генерал и дочь в третьем классе. Сделай маме ручкой.

— Ой, лень вставать. Что на улице?

— Дождь, ветки со льдом падают. Ночью мороз был.

— Море теперь одинокое. Я ни разу не видела море зимой: Ты меня обещала сводить, так и не сводила.

— Шесть километров, не ближний путь. Твой мальчик приедет — свожу, потоскую возле вас.

— Смеешься!..

— Серьезно. Если хочешь знать, Танюша, с зимним морем у меня много связано.

— Тебе ведь трудно верить. С тобой невозможно говорить серьезно.

— Это была моя первая любовь. Никто мне не верит, что я когда-то любила по-настоящему.

Она подошла к окну, посмотрела вниз на улицу и захохотала.

— Пора на работу, — сказала Тая.

— Ой, как мне не хочется в этот интернат, глаза б его не видели! Надоели мне педагогические рожи.

— Я еще план не написала.

— Ты будешь писать план? Удивляешь меня.

Тая одевалась.

— Я не выспалась, — сказала Элка. — Валька мне приснился. Он тебе нравился?

— Хороший мальчик.

— Все для тебя мальчики. Как жалко, что он уехал. Не с кем и пошутить. У меня много было знакомых, я тебе говорила, но Валька... — Она покачала головой. — Все-таки он был интересный. Я люблю интересных людей. Все верно: галантливому человеку в школе делать нечего. Рано или поздно он уйдет из нее.

— Но ведь везде попадают бездарные.

— Особенно в школах. Во всяком случае в нашем интернате. Не перевариваю мужчину-учителя. Я своего первого мужа доводила просто из-за этого. А Валька ушел, и правильно сделал.

— Кажется, ты была к нему равнодушна.

— Больше, чем равнодушна.

— Что ж ты растерялась?

— Я? — Губы Элки бессовестно расплылись. — Я, моя милая, никогда не теряюсь. — Элка еще сильнее засмеялась, когда убедилась, что Тая до сих пор ничего не поняла. — Какая ты наивная, моя милая! Совсем ребенок.

— Объясни. Кажется, я не такая уж и дура, но подобные вещи до меня плохо доходят.

— Поживешь с мое — дойдет. Ну, будем завтракать?

— Подожди, видишь, план пишу.

— Я уверена, что наш старший воспитатель еще дрыхнет. Ребята ему новую кличку дали: Андрей Петефонович. Ты разве не заметила: он появляется в половине восьмого и дает звонок.

— Я считала, что это звонок на завтрак.

— Если бы! Это он отмечается: мы, администрация, явились.

Элка подошла к зеркалу, подкрасила губы и села пить чай.

— Да-а. А вот заметь, Танюша: о чем бы мы ни говорили, обязательно перейдет на школьные проблемы, на сплетни. Нигде нет столько сплетников, как среди врачей и педагогов. Я, наверное, брошу школу.

— Будь добра, дай мне дописать.

— За чем тебе этот план? Каждому ясно, что это липа. Везде у нас план, план, а толку никакого. Что было бы, если бы мы с тобой разговаривали по плану? По моему плану. Я не дала бы тебе и слова сказать об интернете.

— Привыкла. А потом — требуют, что поделаешь.

— Мне кажется, это обман.

— Я тоже так думаю. Но дело не в этом. Не всё, но кто-то же имеет совесть, любит детей и делает дело. Ты любишь детей?

— Пока они окна не разбивают. У нас вчера опять разбили, представляешь? — сказала Элка ласково. — Вообще-то я больше люблю тех, кто шалит, ломает стулья, но способный, умница, душа. А эти административные нервотрепки, халтура, показуха, на которые нас склоняют ежедневно, они все в тебе отбивают, и иной раз думаешь: да пропади все пропадом!

— Я недавно работаю, еще не все поняла. Мне кажется, с детьми все-таки можно работать, что бы тебе ни говорили. Мне с детьми легче, чем со взрослыми.

— Ради бога, давай больше не говорить об интернете! О чем угодно — только не об интернете. Лучше расскажи, что ты вчера читала.

— Андрея Платонова.

— Молодой?

— Э-элка! Я начну сердиться. Не своди все к этому. Он чудесный писатель, я люблю его, как Паустовского. Какой он чудесный, если б ты знала! Много пережил, и я его хорошо чувствую.

— О чем же он пишет?

— Его трудно рассказывать, надо читать. Есть вещи, которых не перескажешь, их надо переживать.

— Вот видишь, ты возвышенная. А я пробовала читать Паустовского — не нравится. У него жизнь — как цветы, а жизнь намного проще.

— Что ж за жизнь без цветов?

— Ты меня не поняла. Ты думаешь, мне не нравятся цветы, не нравятся звезды на небе, красивое описание природы? Все и мне нравится, но пойми, в жизни все проще, и сложнее, и тяжелее. Как в итальянском кино, помнишь?

— Тогда тебе и Платонов не понравится.

— Ну что ж...

— Представляешь: его раньше ругали, а теперь хвалят. Мне иногда так его жалко.

— Вечно так! При жизни не умеют ценить человека. Я заметила: чем лучше к людям относишься, тем скорее они сядут тебе на голову. Людей — особенно на работе — нельзя подпускать близко к себе, должно чувствоваться расстояние.

— Не наоборот ли?

— Я тебе рассказывала про своего первого мужа, как он в школе работал? Вот тебе еще пример.

— Да, только это не закон, не для всех.

— Подожди, узнаешь.

— Ой, мы в интернат опоздаем.

— Как вспомню — жить не хочется!

— А ты поменьше болтай там. Возись с детьми — и все. Ты шутишь, часто говоришь лишнее, и люди судят тебя не по работе, а по словам.

— Я не могу иначе. Такая я есть. Погоди, будет профсоюзное собрание — я кое-кому устрою разгон!

Они вышли из общежития. На дворе дул ветер. Слезисто-белыми были акации возле больницы.

— А ты права, — сказала Элка. — На море теперь одиноко.

За два дня перед этим лежал снег, и все радовались, что сойдет он нескоро. Хлестала метелица, в парке падали, умирая от мороза, воробьи и снегири. Не находили себе места вороны. К почте не подступиться, дорогу замело и не возили газет и писем. Такой зимы возле моря не помнили давно. В школе полопались трубы, дети спали под двумя одеялами.

И вдруг все прошло, со вчерашнего вечера затаило, полил морской дождь, а к ночи упали заморозки, ветки обледенели и звонко бились под ветром, льдинки падали вместе с ветками на дорогу и раскалывались под ногами.

— Живем мы с тобой на этом гнилом юге! — воскликнула Элка. — Как я хочу на снег, на мороз. Идешь в валенках, в шубе, тяжело, воздух какой. Уж поцелуют тебя, так в другой деревне слышно. Нет, я сказала себе: последний год я здесь. Поедешь со мной?

— Подумаю.

— Я, когда с мужем своим разошлась, уже совсем было собралась ехать. Черт меня принес в эту станицу... Я, может, и не приехала бы, да в районо зашла узнать, как с направлением на Север. Стою жду очередь, смотрю — парень напротив: симпатичный, глаза такие умные, книжка в кармане. Валька! И представляешь, бывает же так в жизни: только мы глянули друг на друга — и все: как будто ждали всю жизнь этого дня, честное слово! Разговорились, я ему, пока очередь дошла, все, конечно, про себя рассказала, я же не умею скрывать. В общем, все ему выложила, сама удивляюсь — так это быстро. Смотрю, оформляется в интернат. Я говорю: и меня давайте, если есть место. Оформилась воспитателем, и пошли мы с ним. Такой он: посмотрит тебе в глаза — и жить хочется на свете! — Она захохотала, и люди на улице стали оборачиваться.

— Тише.

— Плевала я на все. Пошли мы, поели, книжки в магазине поискали. Гарсия Лорка, читала такого?

— Да.

— Он все искал. До вечера побродили мы там, на море сходили, вода уже похолодала. И пошли в станицу пешком. Ой, ты не представляешь, я никогда так не хотела идти долго. Думаю, ну что ж, раз такой день и раз мне так хорошо, надо бы и поцеловаться. Встали мы отдохнуть, он у акации, я подошла, прижалась к нему и поцеловала.

Таня удивленно качнула головой: ну, это не Элка, а черт.

— Сразу я почувствовала, что ходить мы будем, все будет хорошо, но рассчитывать мне не на что. Так оно и вышло.

Тане вспомнилась прошлая зима, забавный симпатичный Валька, который жил на первом этаже и каждое утро будил их на работу. В их комнате он бывал чаще, чем в своей, носил им продукты, топил печку и без конца веселил Элку. Сходясь, они все время смеялись, разговаривали громко, и постепенно шум в комнате воспитателей или в учительской не вызывал удивления: «Это Валька с Элкой, больше некому...»

Они разделись в воспитательской, почитали распоряжения и пошли на верхний этаж.

Дети еще спали. Тихо было по коридорам. Дверь телевизионной комнаты, которой заведовал восьмиклассник, сверху донизу была исписана мелом — малыши возмущались своим старшим начальником, часто

оставлявшим их во время просмотра на лестнице: «Грек,— так они его дразнили,— пусти, отдам свой ужин», «Грек, не строй из себя большого, мы тебе сыграем темную», «Грека знает каждая собака в станице» и т. д.

Грек спал в комнате шестиклассников, Таниных воспитанников. Элка пошла к своим пятиклассникам.

— Подъем! — закричала она сразу.

Послышался скрип сеток, шорох, шлепанье босых ног. Элка держала ребят в руках, и они ее боялись.

— А тебе что, отдельное приглашение? Живо на зарядку!

В Таниной спальне у окна сидел Валерка и что-то читал.

— Ты почему не спишь? — спросила Таня. — Чем занимаешься?

— Английским.

Таня улыбнулась.

— Много выучил выражений?

— Да не особенно.

— Днем, Валера, надо заниматься. Теперь будешь на уроках вялый

— Говорят, натошак лучше запоминается.

— Что-о? — улыбнулась Таня. — Полезнее всего заниматься языком перед сном, я же вам говорила. Вся Москва учит язык перед сном.

«Как они красиво спят,— подумала Таня, глядя на разметавшиеся во сне руки, на согнувшиеся калачиком тела.— Просто жалко будить. Дам им еще пять минут, сама была такая». Она вспомнила, как ей тяжело было вставать нынче утром. Она знала, что после ее ухода ребята все равно засыпают не сразу: то Валерка рассказывает им что-нибудь вычитанное или случившееся, то они все ведут секретные беседы на непонятные им еще темы — как и все дети их возраста.

«Мы быстро забываем, что когда-то сами были такими, и нас ругали за то же самое. И за меня мама боялась, чтобы не повредила мне улица, а ничего ведь не случилось: мама, хоть и боялась, верила мне, а я ей и своей учительнице».

Ребята проснулись сами, потянулись в постелях, наперебой стали здороваться, потом разом вскочили и построились на зарядку. Один Грек только спал: он укутался с головой и ничего не слышал.

— Гре-ек! — закричали все.

— Грек, проводи зарядку.

— Грек, пол холодный, вставай, что ли!

Грек сонно скинул одеяло и положил руки за голову, тупо глядя на стенку. Заставил кого-то подать ему носки, тапочки и брюки. Потом он встал, шелкнул кого-то по лбу и вытянул руки в сторону.

— Холодно, Татьяна Михайловна, — оправдался он, заметив ее. — Итак, первое упражнение: руки в стороны, ноги вверх.

По рядам прошел смешок, будто всем стало щеотно.

Таня разбудила девочек, и пока дежурные проверяли заправку кроватей и бегали с ведром и шваброй за водой, зашла в спальню Элки.

— Блеск! — повела рукой Элка. — А тебя я без завтрака оставлю, — сказала она мальчику в углу. — Представляешь, устроил мне гут вчера. Нагримировал мне после отбоя всю группу. Проснулись как черти.

— А чо-о я... — огрызнулся мальчик.

— Ты еще разговариваешь?

Таня пошла к своим. Ребята умылись и обступили ее.

— Татьяна Михайловна, я не выспался, — сказал Грек. — Я не могу уснуть, пока не прослушаю радиостанцию «Юность».

— Ой, Грека, — уныло сказал Валерка, — ты еще маленький слушать «Юность».

— Так,— сказал Грека и вынул записную книжку.— За умаление авторитета вышестоящих лишаю тебя двух телесеансов. Слышали, Татьяна Михайловна, как он меня оскорбил? Все, ты у меня на крючке.

— Ой, Грек, ты допрыгаешься, мы тебя снимем.

— Ты,— сказала Таня,— очень жесток.

— Татьяна Михайловна,— все с той же игрой сказал Грек.— Я их воспитываю. Вы приходите на телевизор, сегодня будет балет. Я удивляюсь, Татьяна Михайловна, вы так от жизни отстанете, никуда не ходите.

— Хорошо, я как-нибудь приду.

— Татьяна Михайловна,— пристал кто-то,— расскажите ту историю.

— Вечером.

— А; все вечером, все вечером. Вечером бы другую.

— Мальчики, ну когда же? Скоро завтракать.

— Еще только пошли накрывать. Восьмой класс знаете как долго накрывает?

— А про слепую собаку расскажете?

— Мы читаем в классе.

— А стихи на английском вы принесли? А то я не успею выучить.

— Татьяна Михайловна, у меня шнурок порвался.

— У меня ботинок украли.

— Поищи, кто его мог украсть.

— Татьяна Михайловна, получите новые тапочки. Меня физрук не пускает без тапочек.

— А почему у тебя брюки не глажены?

— Да утюг девочки забрали! А заведующего бытовой комнатой сняли.

— Сходи в кастаньянную, попроси от моего имени.

— Она не даст.

— Даст.

— Что, вы ее не знаете? «Мне нужна расписка, у меня будет ревизия, и так все утюги порастаскали, а из какого кармана я платить буду?» Не даст она.

— Я схожу,— сказал Грек.— Сколько вам утюгов — три, четыре?

— Валера,— Таня повернулась к нему,— ты с Вовкой занимаешься по русскому?

— Мы уже шестнадцатый диктант пишем. До местоимений дошли.

— Ты мне покажешь тетрадь, у меня первые уроки свободны.

— Я ее сунул куда-то, надо поискать.

— Ну вот. Мальчики, а кто у нас сегодня доклад делает?

— «Расскажем друг другу»? Я.

— Готов?

— Плохо.

— Почему?

— Да! Трубы ж полопались, я с ремонтной бригадой допоздна провозился, а библиотеку закрыли, мне еще один материал нужен. Ну вообще-то я могу наболтать.

— Наболтать не надо. Придется отложить, я план изменю, и тогда вечером мы займемся другим.

— Татьяна Михайловна, нашему классу накрыли.

— Пацаны! — крикнули снизу.— Рыба жареная и картошка. И кофе добавку дают.

— Ура, больше всего в жизни люблю картошку! Ура!

В столовой у окна сидел Грек и уже заканчивал вторую порцию рыбы с картошкой: с кухней у него велась дружба. Под столом блестели два утюга.

— Гатьяна Михайловна, — торжественно сказал он. — Достал по уюту на спальню. Я произнес «речь на аэродроме» и заверил, что комиссии нет и не будет.

— Беда с тобой.

— Старший, старший идет, — загудели ребята. — Не стучите ложкой, а то порцию отберет и на обед не пустит.

Андрей Евсеич, высокий, с каменным, всегда строгим лицом, вошел и стал посредине столовой, высккивая, кто не так ест. Где-то в углу Элкины пятиклассники нарочно уронили вилки. Андрей Евсеич ринулся туда, но ребята уже похватили вилки и притворно-медленно ковырялись в тарелках.

— Вы? — спросил Андрей Евсеич.

— Да нет же. Как что — все на пятый класс, все на пятый класс. Это старшие.

Андрей Евсеич кивнул раздатчице и сел за отдельный столик. Дежурные ученики поднесли ему тарелку с рыбой и маленькую тарелочку с маслом.

— Хоть бы мне одну рыбку дал, — сказал Валерка Греку. — Смотри, аж три рыбины.

Таня отошла, будто не расслышала.

«Неужели его жена не кормит? — подумала Таня. — Как голодный, честное слово».

На улице уже рассвело. Дождь стих, ветер еще дул с моря, и в открытую форточку доносился звонкий хруст падавших льдинок.

«Хоть бы почта сегодня пришла», — подумала Таня.

— Татьяна Михайловна! — За спиной был Валерка. — Татьяна Михайловна, один вопрос.

— Пожалуйста, Валера.

— Татьяна Михайловна, почему поэты мало живут?

— Кто тебе сказал?

— Я вычитал.

— Где же?

— А там на первом этаже портреты висят. Да-а, правда, правда. Тридцать семь — сорок, не больше. Я убедился, что они все, все мало живут.

«Да, — подумала Таня и вспомнила недавний журнал с одним прекрасным стихотворением. — Да. «Одни на дуэли убиты, другие, не сладив с судьбою, от сердца смертельной обиды покончили сами с собою». Да, — подумала она, и ей стало грустно, как-то враз пронеслись перед нею судьбы многих. — Странно, я столько прочла, а никогда не думала об этом, казалось, все и так ясно».

— Валера, — сказала она, — уже звонок, и я не успею тебе объяснить. Но вообще совершенно не обязательно, чтобы поэты мало жили. Это не закон — понять?

— Да-а, — не поверил Валерка. — Я все равно узнаю. — И побежал.

«Что я объясню ребенку? Что-то еще мог бы понять одиннадцатиклассник. А вообще никто не поймет до глубины, пока не переживет слишком много. Отчего они всю жизнь мучают себя переживаниями, отчего скитаются по земле и редко находят место по себе, рано грустят, рано болеют, спиваются? «Несчастливые люди — писатели, — говорит Эл-ка. — Терзают и себя и родных, а ради чего? Сколько их было, а кого помним? Помним самых несчастных».

Элка провела своих на урок и теперь выясняла что-то в уголке с девочкой.

— Кто тебя обидел? Мальчишки? Не молчи, не молчи. Ну, иди на урок, я потом разберусь.

Она была уже одета, как всегда хороша в своем желтом пальто и ворсистой шапке. Тане нравилось ее овальное лицо, вечно смеющиеся глаза и губы. На людях Элка была очень счастливая.

— Танюш, ты идешь домой?

— Нет, мне еще родителям письма писать.

Элка разочарованно взмахнула руками.

Таня зашла к секретарше, взяла у нее сорок конвертов и закрылась у себя в кабинете. Журнала под руками не было, но она и так помнила многие адреса, имена родителей и текущую успеваемость своих детей.

До третьего урока она успела написать только двенадцать писем.

Когда Таня пришла в учительскую, там уже ворчала жена старшего воспитателя:

— Мужчины, имейте совесть: выходите курить — дышать нечем.

— Отведите нам комнату.

— В конце концов надо уважать женщин.

— А у вас муж курит в комнате? Или вы его тоже гоните?

— К счастью, он у меня не курит... Татьяна Михайловна, — с вызовом сказала она Тане. — Ваш Волобуев разбил в нашей спальне стекло, украл у мальчика курточку, курил — опять его видели за свинарником.

Вошел Андрей Евсеич.

— Андрей Евсеич, — сказала жена чужим голосом, — когда вы примете меры с этим Волобуевым Валеркой? Опять разбил стекло! Я вот уже говорила Татьяне Михайловне.

— Звонил сейчас в районо, районо не возражает, чтобы мы отчислили Волобуева из школы. Я очень рад, что нам удалось уговорить инспекторов, наконец-то вздохнем как следует от этого Волобуева.

— Правильно! Давно пора бы. Засоряем школу, сами себе создаем неприятности.

— Чему вы радуетесь? — сказала Таня. — Испортите мальчику жизнь, что ж тут радостного? Вы же знаете, какая у него мать? Он будет бегать по улице, свяжется с хулиганами, и все.

— Он зачинщик всех грязных дел в интернате, — строго подчеркнул Андрей Евсеич. — Ему у нас не место.

— Где же ему место?

— В трудколони.

— Да он еще ребенок. Вы что? Я, например, ничего ужасного за ним не наблюдала. Шалит иногда. Все они шалят.

— Вы слишком мягкосердечны и идете у детей на поводу. Они вас любят за это, но это не та любовь. Они вас не боятся.

— Хорошо, — сказала Таня, и слезы показались на ее глазах. — Пусть я такая, но я его не отдам.

— Прекрасно. Тогда за каждое его нарушение будете отвечать вы.

— Я и так за все отвечаю. А вы отчисляете детей, чтобы легче работать. Хотела бы я знать: отчислили бы вы своего сына, нет?

— На сына не жалуюсь. Я еще никогда не слыхал про него плохого. Но я бы и своего отчислил.

— Слабо верится что-то.

— Вы, Татьяна Михайловна, молоды делать мне замечания. Поработайте сначала, сколько я поработал. Мне уже на пенсию надо идти, а я работаю, нервничаю, последние силы и опыт вкладываю.

— Денег вам все мало, вот вы и работаете, — сказала Таня и вышла, заплакала в коридоре.

«Последние силы он вкладывает. Боже мой, как можно так жить? Никаких интересов, ничего светлого, кроме своего огорода, поросенка и... жрать, жрать, жрать! Не понимаю, зачем его держат здесь! Ведь все

знают, какой он, все возмущаются, нисколько его не любят и все-таки держат».

В спортзале стучали мячами. Таня спустилась вниз и увидела среди ребят Валерку. Его команда выигрывала.

— Валера! — позвала Таня. — Подойди ко мне.

— Татьяна Михайловна, сейчас. Одну только комбинацию проведу, и все. Слон, по краю, по краю! — крикнул он пацану, но тот потерял мяч. — Что, Татьяна Михайловна?

— Ты ничего за собой не чувствуешь?

— Нет, а что?

— Валера. Что сегодня было на математике?

Валера опустил голову и молчал.

— Да что он... — сказал недовольно. — Ни за что напал. Вы же знаете, как я вчера готовился. Я повернулся на уроке к Гайтян, она толкает и толкает. Я ей хотел сдачи дать и разлил на тетрадь чернило...

— Чернила.

— Ну, чернила.

— Без «ну»...

— Хорошо, без «ну». А он взял отдал ей мою тетрадь, поставил двойку и выгнал с урока.

— Валера, не «он», а Андрей Евсеич.

— Ну, Андрей Евсеич.

— Придется извиниться. Иначе он тебя и на следующий урок не пустит. Валера, мы же с тобой договорились. Ты помнишь нашу последнюю беседу? Что молчишь?

— Помню.

— Я тебя буду отпускать с самоподготовки в отдельную комнату, только сиди и занимайся. А перед Андреем Евсеичем придется извиниться.

— Татьяна Михайловна, а в чем мне извиняться?

— Подумай.

«А в чем извиняться-то? — подумала Таня. — Я бы никогда не извинилась перед таким».

— Ну, ладно, — сказал Валерка. — Я извинюсь, чтоб вас не ругали.

«Все они понимают, — подумала Таня. — Все, все понимают».

— Ты извинись за себя, а обо мне не беспокойся. Иди.

— Почта-а, почта! — закричали в канцелярии.

Туда побежали гурьбой, и вездесущий Грек был вынужден выстраивать очередь, чтобы дать почтальонше возможность работать.

За те четыре дня, что не ходила почта, писем скопилось немало. Таня и в обычные дни ждала ее не меньше детей, а за это непогожее время даже измучилась.

Ей было только одно письмо от матери. А еще? А еще не было. Целый месяц уже не было от него писем. Раньше он посылал через день, как они и договаривались, когда она стояла на вокзале и он стеснялся ее целовать. Тане думалось, что случилось несчастье, иначе быть не могло, она ему верила и считала самым хорошим, самым ласковым и самым порядочным человеком на свете.

Подошла Элка.

— Танюша, — сказала она, хохоча на весь коридор, — послушай, что мне подруга пишет. Когда-то мы с ней бегали на танцы в «Клуб моряков». Хохмачка страшная! «Элка, милая, здравствуй...» — ну тут приветы, работа, все это неинтересно. Вот! «На любовном фронте все нормально. Есть одна любовь, очень скромный парень, но я не обожаю **телят**, ты же знаешь. Гуляю, пока скучно, а там могу повернуть руль на

сто-восемьдесят градусов. Сарафанчик, ты же знаешь его, придет летом, он в Тифлисе, вот тогда мы с ним дадим гастрологи»...

— Тише ты. Дети.

— А они еще недоразвитые.

«Странная Элка. Не пойму я ее. Иногда она надоедает мне со своими штучками, я сержусь на нее. Иногда она кажется мне обычной портовой женщиной, которая нигде не пропадет. А иногда мне кажется, что я ошибаюсь. Когда она сядет около кровати и начнет что-нибудь рассказывать, смеясь даже в грустных местах, и потом вдруг станет нежной, губы и глаза чуть-чуть улыбаются, и она такая мудрая, добрая...»

На улице опять лил дождь.

Из кабинета директора вышла женщина в плюшевой жакетке, робко пошла по вестибюлю. На симпатичном сухощавом лице ее только глаза еще оставались молодыми.

— Не вы будете воспитательницей шестого класса? — обратилась она к Тане. — Меня директор послал поговорить.

— Да, я.

— Я мама Эммы Гайтян.

— Ой, что вы, очень приятно! — смущенно и приветливо улынулась Таня. — А я смотрю — что-то знакомое. Я как-то раз видела вас, тогда осенью, вы привозили ее. И забыла, надо же. Извините меня.

— Ну как тут она? Плохо, говорят. Что-то все жалуются.

— Давайте сядем где-нибудь и поговорим. Гера, — окликнула Таня Грека, — ты идешь в спальный корпус, позови, пожалуйста, Эмму Гайтян.

— А-а, — улыбнулся Грек. — Прорабатывать, да? Надо, надо ее, чтоб не бесилась в спальне до двенадцати.

Таня повела родительницу в кабинет английского языка. Они посидели, поговорили без дочери о постороннем. Эмма постучала, вошла, поцеловала мать (они были похожи) и, застыдившись, отвернулась к окну.

— Что ж ты, дочка... тут? Куда ни пойду — все ругают. Смотри сюда, Эмма, в окне ничего интересного нет, смотри мне в глаза. Стыдно? А мне у директора было еще стыдней. Слушать про твое баловство.

Эмма, кусая губу, неотрывно смотрела в окно.

— Что ж ты, Эмма, думаешь, о чем думаешь? Ты рассчитывала: мама не придет, не узнает? Эх, Эмма, Эмма... Ты сама знаешь, как я живу. Я приняла человека, думаю ж как-то жизнь наладить, приняла русского, все же легче будет. А ты, дочка? Родной отец что перед смертью говорил? А пачиму, пачиму ты, Эмма, такая некрасивая растешь? Директор недоволен, учителя недовольны. Татьяна Михайловна на тебя жалуется. — Она моргнула Тане. — Что это, Эмма, за танцы после десяти часов? Мальчишками уже интересуешься? Ты на подругу не смотри, хороших девочек держись, рано еще вам об этом думать — побольше в книжку заглядывай, а безобразят подруги — воспитателю скажи, сама сделай замечание. Я тебя не узнаю, дочка, ты так одета, поправилась, красивая, как мать твоя в молодости, а учишься на одни двойки. Дедушка — ему на днях девяносто лет, именины будем справлять — говорит: «У меня вся надежда на внучку, в русской школе учиться, человеком выйдет». И чего бы, Эмма, на самом деле не учиться? Я зашла в вашу спальню, залюбовалась: какая красота, постели блестят, как снег, рядом библиотека, телевизор, все услуги. А я в твои годы на полу спала, в войну и одеяла не было. Я, Татьяна Михайловна, не стесняюсь, как своим буду говорить, поверите, после войны даже матраца не было, так отощали с жизнью, я только в эти годы справила одеяло да покрывало, ты, Эмма, знаешь это.

Она заплакала. Дочь все так же стояла, кусала губу, и по левой щеке ее текла слеза.

— Просто молиться надо, что государство так заботится о наших детях, какие хоромы вам создали, воспитывают вас! А вы чем отвечаете? Ты, Эмма, я к тебе обращаюсь,— не смотри в окно, повернись ко мне. Я тебе говорю здесь при Татьяне Михайловне: если ты, Эмма, не перейдешь в седьмой класс, приеду заберу и поставлю к станку. А ну постой у станка, поподнимай эти плахи. Я получила письмо от старшего воспитателя — день и ночь плакала. Начальник говорит: «Ты чего плачешь?» Да, говорю, жизнь заставляет. Думаю, кто бы дал крылья, я бы сейчас прилетела к ней. Получила письмо, а ему не показываю, кто его знает, какой он еще человек, может, ему и не надо, вторую неделю только живем.

Тане вдруг сделалось совестно за себя, ей казалось, что это она во всем виновата, ей подумалось, что в то время, когда она читает книжки, болтает с Элкой, скучает по городу и наслаждается стихами, есть еще люди, у которых трудно с жизнью, с семьей, и к их горю добавляются еще мысли о детях, переживания: как там они? Как живет их надежда, которая под старость лет хоть иногда поблагодарит за то, что их вырастили, и пришлет вместе с приветом гостиниц. И Тане показалось, что она работала и никогда не думала, что все матери надеются и на нее, Таню. К ней подбирались слезы. Она очень сочувствовала матери Эммы, вспомнила свою семью, где всегда был покой и достаток, где отец и мать никогда не сказали друг другу плохого слова, где думалось, что на всем свете живут только так и иначе быть не может.

— Что ж молчишь, дочка?— сказала мать.— Не нравится, как мать тебя отчитывает? Я неграмотная, я армянскую школу кончила, по-русски говорить научилась, а писать не могу. А вот твой учитель стоит, с образованием, много знает, ты сама пишешь: учитель у нас золоточеловек, понимает нас, как мать. А вас ведь у нее сорок человек. На всех одно сердце — хоть разорвись. Чего бы не учиться? Я хочу, дочка, чтобы ты при матери и при Татьяне Михайловне дала слово: исправиться ты или нет? Чтобы мама не приезжала да не краснела за твое поведение. Не молчи, не молчи, Эмма, я жду.

Эмма смотрела в окно. Слезы заволокли ей глаза, плечи подрагивали.

— Ничего,— сказала Таня,— она исправится. Она послушала маму, хорошо подумает, и все будет хорошо. Да, Эмма?

— Я прошу вас, Татьяна Михайловна. Построже! Наказывайте ее так, как я дома наказываю. По-хорошему не понимают — по-плохому поймут.

Наступало обеднее время. Они еще долго говорили, смотрели журнал, потом сели все трое и разговаривали уже совсем о другом, и Эмма рассказывала о своем классе, смеялась и нежно прислонялась к матери.

— Пойдемте в столовую,— пригласила Таня.— Я сегодня еще и росинки не схватила. У меня есть талоны, пойдемте.

— Спасибо, Татьяна Михайловна, у меня есть в сумке, я не хочу.

— Нет, нет, пойдемте. У нас директор разрешает.

— Да спасибо, не надо бы.

— Спасибо потом скажете. Вы сегодня поедете?

— Надо бы сегодня. Муж там один, надо и о нем позаботиться — раз надумали жить.

— Он не обижает вас? — с тревогой спросила Таня.

— Пока не жалуюсь, неизвестно, как дальше. А вас не обижает муж? Или вы еще незамужем?

— Как вам сказать,— улыбнулась Таня.— Весной. Весной выйду. Но нет, нет, он меня не обижает, у меня даже и мысли нет: он — и вдруг меня сможет обидеть. Он у меня, знаете, какой хороший.

— Вы, наверно, пара.

— Да, мы с ним почти одинаковые.

Дети уже поели, дежурные подметали и мыли посуду, а они все сидели за низким полированным столиком и беседовали о своем. Как-то уже сложилось, что люди легко выдавали Тане свои секреты, а она их с волнением слушала и переживала. В институте многие студенты, в глаза восхищавшиеся душевностью Тани, не могли сначала поверить в ее серьезность: она смеялась от каждого пустяка, сгибаясь вдвое и падая на сиденье.

— Никогда бы не подумали, что ты такая серьезная,— говорили они потом.

— А почему, почему? — оживлялась она по-девчачьи.— Кажется, что я легкомысленная? А как кажется? Нет, мне это очень даже интересно. Ой, расскажите, расскажите!

Она многого и сама не знала о себе. Она легко расстраивалась и так же легко все прощала. Во всем, во всем она видела больше того, что было на самом деле. Она жила скорее сердцем, чем головой. И она чувствовала жизнь и людей острее других. Поэтому к ней многие шли рассказать о своей печали. Иногда ей казалось, что к ней и ходят-то лишь тогда, когда хотят успокоить себя. Но и это было не так, потому что при расставании ей без конца шли письма, при встречах она чувствовала: а ее ведь действительно помнят и любят. Почему? Она себя не спрашивала. Она к этому привыкла и считала, что так и должно быть в жизни.

— Татьяна Михайловна, приезжайте как-нибудь летом,— сказала родительница, когда Таня проводила ее до автобуса.— Мы живем у моря, покупаетесь, отдохнете.

— Спасибо. Не знаю, что еще летом будет.

«Если мы надумаем уезжать (а его ведь пошлют куда-нибудь), то никого я больше не увижу. Ах, скорей бы лето».

Они попрощались, и Таня подумала про лето и вспомнила, что письма-то ей сегодня не было, но оно будет, она не верит в плохое между ними.

Она не пошла в общежитие, а повернула в школу — дописать и отправить завтра письма родителям. У ворот ее ожидала женщина в мохнатой красивой шубке, с ярко подведенными (колечком) губами и синим от холода носом. Тане она показалась неприятной. Рядом стоял Валерка. Заметив Таню, она начала отчитывать сына:

— Я тебе дам, я т-тебе дам! Не смей огрызаться! Бедный будешь, ты у меня бедный будешь, слышишь? В трудколонию захотел? А куда же? Я хоть продавщицей работаю, как-нибудь отгавкаюсь в свои часы да пошла. А ты куда пойдешь? Ишь, права он качает! Рано еще права качать. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Бессовестный! По математике жалуются, по химии жалуются, ты, выходит, только у Татьяны Михайловны сидишь нормально. Это неплохо, что ты ее уважаешь, а у остальных учителей что ж: на головах можно ходить? Учителя у него виноваты! Какое твое соплячье дело до учителей. Им что: они отработали свои часы — да и домой, а ты с двойками остался.

«Половина четвертого,— посмотрела Таня на часы.— Давно мне надо бы сидеть дома. Магазины закрывают на пятнадцать минут раньше, а что учителя не вылазят из школы — этого она не видит».

— Учти: голову отрублю! Лучше не показывайся домой — убью!

— Мамаша,— прервала ее Таня.— Пойдемте в учительскую.

Валерка заплакал и побежал куда-то в парк. Мать кричала ему вслед, но он не вернулся.

— Почуял,— сказала мать.— Почуял, что мать этого так не спустит.

— Мамаша,— сказала Таня в учительской,— разве так можно? — Она смотрела на эту разодетую грубую даму, и ее трясло.

— А что я? Я ничего, я дам ему взбучку.

— Да, но не такими словами.

— Я продавщица, меня не учили. Вы, Татьяна Михайловна, сами виноваты. Они, ученики, не боятся вас. «Ах, Татьяна Михайловна, какая Татьяна Михайловна!» И они пользуются этим — двойки получают, знают, что им Татьяна Михайловна все простит.

— Кто вам сказал, что я им все прощаю?

— Я по Валерке моему сужу.

— Надо бы вам, мамаша, чаще бывать у нас.

— Извините, дорогая. Я в вас доверила воспитание. Доверили... А вы его разбаловали своей любовью. Надо взять палку — да палкой, палкой! Чтоб боялся.

— Зачем бояться? Что ж тут хорошего?

— А что плохого? Без этого не воспитаешь. Вон раньше, бывало, не знаешь, куда присесть. А это что! Пораспустили детей.

— Мне странно все это слышать. Я не хочу вам много говорить,— сказала Таня дрожа, проглатывая концы слов,— но в следующий раз я вам запрещаю в моем присутствии говорить ребенку такие вещи.

— Я баба прямая.

— Я добьюсь, чтобы его не отчисляли из школы, но вы, пожалуйста, не кричите на него так. Вы же мать. Я понимаю, как это трудно... родить, потом воспитывать его без отца.

— Мне родить — как кувшин молока выпить!

Тане стоило большого труда сдержаться и объяснить все, как полагается. В другой обстановке Таня бы высказала ей все откровенно, и родительница, конечно же, обиделась бы и раскричалась, но сейчас Тане приходилось помнить, что она в школе и надо искать слова помягче. Она снова почувствовала, что значит ответственность на самом деле: не высокие слова и обещания, которые она не раз слышала на заседаниях, а перед самой жизнью. «Да,— думала она,— все гораздо серьезней в жизни, чем кажется. Гораздо серьезней и неожиданней. И ты за все отвечаешь. Без всяких высоких слов».

Кое-как дотолковавшись с Валеркиной мамой, она пошла искать директора. Он уехал по вызову в районо. Близилось время самоподготовки.

Самоподготовку вел дежурный, ребята сидели тихо. Валерка писал в чистую тетрадь условие задачи и стыдливо ждал, что Таня позовет его за дверь для беседы. Таня старалась не смотреть на него. Она стала у окна и видела прямую аллею в искристом от льдинок и капель парке, сумрак и безлюдье, словно было раннее утро. По аллее ходила толстая женщина, разгибала сломавшиеся елочки, качала головой. В магазин повезла молоко машина. С пустой сумкой возвращалась в общежитие почтальонша Соня. «Почему-то ее не любят мужчины,— пожалела ее Таня.— Ей так хочется семьи, ребенка, она все время ходит на танцы, чтобы познакомиться, но всегда стоит в стороне, никто ее не приглашает. Она некрасивая, но серьезная, и многим это не подходит».

На углу, у асфальтированной дороги, стоял новый заведующий клубом и уговаривал сердитую жену. Он выпил, артистически что-то доказывал, мерно вскидывая рукой, а жена стояла боком и молчала.

«Ну выпил, что ж сердиться,— подумала Таня — Один раз можно. Завтра репетиция, а я забыла переписать роль. Как я вообще согласи-

лась, я стесняюсь, дома я репетирую свободно и даже, кажется, хорошо, но стоит войти хотя бы Элке — и я тушуюсь. Вообще я какая-то... Я не могу, например, поцеловаться на прощание при людях, я с ужасом жду этой минуты, оглядываюсь — не смотрят ли? — коротко чмокну и в эту минуту не вижу ни его лица, ничего, и мне стыдно, кажется, все осуждают... Какие я ему пишу письма, как мне он дорог, сколько я ему всегда горячих слов наговорю в письме, а при встрече вдруг теряюсь, хочется кинуться, а я почему-то буднично стою и жду, не зная, куда деться, и что-нибудь лягну совсем-совсем пустое... Ох, хоть бы увидеть его, посидеть вечером в темноте у печки, пошептаться... Кажется, столько слов во мне, столько ласки... очень-очень откровенной. Кажется, покажись он сейчас в этой мокрой аллее — побежала бы прямо к нему при детях и обняла, и пускай бы все смотрели на нас по-деревенски, чуть ли не из-под ладошки. А он... ему только это и надо, ему все равно — есть люди, нет ли. Странные мужчины. И где он сейчас? Что он в эту минуту делает, вспомнил хоть раз, нет?»

После звонка ребята и девчонки потянули ее в спортзал играть в волейбол.

— Команда на команду! — кричал Валерка. — Девчонки отдельно, мальчишки отдельно. Вы, Татьяна Михайловна, за нас.

— Нет, за нас.

— За вас неинтересно.

— Нет, за нас! — заныли девчонки.

Потом была репетиция на английском языке, проверка «Дневника читателя», распределение дежурства по столовой на завтра, колка дров, чтение стихов с девочками, разговор с директором о Валерке, ужин и беседа в спальне с мальчишками, жившими раньше в детдоме, где у каждого были свои клички (Таня хототала!), и т. д.

В половине девятого вдруг позвонили на линейку. Появился Андрей Евсеич, как всегда хмурый и строгий. У кого-то пропала шапка. Резким армейским голосом Андрей Евсеич сначала заговорил о достижениях народа за последнее время, о средствах, которое государство отпускает на воспитание детей, о бережливом отношении к социалистической собственности и непримиримости по отношению к отдельным случаям небережения имущества (как-то: поломка стульев, «битье» лампочек и засорение унитазов в спальне мальчиков и т. д. и т. п.), а также умышленного воровства, что выразилось сегодня в пропаже меховой шапки у ученика четвертого класса. Андрей Евсеич был очень и очень недоволен. Тане уже сказали, что сегодня утром кто-то рассыпал у него мешок семечек, которые он хранил в подвале школы, а ночью зарезали и подкинули ему двух индюков, которых он выкармливал к пасхе. Он говорил о шапке и, казалось, думал о другом.

— Предупреждаю! — сказал воспитатель и поднял палец.

— Нашли-и-и! Нашли! — разнеслось по коридору.

— Где она была?

— Упала с вешалки под батарею.

Старшеклассники засмеялись.

— Ничего смешного! Кому смешно — может хоть сейчас удаляться из школы. Жалеть не будем. Именно об этом я и говорил. О расхлябанности вашей, — он подчеркивал каждое слово, — о плохом отношении к учебе и поведению, об отсутствии умения творчески мыслить. Сегодня под батареею упала шапка, завтра ручка под парту, и те максимальные сорок пять минут, которые отводятся вам на усвоение нового материала, вы будете лазить под партами и мешать всему классу. Шапка — это тоже показатель твоей дисциплины, — обратился он к маленькому четверокласснику. — Как твое фамилие? Как?

В конце коридора стояла Элка и сдержанно улыбалась.

Закончив, Андрей Евсеич позвал Таню в воспитательскую. Элка все поняла. Она нашла чистую тетрадь и пошла писать план.

— Татьяна Михайловна, — сказал Андрей Евсеич, — можно ваш план?

— Пожалуйста.

— Вы сейчас чем занимаетесь?

— Соберу, поговорим о прошедшем дне по-английски — и спать. Может, задержусь, что-нибудь порассказываю.

— Никаких рассказов! Не заслужили. Рассказываете им до двенадцати часов, а утром не поднимешь, на зарядку опаздывают. И так по всей станции слухи ползут, что дети после отбоя занимаются черт-те чем. Надо выполнять режим.

— А интересы детей?

— Что это вы здесь пишете? — Он ткнул пальцем в страницу. — Вот! «Подъем, туалет, зарядка». А цель? Надо писать в плане, какова цель, что вы конкретно намечаете по этому пункту, какие приемы используете?

— Не понимаю вас.

— Я вас тоже не понимаю. Вас же учили в институте. Не вижу в работе творчества — того нового, что сейчас требуют от нас.

— Зачем же я буду все описывать?

— А как-а же! Все мы про себя знаем, я тоже много проработал, но план пишу ежедневно. Вот, пожалуйста. — Он открыл страницу, там лежал лотерейный билет. — «Проверить планы воспитателей. Цель: найти слабые места в работе отдельных товарищей, указать, дать советы, порекомендовать необходимую литературу».

— Хорошо. Какие же у меня слабые места?

— Не творчески работаете! Схематичные планы. Вы читали последний номер «Народного образования»?

— Нет.

— Вот, пожалуйста! Вот. Отсюда и итоги: Волобуев читает на уроках, пишет в грязных тетрадях, засоряет унитаз, Волобуев залез по трубе на второй этаж, а его воспитатель не знает, что пишут люди, какие советы дают по изживанию таких элементов, как Волобуев. А с нас спросят! Сегодня его мама нас обвиняла, а она ведь права. Я слушал ее и думал: «А где был воспитатель?»

— Все?

— Нет, еще не все.

Таня повернулась и хлопнула дверью.

«Хам! — заплакала Таня. — Честное слово, готовишься, стремишься, отдаешь все, все, летишь на работу, думаешь как можно больше сделать, поделиться тем, что любишь и знаешь, крутишься весь день как белка, ничего личного не успеваешь сделать, и вдруг приходит какой-то хам, тупица, дурак, ничего у него за душой, и... и все, все испортит. Как это можно, я не понимаю, как-а это можно. Я, наверно, правда такая дура, и, наверно, как говорит Элка, на хамство надо отвечать тем же, тогда они будут осторожнее...»

— Татьяна Михайловна, вы что? — подскочил Валерка. — Вас кто-нибудь обидел? Скажите кто, мы ему шею намылим.

— Я просто устала.

— Вы заболели. Позвать врача?

— Нет, что ты, Валера... Мальчики, — сказала она в спальне, — вы ложитесь сами, мне надо домой.

— Идите, идите, Татьяна Михайловна, мы все сделаем.

— Татьяна Михайловна,— прибежали девочки.— Сегодня у нас очередь рассказывать. А то все мальчишкам, мальчишкам, вы и так мальчишек больше любите, а мы что, хуже?

— Ты, Гайтян, не забалтывайся,— сказал Валерка с кровати,— чего пришла в мужское отделение: мы раздеты!

На улице было слишком темно, холодно, а печка в общежитии была не топлена. Тане захотелось поехать к маме и пожаловаться ей.

Элка пришла в половине десятого. Таня лежала в постели.

— Ты представляешь, что наш, сто лет его не видать, Андрюша отколол?

— Планы проверял?

— А какова цель? «Послушайте, говорю, уважаемый! Вы, когда в туалет ходите, какую цель преследуете?»

— Ой, Элка, ну ты как ляпнешь что-нибудь!

— Слу-ушай! Слушай, что дальше было. Он покраснел — и сказать нечего. При-ивет, говорю, я пошла!

— Элка,— сказала Таня грустно,— поедem на Север.

— Поедем, милая, поедem.

— Вот видишь ты какая: тебе все нипочем. Мало того, что сама не расстроилась, еще и его расстроила. А я так не умею. Как он сказал мне, я вышла, меня затрясло, сразу плохо сделалось, и сейчас вот сердце болит.

— Плюй на все. Плюй. На всех сердца не хватит. Плюй — легче жить будет.

— Сегодня еще день такой: только уроки кончились, мать Эммы Гайтян приехала, она плачет, и я с ней. Бедная женщина, сколько пережила. А потом Валеркина мама. Ох и мама!

— Что ты хочешь? Она его с радостью сюда спихнула. Чтоб ей любовников легче водить. Ее у нас весь город знает. В магазине дня не бывает, чтоб кого-нибудь проституткой не обозвала.

— Элка, там в сумочке таблетки, подай мне.

— Плохо?

— Да так, не очень.

— Ой, горе ты мое, горе. Тебе бы с моим первым мужем жить. Такой же. Я тебе рассказывала, как я его лупила?

— Рассказывала.

— Я теперь часто вспоминаю нашу жизнь. Никто не поверит — вот клянусь, засмеет, не поверит! — а ведь это была моя первая любовь. Не знаю, может, я еще тогда ничего не понимала, а потом, наоборот, слишком много лишнего узнала. Он такой был тихий, тактичный, очень много читал, мог хорошо рассказывать, даже писал что-то. Дети его любили, правда, шумели на уроках. Зато завуч, мегера такая, злая, рыжая, обожала мужчин, а его те-ерпеть не могла! Как начнет его крыть при мне, а он сто-оит, моргает. Хамло такая была. наподобие нашего, только у-умная, зараза. Я, бывало, слушаю, слушаю, потом как прилеплю пару фраз. Точка.

— Ты, видно, и с ним такая была.

— И с ним. Я теперь часто ночью лежу, что-нибудь вспомню: думаю, роже хорошая я штучка была. Ходила на танцы, он знал, не изменяла, но ходила, кокетничала. А все думали, что мы самая счастливая пара в городе.

— Почему?

— В обществе я умела показать себя.

— Да-а, странная ты женщина.

— Но ничего. Не зря говорят: молодость, глупая молодость. Теперь, если выйду, буду хорошей хозяйкой, детей ему нарожу, чтоб детский сад по квартире бегал, ха-ха! Что-то Валька часто мне снится.

— Иногда я завидую тебе. Ты такая легкая. Я так не могу.

— Ты же ангел. Нельзя в нашей жизни быть ангелом. Трудно тебе будет. Ты всех судишь по себе. Переживаешь по каждому пустяку. Книжку прочтешь — переживаешь, родительница заплачет — переживаешь, теленок у бабки пропал — за бабушку переживаешь. Я тебя сейчас хвалю, а ты уже переживаешь. Мне больше не говорить?

— Говори, говори, Элка, — нежно сказала Таня. — Я люблю тебя слушать. Ты чудачка, я на тебя не обижаюсь. Не обращай на меня внимания. Мне все говорят, что я чересчур впечатлительная, и, если я сержусь, мне долго не верят, уже знают меня. А в остальном... ну что поделаешь, если я такая? У меня и мама такая.

— А мальчик твой такой?

— Нет, он все-таки мужчина. Но многие говорят, что мы очень похожи. Одинаковые.

— Между прочим, это плохо для семьи, когда одинаковые.

— Пусть. Он очень хороший, он тебе понравится.

— А ты не боишься, что, пока ты здесь его хвалишь, он бросает кого-нибудь в танце? И тэде и тэпэ, а?

— Нисколько. Другой бы — может быть. Он этого не позволит.

— Хохмачка! — Элка с досадой взмахнула рукой. — Как ты не поймешь такую простую вещь: он мужчина! Нельзя верить мужчине.

— Смотря какому!

— Любому! Ты меня удивляешь. Я теперь понимаю, как влияют на человека книги, в которых одни розы. Они впечатляют, но совсем уводят от жизни, которая путается каждый день под ногами. Что бы там ни писали, а в жизни все серьезней.

— Писатель создает ради лучшего.

— А плохое оставляет для нашей жизни?

— С тобой трудно разговаривать. Ох...

— Тебе плохо?

— Колет.

— Деточка моя, чем же тебе помочь? Может, выпьешь чего-нибудь?

— Не хочу.

— Позвать врача? Она рядом живет.

— Не стоит. Если не пройдет — завтра.

Было поздно, радио проиграло гимн. Элка сидела рядом, тихо рассказывала про своего первого мужа, а когда Таня закрыла глаза, постелила себе и легла, не выключив свет. Таня постанывала, и Элка, просыпаясь, соскакивала к ней.

Ночь Таня пролежала без сна. Под окном качались сырые ветки, били в стекло и в стену. Временами Тане делалось страшно, казалось, что в этом сонном мире она совсем-совсем одна. Ей хотелось к матери: никто так не поймет тебя, как мама. Хотелось пожаловаться кому-то, поплакать вместе. И его тоже нет с ней, не к кому прислониться, и письма даже нет. А что, если Элка права, что, если он и на самом деле гуляет, ему весело, он симпатичный, и она помнит, как на него заглядывали, когда она бывала с ним в городе, в кино, в троллейбусах. Нет, не дай бог, нет, она не верит.

Утром позвали врача, Элка принесла таблетки, поила ее молоком, потом ушла в интернат на дежурство. Тане было грустно одной, обида от вчерашнего не проходила. За окном подмораживало. наладилась связь, по радио передавали Чайковского.

«Как я люблю его, — подумала Таня, и на душе полегчало, стало

мягче,— как близкого люблю. Так бы слушала и слушала, сто, тысячу раз...»

Музыка казалась ей необъяснимой, для нее не находилось слов, каждая мелодия связывалась с каким-нибудь событием твоей жизни, словно сопровождала его, и те минуты, которые вспоминались теперь под музыку, были такими же, как она сама. Читая статьи о музыке, Таня удивлялась и завидовала способности людей, разбирать все особенности и тонкости мелодий, она бы этого не сумела, хотя, кажется, все чувствовала до самого дна, волновалась и не могла высказать. Что-то похожее было у нее и со стихами и книгами. Каждая любимая строчка уносила ее куда-то, всему верилось, все было близким и понятным, но где-нибудь выступить и объяснить это она бы не смогла почему-то и не любила, потому что вслух и всем не скажешь заветного, а если и говорить, то ей хотелось бы говорить до конца, как на исповеди и самому дорогому человеку или просто хорошему, тому, кто способен откликнуться.

«Я, наверное, глупая,— ругала она себя.— Может, Элка права?»

Пришла Элка.

— Что ты плачешь? Плохо?

— Уже лучше. Чайковского передавали, раздумалась.

— Ой, Таня, ой, Таня. Угровишь ты себя. И я люблю Чайковского. Больше всего Штрауса, но и Чайковского тоже. Ну и что? Давай теперь сядем вдвоем и заплачем в два голоса. Под фортепьяно с оркестром. А кто нас кормить будет? Лежи, я за молоком сбегаю.

Она ушла, и Таня почитала немного Андрея Платонова, в какой раз перелистала предисловие.

В воскресенье Элка уехала в город за покупками. Это было недалеко, и обычно они ездили каждое воскресенье вдвоем. До обеда они ходили по магазинам, а потом садились на пляже под голые шапки грибов и смотрели на зимнее море. Волны лениво и беззвучно ползли к их ногам.

Прибегали дети, принесли целые охапки цветов, оставили всю комнату. Таня до боли любила цветы. Непонятно было, где они их доставали в такую погоду. Они приносили и вечером, когда в комнате сидел Андрей Евсеич, неожиданно навестивший Таню. Он был заметно пьян, и Таня, скривившись, подумала, что трезвый он не зашел бы. Он сел поодаль и долго вел посторонний разговор о погоде, о станции и классиках.

— Вы на меня обиделись,— сказал он под конец,— я погорячился тогда, накричал. Что поделаешь — работа такая.

Таня промолчала.

— Меня тоже... Вот так же вызовут, устроят нагоняй. Ведь они не смотрят, что у тебя в душе, они приехали, глянули: ага! хорошее оформление — значит, ведется большая эстетическая работа, а это сейчас и надо. Дети не грязные — хорошо поставлена воспитательная работа. А не будет этого шику — скинут, и ни одна собака не поможет, хоть ты в сто раз лучше работай. А что делать? Вы молодая, поработаете с мое, все узнаете. Иной раз и не покричал бы, и по душам, может быть, поговорил — да работа такая, люди разные бывают, поблажки нельзя давать. Вы думаете, мне интересно ссориться? Что мне, больше других надо, что ли? Да нет, как и всем. А что поделаешь. Люди сами приучают к строгости. Бросил бы, да некуда деваться, надо же еще и жить как-то. Семья.

Таня молчала, и в лице ее намечалась нехорошая улыбка.

— Поработаете — узнаете,— сказал Андрей Евсеич, вставая,— а пока поправляйтесь...

— Андрей Евсеич,— остановила его Таня.— Я только одного не понимаю. У меня это в голове не укладывается, но... при чем здесь кто-то и что-то? Мне трудно поверить в это, но... предположим, что все вокруг так плохо, как вы рисуете. Предположим. Но... Андрей Евсеич...— сказала она нежно и медленно,— понимаете... что бы ни случилось, какая бы беда ни постигла нас — в интернате ли, в районе, в стране ли, или во всем свете,— всегда, мне кажется, надо оставаться... человеком и чувствовать других. Вы меня поняли?

— Что ж тут не понять.

— Мне не ясно, отчего вы боитесь, кого-то подозреваете, на кого-то оглядываетесь? Я поздно родилась, может, я в самом деле чего-то еще не уяснила.

— Поймете... со временем все поймете. Поправляйтесь.

«Нет,— подумала Таня,— не понимаю я таких людей. Сколько в семье было разговоров, и папа никогда ничего подобного не говорил. «Бросил бы, да некуда деваться»... Хм... Не понимаю, как можно жить так».

К ночи с последним автобусом вернулась Элка. Ее милое лицо улыбалось, и по глазам было видно, что она немножко выпила.

— Танюша, милая!— припала она на постель.— Извини меня, я пила «черные глаза», Танюша. О-ох... И с кем бы ты думала? С Валькой! — Она подняла глаза вверх, негромко и счастливо засмеялась.— Представляешь, иду по базару, думаю: ах, черт, когда ни приедешь — все одна и одна, никто не ведет тебя под ручку. И только я так подумала, вдруг меня сзади обнимают и — в щеку! Я чуть не упала от радости! «Как, чего, откуда?» Пошли мы, зашли в Крепостные ворота, оглянулись — никого, мне та-ак захотелось кинуться к нему, та-ак на меня нахлынуло! Зашли в ресторан, заказали «черные глаза», посидели, я рассказала, как мы живем. Он шутил, конечно.

— А как он там оказался?

— В редакции работает. Я спрашиваю: «Неужели тебе не надоедает по командировкам — автобусы, попутки, грязища, деревни?» — «Знаешь, говорит, плевал я на рафинированную жизнь, хочется посмотреть, чем люди живут». По-моему, он что-то пишет. Обещал к нам заехать. Проводил он меня на автостанцию, один автобус ушел, другой, а мы все стоим. Замерзли, я ему в рукава пальцы просунула — и опять стоим. Махнула из окошка, отъехали — ночь чернеет, поле, деревья, как прутья, качаются, — чуть не заплакала.

Чудно и странно было видеть Элку такой нежной, тихой и хмельной.

— Эл... А ты не оставляй его... — по-женски вздохнула она.

— Милая... Разве я отказалась бы? Я его люблю, не зря же он мне снится. Не знаю... иногда даже такое найдет ночью: если, думаю, он даже будет с другой, я согласна бы и так встретаться. А других мне не нужно. Других сколько хочешь. Только моргни.

Она снова прилегла к Тане, и они помолчали, что-то обдумывая.

— Встаем? Я тебе фруктов привезла... Чай заварим индийский... Тебе письмо? Ну и все. Ничего, Танюша. Будут еще и у нас денечки, неправда. Я вот смотрю и не верю: столько у тебя цветов. Дети принесли? Вот черти! Где же они их взяли? Для любимой учительницы общипали, наверное, какую-то бабку.

Домохозяйки

Весна в Сибири капризная. В начале мая после хороших дней зачастили дожди. С утра побрызгивало, иногда подсыхало, а ночью раскальвался над крышами гром, тяжело шумело и плескалось под окнами. Ставни отяжелели, и Варя уж позабыла, когда и раскрывала их с улицы.

— Теперь зарядили на месяц,— ворчала она на дожди, счищая с ног грязь о порожек.— Чтоб вы прокисли, конца и краю нет. Пропадет все в огороде, только распустилось.

Она поскоблила галоши щепочкой, поставила ведро на то место, где капало, и скрылась в избе.

— Ва-аря!

Варя сунулась в окно, увидела проследившую по двору Мотьку Толстую, вышла ей навстречу.

— Я за нее.

— Принимай!

Мотька Толстая, меся грязь, топталась у крыльца.

— Я говорю, дожди-то киснут, прям как прорвало.

— Не говори. По радио передавали — без осадков, а оно вон что.

— У них сроду ж так! На бобы разложат и гадают.

Она стянула кирзовые сапоги, тряхнула плащом и вошла следом за Варей.

— Ты бы не скидала, у меня все равно грязно,— сказала та. В комнате же было прибрано, помыто, хотя и видно, что хозяйка еще не кончила стирку.

— Смотри-ка, чо творится! — не унималась Мотька Толстая.— Через дорогу перебежала — и насквозь.

— Так оно льет-то.

Варя выхватила из духовки сковородку с картошкой, полила маслом капусту и села за стол. Сунув ноги в Варины шлепанцы, Мотька Толстая сложила руки под грудью, молчала, но Варя чувствовала, что принесло ее неспроста, не терпит ее что-то порассказать.

— Садись со мной.

— Нет, спасибо, я только что ела. Ждала-ждала своего Васю, села сама, умолола полчугунка. Меню ему оставила: «Все не ешь, жди меня». Хе-хе. Ты чо, стирагь надумала, чо ли?

— Только, думала, постирну немножко. Намочила, ждала ж, что перестанет.

— Не-ет, еще на ночку оставит, тучки-то какне... Охо-хо-о, с дождями и жизнью такой.

Мотька глубоко вздохнула и полезла в карман фартука за флакончиком с нюхательным табаком.

— Чо вздыхаешь? Приболела?

— Да нет, тянусь пока. Сердце пошатывает. Вчера у Зайчихи свадьбу гуляли. Поверишь, едва-едва шесть стаканов выпила.

Варя засмеялась: ох и Мотька!

— Не могу, и все! Не как раньше.

Мотька Толстая хихикнула, сама удивляясь своей слабости, втянула носом табак и содрогнулась от его крепости.

— Меня гоже звали,— сказала Варя.— Я не пошла. Как раз обезденежела, без подарка идти неудобно. К вечеру раздобыла, да магазины уже закрылись, я и не пошла.

— Ты у меня учис! Я с гитарой пришла. Васю вперед послала, а сама после. Жених, говорю, я тебе гитару кладу! Будет тебе и на чем по-

играть, и чем жену стукнуть при случае. Хе-хе! Пошутила, побренчала и обратно унесла: гитара-то не моя. Я их так заговорила, что они про все забыли. Дай им бог еще такую Мотьку, они б пропали там без меня. Охо-хо-о, а голова болит.

— Может, моего попробуешь? Легче станет. У меня стоит с праздника.

Мотька зачем-то повернулась к окну, обвела взглядом улицу, кого-то высмотрела там и успела обсудить, и, подумав, что еще не скоро прийти ее Васе, согласилась:

— А то давай!

Женщина она была развеселая, по улице все для нее — кум да кума. Детей у них с Васей не было, воспитали они девочку умершей сестры, недавно выдали замуж в другой город и опять жили вдвоем.

Варя с первых же дней войны осталась без мужа, да так и до сих пор. Многие к ней сватались, но никого не приняла, жила помаленьку, до самой пенсии работала в школе уборщицей. Годы убавили, но не стерли ее красоты, а мягкость, добросердечность и открытость ко всем стали особенно заметны в ней. Мотька Толстая считалась ее задушевной подружкой, хотя иногда, даже не ссорясь, они переставали ходить друг к другу. По своей слабохарактерности Варя делилась с ней всеми переживаниями, а Мотька была вольная на язычок, женщина с хитрецей, и между людей, то ли по зависти, то ли так, болтала лишнее. Правда, у Вари скоро отходило на сердце, и она всегда уступала первой.

Варя налила ей стаканчик, сама отказалась. Мотька издалека сводила разговор к своему.

— Вот ож стояли давече на углу, — добралась она наконец до самого большого, — Устенка была, Мотька Черненькая и я. Что-то завелись о свадьбе. А Мотька Черненькая возьми и брякни: «Ты, кума Мотька, говорят, на свадьбе все вино вытаскала». А я и говорю: «Хватит болтать-то. Я таскала или нет, а вот Терентич твой, кума, сроду из соседей не вылазит, в чужой стакан заглядывает, все не нахлещется». — «Как твой Вася». — «Мой, говорю, Вася по чужим дворам рюмки не сшибает. Это твой, как пронюхает, где бражка, так и туда. Сам лишний раз не позовет к себе. Распознал, что у Вари завелось немножко, так он что ни вечер, то прется: то щипцы ему дай, то мясорубку, все выгадывает — может, поднесут! И подносили! А раз не поднесли — уж и Варя не так. Нет, говорю, так нельзя, кума, не по-соседски это. Тебе ли, говорю, в сплетни встревать, чужих обсуждать? На своих посмотри. А-а-а, говорю, какая ты красивая! Сама у сына в работницах служишь, воспитывала, кормила, поила, а пришлось приболеть, неделю внучку не понянчила, и твой же сын, родное дите, высчитал с тебя пятнадцать рублей из того, что обещал на подарок. Страм какой! Мотька Толстая тебе плохая стала. Пока угождала — хорошая была, а не угодила — и глазу не кажешь». Отбрила я ее хорошенько.

— Хватит бы вам уже ругаться, — посоветовала Варя. — Надо как-то мирить. Слово — полслова, и вы пошли — и уже цапаться! Ай, я так не могу.

За окном кто-то хлопает мокрой калиткой, и по потолку пробегают две тени.

— Спрячь, кума, стаканы, — говорит Мотька Толстая. Она сама ставит их на подоконник, прикрывает занавеской.

— Обедаете? — с интересом спрашивает любопытная Устенка. — Здравствуйте!

За ней прикрывает дверь Мотька Черненькая, плотная, не в пример Устенке, женщина с разросшимися мужскими черными бровями, породистым носом и маленькими глазками. Заметив Мотьку Толстую, чув-

ствуует неловкость, не надумает, как повести себя. Устенъка и Мотька Черненькая подруги, и Мотька Толстая не рада, что они вместе: ей так и кажется, что они только что судачили о ней, и она уже готова наговорить им что попало.

— Ты подумай-ка! — заговаривает суетливая Устенъка для начала, оставив подружку у порога, проходит вперед, мостится на стуле.— Дожди и дожди, поть они. Ой, грязи я тебе понанесла!

— Ладно уж,— говорит за Варю Мотька Толстая не поднимая глаз.— Молодая, вымоет.

— Да хоть и так. Пенсионерка, делать-то нечего.

— Проходи, Моть,— приглашает Варя Мотьку Черненькую,— чо стала, ровно ругаться пришла.

— Да мы пойдем сейчас.

— У них там профсоюзное собрание на дому! — поддевает Мотька Толстая.

Замолчали. Мотька Толстая достала флакончик с табаком. Устенъка хватилась рассматривать Варину обстановку, будто и не бывала у нее никогда.

— Ты чем сегодня занимаешься? — спросила ее Варя.

— Ничем. Так, день прошел впустую. Встала, как раз ко мне из Ересной свои пришли. Поговорили, туда-сюда — время уже двенадцать. А тут и почту принесли.— Устенъка вытащила платочек, прослезилась.

— Чо такое?

— Ой, не говори! — отчаянно махнула Устенъка.— Сын у меня женился! Сдурела наша улица, один за другим. Не писал, не писал, а тут на тебе, вот! «Мама, поздравь меня». Хоть бы спросил: мама, так и так, прошу благословения. Я б, конечно, не отказала, пусть только хорошую выбирает, ему жить — не мне. Дорого го, что матери с отцом поклонился бы, ведь это из веку так идет. Посидела, поплакала, кума Мотька вот зашла. Пойдем, говорю, к Варе.

— Радуйся, а ты плачешь,— подбодрила Варя.

— Передай ему,— сказала Мотька Толстая,— что я больше всех его свадьбы ожидала. Хотела, скажи, гитару подарить.

— Да уж приедут — соберу компанию. Лишь бы жили. Нонче ж молодые знаешь как живут. Загорится — не подумал, что она за человек, можно ли, нет с ней, вбухался и расписался. А через неделю кто куда. Я уж и сама думала: как выберет себе, так все денежки ухлоаем на свадьбу, всех созовем. А оно вон как. У Зайчихи, видишь, как хорошо.

— Жених-то ничего? — спросила Варя.— Я и не видела. Они проходили как-то, я в окошко глянула в спину.

— Какая невеста, такой и жених,— сказала Мотька Толстая.

— Мне тоже не поглянул,— согласилась Устенъка.— Сидит, как немой ровно. Мой бы Витька...

— Твой бы и подражеть успел,— сказала Мотька Толстая.

— Ты уж сиди, кума, не подковыривай!

— Да, детки, детки,— перебила их Варя,— ростишь, ростишь их, а они поднялись на ноги и улетели из твоего гнездышка.

— Бежит время.

— Моему уж до пенсии два года осталось. Кума, твой с какого года? — спросила Устенъка Мотьку Толстую.

— С восьмого.

— Тоже немного.

— Хватит еще.

— Кто ж меня, Устенъка, будить тогда возьмется? — сказала Варя.— То, смотришь, еще радио не говорит, а твой уже кричит под ставнями: «Варя, вставай, прспишь!»

— Все равно! Все равно и на пенсии не будет лежать. Да, а сегодня он у меня задержится. Говорил, станки новые пришли. работы много. Подумать только: говорит, весь завод на одни кнопки перейдет! Я спрашиваю: а чо ж людям тогда делать? В карты гулять? Найдут, говорит.

— Он у тебя, как жук,— сказала Варя.— Все-е копаются. Встанешь зимой, смотришь: всем дорожки пооткидает.

— Он у меня такой,— радуется Устенка.— Он у меня и смолоду такой. И на фронте был, так, говорит, как передышка, не знаю куда руки девать: хочется повертеть что-нибудь. Так он кисеты бойцам вязал! Он у меня такой.

— Да-а,— сказала все время молчавшая Мотька Черненькая,— а сегодня ведь девятое мая. По радио передали: в Москве салют будет.

— Смотри-ко, как время прошло,— удивилась Устенка.— Скоро двадцать лет, а кажется, недавно война была.

— Недавно! — сказала Мотька Толстая.— Сталин уж десять лет как помер.

— Он в каком месяце помер? — сказала Варя.

— В марте,— сказала Мотька Толстая.— Пятого. Я почему хорошо помню: они с моей сестрой в один день Хоронили — раскисло все...

Варя вздохнула.

— А я вот так сижу частенько,— сказала она,— и думаю: а чо, если мой Димитрий остался в живых? Прислали тогда похоронную: «Пропал без вести». Мало ли их тогда присылали, было там время искать кого, когда что ни день, то слышишь по радио: «Вчера после долгих боев оставили...» И на другой день оставили... Кто-то же рассказывал, что вертятся наши помаленьку оттуда. Думаю, а может, и мой там? Попал в плен да так и застрял. Еще, чего доброго, женился на нерусской.

— Да нет, он бы сказался.

— Да нет, конечно, это уж я так. Как я его знаю, так мне кажется — он такой, что не стерпел бы. Где бы ни был, а обязательно послал весточку. Писал тогда: «Варя, проходил я через нашу деревню, где мы с тобой гуляли в молодости, все спалили немцы, один тополь у нашего дома. Вот, дай бог, победим, свожу тебя на родину, давно ты там не была». Свозил.

— А кто и остался,— заметила Мотька Толстая.

— Ну, это уж не дай бог. Променять, как говорится, свою родину на чужую сторону. Это уж надо без сердца родиться. Как вон в песне раньше пели: «Мне родину, мне милую...»

— Мне рассказывала,— оживилась Устенка, шумно потягивая носом.— Все звать забываю, поть она... Соня ли, Тоня ли, поть она. Да еще... тьфу память, вокруг рта мотается — не могу вспомнить!

— Кто?

— Да хохлушка, возле базара живет, у нее еще сын на целине.

— Мару-у-уся!

— Во-во, Маруся! Насилу вспомнила, поть она... Так она рассказывала: мужик-то у нее нашелся!

— Да ну?

— Надо же...

— На Севере отбывал,— продолжала Устенка.

— По-одумай ты...

— Тоже, говорила, сколько пережила, а оказалось, что он и невиноватый. А сердце, говорит, все равно чуяло. Все, говорит, думала: не мог он погибнуть!

— Ну, а как же!

— Что ж ты хочешь.

— Родные ведь...

— Вот и я, нет-нет да и разгадаюсь,— сказала Варя,— а может, и с моим так?

— Да! — не кончила своего Устенька.— Сердце, говорит, чуюло! И с тех пор, говорит, никаким цыганкам не верю!

— А то цыганки не врут! — сказала Мотья Толстая.— Я тебе вожу, я ж все подряд брешу!

— Ты... Какая ты цыганка?

— Чо! Только что кожа не грязная.

— Ой, кума! Начала уже! — остановила ее Мотья Черненькая.

— А ты, кума, сиди не фыркай! Я на тебя крепко обиделась.

— За что? — краснея, спросила Мотья Черненькая.— Я уж и забыла.

— Забыла она.

— Ты ведь тоже хороша: лишнего не перемолчишь.

— Мне простительно: я часто на свадьбах гуляю.

Все засмеялись.

— Магарыч с тебя,— сказала Мотья Толстая.— Без магарыча не мир.

— Я уж вам налью,— поспешила Варя, радуясь, что они заговорили.— Я купила на праздник, думаю, зайдет кто, выпьем за Дмитрия. Давайте присаживайтесь, сегодня День Победы. Пусть им будет хорошо там, им не придется порадоваться, так нам хоть не ругаться. Лежит там и не знает, что о нем тут разговаривают, каждый год поминают.

Варя заплакала, а за ней и все заплакали. На минуту их как-то очень сблизило, и все они подумали о каком-нибудь своем горе, о прожитой жизни.

— Ну, давайте,— сказала Устенька.— Пусть уж дети наши не знают этого. Не дай бог. Давайте по всей.

— Ладно, Варя,— сказала Мотья Черненькая, вытирая слезы,— теперь уж не выплачешь. Брось плакать. Видно, нам с тобой суждено было.

— Дай обидно: у них с Устенькой мужики, а мы с тобой... Я так и перебивалась одна, у тебя хоть и второй, хоть и привыкла сама, да детям не нужен. А с другой стороны, какой ни какой он у тебя, а все ж мужик, одна семья. Ты его не ругай зря, он еще ничего мужик.

Варя бы говорила еще долго, но ее прервала Устенька, выследившая кого-то в окне.

— Вон, вон пошли молодые! Из бани, чо ли...

— А ну-ка, ну-ка!

— Да не засти мне.

— Костюм на нем какой модный!

— Как у моего Васи.

— Твой Вася в довоенном ходит.

— И она...

— К его матери, видно, ходили.

— Кума Мотья! — вскрикнула Устенька.— Глянь, а это не твой там тащится?

— Где?

Мотья Черненькая, прилиная лбом к стеклу, с интересом стала искать по улице своего.

— Ах ты, распусти-и его..! — заругалась она.— Опять, паразит, на рогах ползет! Еще не напился он, собака. Ну, я ему сейчас дам! Паразита и на порог не пушу!

— Варь,— подтолкнула Устенька.— тяни его сюда. слышь? Выбеги.

Варя, сунув ноги в галоши, вышла и закричала с крыльца.

— И куда они льют эту заразу? — рассуждала Устенъка. — И содют и содют как в бочку! Ей-богу.

— И не отучишь их, дьяволов, — добавила Мотька Черненькая. — Как напьется, прям лихотит, лихотит его. Ну, говорит, старушка, последний раз пил! Завтра — все! Кого там завтра! Проспится, а утром бродит, ровно чо потерял. «Старушка, чо-то горит внутри, дай на чекушку». Ах ты наказание еще! — Опять посмотрела она в окошко. — Хоть расхдись.

Сошлась она с ним после войны, когда уже окончательно убедилась, что муж ее никогда не вернется. Прошли для нее все составы, отворожили цыганки и больше надеяться было не на что. От первого мужа осталось у нее двое мальчишек и девочка. Новый пришел к ней без ничего: штаны да рубаха. Долго колебалась Мотька, советовалась с соседями, думала, как еще и дети к этому отнесутся. Первый раз он допоздна сидел у нее и молчал. Дети сумрачно столпились у печки, что-то подозревая.

— Ты куда снаряжаешься? — спрашивал в тот вечер муж свою Устенъку.

— Побегу ж, гляну на Мотиного жениха.

Нашла ей жениха Мотька Толстая. Он был шупленький, стеснительный и неразговорчивый. И Мотька Черненькая тоже не умела поговорить как следует, а в этот вечер и не рада была, что он пришел и сидит при детях. Во всем спасала находчивая сватья Мотька Толстая. Посидели, поперебирали из пустого в порожнее, потом извинились, что не вовремя, помешали. Мотька Толстая намекающе пошутила с порога и ушла с Устенъкой. А они опять молчали.

Ребята легли спать, жених засобирался домой, оделся и уже на крыльце предложил сходитьсь (в темноте ему было легче сказать это).

— Дай мне обдумать, — сказала она. — Сходитьсь не на один день. А я не одна, у меня их еще трое. Я передам тогда через куму.

Через неделю он еще раз пришел, в кармане была поллитровка.

— Ребятишки мои не хотят, — сказала она на том же крыльце. — Не надо чужого отца — и все!

Пришлось вмешиваться Мотьке Толстой.

— Ох, сынки мои, — уговаривала она ребят. — Это попервам только, а поживете — привыкнете: такой еще папка будет! Мать у вас такая молодая, красивая, чо ей теперь: сложить руки и помирать? Хороший был ваш папка, но что ж поделаешь, раз война проклятая. Не у вас одних. И у других есть чужие отцы -- живут же. Вас обушь, одеть надо, выучить! А вы вон сядете за стол, галдите: «Мамк, я картошку без масла не буду есть!» А где она вам, прости господи, возьмет?

Мать сидела рядом и плакала.

— Чо они там понимают! Думают, все с неба им валится. А ты, мать, крутись одна. Встанешь — и то надо, и это надо, и на работу надо — везде одни руки.

— Вам отец нужен, а ей хозяин, — наталкивала их Мотька Толстая. — Вы подождите вот, вырастите да своих щенят настряпаете, туго придется — тогда узнаете, откуда оно все берется.

— Не хочут, не надо! Только пусть потом не жалуются, что не так воспитала.

Старший сын неделю молчал, а после, выбрав минуту, насмелился и сказал матери:

— Ну ты, мам, выходи, раз так. Только как хочешь, а отцом мы его звать не будем.

Так они и жили. Постепенно новый отец привык к тому, что дети никак не называли его, но в компаниях постоянно жаловался людям: ему все-таки было обидно. Своих детей они не нажили.

— О-о! — Поднял он руку, увидев в комнате Мотьку Толстую, кото-

рая обычно заступалась за него, если нападала жена.— Здорово, сестричка!

— Здорово, братка! А я, братка, тебя жду.

— Сё так? — пьяный, он не все выговаривал.

— Горит все внутри.

— А сё с ты не сказала, я б купил.

— Сам должен знать,— разыгрывала его она.

По пьянке Терентич любил прихвастнуть и наобещать, а трезвый — забыть.

— Где тебя черти носили? — строго спросила жена.

— У друга борова колол,— соврал Терентич.

— И оставался бы там! Жрать захотелось, небось не покормили?

— Что ты, кума, на него напала? — защитила его Мотья Толстая.—

Ну выпил, подумаешь...

— Да ну его!

— А сё ты, мать, раскипятилась? — кривя губы, пошел в наступление Терентич.

— Сё, сё! — передразнила жена.— Ты у меня скоро насёкаешься.

Нажрался и-и-и — не стыдно?

Была она строгая лишь на вид и сколько бы ни кричала, трудно было поверить, что она выполнит свое слово. Кричала она впустую, и Терентич за многие годы хорошо изучил ее характер.

Он посмотрел на Варю, тайком мигнул ей: нет ли там по стаканчику?

— Мне не жалко, спрашивай у жены.

— Не давай, ну его к черту!

— А ты молси!

— Пошли домой.

— А кого мы там не видали? Я там не нужен.

— На-ачал уже, начал. Не нужен он.

— Сестриська! — обратился он к Мотьке Толстой.— Давай запоем.

— Давай, братка. Какую мы, братка, запоем?

— А вот эту.

Ка-ак на ре-еськ-е ма-ае-ей

Все гаре-ел ага-ане-ек,

Расцвета-али-и кудря-явы-ые-е...

— О, высоко, братка, взял.

— Подстраивайся, подстраивайся

Ка-ак на ре-есь...

Сестриська! — крикнул он плача.

— Чо, братка? Не дают, да? Выпить не дают? Ах, они, царя мать! Счас, братка, моей попробуем, у меня своего завода есть.

— И-ы-ых! — заскрипел он зубами.— Ребята меня не признают. Не почитают за отца. За кого ж я тут живу?

— А ты не обращай внимания. Они уже большие, у них своя семья на руках, зачем они тебе? Ум будет — поймут со временем, а нет ума — своего не вставишь. Воспитал, выкормил, живи теперь по-стариковски со своей Мотей. Чо, плохо разве она к тебе относится?

— Мотя — нисё не говорю. Мотья, ты не ушла еще?

— Ну и все.

— Как я, сестриська, любил! Как я...

— Иди, иди,— уцепила его жена.— Пошел теперь жаловаться. Все уже давно знают, сколько можно?

— Пусть поплачет.— моргнула Мотья Толстая.— Скажи, братка, это не я плачу, это вино плачет. А, братка, слышишь?

— Домой, домой!

— Мотья! Ты не лезь... не лезь... Сестристка, я и ее люблю. Хочешь, поцелую?

— Ой, беда с тобой, братка! Ее-то, я знаю, что поцелуешь. Ты меня поцелуй.

— Я к ней — не поверишь! — в одних кальсонах перешел. Скажи, Мотья? Так ведь? Ну! А сейчас у нас? Все есть! Обуты, одеты. Я своих детей не знаю, я на фронт мобилизовался, они еще ма-аленькие были, один еще и не ходил даже. Так в оккупации и пропали.

— Ты уже рассказывал, братка.

— Да не мешай ему,— сказала Варя,— пусть человек выскажет, раз у него наболело. У каждого свое.

— Подожди, сестристка, Варя правильно говорит. Ка-ак я... эх... Жену убило, а детей развезли. Я и розыски посылал — нет.

— Ясно, братка, ясно.

— А ее, ее ребята... а! Я неродный, я знаю, но дорого то, что они отцом назовут. Оно знаешь, как на сердце... когда своих нет.

— Хватит, братка. Зато люди тебя не осудят.

— Варь! — обернулся он. — Налей стаканчик.

— Пошли, пошли, — потянула жена. — Варь, не вздумай!

— Ух, старушка моя, — заулыбался Терентич и полез целоваться. — Ты меня любишь?

— Какая там в пятьдесят лет любовь! — засмеялась жена. — Ты и выдумаешь.

— Мне тоже пятьдесят, а любить хочется. Я как молодой, — сказал он и тут же изобразил себя молодым.

Варя и Устенька улынулись.

— Пошли, пошли. Я тебя покормлю-ю, поспишь.

Терентич согласился, обнял жену и в сених опять запел:

Ка-ак на ре-еське-е ма-ае-ей...

— Пошли, пошли, — засуетилась Устенька. — Мой тоже вот-вот с работы зайвится. Хоть картошки поджарить.

— Ты уже управилась?

— Ой, нет еще. Варя, заходи ко мне.

— Я вечером забегу. Состирну и прибегу.

— Ага, забегай, Варя. И ты, кума.

— Мне Васе еще меню составлять, — сказала Мотья Толстая.

На улице стало светлей, переливалась на закате дождевая роса, далеко в центре города, за рекой, блеснул купол оперного театра. Из репродуктора на новом базаре слышались последние известия.

— Посвежело, — сказала Варя за калиткой.

— Да. Теперь, может, перестанет.

— Хоть бы...

Переговариваясь, они расходятся в стороны. Громко по улице разносятся их голоса.

г. Краснодар.



ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

★

НЕБО

Небо на свете одно,
Двух не бывает небес.
Мне-то не все ли равно,
Сколько на свете невест?
Ты мне на свете — одна
С давнего дня до седин.
Ты мне, как небо, дана,
Чтобы я не был один.

Грянет пустая тоска —
Вот я и снова в пути.
К морю уходит река,
Чтобы дождями прийти.
Стынет река подо льдом,
Чтобы очнуться в тепле.
Я покидаю твой дом,
Чтобы вернуться к тебе.

Ты мне, как небо — земле:
Влага, и свет, и тепло.
Много ли проку в зерне,
Если оно не взошло?
Лопнут весной семена,
К небу потянутся в срок!
Ты мне, как небо, нужна,
Чтобы тянулся, как мог.



НАДЕЖДА ПОВЕДЕНОК

★

СОПЕРНИЦЫ

Рассказ

Варвара была некрасивой. Ее лицо, продолговатое, с толстым носом, маленькими глазами и большой бородавкой около губ, украшала бы разве улыбка, но улыбалась Варвара редко и скупно. Чуть откроет полоску белых зубов — и тотчас словно спохватится: снова на лице диковатая напряженность.

Муж ее, бухгалтер по профессии, а по натуре весельчак и добряк, иногда с досадой говорил: «Там в магазине елочные маски привезли, сходи выбери. Мне твоя надоела», — на что Варвара отвечала своей обескровленной улыбкой.

Она была на пять лет старше своего мужа, вышла замуж за него, когда ей было тридцать два года, уже не надеясь найти своего счастья. Грех случился по пьянке, оба переживали. Сыграли тихую свадьбу. Но Варвара все будто не верила и чего-то настороженно ждала. Может, оттого, что не видела от Федора той ласки, о которой слышала от баб, может, потому, что Федор был пригож и бабы льнули к нему.

Через шесть лет он уехал вместе с братом с Алтая, а ей за четыре месяца, истомившейся и все передумавшей, прислал всего одну телеграмму со словом: «Приезжай».

Продав все, что мешало бы в дороге, забрав своих двух девчонок, Варвара приехала в Михайловку.

Федор встретил ее на станции, поцеловал дочек, а на Варвару смотреть избегал. Девчонки сидели в кабине полуторки, а они в кузове. За всю дорогу он не прикоснулся к ней и все как-то возбужденно рассказывал, что купил в их избу. Ей хотелось услышать, как скучал без них он, как рад ее приезду, тогда Варвара склонилась бы, уткнулась бы головой в полы его пальто и поцеловала бы — пусть мимо катят себе машины и телеги. Но он об этом не заговорил, и у Варвары заняло сердце от нехорошего предчувствия.

Когда машина остановилась у их дома — ничего, крепкий, чистый снаружи, — он первый раз посмотрел ей в лицо и сказал грубовато:

— В общем, я тебе оставляю все и помогать буду каждый месяц... Я, Варвара, женился... Ровню себе нашел... и полюбил... Я ж не трепач, ты знаешь...

— Чего ж... конечно... — только и сказала Варвара и молча отстригла его от детей, как бы сразу говоря, что никакого отношения теперь он к ним не имеет.

— Это ты зря, — сказал Федор. — Девчата пусть меня знают и приходят.

Она промолчала. Вещи переташили. Федор посадил девчонок на теплую печку, расчесал им волосы, полюбовался их золотисто-соломенным отливом, воткнул новые круглые гребенки. Потом круто повернулся и ушел. Варвара сказала им, что отец пошел на собрание.

Девчонки разглядывали капроновые банты и яркие платки, примеряли, а Варвара сидела на узле в комнате и обводила глазами новое жилище. Все стояло на месте, было обжито, пол вымыт (сам мыл, сказал), тепло, пахло папиросным дымом. Не будет только его. Не прохрустят по снегу его шаги, не скажет с порога детям, не ей: «Ну, хорошие мои, как?» От него она ни разу такого не слышала. А теперь и девчонки не услышат.

Долго сидела Варвара, упало несколько слез на ее поношенное, с облезшим воротником пальто. Потом встала, вышла во двор. Было совсем темно, играла гармошка (воскресенье ведь), тянуло теплом оттуда, где Алтай, родимая сторона... Завез... «Приезжай»... «Полюбил»...

Варвара оперлась о забор и старалась представить себе наглые глаза воображаемой соперницы. «Сволочь ты»,— сказала она. И заплакала. Не умела она крепче ругаться. Презирала всех, от кого хоть раз слово паскудное слышала. Может, поэтому и друзей у нее не было.

Ночь она почти не спала, и к Федору ненависти больше не стало. Она снова передумала свое отношение к нему за шестилетнюю их жизнь и оправданий себе не нашла. «Долго ревновала и мало любила,— сказала она себе.— А он же и правда не гулял, как другие. А я все высматривала, как яга из берлоги. Все сторожилась...»

Даже то, что он вызвал ее сюда, она поняла по-своему. Жили они в глухомани. Здесь село большое, культурное, школа, детей он любит. Зачем отлучать? Варваре, может, и обидно станет, а сердце у нее из такой породы — переживет просто. Думая так, Варвара прятала голову в подушку, глухо стонала и металась по кровати. К утру стало легче.

Два дня она устраивалась. Девчонки уже подружились с соседскими, пришли и их матери — пожалеть брошенку, обругать бессовестную Анастасию, но Варвара встретила их неприветливо, и они разобиделись.

Девчонкам она сказала, что папка их нашел себе другую, чтобы они, если увидят его, не бегали за ним, а только если сам позовет.

— А мы к нему ходить будем? — спросила старшая.

— Если он пригласит — можете,— сказала Варвара.

На третий день зашел Федор, поздоровался, стоя у порога, сказал:

— Я тебя определил в огородную, девчат в детсад принимают, сходи в амбулаторию, возьми справки.

— Можешь больше не заботиться,— сказала сурово Варвара.— Как-нибудь сама сумею определиться... Бегаешь тут, как виноватый пес.

— Баба с возу — кобыле легче,— сказал Федор и громко хлопнул дверью.

Варвара умыла и передела своих девчонок и повела их в конец деревни, спросив у соседских мальчишек, где больница. Она шла, глядя перед собой, не замечая взглядов встречных, смотрела как бы сквозь них. Походка у нее была тяжеловатая, крупный шаг, платье длинное, деревенского покроя.

Заняв очередь в коридоре, она вышла наружу и села на скамейку. Девчонки играли в догонялки. Варвара взглянула на них как бы со стороны — и глаза ее посветлели. Красивые растут. Все Федорово: пушистые брови кончиками вверх, светло-голубые, в темных ресницах глаза, яркие полные губенки.

Вышла санитарка и приколола на дверь объявление. Варвара прочитала, что требуются санитарки.

Она и сама не знала, почему, с шестнадцати лет работавшая в поле, захотела она перейти на эту работу. Не зайти сегодня Федор, Варвара бы и не задумалась, пошла б, конечно, в огородную или садовую. А то еще благодетель нашелся!

Сутки Варвара дежурила, бегала проведывать девчонок, запирали их на ночь, включая свет, чтоб не боялись, и наказывала не лезть к печке, где тлели прогоревшие угли.

Иногда младшая сообщала:

— А мы нисколько-нисколько не боялись.

Варвара хвалила:

— Вы у меня уже скоро совсем большие станете. А большие не боятся. Да и кого бояться? В поселке только хорошие люди живут.

Днем она копалась в огороде, сажая всякую всячину, любовно перетирала землю в лунках. Ее будоражил этот запах, она задумывалась и улыбалась.

Деревца из палисадника она пересадила во двор, а под окнами посадила цветы.

Однажды девчонки долго не возвращались. Варвара пошла в детсад, но там уже висел замок. Она сразу подумала, что подались к отцу. Он позвал или сами?

Вернулась домой замачивать белье. Анастасию она ни разу еще не видела. Новая жена Федора была звеньева-кукурузницей. Про нее, по рассказам больных, писали в газетах, посылали в Москву, получали все ее звено премии, а однажды Варвара сама увидела ее снимок в районной газете. В платке, в телогрейке, длиннолицая, ничего приметного. От этого Варваре вроде полегчало.

Девчонки вернулись поздно, с подарками.

— Папка нас сам угощал, а дом у него большой, больше нашего,— сказала старшая.— А жены его не было.

— А у них зеркала большие-большие — всю меня видать,— сказала младшая.

— И телевизор есть. Купишь, мама, телевизор, а?

— Как в школу пойдете и будете отлично учиться, так купим,— пообещала Варвара.

— А папка нас с Ленкой целовал-целовал,— сказала старшая.— И на горбушке носил.

— Красивые, мам, платья? — вертелась младшая.

— Ладно тебе,— сказала старшая, заметив хмурое лицо матери.

Варваре, конечно, хотелось еще услышать про «новый дом» бывшего мужа, но оборвала себя и сжала губы по своему обычаю.

«Где же эта его... мотается?» — подумала она и рассердилась на себя совсем.

На другой день в магазине они встретились.

Стояло человека четыре, Варвара торопилась — надо девчонок одеть и в больницу успеть, но расторопный продавец отпускал быстро, и Варвара не стала просить.

Вошла женщина, громкоголосая, с порога поздоровалась со всеми и попросила пустить ее первой. Ее почтительно пропустили. «Она», — сказала себе Варвара, и дыхание у нее замедлилось. Анастасия фигурой была крупная, статная, волосы цвета золотистого, подвязаны косынкой, тонкие подведенные брови, серые играющие глаза и подкрашенные полные губы. Зубы у нее были красивые, она их открывала на полный рот, и Варвара с ненавистью смотрела на эту выставленную напоказ улыбку.

Анастасия взяла печенья и конфет больной матери, как она сказала, и повернулась уходить, но заметила Варварин взгляд и недоуменно вздернула левую бровь, как бы говоря: «Что это ты?» — а потом, словно вспомнив что-то, откровенно осмотрела ее — в длинной юбке и вытянутой кофте. Усмехнулась и пошла, склонив голову чуть набок.

Продавец покрутил головой, а женщины сочувственно посмотрели на Варвару и отвернулись снова к прилавку.

Варвара начала с того, что на другой день укоротила все свои платья, ушила рукава в кофте, подтянула повыше грудь и подкрасила губы. Лицо вдруг ожило. Но ожило оно скорее не от помады, а оттого, что Варвара сама этого хотела. Потом она расчесала темные с сединой волосы и грустно задумалась. Сплела опять две косички, сколола гребенкой, подвязалась косынкой и ушла в огород.

Вернувшись домой, она несколько раз подходила к зеркалу, всматривалась в свое лицо. А когда дочки легли спать, развязала косынку и долго сидела, перебирая и перекалывая волосы.

Она пришла к очень простому, всем известному выводу, что надо за собой следить и быть не хуже других. Она и раньше относилась к разряду средних и одевалась не хуже, чем все, но, оказывается, надо хотеть стать лучше и станешь, пожалуй, лучше, — вот примерно о чем думала Варвара.

В больнице она ходила по-прежнему в платке, а «на людях» на ее аккуратно причесанной голове красовалась сзади пышная загогулина. Большие уши закрывались стянутыми назад и склотыми волосами. Лицо круглело.

Когда она первый раз шла по улице с непокрытой головой рядом с врачом Лидией Васильевной, ей казалось, что все на нее смотрят с усмешкой, все замечают ее старание стать красивой. От волнения лицо у нее порозовело, на каждый пустяк, сказанный говорливой Лидией Васильевной, она открывала в широкой улыбке белозубый рот, сама не замечая этого. Первый путь — от дома до почты — прошел; она вроде освоилась со своей прической и улыбкой, и ей даже захотелось, чтоб встретился Федор.

С тех пор, узнавая Анастасию издали по походке, Варвара во все глаза смотрела на нее, на ее фигуру и одежду, стараясь приметить все мелочи, а когда сближались, то Варвара смотрела вверх или сквозь свою счастливую соперницу. Ей хотелось оглянуться. Случалось, что Варвара видела ее из окна и тогда, скрываясь за шторкой, переходила от одного окна к другому, пока Анастасия не исчезала за углом. Варвара жгуче ей завидовала. Ее статности, славе, счастью.

А слава к Анастасии в ту осень пришла громкая. Из Москвы посылки с премиями получала, в кино и по телевизору показывали: то в кукурузе, то в обнимку с тыквой, то на личной машине.

Как-то, поспав после дежурства, Варвара пошла в огород копать картошку. Она так задумалась, что не слышала шагов Федора. Он негромко окликнул ее, она испугалась, оба рассмеялись. Обоим стало хорошо.

— Давай помогу, — сказал он, внимательно глядя на нее.

— Не нуждаюсь, — ответила она, втыкая лопату и садясь на мешок. — Что пришел?

Он присел рядом на ведро, вертя картофелину в руках.

— Завтра выходной — отпусти девчонок со мной в город.

— Ладно, — сказала Варвара. И не утерпела: — А чего ж твоя ми-лаха не родит?

Федор разглядывал грешину на картошине.

— Ей лечиться надо. Зимой на курорт отправлю.

— Ну, давай,— сказала угасшим голосом Варвара и принялась снова за лопату. Она даже не повернулась, когда он пошел прочь.

Пришла зима.

Варвара все еще работала санитаркой. Как-то слег в больницу комбайнер, молодой парень. Они с Варварой оказались земляками, из одного района, и подолгу вспоминали или просто рассуждали о жизни.

Исподволь, случайно коснулись Анастасии. Комбайнер сказал:

— Она знатная на все Семиречье, с Долинюк переписывается. Трудяга она, Анастасия, сил не жалеет и с нас спрашивает. С ней много зарабатывают, а ласковое слово редко услышишь... Это обижает людей, но идут к ней. Лодырь от нее пощады не жди!.. Что в ней нравится еще — завистливая она до нового... «Давайте попробуем, а?» Часто, правда, и не получается. А она что-нибудь вычитает — и снова. За это уважают.

После этого и появилась у Варвары мысль, которая и так и этак поворачивалась, да и привела ее в сельскую библиотеку, а потом к агроному. Варвара просила дать ей звено для выращивания кукурузы.

Наутро она узнала новости: ее Федор разошелся с Анастасией. Вызвали обоих в райком.

Тряпка Варвары яростно терла окна, где-то над мыслью: «Может, вернется» — бились другие: «Чего надо было?.. С жиру бесится... Это обнаглеть — при живом муже роман крутить!.. Так и надо. «Ровню нашел!» Говорили, в райкоме удерживать станут: знаменитость, на героя тянет!! Но будто бы Федор сказал: «Жить ни за что не буду».

Целый месяц жил Федор на квартире у приятеля, целый месяц ждала его по вечерам Варвара, прибранная, переодетая; слушала допоздна шорохи за окном. А утром как-то, придя на центральную усадьбу, увидела их вдвоем с Анастасией. Шли рядом, смеялись.

Померк в глазах Варвары погожий день, боком притулилась она к борту машины, не поворачивала лица к девочкам всю дорогу, пока на пашню не приехали. А разговор, что романа у Анастасии совсем не было и что Федор попусту приревновал, слышала. И подумала: «А меня, когда я вздумала позлить его да целовалась на глазах, и не заметил... Крепко припаялся, видно, к этой...»

По полю она шагала широко, тяжело, по-хозяйски. Остановилась, потерла лоб, тяжело вздохнула и пошла к трактору.

Важно, будто делали промер глубины, вышагивали за трактором грачи, играло солнце, струилось марево...

Проходила весна. Уже и грачиные спины не лоснились — скрыла их кукуруза, а потом уже и Варвара проходила не склоняясь, а гладила ладонями верхушки стеблей. А когда кукурузное поле скрыло косынки девчат, рано утром увидела Варвара желтый платок Анастасии где-то сбоку поля.

Девчата смеялись:

— Анастасия со злости повесится!

— Ее стебли не выдержат, пусть на наши идет!

— Она все химичит...

— Не химичит, а экспериментирует...

— Хватит вам,— незлобно обрывала их Варвара.— Я вот тоже кое-что подумываю сделать... А по правде, я и сама не знаю, отчего наша кукуруза лучше, чем у нее. Вроде все одинаково.

— Ха,— отвечала Лида-пончик, веселуха Варварина.— У них же только — давай-давай.

Приехал корреспондент, фотографировал все звено и отдельно звеньевую, был долго на поле у Анастасии. Снова завернул.

— Так, девушки, в чем же секрет ваш, а?

— А вы разве не знаете? — скосив правый глаз в сторону, сказала Лида-пончик. — Вы читать должны! В Индии опыт провели: под музыку растения лучше поднимаются. Вот мы с утра до вечера и заводим легкую музыку... А кукурузные клетки знай себе торопятся за нами. — И дурашливо округлила глаза.

Корреспондент рассмеялся:

— Знаю, в чем секрет. В вашем настроении.

— А как же!

Через неделю девчата читали в газете: «И скатилась бы Васильева Варвара вниз, не протяни вовремя ей руку Громова А. Д. Гордится Анастасия Дмитриевна своей ученицей. Кукуруза у той лучше. И учительница бывает у нее на участке каждый день — поля рядом».

— Мы напишем опровержение! Учительница! Насплетничала! — разъяренно кричала Лида. — Чего вы, Варвара Ивановна, терпите? Идите к Воробьеву.

Пока Варвара шла к парторгу, помаленьку горячилась да горячилась, а открыла дверь, еле сдерживаясь.

— Читал, читал, — засмеялся Воробьев. — Вот сукин кот нафантазировал! Садись.

— Не сяду, — зло сказала Варвара. — С чего ему взять эту фантазию?

— Они умеют, корреспонденты... — осуждающе покачал он головой. — Будем редактору писать. А за Громовой я послал. Да ты садись. Ну как, пятьсот дадите? Если дадите, мы тебя, Варвара Ивановна, на такую высоту поднимем...

— Я и сама поднимусь, — сказала Варвара. — И как это у нас, Александр Николаевич, заведено? Если передовик, то уже обязательно и учитель. А если уж у передовика хуже, то хоть в чем-то подхвалить! Как же — передовая! Все ей — этой передовой: и в газете расхвалить, и дом с удобствами, и мужа, а нам ничего?

Воробьев расхохотался громко и искренне. Варвара тоже улыбнулась смущенно: «Вот поди ж ты — ляпнула вгорячах про мужа...»

Вошла Анастасия, посмотрела на Варвару, громко сказала:

— Вранье в газете. Я не говорила ничего, — и села напротив парторга.

Воробьев, чуть смутясь, сказал:

— Я, конечно, верю, Анастасия Дмитриевна. Эта братия иногда для красоты присочинит.

— А вот и нет. Сказала я так, — объявила, вставая, Анастасия. И повернулась к Варваре: — А ты б хотела, чтоб я сказала, как мужа твоего отбила? Да? Чтоб журналист уцепился да расписал?

— Могла и не говорить, — удивилась Варвара, меняясь в лице.

— Так он мне раз пять задал вопрос, как я отношусь к тебе. Вот я и ответила...

— А могла бы и объяснить, — вставил тихо Воробьев, — и журналист по-человечески понял бы тебя и не расписал...

— Наглая ты, — сказала Варвара спокойно-презрительно и ушла из кабинета.

На крыльце дома ждал Федор. Трепыхнулось сердце, будто воробышко в кулаке. Смотрели друг другу в лицо, пытаясь разглядеть что-то... Не разглядели.

— Что? — спросила хмуро.

— Тася извиниться хочет. Пойми ты ее правильно...

— Я понимаю больше, чем вы со своей Тасей, — сказала Варвара, отстраняя его с дороги и открывая дверь. — Варвара простит, у нее сердце кремневое, бесчувственное... Иди, успокой свою Тасю... Она ведь сама не догадалась извиниться... — И закрючила дверь.

Она стояла, уцепившись за тоненький ржавый крючок, — никогда она не закрывалась, никого не боялась. Сейчас боялась одного: скажи он слово — сбросит крючок, прильнет к нему... И ждала. Ждала его голоса. А он тоже стоял вполоборота к потрескавшейся двери и тоже ждал. Потом ушел.

Варвара опрометью кинулась в комнату, прильнула к занавеске, смотрела в сутулую спину, пока не скрылся. Потом сказала себе: «Вот и хорошо... вот и хорошо, Варюха... так и надо...»

с. Ново-Алексеевка,
Казахская ССР.



ЛЕВ КРОПП

★

ПРУЖИНА ВРЕМЕНИ

Я понял — мастерство и труд
заводят времени пружину.
Когда недостает минут,
ищи в безделии причину.
И не гляди на циферблат —
часы злорадны, как кликуши:
чем вдохновенней бьешь баклуши,
тем яростней часы стучат...
Когда выводишь вензеля
от скуки
и лицо, как маска, —
быстрее кружится земля
к неотвратимому фиаско.
И удлиняется зима,
и учащаются закаты,
и деградируют Сократы
без грубой пищи для ума!..

Когда ж
забот
невпроворот,
когда преследует работа,
полнее каждый оборот
и жизнь —
как прибыль
с оборота!
Люблю я занятости сласть,
бессонной ночи
содержанье —
оно, как снегозадержанье,
завянуть на корню не даст.
Наполни,
время,
парус мой
трудом,
усталостью
и ветром,

и потеряй счет километрам,
и потом праведным умой!
Шутя.
 волнуясь
 и бранясь,
мы ожиданий тащим бремя...
Не время трудится на нас,
а мы работаем
 на время!
...Уходят в дальнее родство
роса и пот,
 тая причину
того, что труд и мастерство
заводят
 времени
 пружину!



О. МОРОЗОВА

★

ОДНА СУДЬБА

Я не думаю, что только исключительные люди имеют право рассказывать о себе. Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные.

А. Франс.

Строго говоря, эта повесть имеет отдаленное отношение к мемуарному жанру. Ведь мемуарами обычно называют воспоминания известных, весомых в обществе людей, их рассказ о своем пути и о встречах с такими же, как они, большими людьми.

В этой же повести говорится о жизни обыкновенной женщины в необыкновенную эпоху. В ней есть большие события и большие люди, но я не стремлюсь говорить только о них. Я буду писать о жизни, какой я ее знала и видела. О ней мне хочется рассказать детям, друзьям, всем, кто захочет слушать.

Книга эта появилась из потребности общения с людьми и необходимости подвести итоги.

Мне придется говорить о двух поколениях. Старшие были последними представителями демократической интеллигенции, которые подготовили приход нового строя. Младшие — это мы, люди моего поколения, не успевшие созреть к началу революции; мы были брошены в самую стремнину событий. Мы шли не всегда прямо, на нашем пути много заблуждений. Но не только мы, отдельные люди, петляли, петляла порой и сама история, за все ее ошибки каждый из нас несет на себе какую-то долю ответственности.

Раздумья о жизни — одна из обязанностей человека, потребность и право наравне с правом жить.

Люди, язык, человеческие отношения меняются на глазах. Наши внуки уже не удивляются переворотам и научным открытиям. Они не сознают с той остротой, как наше поколение, гордость советского гражданства. Мы выстрадали его. Мы несли в себе мировоззрение и мироощущение двух разных миров, и преодоление этой двойственности и постоянная борьба за право участия в современности составляли для многих из нас задачу жизни.

Я пишу лишь о том, что хорошо знаю и чему была свидетельницей, не претендуя на исторические обобщения.

ЧАСТЬ I

КАМЕННАЯ СТЕПЬ

1

В начале жизни была степь и высокое небо над нею. Мы с братом Костиком знали только степных зверей и птиц и свою маленькую семью. Рассказы о человеческом мире были для нас достоверны почти в той же степени, как сказки про всякие чудеса.

Мой отец Георгий Федорович Морозов — известный русский ученый, лесовод и географ. В основу своей первой научной работы он положил опыт лесонасаждений в Каменной степи Воронежской губернии. Так, еще в конце прошлого века он стал одним из первых преобразователей природы в современном значении этого слова. Отец начал свой путь лесничим.

Домик лесничего стоял посреди голой степи, и вокруг него в питомниках, как в детских яслях, выращивались маленькие деревца. Потом их высаживали рядами; это были опытные посадки.

У деревьев было трудное детство, они закалялись в борьбе с сухове-ем и росли, чтобы стать стеной против его смертоносных набегов.

С тех пор прошло больше полувека.

В Каменной степи шумит лес, который носит имя моего отца.

Моя мать была тихим человеком. Она любила природу и живопись и сторонилась людей. Она инстинктивно боялась человеческой толпы и терялась в ней. Но поневоле маме приходилось изредка бывать на ярмарке в селе Хреновом. Однажды она решилась взять с собой и нас — меня и брата Костика.

Это был наш первый выход «в свет». Мы были оглушены и ослеплены великолепным зрелищем и долго жили его впечатлениями. Деревенский карнавал шумел на раскаленной площади. Все вокруг нас орало, пищало, свистело на все лады. В этом водовороте мелькали загорелые лица, сверкающие зубы, яркие платки, игрушки, пряники. Вихрем кружились размалеванные карусели, и высоко в небо взлетали скрипящие качели.

В толпе появлялись удивительные, смешные и страшные фигуры: усач-военный, звероподобный цыган и расфуфыренная барыня с буфами, но всех страшнее был идиот, сидевший в тележке и пускавший пузыри, в то время как мальчишка-поводырь собирал для него милостыню.

Потом появилась бешеная собака. Она бежала по площади, опустив тяжелую голову и роняя пену из раскрытой пасти. Толпа шарахалась, пока какие-то смельчаки не бросились навстречу ей с топорами и кольями.

И снова степь.

Я хорошо помню набеги суховея. Дом наш трещал под ударами ветра. На крыше гремели железные листы, в щели ставен то и дело врывался огненный ветер.

Мы боялись суховея. Для нас это был серый и лохматый старик. Подобрав полы халата, он гонял по степи перекасти-поле, крутил со свистом пыльные смерчи до самого неба и заглядывал в звериные норки. Но зверьки уходили в глубокое подполье. Степь казалась вымершей.

Из нас всех одна только Лиславна, строптивая и трезвая девушка, помогавшая по хозяйству, не боялась суховея. Она по три раза в день выбегала к колодцу за водой, и мы смотрели в шелку ставен, как она уточкой бежала домой, расплескивая из ведра мутную жижу, а ветер трепал и задираал ее юбки.

Прибежав, она бранилась и отплевывалась от набившегося в рог песка. И как всегда, когда бывала не в духе, напоминала нам о том, что мы все пропали бы, не будь ее на свете.

После трех дней бесчинства сухой обычно выматывался, и тогда, взгромоздившись на пыльное облако, он уплывал в сторону заходящего солнца.

И вот тут-то начинался праздник, наступал просветленный вечер. Степь оживала; в ней появлялась, шурша и попискивая, мелкая живность: толстые сурки выходили на сторожевые посты, звонкие стрижи прочерчивали остывающее небо. По другую сторону от затухающего заката торжественно, как это бывает только в степи, всплывала огромная малиновая луна.

Все сгихало, только цикады звенели, как оркестр народных инструментов. Сумерки спускались с неба, и летучие мыши начинали путанный полет. На столе зажигали керосиновую лампу, и в открытые окна на нее бросались штормом полчища мошек. Мы с интересом наблюдали их героическую и бессмысленную гибель, пока мама, нахмутив брови, не загоняла нас в детскую спать.

2

Летом 1901 года отец уехал надолго в Петербург. В нашем домике неожиданно появилось новое лицо, старинная приятельница семьи моей матери. Она сообщила, что принуждена скрываться у нас от преследований и называла себя «эсдечкой». Мы ее полюбили и звали тетей Шурой.

Тетя Шура была сухонькая женщина непонятного возраста. Она курила, коротко стригла прямые волосы и носила пенсне, которое то и дело сбрасывала, когда волновалась. Она любила спорить. Но в степи ей спорить было не с кем. Мама была нелюбопытна и молчалива. Много позднее в Петербурге начались яростные схватки тети Шуры с моим отцом (на почве политических несогласий), и нас, ребят, всегда изумляло неистовство этих споров. Казалось, нельзя было ненавидеть друг друга больше, они расходились взъерошенные и озлобленные, а спустя три дня встречались как ни в чем не бывало, пока неосторожное слово не вызвало нового и такого же безрезультатного сражения.

У тети Шуры была слабость. Она любила возвышенную красоту в искусстве и в жизни и умудрялась равно ценить Сикстинскую мадонну и «Остров мертвых» Беклива. Она была недурной пианисткой и училась еще у самого Рубинштейна. Жила она уроками музыки. Но, несмотря на горячую любовь к музыке, ей не удавалось внушить ее ученикам; получалось обратное: моя мать, бывшая ее ученицей, на всю жизнь сохранила страх перед ее уроками. Тем не менее впоследствии она поручила ей же наше музыкальное образование. Мы отказывались учиться. Нас ловили и силой тащили на урок. Мы царапались и кусались. Не забыть мне холодных клавиш рояля и холодной гостиной, горьких слез, падавших на дрожащие руки, и окриков тети Шуры, сопровождавших бесконечные гаммы.

Она любила мою маму, которая была для нее идеалом возвышенной красоты.

Помню их обеих на крылечке нашего дома: тетя Шура дымит и сыплет пепел на книжку, мама задумчиво смотрит вдаль, сидя на перильцах, как птица, готовая вспорхнуть. Зной загнал нас всех под навес крыши. Степь дымит по краям, как раскаленная сковородка, и в струящемся по горизонту воздухе колеблются силуэты.

Разговор ведет тетя Шура, и все о том же.

— Ты, Лида,— говорит она,— сделала величайшую глупость. Как ты могла выйти замуж? Мыслящая личность не должна приносить себя в жертву инстинктам. Вот теперь ты похожа на птицу в клетке, и смотреть на тебя больно. Нет, нет... Вот я так очень рада, что избежала рабской доли, что осталась свободной и могу приносить своей жизнью пользу обществу.

Мама молчит. По своей робости и пассивности она давно примирилась с наставлениями. Она ничего не знает о своей диковинной прелести. Она похожа на романтического юношу с темными кудрями на плечах и постоянно задумчивым выражением лица.

Встрепенувшись, мама показывает на горизонт.

— Вот там,— говорит она,— идет караван. Смотрите, какое появилось озеро! И на берегах пышные рощи...

— Где, где? — волнуется тетя Шура, с любопытством всматривается вдаль, то сбрасывая, то надевая пенсне...— Ничего не вижу! Как досадно!

В это время приходит из кухни разгоряченная Лиславна, вытирает пот с круглого лица и заявляет:

— Все выдумки! Никакого миража не может быть. Это не пустыня, а всего только степь! Ну и жара же сегодня, я скоро лопну, ей-богу!

В эти жаркие полуденные часы мы с Костиком играли под навесом крыши. Я занялась «скульптурой». Глины не было. Не было ничего, кроме картошки. Я взяла сырую картошку и вырезала из нее перочинным ножом очень безобразную голову. Она была, казалось нам, как две капли воды похожа на того самого идиота, с которым мы познакомились на ярмарке, и, пожалуй, еще страшнее. Я обмирала от ужаса, захлебывалась от восторга. Голова была надета на палочку, мы завернули куклу в тряпье, посадили на тележку.

А потом началась ярмарка.

Лиславна, перегнувшись через перила, наблюдала нашу игру и вдруг позвала меня с самым зловещим видом. Я весело вбежала на крыльцо с идиотом в руках. Следом за мной пришел и Костик.

Лиславна вырвала у меня из рук мое произведение и поднесла к носу тети Шуры.

— Вот! Видали? Как вам это нравится?

Я перевела взгляд с тети Шуры на маму, заметила окаменевшее лицо тети Шуры, поймала затаенную улыбку мамы... Тетя Шура произнесла обвинительную речь.

— Как? — говорила она...— И ты, Лида, поощряешь такие игры? Это называется воспитанием? Да твои дети хуже дикарей. Удивительно мне, что ты, художница, терпишь в своих детях извращенный вкус! Кто бы мог подумать, что такая изящная и неглупая девочка...

В это время Лиславна вырвала идиота у меня из рук и унесла его в кухню, очевидно для того, чтобы казнить. Я спрыгнула с крыльца и, глотая слезы, душившие меня, обежала дом и села на завалинку на самом солнцепеке. Я уж ничего не слышала и не видела и только ковыряла босой ногой сухую горячую землю.

Никто не мог утешить меня в моем горе.

С тех пор я много рисовала кудрявых девочек и мальчиков. Радости я от этого не получала. Это было бездарное занятие.

Но вскоре мы придумали славную игру. Мы стали вырезать этих кукол, приклеивать к ним подпорку и устраивали сражения. Каждый дул изо всех сил на свой отряд (у меня — девочки, у Костика — мальчики). Куклы двигались навстречу друг другу, сталкивались и падали под воинственные крики Костика.

Настала зима — долгие дни ожидания. Отец задержался в Петербурге. Будущее было неясно. Вечерами мама переписывала статьи отца, рисовала перышком деревья и чертила диаграммы. Она сидела за письменным столом, накинув на плечи клетчатый плед. Наконец-то наступал для нас час свободы. Она принималась за свой дневник. Это были записки очень одинокого и робкого человека, никому никогда не поверявшего своих сомнений, слабостей и неудовлетворенности жизнью.

Так проводила вечера наша мама. А мы жили по-своему.

Был обычный вечер. В комнате сильно натопили печку, за окном буйствовала метель. В доме была тишина. Лиславна давно завалилась спать и тихонько посвистывала носом в соседней комнате.

О нас забыли. Мы забрались на мамину кровать и тихо возились, боясь обратить на себя внимание.

Костик зашептал мне на ухо:

— А папа все не едет, и ты меня опять обманула.

— Приедет завтра, теперь уже наверное, — отвечала я. — А сейчас ехать ему нельзя. Снежная королева не пускает. Слышишь, что делается в степи?

Мы прислушались: свистит. Я вздохнула.

— Не будем говорить страшное. Будем играть. Давай пожегнемся...

— Зачем? — сонным голосом спросил Костик.

— Ну как зачем? Все женятся. Мы будем жить под письменным столом, а кукла Матрена будет наша дочка.

— Нет, — сказал Костик. — Не хочу жениться. Это неинтересная игра.

Ветер ударил в форточку и застонал в трубе.

Мама прислушалась, оглянулась на нас. Мы притворились спящими. Тогда она встала, осторожно открыла форточку. В комнату с порывом ветра ворвался рой снежинок, торопливо таявших на лету. И в шуме вьюги мы ясно услышали тоскливый, внезапно оборвавшийся вой.

— Волки, — сказала мама, сдвинув брови. И тщательно завесила окно старым одеялом.

За ночь дом утонул в снегу. Комната стала похожа на пароходную каюту. В окнах стеной стояла снежная мгла. Мы радовались, взрослые волновались. Лиславна повторяла без конца:

— Когда же они придут наконец? А вдруг не придут? Что тогда будем делать?

— Глупости, — отвечала мама.

Объездчики с кордона пришли через час и принялись откапывать дом. В комнату брызнул солнечный свет, бородатое лицо, ухмыляясь, заглянуло в окно.

Это значило, что путь свободен. Мы в полушубках и башлыках выбежали во двор.

За ночь все переменялось, и не узнать было привычных мест. Дом превратился в снежную гору. И с этой горы, когда она подтаяла, можно было лететь на санях, закрывая нос варежкой от режущего ветра.

И вдруг мы заметили черную точку в снежной белизне.

Потом послышался звон колокольчика. Потом мы мчались домой с пронзительным визгом. Потом во двор выбежала мама, набросив на голову плед, а за нею, споткнувшись на крыльце, вылетела Лиславна. И вот он приехал наконец, наш папа.

4

После поцелуев, визга, суматохи он был усажен за стол. Лиславна принесла шипящую сковородку с яичницей. Лицо ее выражало полное душевное расстройство. Еще бы. Откуда она могла знать, что он приедет именно сегодня, когда нет ни булочек, ни пирожков?

Мама растерянно топталась вокруг стола и спрашивала:

— Что же ты не писал так долго? Почему не сообщил о приезде? За это время всякие мысли приходили в голову. Как ты мог забыть нас?

Отец был невелик ростом, очень подвижный и легкий в кости целовек. Он говорил быстро, чуть картавя и крутил бородку. Рука у него была тонкая, нервная и маленькая. Он курил, обсыпался пеплом и не слушал замечаний. Его молодое, большелобое лицо сияло воодушевлением, голубые, очень яркие глаза чуть косили в разные стороны.

Он говорил, и мама слушала, не сводя с него глаз, то улыбаясь, то хмурясь, когда ей казалось, что он теряет чувство меры. И тогда отец сбавлял тон, как музыкант, повинующийся жесту дирижера.

— Ну, видишь сама теперь, мог ли я писать?

В Петербурге доклад отца вызвал большой интерес, его лекция на конкурсе прошла с успехом, он отвоевал кафедру в Лесном институте, и мы должны теперь переехать в Петербург.

Со всей своей горячностью отец бросился в события, разговоры, встречи, он спорил, сражался и побеждал. И больше всего радовала его поддержка Докучаева во всех его планах. Тревожил один нерешенный вопрос: кто заменит его и кто продолжит начатую работу в степи. Нельзя было дать погибнуть этому делу.

Он говорил маме:

— Ох, и буду же я драться! А теперь выпьем за науку, за наше будущее.

И отец вытащил из чемодана бутылку.

Мама поморщилась. Мы радостно завозились, поглядывая на бутылку. Однако нам не дали даже попробовать вина. Папа чокнулся с мамой и Лиславной. Выпили и за науку, и за нового профессора, и за здоровье всех, а с Лиславной — за будущих женихов. Лиславна заливалась тоненьким смехом.

— Какие глупости, — говорила она, вытирая глаза платочком.

После завтрака распаковали вещи. Все получили подарки. На стену повесили часы с кукушкой. Но едва ли не главным чудом были французские булки. Мы с трудом грызли их и значительно переглядывались. Шутка сказать — булки из Франции. Такое случается не каждый день!

Был праздник, и на радостях никто не спорил с Лиславной. когда она объявила нам, что вчерашние карты подсказали счастливые перемены, дорогу, большой дом и трюфелевого короля.

5

И вот настало наше последнее лето в степи.

Мама была занята сборами в дорогу, не гуляла с нами, забросила свои гербарии и рисование, была чем-то озабочена и рассеянна.

Мы бегали «на посадки», где с раннего утра в белом пиджаке и с лицом кирпичного цвета командовал наш отец целой ротой хуторских баб и практикантов, появлявшихся неизвестно откуда и так же исчезающих к концу дня.

Было ветрено, знойно, по горизонту ползали тяжелые тучи. Они упрямо проходили боком, разражаясь огнем и водой где-то в Хреновом, не у нас. Отец объезжал свое хозяйство на тарантасе, возвращался под

вечер усталый, и нас после обеда выгоняли в степь, чтобы мы не мешали ему отдохнуть.

Отец не умел заниматься с нами. В редких случаях он, возбужденный какими-то неизвестными причинами, принимался возиться с нами, шекотал бородой, пугал громким смехом. Мама наблюдала за возней с неудовольствием и с опасением, что он и ее затянет в игру. На лице ее появлялся страх, точно одним своим прикосновением он мог причинить ей боль.

Это смутно осознанное наблюдение настраивало на сочувствие к ней, к маме, и настороженность к отцу. Мне приходилось слышать короткие и быстро угасающие разговоры, когда папа непонятно упрекал маму за что-то, она слушала с болезненным выражением лица. В голову не приходило еще ни тогда, ни после, что сочувствие и глубокую жалость нужно было разделить между родителями хотя бы поровну.

6

В конце лета произошло удивительное событие. Сначала приехала чужая тетя и поселилась у нас, и все в доме ухаживали за нею. В двух маленьких комнатах готовились, как будто к празднику: мыли и убирали. Наконец, как всегда в торжественных случаях, нас прогнали из дому. Нам сказали, что мама заболела. Я была подавлена тоской и бессознательным страхом, происшедшим от недомолвок и таинственного заговора отца и Лиславны.

Мы сидели целый день на завалинке, скучая и ссорясь. Лиславна выходила к нам время от времени, хмурая и заплаканная, играла с Костиком, на меня же не обращала внимания и отмахивалась от моих вопросов. Потом прибежал в белом халате, похожий на доктора, наш папа. Я бросилась к нему с воплем. Он поднял меня на руки, расцеловал и сказал Лиславне возбужденно и счастливо:

— Все! Слава богу! Девочка! Да какая замечательная!

Нас повели в дом. Мы осторожно подошли к постели, где лежала наша мама. Папа сказал:

— Поцелуйте маму. А теперь поглядите на сестренку. Это Лидочка.

Лидочка оказалась меньше моей куклы Матрены, привезенной с ярмарки. Она кричала, поворачивая туда и сюда сморщенное личико, и делала нам страшные гримасы. Она нам очень не понравилась, но папа почему-то радовался, и все улыбались растроганно. Когда нас спросили, нравится ли нам сестренка, пришлось ответить утвердительно, из вежливости.

В скором времени мы собрались к отъезду и взяли с собой и Лидочку и сурка, жившего с нами последнее лето в большой дружбе.

7

Петербург встретил приезжих кислой гримасой.

Грязный снег еще не сошел на окраине города, ветер рябил лужи на мостовой. По Неве медленно двигались шуршащие льдины.

В маленькой квартире нашего дедушки, таможенного чиновника Морозова, на Васильевском острове были натерты до зеркальности полы, на окнах топорщился накрахмаленный тюль. В углу комнаты мрачно сияли черные с золотом иконы. Мебель, сделанная немцем на заказ, выглядела добротной и внушительно. Никто и ничто не улыбалось в этом доме, и кенар в клетке пел, как заведенная машина, без всякого воодушевления.

На столе насвистывал медный самовар.

Дедушка встретил нас торжественно и парадно.

Хотел благословить, но раздумал, клюнул каждого в голову, а с отцом целовался троекратно.

Мы примечали каждое его движение, зная по рассказам отца всякие про него чудеса.

В свое время, когда отец взбунтовался против военной службы, снял офицерский мундир, пошел учиться в Лесной институт, дед проклял его и выгнал из дому. Отец любил рассказывать, изображая эту сцену в лицах. Теперь было не то, старик согласился забыть о прошлом, о тяжелом пути сына, пробивавшего себе дорогу к науке. Профессорское звание сына льстило его самолюбию.

Мы с любопытством разглядывали деда, старались представить себе, как он порол своих сыновей по субботам самыми настоящими горячими розгами. Но он оказался обыкновенным стариком, лысым и румяным, с большим носом, с седыми бакенбардами, ничто в нем не говорило о его странных вкусах. Отец называл его «папашей», и это было смешно. Мы успокоились.

Бабушка (или мамаша) шуршала шелковой юбкой, кланялась и звенела браслетами, и было у нее рыбье лицо.

За столом мама сидела, опустив глаза с самым страдальческим видом. Отец то и дело поглядывал на нее. Дед искоса прошупывал глазами и наконец решил бесповоротно, о чем после и объявил отцу: «Супруга солидности он имеет, однако гордячка, безбожница и спеси дворянской преисполнена».

Лиславна, пылая от волнения, вертелась на стуле и хищно следила за нашим поведением. Как-никак мы были дикари и могли осрамить родителей и ее также. А мы сидели тихо и были похожи на птенцов, выпавших из гнезда.

Говорил один только папа, и дед слушал его милостиво, кивая головой.

И вдруг он перебил его рассказ:

— Когда же ты собираешься заказывать мундир? У меня есть отличный портной из немцев. И сукно, пожалуй, найдется. Ну-ка, Лиза, — обратился он к бабушке, — принеси.

И бабушка сорвалась с места, как хорошо натренированная гончая.

Прошло несколько дней, и мы переехали на казенную квартиру в Лесном.

ЧАСТЬ II

ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОГРАД

1

В Петербурге все стало по-иному: изменились и мы сами, и наши отношения с внешним миром. Семья выросла. Две голубоглазые сестренки, похожие на лесные колокольчики, шелестели в детской. Появилась овдовевшая «папина бабушка» со своими иконами, кухарка, и горничная, и сторож Аким. В доме постоянно гостили, сменяясь, какие-то родственники, друзья, приезжие, ученики отца, голодающие курсистки. Наш дом стал похож на корабль, обрастающий ракушками и глубоко осевший в воду. У него был тяжелый ход.

Лесное в то время было похоже как две капли воды на всякий другой пригород Петербурга. Деревянные домишки, прокисшие под морося-

щим дождем, дощатые тротуары, хлюпающие по грязи, унылый пейзаж с городовым на перекрестке.

Казенный дом, в котором мы жили, был похож на казарму. Он тянулся во всю длину улицы против вросшего в землю здания Лесного института. Мы видели из окон нашего отца, когда он, опираясь на палку, возвращался домой. У него бывало измученное лицо.

Вокруг институтских строений расстилался парк: безлюдный, запущенный, милый сердцу в любое время года. У него был свой собственный климат, песчаные дорожки в пятнах солнечного света, пруды, затянутые зеленой ряской. На этих прудах мы катались на плотках, а зимой на коньках.

Дома мы жили вполголоса, но чем сильнее угнетал нас строгий и печальный ритм нашего дома, тем стремительнее разворачивались приключения в парке. Были там и драки, и встречи, и слезы, и поцелуи... Было все, чего нельзя было позволять себе дома.

Отец заболел неизлечимо в самом начале петербургской жизни. Болезнь пришла неожиданно и придавила его тяжелым камнем.

Родители говорили об этом горе по ночам, отец плакал. С тех пор как случилась беда, на лице нашей мамы застыло выражение скорби. Как трагическая маска, оно отпугивало жизнерадостных людей. Отец жил словно приговоренный к медленной смерти. Он работал без отдыха, преодолевая все возрастающие физические страдания. Создание новой науки о лесе было нелегким делом в условиях ведомственной практики лесоводства, в среде замшелых верноподданных чиновников. Отца ненавидели за новаторство и боялись. В стенах Лесного института началась травля, выматывающая его силы. После бурных заседаний он приходил домой без сил, смотреть на него бывало больно, и подойти к нему мы не решались. Наша мама понимала его, но не умела найти слов для выражения своего сочувствия.

Для отца в эти годы основы дарвинизма были опорной точкой для развития его идей. Он создавал теоретическую базу науки, называл теорию душой практической деятельности. Как никто другой, он знал, что наука рождается из жизни и для жизни.

Он боролся за сохранение русского леса от хищнического потребления и был непримирим в борьбе. Создаваемое им учение быстро вышло на широкую дорогу передовой научной мысли, нашло поддержку и шумное признание. Основной его труд «Учение о лесе» стал классическим руководством для многих поколений лесоводов не только в одной России, но и во многих странах.

Отец не писал, но «рассказывал» свою книгу. Он ходил по кабинету и говорил, а мама с удивительной быстротой писала под этот рассказ, боясь прервать его или замедлить импровизацию. Поправок он почти не делал. Впоследствии мне нередко приходилось заменять маму в роли пишущей машинки.

После смерти отца не только его деятельность, но и самая его личность завоевала широкую популярность. Его имя и его жизнь были окружены добрыми преданиями. Я узнала об этом, скитаясь по стране во время гражданской войны. Всюду и везде я встречала его учеников. Имя Георгия Федоровича Морозова служило мне защитой и паролем для пропуска в человеческое сердце. Но несмотря на то, что имя отца и его учение как при жизни, так и после смерти выходило с победой из всех испытаний клеветы и замалчивания, история его жизни, если рассказать ее целиком, одна из самых печальных историй на свете.

Сейчас в новом здании Московского университета поставлен бронзовый бюст с надписью на постаменте: «Г. Ф. Морозов, выдающийся русский лесовод и географ, основоположник науки о лесе».

Я с трудом узнала в бронзовом бородаче своего отца. Скульптор очень старался сделать его похожим, но не мог передать его одухотворенности.

Отец умер в начале революции, в 1919 году. Он боролся со смертью, работая до последнего часа. Ему не пришлось увидеть становления нового строя и развития науки, основы которой он заложил в своей короткой и тяжелой жизни.

2

Обычный наш семейный распорядок нарушался иногда съездом лесничих и другими событиями общественной жизни. Тогда все уходило на задний план, мама же, растерянная, застенчивая, неловкая, пряталась или попросту убегала из дому.

Зато на сцену выходила «папина» бабушка.

Так, в день его юбилея она с утра завилась барашком, что вовсе ее не красило, а маму сильно возмущало. Бабушка пыталась играть роль хозяйки, но суетилась напрасно, говорила невпопад и раздражала своего сына.

Мы с братом наблюдали издали домашнюю суматоху, беготню прислуги, звонки, поток телеграмм и цветов и торжественное появление нашего папы в свите учеников и друзей. Его вынесли на руках из аудитории института:

Вскоре к нам прибежала растерянная и запыхавшаяся бабушка.

— Оля, папаша велел тебе прийти. Ступай скорей да не забудь сделать книксен. — Она поправила банты в моих косах дрожащими руками.

Гостиная была холодная и неудобная, в ней таились одни неприятности: рояль и ненавистные уроки музыки, библиотека, которую мы не смели трогать...

Теперь здесь было много людей, ожидавших своей очереди попасть в кабинет отца. Разряженные жены лесничих сидели на мягких стульях и переглядывались. Они обрадовались моему появлению, гладили меня по голове и восхищались сходством с отцом. Я угощала их чаем и занимала разговорами. Я очень старалась, зная, что выручаю из беды маму, не умеющую преодолеть страха перед людьми и отвращения к светским обязанностям.

После одного из съездов лесничих на столе лежал адрес, поднесенный отцу. Он кончался словами: «Мы счастливы, что имели возможность хотя бы короткое время быть учениками человека, в лице которого так удачно сочетались редкие в жизни качества даровитого ученого, блестящего художника и чуткой, отзывчивой человеческой души».

Обычно наш отец сильно уставал от множества добрых и взволнованных слов. Однако внезапно наступала реакция, и вечер, бывало, кончался семейной бурей с упреками маме и вспышками гнева по самым неожиданным поводам. После того, как отец уходил к себе, хлопнув дверью, нам было трудно решиться зайти к нему, чтобы попрощаться на ночь, и, прежде чем войти в кабинет, мы с братом долго топтались у дверей.

Однажды, когда мы вечером зашли к нему в кабинет, то увидели, что папа сидит в кресле, опустив голову на руку. Ноги его были укутаны пледом, на столе стоял остывший стакан чаю. Я очень осторожно попыталась поцеловать его. Он отстранил меня. Глаза его были полны слез. Сказал:

— Позови маму.

Мама пришла мрачная, смотрела в сторону. Папа взял нас за руки и стал говорить всякие страшные слова и просить прощения. Я вырвалась и убежала к себе.

А ночью мне не спалось, и поневоле я слышала больше, чем следовало. Я слышала стоны, беготню по коридору с грелками, стук в стенку маминой комнаты, которым отец несколько раз в течение ночи вызывал маму на помощь.

Я вышла в коридор. С другой стороны коридора к дверям кабинета подкралась бабушка, похожая в ночной рубашке на привидение. Ее длинный нос обнюхивал замочную скважину. Я наблюдала ее, как врага. Мне хотелось, чтобы дверь неожиданно открылась и чтобы ее застали на месте преступления. А потом я начала плакать. Бабушка испугалась и растворилась в глубине коридора. И вот вышла мама. Она взяла меня за руку и увела в детскую.

Я лежу в постели, а мама сидит рядом. Она не утешает меня и не ласкает. Она этого не умеет. Я смотрю на любимое лицо с глубокой складкой между изогнутых бровей. Я плачу теперь уже о том, что она когда-нибудь умрет и я не смогу перенести этого.

— Спи, девочка, — говорит мама.

Она задумалась, ее глаза утонули в глубокой тени глазниц, и я наконец засыпаю, вздрагивая и крепко сцепившись в ее руку.

Папа любил развлечения, которые мама называла грубыми, и, потому что она так считала, несколько стеснялся своих вкусов. Очень редко он мог позволить себе повеселиться вместе с нами, ребятами. Мешали его занятость, переутомление, болезнь и недовольство мамы.

И все же всю жизнь помнится чувство праздника, когда мы с папой сажались «на вейку».

Нынешние дети не знают уже, что это за штука!

Вейками называли финнов, приезжавших из пригорода для масляничного катанья на своих заиндевших лохматых лошаденках. Грива лошадки украшена разноцветными лентами, сани с меховой полостью и сбруя в бубенчиках. Звенят колокольчики-бубенчики, скрипят полозья, и вейки мчатся, обгоняя друг друга, да иной раз опрокидывают сани и вываливают ребят на снег.

И еще любили мы бывать с папой в цирке, где он радовался и ужасался вместе с нами. Но после одного головокружительного номера, перепугавшего нас, на цирк было наложено *вето*.

Вот крохи воспоминаний об отце, когда он забывал о мучительной болезни, о работе, о долгах, о неприятностях, когда мы на короткий миг видели его улыбку. Все это кончалось так быстро, и в доме снова поселялась настороженная и скорбная тишина.

Мы боялись отца, и невдомек нам было, что он любил нас и нуждался в нашей ласке.

3

Мама вела домашнюю начальную школу, где учились наравне с нами и, разумеется, бесплатно, дети институтских сторожей и служащих.

Арифметика — ненавистный предмет. Я засыпала над задачами или рисовала чертиков, и мама не раз, к общей радости, выводила меня за ухо из класса.

Моим настоящим делом было рисование и одновременно с ним сочинение всяческих историй. Я писала свои повести и щедро иллюстрировала их, рисуя на обороте листа.

По настоянию дедушки, я читала религиозно-философские книги, а с тетей Шурой рассуждала о политике. Я носила крахмальный воротничок как символ эмансипации и старалась во всем подражать тете

Шуре. Она была старенькой, и мы ее любили, несмотря на отвращение к урокам музыки, которое она сумела-таки привить нам. Тетя Шура называла себя в те годы марксисткой, я же склонялась к эсерам, социальная романтикой террора. Мне было одиннадцать лет.

После уроков музыки тетя Шура оставалась обедать. И тогда обычно разыгрывались бои между нею и отцом. Папа приходил к обеду усталый, тяжело опирался на палку, смотрел косо. Неприятностей и бурь в институте всегда было много... Отец не мог найти выхода из условий косности и застоя, и один вид уверенной в себе тети Шуры выводил его из себя. Он говорил ей:

— Я горжусь тем, что далек от политики, от болтовни, споров, разногласий, вражды фракций, от всей вашей возни и грызни.

Тетя Шура фыркала:

— Вы отсталый человек! Я не могу говорить с вами и не хочу видеть вас больше.

После большого шума отец уходил к себе, хлопнув дверью. Тетя Шура, ворча под нос, быстро собиралась домой.

И вдруг дверь в кабинет тихонько приоткрывалась. Папа выглядел расстроенный и спрашивал:

— Что? Ушла уже? Ну и хорошо!

Отец и мать видели первопричину социальных бед в отсталости страны и поэтому считали своим долгом служить просвещению народа. Педагогическая деятельность в любой форме и отрасли знаний была для них насущной потребностью.

У отца было множество преданных учеников и учениц. Молодые девушки, курсистки Стебутовских сельскохозяйственных курсов, считали его своим вождем не только в науке, но и в жизни. Он верил в будущее женщины и сражался за высшее женское образование.

Он был другом молодежи и неоспоримым авторитетом. Я наблюдала иной раз с завистью эти отношения. Они были проще и целостнее наших отношений с отцом. В природе отца была доверчивость, больше того — наивность, и потому широкая и щедрая помощь людям не всегда бывала оправдана необходимостью. Он часто ошибался в своих увлечениях людьми и болезненно переживал разочарования.

Одна из его поклонниц — слушательница Стебутовских курсов, грузинка — жила у нас два года на правах дочери. Ее окружал таинственный ореол подпольной работы и длительного голодания в прошлом. У нее были огненные локоны трубочками и гортанный клекот.

Мы с моей подругой Настенькой в свете этого ослепительного явления с особой остротой сознавали свое ничтожество. Один лишь Котька не поддавался ее чарам, высмеивал и гортанный клекот, и трубочки, и ее истерики, и заунывные песни под цитру, и таинственные недомолвки.

Уезжая на Кавказ летом, она оставила отцу свой дневник. Вот тогда он узнал о своем «божественном происхождении», о ее поклонении, о ее безумствах. Любовь ее была, разумеется, платонической, так как всякую другую форму она отрицала. Однако же она ревновала его к маме и порицала маму за черствость.

Дождавшись ее возвращения, отец прогнал ее из дому вместе с цитрой и привезенными с Кавказа дынями.

В кабинете общего лесоводства хозяйничал «служитель» Аким, похожий на старую обезьяну. Отец, который умел прочно привязываться ко всем своим помощникам, считал Акима своим другом. Аким исполнял кое-какие обязанности в доме: приносил дрова, помогал топить печи и угощался в кухне. В отсутствие кухарки он сам вознаграждал себя за труды и с большой ловкостью выпивал молоко из бутылок и опустошал блюдо с котлетами. Уличенный на месте преступления, он пожимал пле-

чами, его глазки поблескивали хмуро и умильно, фигура с болтающимися по колена руками выражала подбострастие и сожаление о слабости человеческой натуры.

В доме пропадало много вещей. Их никогда не разыскивали. Все мы усвоили твердо: «Что с возу упало, то пропало». Чего уж там!

Однажды отец пришел к обеду смущенный и сказал, ни на кого не глядя:

— Шапка-то моя нашлась.

Мама удивилась.

— Ты нашел ее? Где же?

— Я не нашел, а ее увидел. Иду, понимаешь ли, по улице, навстречу Аким. Здоровается, поздравляет с праздником, снимает шапку. Смотрю — шапка-то моя, эта самая, что мы искали. Так стало неудобно, хоть сквозь землю провались...

Мама поморщилась и ничего не сказала.

В нашем доме всякое бывало. И ничто не могло научить моих родителей недоверию к людям. И даже если недоверие приходило, оба они не могли решиться его высказать.

Кухарка Ульяна это знала. В течение долгих лет она обкрадывала моих родителей, как могла. Мама, проверяя счета из лавок, ужасалась долгам и подозревала Ульяну в проделках. Сказать об этом вслух было невозможно.

Мои родители были похожи на детей, заблудившихся в лесу, и дела их шли все хуже, пока на помощь не пришла Дуняша, деревенская девушка с русой косой и милой улыбкой. В ее характере была невозмутимая положительность. Она не искала себе лучшей доли, ее единственным развлечением было ходить в церковь по праздникам.

Мы прожили вместе с нею очень долгую жизнь. Она была участницей всех последующих испытаний и бед, она была опорой отцу в последние годы его жизни.

Позднее ее характер изменился: не выдержал потрясений, лишений и страхов.

Испортился он и по другой причине: ее привязанность к нашей семье помешала ей искать лучшей доли в собственной жизни. За эту свою слабость она жестоко упрекала меня уже после того, как вырастила моих детей.

И все же была в ее жизни попытка изменить свою судьбу. И вот что из этого получилось.

Дуняше, уже почти пятидесятилетней, но еще привлекательной девице, сделал предложение какой-то родственник ее родственников, вдовец с мальчишкой. Жених сам по себе не возбуждал в Дуняше никаких чувств, но предложение польстило ей. Оно внесло в ее скучную жизнь привкус романтики, смутное любопытство и соблазн — иметь свое положение в обществе. Но Дуняша была нерешительной. И с этих пор начались ее мучения. Она ходила заплаканная и ссорилась с нами. Она терроризировала нас. Мы не должны были молчать и не смели давать советы. Мой муж, Глеб, бывало, скажет ей, ухмыляясь: «Ну что ж, попробуйте, Дуняша, семейного счастья». — «Ах, — ответит она, — так-то вы меня цените, так-то я вам нужна!» Скажу я ей: «Оставайся лучше с нами. Не поздно ли менять судьбу, да и вряд ли тебе это нужно», — и Дуняша так и вспыхнет: «Эгоисты вы! Вам бы до конца пить мою кровь». И пойдет и пойдет обижаться!

И все же наконец, проливая слезы, она ушла венчаться, предварительно отправив на новую квартиру свои вещи и подаренный нами сервиз.

Прошло три дня. И вдруг Дуняша появилась снова, похудевшая, с пылающим лицом. Не говоря ни слова, она уткнулась носом в прокуренный джемпер Глеба и не поднимала головы, пока не выплакала до дна все слезы.

— Что же случилось с тобой, с вами, Дуняша?

— Ох, если б вы только знали! Ох, если б я знала раньше!

— Что же случилось?— спрашиваем в тревоге, представляя себе невесть какие беды: бил он ее, обворовал, выгнал наконец?

— Да нет же! Только мне сказать стыдно!.. Ну, вернулись из церкви, дядя и тетя поужинали и ушли домой, а я... а я... пошла за ширму спать... а он...

Переждав, когда стихли рыдания, спрашиваем:

— А он?..

— А он... в нашем-то возрасте, что задумал... полез за ширму ко мне! Я, конечно, не думала, что такие гадости могут быть в нашем возрасте.

— Ну — и что дальше?— спрашивает Глеб твердым голосом. Я же на этом месте ушла в угол смеяться.

— Ну вот, он, значит, поскандалил, поскандалил, потом взял с комода мой одеколон да весь и выпил.

Тут уж и Глеб стал смеяться и спрашивает:

— Это зачем же он выпил одеколон? С горя?

— Да. Он пьяница, оказывается. А вина-то не было. Не купили.

— А дальше что?

— А потом мы с ним три дня ругались, и я все плакала, и он пил что попало. И я ушла. И — простите меня, пожалуйста.

Дуняша подняла с полу и поставила на стол пакет. В пакете был подаренный нами чайный сервиз с картинками. Этот сервиз пережил и Дуняшу и Глеба и живет у нас до сих пор.

Не все люди становятся мудрыми к старости.

Но тогда в свои восемнадцать лет Дуняша была мудрой. Она недолго носила передник горничной, она стала домоправительницей. С ее помощью из дома были удалены лишние люди и расходы вошли в какое-то русло. Она стала самым нужным, самым главным человеком в доме. Дуняша была другом и сиделкой отцу и делала свое доброе дело бескорыстно. Но никогда отец не мог заставить ее называть себя по имени. Он был для нее «барин» — существо высшего порядка. Она терпеливо выслушивала его рассуждения о религии, о науке, о смысле жизни. Только изредка, обеспокоенная кухонными делами, она пыталась убеждать посреди беседы. Отец удерживал ее за руку.

— Ах, барин, пустите меня. Пирог ведь сгорит! — говорила она, чуть не плача.

Из всех братьев семьи Морозовых один только наш отец не позволил забыть себя розгами и самодурством. Он бежал с военной службы и сделал свою жизнь, как хотел. Ему удалось помочь младшему брату Саше выбраться в люди. Судьба двух других сложилась хуже. Мы видели их редко, они не играли в жизни семьи никакой роли, но их появление оставляло болезненное впечатление.

Дядя Федя, военный фельдшер, появился однажды из глухой провинции. Это был невзрачный, словно бы общипанный человек, запуганный и замученный жизнью. В молодости из побуждений высокого гуманизма он женился на проститутке, жена его била, он пил запоем, и трудно было разобраться, что здесь было причиной и что следствием. Он сидел у нас в столовой и молчал. Иногда он подзывал к себе меня или брата и просил шепотом, озираясь по сторонам:

— Дочка, принеси двугривенный. Леди Оля, сделай доброе дело!

Мы конфузились. Двугривенного у нас не было. Папа строго приказывал бабушке:

— Мамаша, я запрещаю давать деньги Феде. Если увижу и узнаю — будет плохо.

Мы сторонились дяди, только младшая сестренка Лёшка жалела его простой ребячьей жалостью и, вскарабкавшись к нему на колени, утешала, как могла. Он гладил ее по круглой голове и повторял, всхлипывая:

— Святой воробей. Ты одна меня пожалела.

За столом дяде паливали рюмку водки. Он брал ее дрожащей рукой, кланялся, моргал слезящимися глазами и опрокидывал в рот.

Погостив у нас, он исчез бесследно.

Дядя Вася появлялся с визитом по большим праздникам. Он ходил, волоча ногу и помаргивая глазом. Это был румяный «господни» почтенного вида, с кукольными глазами. Он, как и покойный дед, считал своим долгом клюнуть каждого из нас большим носом и спросить рассеянно:

— Как поживаешь?

Потом он отиралился, прихрамывая, в комнату бабушки. Там он рассказывал ей про свою колбасную лавку, потом принимался скандалить. Оглядываясь на дверь, он бранил нашу маму за то, что она морит голодом его брата, потом набрасывался на бога.

Он становился против икон, грозил кулаком богу, ругался нехорошими словами, топал ногами, наливался кровью и, казалось, собирался лопнуть. Бабушка при этом спектакле плакала. Мы смотрели с веселым любопытством. Но приходила мама и вытаскивала нас из комнаты, а следом за ней появлялся отец и усмирлял актера. Дядя Вася утирал пот с лысины белоснежным платком и улыбался удовлетворенно...

Вероятно, это был несчастный человек.

4

По воскресеньям мы иногда всей семьей отправлялись в гости к Зандрокам, в семью нашей мамы.

В город нас отвозил пучеглазый паровик. Спускаясь с горы, он мчался с лязгом и грохотом, извергал тучи черного дыма и подолгу отдувался на разъездах.

Отец ехал на извозчнке, презирая другие виды передвижения, а пудель Дружок, невымытый и печесанный и потому совсем на пуделя не похожий, бежал между паровиком и извозчиком. На остановках он отдыхал и переглядывался с нами, высунув розовый язык. Мы стыдились его запущенного вида, ругали его, гнали домой. Он только улыбался в ответ.

Мой дед, Николай Филиппович Зандрок, вел свое происхождение от ирландских мореплавателей и корабельных мастеров, осевших в России в петровские времена. В семье из поколения в поколение сохранялась традиционная любовь к морю.

Дедушка работал в издательстве, провел всю жизнь с книгами и, кроме книг, любил только природу и парусную лодку. Он был нелюдим, жену и детей почти не замечал, но привил детям любовь к природе и воде с малых лет. Его сын, наш дядя Женя, был азартным спортсменом, и его яхты славились в Петербурге, а наша мама обычно довольствовалась рыбачьим челном и парусом, сшитым из простыни.

У Зандроков нам было весело. Мы попадали в нарядный и праздничный мир. Старики жили в нем обособленно, в молчаливой оппозиции к молодым. У них были свои сбережения и собственные взгляды на вещи.

Дедушка с учтивыми манерами и пышной бородой похож был на сказочного короля. При нашем появлении он поспешно сбрасывал домашние туфли и надевал галстук из уважения к дамам. Бабушка, грузная и неподвижная в своем кресле, вязала чулки или вышивала гладью. Она поглядывала на нас поверх очков огненными глазами. Она была красивая, оливково-смуглая в серебряной оправе кудрей и с черными усиками. Дедушка молчал, бабушка говорила без устали обо всем, что приходило в голову. Она была недовольна прожитой жизнью и жаловалась на дела:

— Сам жить не умел и мне не дал. Загнал меня за печку.

В то же время бабушка сильно возмущалась светской жизнью молодых и тем, что ее сын балует невестку. Она подзывала маму согнутым пальцем и сообщала ей вполголоса:

— Представь себе, вчера он купил ей голубой парик. На что это похоже!

Мама чуть-чуть усмехалась и переводила разговор на другую тему. Наконец нас звали ужинать.

На столе под люстрой весело сверкает стол с диковинными кушаньями и винами, хрусталь и серебро.

Дядя Женя и тетя одеты, чтобы ехать в театр, оба ослепительно нарядны и красивы. Дядюшка наливает вино и шутит. Его забавляет наше провинциальное невежество, он охотно балует нас, ребят, и снисходительно спорит с отцом о прогрессе и смысле жизни.

Мама хмурится и прячет заштопанные локти. Отец раздражителен.

Мой дядюшка Евгений Николаевич был характерной для своего времени фигурой. Он начал жизнь беспечно и легкомысленно, не кончил гимназии, переменил несколько профессий, в которых обнаружились разнообразные способности и размах, и неожиданно сделался дельцом на американский лад. Он угадал свое место в жизни. Для деятельности и процветания в буржуазном обществе у него были все нужные качества: предприимчивость и практический ум, не обремененный сомнениями. Он был директором страхового общества «Саламандра». Его дела шли блестяще, он мог швырять деньги на пустяки.

Семья Зандроков по укладу жизни и мировоззрению была бы чужой для моих родителей, но добродушие дяди сглаживало противоречия, а старики поддерживали родственные связи.

На обратном пути отец берет к себе на извозчика меня и Дружка. Папа устал. Он бранит лифт, телефон и устриц, потом упрекает дядю Женю за безыдейность, эгоизм и расточительство...

— Где это видано, — говорит он, — чтобы мужчина носил шелковое белье. Как кокотка!

— А что такое кокотка? — спрашиваю я. И не получаю ответа.

Потом папа принимается за дедушку. Он осуждает его за пассивность, за равнодушие к людям, за философию непротivления злу, за преждевременный уход от жизни. Он говорит про дедушку:

— Холодный человек, он никому не сделал зла, но и никогда не любил никого... Он выдумал себе философскую и созерцательную старость, он создал ее искусственно и теперь сам не рад своей пустой жизни...

Все это так и было. Но впоследствии с дедушкой произошла перемена. Внезапно он привязался ко мне. Я не щадила его и сердилась, вместо того чтобы пожалеть. В те переломные годы я во что бы то ни стало хотела освободиться от гнета и влияния взрослых, жить по-своему и радоваться жизни. «Жестокая девчонка», — говорила мама с грустью и недоумением. Она всю свою жизнь робела перед отцом и дорого заплатила бы за каплю его доброты и внимания.

В то время, когда мы с папой на извозчике возвращались домой, мне было не до рассуждений. Я мало разумела. Мы с Дружкой мерзли, и нам было скучно. Праздник кончился.

Дом Зандроков был для нас, детей, средоточием городских впечатлений.

5

К этому раннему периоду относится история одной любви, первый увиденный в жизни роман.

В нашем доме гостил дядя Саша, младший из братьев отца. Мы видели его обычно за столом. Он не обращал на нас внимания. Ему было не до нас. Бабушка предупреждала: «Сидите тихо, дети, сейчас придет «папаша». Мама прятала лицо, как всегда погруженная в свой непроницаемый мир.

Дядя Саша — маленький, рыжеватый, смешливый и раздражительный — чувствовал себя неуверенно. В свое время отец помог ему закончить образование, но профессия агронома оказалась ему не по душе. Он попросту сбежал с работы и не знал, что будет делать дальше.

Дядя Саша побаивался брата, но не мог превозмочь своей природы, а природа была артистическая, и настоящее его призвание осталось нераскрытым. Он называл себя неудачником, был влюбчив, но успеха не имел, пока не случилось происшествие, изменившего всю его жизнь.

Мы жили на даче в Финляндии. Мне было тогда лет десять. Я бегала за мамой с красками и альбомом.

Нашим соседом по даче был художник-пейзажист московской школы. На заборе его дачи сушились на солнце этюды, и, проходя мимо, мы часто видели, как он пишет в саду под огромным зонтом. Мама волновалась, мучительно завидовала жизни художника и втайне мечтала о знакомстве с ним. Однажды он подошел к нам, посмотрел мельком на наши этюды, погладил меня по голове, сказал: «Молодчина» — и заговорил с мамой. С этого дня началась наша дружба. Мама стала ходить на этюды с Николаем Андреевичем, так звали художника, и братья у него уроки, я же предпочла кувыряться на финских заборах или разорять птичьи гнезда и воровать птенцов. Мама помолодела, весело встряхивала кудрями и посвистывала. Свистала она замечательно, никто не умел делать это лучше, но случалось это так же редко, как редко выпадали на ее долю хорошие дни.

Мы гордились успехами мамы, папа развешивал ее этюды на стенах и хвастался ими перед гостями. У мамы бывало тогда страдальческое лицо.

Зимой художник стал бывать у нас. По воскресеньям он учил нас, детей, рисовать. Мы сидели за большим столом. Николай Андреевич, сидя в конце его, сопел своей трубкой, смотрел в окно водянистыми глазами и постепенно исчезал в клубах дыма. Я считалась его подмастерьем и раза два в неделю приходила к нему, чтобы тереть краски, набивать папиросы и смотреть, как он пишет или рассматривает свои этюды, поворачивая их вверх ногами. Иногда он давал мне задание нарисовать соседнюю крышу или еще что-нибудь в этом роде. Я не любила уроков. Не всякий художник бывает или может быть педагогом. Николай Андреевич был молчалив и скучен. Иной раз в негодовании он перемарывал мои рисунки заново, ничего не объясняя и не рассказывая.

У Николая Андреевича была жена. Ее высокая худая фигура появлялась в дверях веранды, где мы работали. Придет, посмотрит молча своими бездонными глазами, исчезнет. У нее, казалось мне, было ло-

шадиное лицо. Однако с нею происходили удивительные превращения. Она, когда ей было нужно, становилась красавицей. Приходя к нам, она преображалась, и тогда думалось, что невозможно быть пленительней и ярче. В ее черных волосах горел красный цветок, она приносила с собой музыку и смех. Она смеялась над всеми и никого не боялась. Бывало, ворвется в кабинет отца и, словно не замечая замшелых лесничих, или студентов, или суровых ученых, закружится в ярких шелковых юбках. Папа удивляется и конфузится, а ей только того и надо. Мама робела перед нею, а дядя Саша, как говорили родители, совсем потерял голову. Ее звали Лидия Адриановна, и все в ней было необычайно.

В доме гремела музыка, сначала по воскресеньям, а потом каждый вечер. Дядя Саша забыл о поисках работы, он пел с утра до ночи. Лидия Адриановна сопровождала. И во время пения у обоих были серьезные лица, зато в другое время они только и делали, что вышучивали и дразнили друг друга.

Я любила засыпать под баркаролу Гуно. Пел дядя Саша:

Скажи, о дорогая,
Куда наш путь лежит...

Музыка и пение вскоре прекратились.

Проходя мимо кабинета, я вдруг услышала громкий разговор. Голос дяди Саши выкрикнул имя мамы. Вслед за этим раздался бешеный крик отца: «Вон из моего дома!» Я шмыгнула в столовую. Там сидела бабушка с остекленевшими глазами. Двери в кабинете распахнулись, дядя Саша выбежал, рыдая, как мальчишка, и больше я ничего не видела.

Прошла неделя. Мама сидела у себя в комнате, задумавшись над письмом. Потом, не дописав его, разорвала. Подняла на меня глаза:

— Вот что, Оля, хочешь выполнить важное поручение?

Я кивнула головой.

— Сбегай на Объездную улицу, постучи в дверь. Когда Николай Андреевич откроет, скажи ему, что мы все по нему соскучились и ждем его к нам.— Она помолчала и прибавила:— Дядя Саша увез его жену, и ему очень нехорошо теперь быть одному.

Я долго стучалась в дверь домика. Никто не отозвался. В окнах были спущены шторы. Гнездо опустело.

Я возвращалась домой, переполненная обидой и печалью. Как могло случиться, что Николай Андреевич уехал, не попрощавшись с нами, ничего не сказав маме? Я ничего не поняла, кроме того, что мама лишилась чего-то большого, что не вернется и не повторится вновь.

Прошло несколько лет. После смерти Лидии Адриановны дядя получил письмо от моих родителей и приехал мириться. Мы жили на даче у Северного моря.

Дядя Саша приехал постаревший и ожесточенный. Он был резок, и примирения с родителями у него не вышло. Желтая щеточка его усов воинственно топорщилась, и весь он был чужой и неприятный. Однажды на прогулке он рассказал мне о своей любви, как будто забыл обо мне, и не смог сдержать слез. И тогда во мне дрогнуло сердце.

Лидия Адриановна умерла от рака. Ее муж не дал ей развода, в дни ее тяжелой болезни он приехал в город, где поселились беглецы, против их воли устроился в их квартире, жил, ничего не делая. Сидел и молчал. Так же молча он шел за гробом вместе с дядей. Я осторожно спросила:

— Он любил ее?

Дядя Саша пожал плечами.

— Трудный вопрос. Он никогда и не был ее мужем.— Взглянув на мое недоуменное лицо, поправился:— Я хотел сказать, что он не умел любить по-человечески. Бог его знает, зачем он преследовал ее и зачем ему нужно было калечить нашу жизнь.

Единственный роман дяди Саши был полон поэзии, самоотверженности и печали. Я читала о такой любви, но мне не пришлось еще видеть ее в жизни, я поверила дяде Саше. В этом году, наблюдая нестроенную жизнь взрослых, я загрустила, ожесточилась против семьи и брака и стала считать брак самым несовершенным видом человеческих отношений.

6

Восьмиклассное коммерческое училище в Лесном было первой в дореволюционное время школой совместного обучения. В те годы входил в моду «американизм» в разных областях деловой и общественной жизни. Наряду со всяческой декадентской дряблостью росло взятое напрокат из Америки бодрое мировоззрение. Началось увлечение техницизмом, практической деятельностью, стремление к накоплению средств, к борьбе за личное процветание. Было то, что называется ростом буржуазии. В начале этого периода возникали и прогрессивные начинания: частные издательства, новые школы, различные женские курсы. В педагогическом мире этот американизм сказался в новых методах воспитания. Началась борьба за новый тип школы. Минувя министерство просвещения, которое не решилось бы на нововведения, группа педагогов и просвещенных родителей вырвала у министерства финансов разрешение на совместное обучение в коммерческих училищах.

Таким образом, вслед за училищем в Лесном открылось и знаменитое Выборгское училище, названное по Выборгской стороне, оно называлось еще училищем Германа по имени своего первого директора (и зачинателя). Коммерческого в этих училищах только и было, что два-три специальных предмета в старших классах, вообще же это были хорошие реальные училища с креном в математику и естественную историю. За дело взялись лучшие педагоги, энтузиасты и мастера своего дела¹. Молодые талантливые учителя искали приложения своим силам в условиях относительной свободы от педагогической рутины. В школах проводились консультации ученых-специалистов, экскурсии и туристские походы. Классы Лесного училища были оборудованы, как аудитории (со всяким инвентарем) для практических занятий по химии, физике, зоологии и рисованию.

Школа была демократической по составу, передовой по установкам. Даже закон божий преподавался в ней как бы условно, и священник был подобран к тому подходящий. У него был тип разночинца-шестидесятника, он явно тяготился своей рясой и всюду проявлял вольнодумство, а в первые дни февральской революции, по слухам, сбросил рясу и развезжал на грузовиках с красными флагами и песнями.

Наши родители вместе с группой профессоров Политехнического института охотно пошли на эксперимент и отдали своих девочек в первые классы мужской школы, известной плохой дисциплиной. Обыватели смотрели на нас, как на подопытных кроликов, с жалостью и любопытством. Мы пришли в школу маленьким испуганным стадом и сразу были взяты в переплет. На стенах училища нас встретили объявления и воззвания: «Смерть девчонкам! Персидский порошок для истребления девчонок!» И директор Л. Н. Никонов, бегая по зданию школы, кон-

¹ Райков, Боч, Никонов, Гердт, Добиаш, Закс.

фузливо срывал их на наших глазах. Нас пробовали бить. Мы выдержали испытания, приняли бой, не жаловались и не плакали. Моя маленькая подруга Настенька не раз участвовала в кулачных боях один на один в большую персмену и в кругу восхищенных зрителей одерживала победы. Но особенно прославилась одна из девочек, отличавшаяся физической силой и мстительным характером. У нее было бледное и угрюмое лицо, она держалась независимо, и никто не пытался ее задевать. Она не посвящала никого в свою истребительную деятельность, о ней мы узнали позже.

В перемены она пряталась за колонны, стоявшие в начале полутемного коридора. Мальчишки выбегали из зала, то догоняя друг друга, то сцепившись клубком, ничего не подозревая о засаде. И вдруг — точно рассчитанный прыжок, железная хватка, и две жертвы, стукнувшись головами, летят в разные стороны. А разбойницы и след простыл: она смешалась с толпой, и вид у нее скучный и равнодушный. Девочка эта вскоре ушла из школы по неизвестной причине. Где и как утолила она свою неистребимую жажду мести?

Лютая обстановка приема вызвала в девочках серьезный отпор. Мы отвечали на мучительства гордым презрением. Неписанный закон запрещал нам проявление женской слабости. Мы ходили, украшенные снытками, но не сдавались.

После первых сражений началась война с ухаживанием. В этой борьбе опять отличалась Настенька. Она была румяная, круглая, как орешек, вспыльчивая и неподкупная.

У меня было единственное средство самозащиты — я была быстрой. Все же один из старшеклассников однажды поймал меня, затащил на лестницу и, зажав в коленях, стал целовать. Я царапалась и плевалась, наконец, получив затрещину, была освобождена.

Но был у меня и защитник, мой верный рыцарь из старшего класса, Паша Сомов. Он был устрашающего роста, рысый, голубоглазый, близорукий. На перемене, проходя мимо меня, он совал мне в руку конфетку. Убегая от преследования, я цеплялась и пряталась за него, и никто не решался с ним спорить.

К окончанию первого года обучения мы добились равноправия. Мы учились с горячностью, много читали и стремились обогнать мальчиков во всем. Нас начали уважать. Наши победы определялись не столько нашими достоинствами, сколько добрыми традициями домашнего воспитания и культурным уровнем. Кроме того, мы были в счастливом возрасте, когда девочки опережают мальчиков в развитии. И наконец нас вдохновляла идея. Мы вели борьбу за женское равноправие и были пионерами в ней.

В нашем классе воспитателем был молодой историк Арт Яковлевич Закс, впоследствии получивший известность как организатор экскурсионного дела и туризма в нашей стране. Этот пылкий человек в своем воспитательском энтузиазме явно переоценивал наши возможности и, увлекаясь, читал свой курс на языке высшего учебного заведения. Многие были недовольны трудностью изложения, я же, понимая не больше других, увлекалась и предметом и учителем. Впрочем, это не то слово. Это было больше, чем увлечение, это была преданная детская любовь. Арт Яковлевич стремился воспитывать в нас мужество и стойкость, он не терпел слабости и барства. На экскурсиях он закалял нас трудными походами. У него было типичное для многих интеллигентов слабой конституции уважение к здоровью и физической силе. Он восхищался крепышами и ни во что не ценил духовную утонченность, бывшую в моде. Поэтому он с интересом возился с «трудными» мальчиками и не замечал трепещущего цыпленка, каким была я в то время. Но мне во что бы

то ни стало хотелось заслужить его внимание и одобрение. В туристском походе по Волхову мне некогда было есть и спать, я бежала впереди всех без отдыха и брала на себя все самые трудные и часто непосильные для меня дела.

Все, однако, окончилось тем, что меня притащили домой на носилках. Бесславный был конец.

Что можно было еще придумать для покорения каменного сердца?

Однажды мы с Настенькой выбежали на школьный двор в конце большой перемены. За углом группа мальчиков курила поочередно одну папиросу. Я вырвала ее из рук курильщика и вошла в здание школы с папиросой в зубах, с независимым видом. Меня окружила оживленная толпа, я упивалась своим бесстрашием. Голова кружилась от успеха. Мимо прошел Арт Яковлевич. Он скользнул по мне уничтожающим взглядом — так, словно бы зачеркнул. Это было все.

Час спустя, наревевшись вдоволь по темным углам школы, я вошла в кабинет Арта Яковлевича и попросила поскорей выгнать меня из школы. Он слушал меня с задумчивым видом, подергал бородку, сказал:

— Переходный возраст. Типично... Ну что ж! Необходимо взять себя в руки. У вас есть воля, идите и не грешите.

В зимние вечера лесновские домишки занесены снегом. От калитки к дому протоптана тропинка. За опущенными шторами светятся окна и мелькают, как на плохом экране, неузнаваемые тени. И я стою у такого домика и смотрю на окна, за которыми живет этот самый замечательный на свете человек. Мне хотелось бы отдать ему свою жизнь, но, к сожалению, ее от меня не требуют. Я стою, мерзну и чувствую себя счастливой. Вот такая была любовь!

7

Паша Сомов стал бывать у нас. Разве вспомнишь, когда и почему это произошло. Он, как говорилось, торчал у нас постоянно, смотрел на меня ласковыми глазами и пытался потереться о мое плечо, когда мы оказывались рядом... Всего этого я терпеть не могла! Я обращалась с ним сурово. Взрослые посмеивались над нами. Мама сказала мне однажды:

— Я договорилась с твоим рыцарем, он будет водить тебя гулять после школы.

— Водить? — вскричала я. — Ну, уж нет. Я не собачонка! Ни за что!

Дружба пришла позднее, в годы моей юности. Она началась с путешествий по замечательным петербургским окраинам. Мы оба увлекались архитектурой, историей города, он знал больше моего и водил меня за руку.

Я уже не отставала от него, куда там! Мы шли рядом и радовались. Хорошо убежать из школы с последнего урока, особенно если это был закон божий. Хорошо брести заснеженной равниной туда, где на дымчатом и розовом зимнем небе сиял нам легчайший силуэт Смольного собора. Шли без дороги, проваливаясь в снег, иногда останавливаясь передохнуть. Паша стаскивал мои варежки, дышал на пальцы, грел у себя за пазухой.

От белого снега снизу глаза казались подрисованными, чернобровое и милое лицо наклонялось ко мне, и становилось весело и страшно; я отворачивалась, чтобы не выдать волнения.

Подходя к собору, мы вспоминали предание о том, как старый Гваренги снимал шляпу перед творением своего предшественника и соперника. И Паша делал так же потому, что для нас не было лучшего архи-

тектурного памятника. И никогда после мне не приходилось переживать такого яркого воздействия искусства.

Мы входили в собор на цыпочках и ставили свечку, как символ нашей вечной дружбы. Потом шли домой молча.

Наглотавшись до одури северных сказок и романтической литературы, я играла роль, в которой соединились все златокудрые героини от Изольды до Ингеборг. При этом мне было хорошо известно, что у меня глаза бутылочного цвета и распухший от насморка нос. Искренне считая себя уродиной и страдая от этого сознания, я всеми силами внушала Паше самое высокое представление о своей внешности, и он, склонный ко всяким фантазиям, охотно шел мне навстречу.

8

Возвращение с дачи всегда было праздником. У вокзала нас встречал кучер Ибрагим с институтским фургоном, похожим на те, в которых путешествовали бродячие цирки. Прохожие на Невском оборачивались на фургон, и Дружок, сидевший у открытой дверцы, лаял на них.

Паша Сомов вернулся в город в один из дождливых дней. Увидев его, я очень удивилась. Его трудно было узнать. На нем была новенькая студенческая тужурка. Волосы коротко острижены, и откуда-то появились вдруг большие красные уши. Он выглядел смешным и неуклюжим. Мы поцеловались, как всегда, но в эту минуту случилось такое, что невозможно объяснить словами. Мы сконфузились. Он снял очки и стал протирать их. Котька фыркнул. Я круто повернулась и выбежала из комнаты.

В сырой осенний вечер мы ушли гулять в парк, ходили неслышно, держась за руки, говорили вполголоса. Зачастил тихий дождь. Паша закрыл меня белой шинели.

— Оленька,— сказал он,— я люблю тебя больше всего на свете. А ты меня?

Я подняла к нему лицо. Он наклонился, осторожно поцеловал меня.

Мне было шестнадцать лет. Я ничего не ответила ему и заплакала, сама не зная почему.

Но что бы там ни было, а опоздать к вечернему чаю было опасно.

Мы застали всех перешептывались и посмеивались, глядя на Павла. Котька лепил хлебные шарики и потихоньку обстреливал сестер. Бабушка суежилась в ожидании выхода отца. Паша неловко кланялся и здоровался со всеми по очереди.

Вошел отец вместе со своим ассистентом. Он оглядел нас тяжелым и сумрачным взглядом и продолжал говорить, обращаясь к своему спутнику, в то время как скромный молодой человек робко подходил к маминной руке.

Бабушка хлопотливо передвигала чашки. Папа продолжал разговор:

— Пора ввести свободное расписание. Нужно, чтобы студенты работали самостоятельно, чтобы у них был досуг для самостоятельных размышлений,— и вдруг резко повернулся к Павлу: — А вы как думаете?

Паша поперхнулся чаем:

— Я еще ничего не могу сказать. Я еще только собираюсь стать студентом.

Папа посмотрел на него задумчиво и, вздохнув, укоризненно сказал:

— Инженеры.

Я подумала: «Вот сейчас начнет придирается. Почему, мол, не в университете? Как будто только одна дорога должна быть в жизни. Ско-

рей бы кончили с чаем!» Но отец уже перевел стрелку, и речь его снова была обращена к белокурому человеку, слушавшему его восторженно и внимательно. Отцу нужен был слушатель. Мы, свои, домашние, для этой цели не годились — вероятно, не умели слушать. В присутствии хотя бы одного постороннего папа преображался и как бы светился изнутри. Это всегда была блестящая беседа, односторонняя, потому что он говорил один. Никто не отваживался возражать ему, и никому не хотелось нарушать импровизации.

После чая мы расходились по комнатам.

В своей комнате я не зажигала света, фонарь светил нам в окно.

В одиннадцать часов мама стучала в стенку. Это значило: пора выгонять гостя. Я вела его осторожно через кухню. Там, в темноте, мы задерживались, прощаясь. Бывало, внезапно из-под стола появляется братец с мексиканской улыбкой. Мы были безоружны против его насмешек и против недовольства старших.

Павел, склонный к беспредметной мечтательности и созерцанию, учился с прохладцей, с философскими отступлениями, много думал, но мало действовал. Он был добродушно равнодушен к людям. В его чувстве ко мне не было простой заботливости, да я и не ждала ее. Я требовала героической любви. Он был моим рыцарем, он верен слову, способен к благородному поступку и к мгновенному подвигу в честь своей дамы. «Королева не может ошибаться», — говорил он. И вот — цыпленок вообразил себя королевой. Это была нелегкая роль.

Думая о будущем, мы отвергали мысли о семье, о браке и верили, что нам суждено найти новую, совершенную форму отношений, где любовь длилась бы вечно, не изменяясь и не старея, как стареет все на земле.

Как средневековые алхимики, мы ждали от нашего опыта появления философского камня, то есть чуда.

Время, в которое мы росли, было сложным. Мы стремились, как и всякая молодежь во все времена, — к большому пути. Однако найти его в мире трагического безверия или пошлого процветания было не просто.

Мы многого не видели и не знали. Мы не сталкивались с общественно-революционно настроенной молодежью и жили без всякой среды, словно в безвоздушном пространстве.

В этом состоянии мы полагали, что единственный смысл человеческого существования заключается в служении «чистому искусству» или «чистой науке», причем даже практическая деятельность, к которой готовил себя Павел, нам представлялась в идеальных формах. Любовь мы понимали как опору, точнее — источник вдохновения для творческой жизни.

В наши школьные годы мы были наивны, несмотря на все множество прочитанных книг; но разве все это: наивность, беспомощность и ошибки рассуждений — так уж плохо в семнадцать лет? С годами мы становимся умнее, но еще неизвестно, становимся ли лучше.

9

Юра Н. был заметной фигурой в нашем училище. Он претендовал на роль вождя в классе, где учился с Пашей Сомовым. Он выделялся ученостью и, казалось, не имел возраста, был хил, некрасив и самоуверен.

Его мать эмигрировала в Швейцарию; навещая ее, он вывез из-за границы налет чужой культуры, особые манеры и проповедь свободной любви.

Навряд ли Юрий имел собственные твердые убеждения. Он был

запутан больше нас с Павлом в противоречивом, лицемерном мире между мистикой и нищезанятием, футуризмом и богоискательством.

В нашем доме Юра осел прочно и надолго. Он очень много говорил и заговаривал моих родителей, которым импонировали его умственность, его начитанность, его намерение развивать меня. Они поощряли его чувства ко мне и бранили меня за резкость.

В университете Юрий стал «подавать надежды». Он умел объединять людей. Вокруг него образовался кружок близкой ему молодежи из среды «кадетских детей». Сами детки никаких политических убеждений не имели, полагались на «папа». Эта молодежь была разобщенной, недвольной и не верующей ни во что. В отличие от демократических кружков прошлого века в наших кружках не было настоящего цемента — объединяющей идеи. И все же в силу органической потребности мы стремились к объединению. Молодежь этих кружков искала выхода из беспросветной, как ей казалось, жизни, она презирала свое государство, ужасалась мракобесию и социальной несправедливости, но не верила в политическую борьбу и пряталась в мир искусственной красоты. В нашем кружке мы занимались античностью. живописью Возрождения, писали рефераты и ходили в Эрмитаж.

Собрания проходили по очереди у кого-нибудь из членов кружка, преимущественно у Наташи Ш., «шармантной», как говорилось, девице. В комнате обязательный полумрак. Наташа полулежит на тахте и ради стилия зябко кутается в шаль. У ее ног сидит один из поклонников. Остальные по углам, в креслах, с глубокомысленным видом. Юрий ораторствует, захлебываясь от неуправляемого потока слов.

Юрий боролся с Павлом за свое влияние на меня и нашел себе союзницу в женщине, которую мы хорошо знали.

Злата Михайловна была преподавательницей истории в старших классах коммерческого училища. Она была миловидной вдовушкой с бархатными глазами, смуглым румянцем, с темным пушком на верхней губе. Она принимала у себя своих учеников в халатике и с распущенными волосами, которыми не без основания гордилась.

Все это было в порядке вещей — почему бы не позабавиться скучающей вдовушке, но беда заключалась в том, что она завязала с Юрием мистическую дружбу со всеми правами на предчувствия, озарения, проповеди и решила помочь «братцу» воспитывать меня в духе мистического аскетизма.

Однажды я встретила ее поздно вечером на улице Лесного под тусклым светом фонаря. Я бежала куда-то, чтобы отлить в гипсе вылепленную статуэтку. Статуэтка изображала обнаженную женскую фигуру. Я подражала всем венерам, с которыми познакомилась в Эрмитаже.

Злата Михайловна остановила меня, взяла в руки мою маленькую женщину и, чуть не плача, принялась корить меня:

— Оля, Оля... что вы сделали! Бросьте, разбейте ее. Ведь это же — козлиные ноги!

— Как? — переспросила я в удивлении.

— Ах, какая вы... ну, неужели не понимаете! Это чувственность...

С этого дня мое настроение было признано опасным. Паша Сомов — развратителем; начались разговоры за закрытой дверью с моими родителями. Злата Михайловна была обеспокоена одновременно и моей судьбой, и судьбой своих учеников, ухивших из-под ее влияния.

Во всеоружии своего пышного земного великоления она принялась воевать с земными страстями в моем малокровном виде, и я ополчилась на нее, на Юрия, на всех мистиков на свете. Война с ними лишь подлила масла в огонь и преждевременно обнажила доселе скрытые корни нашей дружбы-любви.

Много лет спустя я узнала случайно, что мистическая дружба Златы Михайловны с «братцем», то есть с Юрием, включала в себя и науку любви в «презренном» земном виде, очевидно как одну из форм утешения в печали. Ну что ж! Утешения нужны человеку.

В этих колючих воспоминаниях невольно отразились настроения юности с ее нетерпимостью ко всякой помехе на своем «единственно правильном пути».

Это был жестокий возраст, я не умела еще беречь людей и оценивать их объективно.

Юрия же стоило поберечь. Это был нескладный, но искренний и талантливый человек. Он погиб рано в безрассудной и трагической авантюре.

10

Мы были детьми гораздо дольше, чем следовало. От декадентских влияний нас выручало простое воспитание, непосредственность и, конечно, любовь к природе. Мы уже научились находить в ней утешение и поддержку.

Однако мы с Настенькой не пытались пренебрегать модами. У нас не было возможности наряжаться, их не было ни тогда, ни после, ни мы их изобретали. Мы пеленали ноги узкой юбкой, к великому негодованию мамы и к собственному неудобству; мы носили шляпы горшком по самые глаза и вуаль для таинственности. Мне без всякого труда удавалось достигнуть бесплотного вида, к зависти подруг, пышащих здоровьем, румяных, цветущих, кругленьких, таких, какими бывают девушки в семнадцать лет, но и я завидовала всему этому богатству. Мне надоело быть «цыпленком», «облачком», «принцессой Лесновских болот», хотелось приземлиться, окрепнуть, жить в полную силу.

Мама в тяжелые минуты нашей жизни нас не жалела. Она говорила:

— Всякие испытания закаляют характер и делают человека лучше.

Я не соглашалась с нею. Я сильно верила в то, что «человек создан для счастья». Я совсем не хотела страдать, чтобы стать лучше.

Выборгское коммерческое училище было не хуже и, пожалуй, даже лучше нашего по монолитности педагогического состава и по дисциплине учащихся. Состав был интеллигентнее и классы малочисленнее, и потому идея совместного воспитания проникла там глубже: девочки и мальчики одинаково играли в волейбол, и все хорошо учились.

Я попала в предпоследний класс этой школы после того, как проболела зиму. Родители добились для меня разрешения сдавать экзамены экстерном. Но я снова проболела часть времени и не смогла сдать все. Меня вызвал к себе директор Петр Андреевич Герман.

Он усадил меня напротив, порылся в ящике стола, вынул и дал мне аттестат об окончании училища с пятерками за все сданные и несданные предметы. Я заплакала. Он же сказал мне:

— Не волнуйся и не плачь. На педагогическом совете мы все решили оказать тебе доверие. Мы знаем, что ты все сумела бы сдать на пятерки, не случись беды. Мы думаем, что не ошиблись. Поправляйся!

Эти простые слова послужили мне путевкой в жизнь.

Поднявшись после очередной длительной болезни, я, бывало, объединялась с Котькой в озорных развлечениях.

Весенние дни. Теплый ветер валил охапками сирень в открытое окно. Начинались дни зубрежки — скоро экзаменационная сессия, но пока еще никому не сидится дома. Котька, перед тем как засесть за учебники, гуляет запойно. Как-то вечером прибежал ко мне. Ему понадобилось женское платье, и как можно скорее.

Я принялась обряжать его. Нашли белую юбку со шлейфом, кружевную кофточку и шляпу — великолепное сооружение из соломы и бу-мажных цветов. Дама получилась красивая, с тонкой талией и с подо-зрительно пышным бюстом. Жеманясь и подбирая подол, Котька уда-лился. Я отправилась не спеша следом за ним.

В сумерках белой ночи началось гулянье по аллее вздохов. Гуляли парочками и группами студенты двух институтов и местные барышни. Вечер был сырой и ласковый, с весенними запахами и соловьиным по-щелкиванием.

Котька пронесился кометой по главной аллее. Девушки шарахались с визгом, их кавалеры посылали вслед ему крепкие слова.

Спустя некоторое время он нашел добычу в виде робкого серенького студента. Он исчез с ним в одном из притоков аллеи вздохов. Там, как выяснилось позже, он усадил свою жертву на уединенную скамейку и сам уселся к ней на колени. Посреди увлекательной любовной сцены Котька откинул кружевной рукав, сначала сам полюбовался своим би-цепсом, потом сунул его к носу своего вдруг застывшего кавалера, рывк-нул:

— А этакое ты видел когда-нибудь?

Потом была маленькая возня, смех и рычание, студентик был засу-нут под скамью, потом страшная дама, закинув юбку на плечи, мчалась домой. Я прикрывала отступление и с бьющимся сердцем слышала по-зади свистки и крики:

— Ловите его! Вон, вон побежал к профессорскому дому!

Котька, растеряв на ходу часть своих доспехов, скрылся в моей комнате. Это было единственное место в доме, где мог скрыться преступ-ник от немедленной расправы. Папа стучал ко мне в дверь. Я отвечала сонным голосом:

— Сплю.

С Котей в семье обращались со всей строгостью неписаных законов. Наши общие шалости мне сходили с рук, Котю наказывали. Не раз отец выгонял его из дому на несколько дней. Где он шатался — никто не знал, кроме Дуняши, подкармливавшей его потихоньку с черного хода. Я то-же сочувствовала ему и бросалась на его защиту.

Папа обычно отступал передо мной. Успокоившись, он насмешливо говорил:

— Ишь ты, министр справедливости... Отца обвиняешь? Недоволь-на? Ну, говори все, что думаешь.

Наша дружба с Котей оказалась непрочной, и вскоре мы уже не понимали друг друга. Идеалы Коти были узкопрактические. Его раздра-жала бедность нашей семьи. Он хотел «хорошо жить». Что он делал в течение учебного года — сказать трудно, но в экзаменационную сессию он усаживался за стол плотно: не ел, не спал, зубрил. Глаза у него ста-новились красными, на него было страшно смотреть. Экзамены он сда-вал на пятерки.

Из Политехнического института Котя ушел добровольцем на войну и уже не вернулся больше, как и многие его сверстники.

В мое время не существовало художественных школ и кружков для подростков. Я хорошо рисовала в детстве, а в переходные годы стала рисовать плохо. Никто не руководил мною, я пошла по пути подражания готовым образцам и впечатления жизни воспринимала через чужое видение.

В гостиной висела огромная репродукция с известной картины Ф. Штука, подаренная благодарным учеником отцу. На картине была изображена обнаженная женщина, обнимающая коленопреклоненного и обнаженного юношу. Торс женщины постепенно переходил в звериный зад. Это печальное обстоятельство должно было по замыслу вызывать размышления философского порядка, то ли о тщете человеческих иллюзий, то ли о коварстве женской природы. Как бы то ни было, папа, проходя мимо картины, смущенно отворачивался, мама разглядывала ее, страдальчески наморщив лоб. Картину, однако, со стены не снимали. Отец рассуждал примерно таким образом: «Ну, я, положим, черная кость. Не дорос. Дальше Левитана и Жуковского не пошел. Но дело не во мне и не в моих вкусах. Эта картина, кто ее знает, может быть, является вершиной современного искусства, это уж пусть Оля разбирается».

Мои же взгляды на искусство в семнадцать лет были, разумеется, неясными. Я любила все сказочное, орнаментальное, декоративное. В музыке — Римского-Корсакова, в изобразительном искусстве — Врубеля, Рериха, Коненкова. Я, естественно, любила все то, что было характерно и выражало основные вкусы общества. Выставки в наше время были праздником для нас и наших родителей.

В 1912 году в Петербурге открылась выставка французского искусства. Язык современного раздела усваивался плохо, требовался перевод или по крайней мере время для его усвоения. Помнится, что мои родители и я одинаково радовались барбизонцам и влюбились в Коро. Импрессионисты казались уже страшноватыми, и мы поглядывали на них с осторожностью. Однако я никогда не замечала у моих родителей безапелляционности и категоричности в суждениях о чем бы то ни было. Оба они вдумчиво и с доверием относились даже к тому, что казалось им непонятным.

Окончив школу, я поступила в студию Зейденберга. Савелий Абрамович был старый педагог, ученик Чистякова. Он готовил студийцев к поступлению в Академию художеств, был грозен и шумлив, копировал манеру Чистякова в обращении с учениками.

В студии процветали вольные богемные нравы. Все казалось мне страшным и удивительным: лохматый и живописный учитель, юродствующий на потеху ученикам, обнаженный натурщик, самоуверенные молодые люди и бойкие «барышни».

Я написала первую голову с натуры большими и грубыми плоскостями. Зейденберг хвалил и обещал мне большое будущее.

— Впрочем, — прерывал он себя, обращаясь к ученикам, — что я говорю! Я забыл, что она выйдет замуж, я вожусь с нею напрасно. Замужество — конец всему. Крышка!

Студийцы смеялись и дразнили меня.

В те годы появилась желтая кофта Маяковского, первые стихи футуристов, приводившие нас в недоумение ничуть не меньше, чем наших родителей. И все же нас, молодежь, радостно волновало ощущение, что наконец-то пришли в движение и нарастают новые силы. Главной приметой времени стало ожидание перемен.

В 1914 году мы жили на даче под Лугой. Лето было знойное и засушливое, с заревами пожаров, с запахом гари и полыханьем зарниц. Со всех сторон шли слухи о крестьянских волнениях, о забастовках на фабриках. Это были вспышки нарастающей бури, предвестники перемен.

Я не хотела углубляться в размышления. В то время, в первое лето сознательной работы, я была целиком захвачена своими открытиями. Одним из них было новое чувство близости к природе, то, которое знают

охотники, натуралисты, художники — все, кто трудится в согласии с ее законами. Это чувство легко угасает, стоит нарушить деловую связь и посмотреть на природу со стороны. Поэтому трудно поверить в любовь к природе тех, кто гуляет под зонтиком или валяется на пляже.

Я бродила по лесам и холмам с этюдником в одной руке, с холстом в другой. И на каждом шагу находила невиданные красоты, никем еще до меня, казалось мне, не открытые. Было так, словно у меня, как у шенка, вдруг прорезались глаза. Я стала видеть.

Для портретных этюдов я ловила случайную модель. Мне все годилось. Однажды удалось найти старушку столетнего вида, похожую на мшистый пенек. Я писала, не переводя дыхания, пока она тянула чай с блюдечка, и рассуждала, поглядывая слезящимися глазами на паутины морщин:

— Ишь ты, какие нонеча писаря выдались. С измалетства, стало быть, их грамотам учат. Так, так...

Я показала ей этюд. Она смотрела долго, потом вздохнула глубоко, встала, перекрестилась медленно и поклонилась мне в пояс.

— Милушка моя, — сказала она, — ведь вот какой тебе талант дан. Божью мать намалевала, спаси тебя Христос.

Это лето было последней разлукой с Павлом. Весной он сказал мне на нашем «вагнеровском» языке:

— Мы не должны быть врозь дольше. Нельзя бесконечно испытывать богов, они посмеются над нами.

Эти слова, смешные и выспренные для современного слуха, тогда звучали иначе. Мы не шутили, и мы любили друг друга много лет, хотя бы и детской любовью. И все же наши отношения стали уставать от постоянных ограничений и действительно зашли в тупик. Нам уже не оставалось ничего другого, как спуститься на землю и втиснуть нашу любовь в общепринятую форму. Мы решились на брак ради получения свободы. Быть вместе стало необходимостью, я перестала обращать внимание на постоянный припев окружающих: «Не выходи замуж как можно дольше. Замужество — это конец». Я поверила в наши силы, в победу над всеми трудностями семейной жизни.

— Железно, — как сказали бы нынешние дети.

Однако мы были не самостоятельны и не могли начать совместной жизни без помощи родителей.

Я объявила родителям, что выйду замуж весной, когда мне минет двадцать лет.

Они приняли это известие безропотно, скрепя сердце.

В жаркий день на Лужском базаре я прочла наклеенное на заборе объявление о войне. О войне говорили давно и все же в нее не хотели верить. Но среди общей растерянности в толпе можно было заметить струйку восторженного любопытства. Падок человек на зрелище, на перемены даже тогда, когда они грозят бедой.

И вот начался долгий период фанфар и барабанов, гимнов и маршей, пылких речей, взвинченного и одуряющего патриотизма.

Стало грудно учиться и работать. Все рвались в бой. Одних призывали, другие шли сами. Молодежь лихорадила потребность действовать. Знакомые мальчишки (тогда не было ни ребят, ни парней, а были «мальчишки») громыхали оружием в мечтах, а пока проходили военную подготовку.

Поднялся ветер, и против него не устояли даже те, кто привык относиться критически к массовым психозам. Все были вовлечены в хаос. И в нашей семье недоумение, и растерянность, и привычное сомнение вытеснились воинственным духом времени. Появились первые лазареты. Мама, Настенька и сестра Лидочка надели белые косынки сестер милосердия. Все, кроме меня. Я упрямо считала, что только искусство может спасти мир от войны и насилия.

В нашем доме появились постоянные гости и ученики мамы — раненые солдаты из лазарета. Они учились арифметике и рисованию вместе с сестренками и дружили с ними.

В лазарете священник раздавал божественную литературу. И в том же лазарете молодой учитель словесности потихоньку раздавал запрещенную политическую литературу.

У каждого учителя были свои сторонники, а мама читала раненым «Детство» Толстого.

Из лазарета черпали мы реальные представления о событиях на фронте, о растущем неблагополучии и развале в армии. Вопрос о скорой победе отодвигался в сумрачную даль.

Никто в нашей среде и в нашем доме не сомневался в необходимости победы. Отсюда и начался путь заблуждений.

Весной мы поженились. Свадьба наша была ни на что не похожа. Родители, недовольные вырванным против их воли согласием на мое замужество, решили не замечать этого события. Единственной уступкой обычаям было сшитое мне домашней портнихой белое платье со шлейфом. Я вертелась перед зеркалом с самого утра. Закинув хвост на плечо, пробовала прыгать из окна в сад. Мама хмурилась и отворачивалась.

— Другие невесты, — говорила она, — плачут в этот день, а ты скачешь. Плохой признак.

Ну, что я могла поделать! Я хотела радоваться, быть красивой, быть счастливой вопреки всему и всем, кто пугал и осуждал меня.

В церковь мой суженый явился с опозданием и в старой студенческой тужурке. Кроме нас с ним, здесь были брат, сестренки и Настенька, взволнованные ожидаемым торжеством. Котя вытащил фотоаппарат и навел его на аналой. Священник, наш школьный учитель, который уважал науку и не терпел своего сана, махнул рукой и, подобрав рясю, шмыгнул в сторону, и его летящий призрак отпечатался на снимке.

Мы примчались домой с шумом. Дверь из кабинета отца резко распахнулась, он выглянул сердитый:

— Что за шум? Неужели нельзя потише? Я только прилег отдохнуть!

Тогда мы тихонько разошлись по комнатам.

На беду, Павел пригласил к обеду двух друзей. Это были хорошо воспитанные молодые люди, будущие ученые. Они учтиво и внимательно слушали рассуждения отца о науке и методах преподавания и добросовестно пили лимонад — вина в нашем доме не полагалось, так же как нельзя было и курить. Все, чем злоупотреблял папа в своей молодости, было изъято из употребления. За столом о нас не было сказано ни слова, ни единого слова, хотя бы для соблюдения принятого обычая. Очень уж были огорчены мои родители и поневоле сердились на виновника события.

На свадебное путешествие у нас не было денег. Но мы все же поехали в Финляндию на несколько дней. Никто не провожал нас. Мы не хотели больше никого видеть. Забившись в углу жесткого купе, я вдруг заметила мечущуюся на перроне фигуру Юрия с букетом красных роз. Он бросился к закрытому окну, и в это время поезд двинулся. Юра бе-

жал рядом с отчаянным лицом и размахивал розами. Это впечатление было последней каплей огорчений, и я с трудом удержалась от слез.

А потом все, даже сама природа ошетибилась против нас. Неделя на Иматре прошла в душевном смятении. Солнце скрылось, снег повалил на пробивающуюся травку. Иматра устрашающе ревела день и ночь. В гостинице мне чудилось, что все эти чужие люди смотрели на меня с насмешливым любопытством: «Вот так фру! Ну и фру».

Все, что представлялось мне вершиной и венцом наших отношений, оказалось всего лишь началом долгого пути. Наши отношения перешли в новое качество. На смену всяким выдумкам пришли настоящая дружба, доверие и снисходительность — все, чего нам не хватало до тех пор.

Но жизнь начиналась трудно. Война врывается в дома и учреждения. Учиться становилось все сложнее, с каждым годом росли трудности. Мы спешили. Нужно было скорее становиться на ноги. И все же мы не успели закончить образования.

В нашем доме Павла прозвали Павлосичем. Нам отдали холодную белую гостиную. Возвращаясь с курсов, я видела Павлосича неизменно лежащим на животе над очередным чертежом. Из трубки на чертеж сыпался пепел. Печку он забывал вытопить.

Изредка мы бывали на семейных вечерах в профессорских гостиных.

Павлосич смотрел на окружающий мир добродушно, пытливо и мечтательно; он чувствовал себя хорошо среди друзей, в атмосфере доброжелательства. Он не замечал многого из того, что настораживало меня, был снисходителен к людям. Мне же всегда не хватало этого счастливого свойства. Павел не спорил со мной и не пытался убеждать, но сама его спокойная созерцательность охлаждала мои подчас неумеренные чувства.

Настало время думать и решать выбор профессии. Как ни мечталось мне о станковой живописи, я сознавала, что для нее сейчас не время, что нужно искать более действенного приложения сил, если не хочешь быть выброшенной из жизни. И все же я не могла отказаться от искусства, при всех сомнениях в своих способностях и силах.

Отец задумчиво и грустно предупреждал меня:

— Не сделай ошибки. Я боюсь, что ты, так же как и я, будешь впоследствии горько сожалеть об упущенном. Я хотел бы для тебя настоящего образования: Бестужевских курсов или университета. Подумай. Не спеши.

В это время открылись Высшие женские архитектурные курсы. Я решила подать заявление на театральное-декоративное отделение. Это был, вероятно, правильный выбор. Однако закончить образование и работать театральным художником мне не пришлось. Но так получилось не по моей вине. Нашим поколением распорядилась история. С намерением и судьбами немногих людей она не считалась.

В течение всей жизни и длительной педагогической работы часто приходилось задумываться: что такое талант художника и почему так мало на свете художников-женщин?

Мне кажется, что распространенное выражение «искусство требует жертв» просто неточная фраза. Если есть жертвы, это уже плохо. Искусство требует ограничений, это звучит лучше. Ограничения должны вытекать, естественно, из самого склада человека. Талант художника, как и всякий талант, — это прежде всего сосредоточенность. Это умение отсеять лишнее как в собственном восприятии жизни, так и в ее отображении. Это умение отбирать нужное.

Очень одаренные люди нередко кажутся ограниченными. Это хорошая ограниченность. Это — защитное свойство. Сила таланта в целост-

ности. При целостности характера не нужны и жертвы. Само понятие соблазна теряет силу, потому что творческая целеустремленность дает всю полноту жизни и богатство чувств.

Женщине труднее выйти на творческий путь художника или ученого. Вот у нее-то, как правило, без жертв не обходится. А жертва — это надрыв, это неполноценность. Мои родители боролись за женское равноправие словом и делом. Им хотелось оградить, уберечь меня от «женской доли», от биологической нагрузки, хотя бы отодвинуть ее на время учения и усиленного роста.

13

Это учреждение называлось: Женские курсы высших архитектурных знаний. Они были основаны на средства генеральской вдовы Багаевой. Эта умная и сентиментальная женщина вряд ли представляла себе будущий характер своего детища. Как курица, высидевшая «утят», она растерялась перед лицом действительности, не похожей на ее мечты. Курсы были живым учреждением. В них работали с интересом хорошие архитекторы и художники.

Многое еще только нащупывалось. В основном направление всей работы шло в русле «Мира искусства» со всеми достоинствами и недостатками этого объединения.

В архитектуре — неоклассики Шуко, Ильин, Бернардацци; на театральном отделении — Судейкин, по рисунку — школа Шукаева-Яковлева и рядом с нею «француз» Наумов и академический Шиллинговский. Пестрота этой картины была в соответствии с широким размахом «Мира искусства», где выставлялись Бенуа и Сомов, Машков, Кончаловский, Петров-Водкин и Марк Шагал. Не было единой системы, но была определенная культура вкуса. Состав учащихся был очень пестрым. Ядро курсов столичное, буржуазно-интеллигентское, но с годами увеличивался процент девушек из провинции, попадались иностранки. Встречались неожиданные контрасты и разнообразие в облике, в одежде, в манерах, способностях и устремлениях. Кого только не было: от аристократических дам до зеленых девчонок, убежавших от домостроя сибирской семьи.

Художник Наумов, поправляя рисунок юной красавице в глухом черном платье и в бриллиантовых серьгах, шутит:

— Вы рисуете, как жена тайного советника.

Она, не подымая глаз, ответила тихо:

— Я и есть жена тайного советника.

Все на курсах было ново, неожиданно, неустойчиво. В большинстве своем девушки учились с увлечением, но настоящее призвание встречалось редко.

Между тем война затянулась, и недовольство ею росло. Запах разложения стоял в воздухе. В Государственной думе шла грызня, и в ней и за ней слышался рост доселе скрытых сил. Началась разруха, и появились признаки надвигающегося голода. На курсах стали появляться легкие вспышки бунта против всяких эстетических канонов и норм. Кроме основного архитектурного факультета, были отделения театрально-декоративное, художественно-промышленное и педагогическое.

В преподавании отражались противоречия времени, неустойчивость и множественность воззрений и вкусов. Один и тот же рисунок какой-нибудь гипсовой головы вели два разных педагога; если это были Наумов и Шукаев, то каждый из них ядовито оспаривал другого.

На педагогических советах шла непрерывная война между сторонниками академических традиций и молодыми художниками, искавшими новых путей. Вопрос ставился примерно так: создаем ли мы школу в ака-

демического смысле или среду для творческого роста и эстетического воспитания.

Я сокрушалась и возмущалась неразберихой в оценках и пыталась атаковать учителей вопросами «в лоб». Я была тогда еще вполне серьезной.

У меня была напарница и приятельница Таня Попова. В то время как я решала мировые вопросы, она заливалась смехом. На ее щеках играли ямочки, широко расставленные серые глаза искрились и сияли нестерпимой, победительной радостью жизни. Но она была и талантлива. Рисовать для нее было естественно, как утке плавать. Ее пышные декоративные композиции возвращались после курсового просмотра с неизменной жирной пятеркой в углу листа и с неизменным «одобрением совета».

Осенью для руководства театрально-декоративным отделением был приглашен Судейкин. Это было время блестящих побед театрально-декоративной живописи, соревнования в области живописной театральной пышности. Декорации грозили смести, затмить искусство актера. Это наступление театральной живописи на коротком отрезке времени дало образцы своеобразного национального искусства, в котором Судейкин вместе со своим заклятым врагом Сапуновым оставили яркий след.

Судейкин пришел на курсы и просмотрел кучу заявлений и работ студенток, щуря глаза и жуя потухшую папиросу с брезгливым видом. Потом он отверг почти все, отобрал в свою мастерскую только шесть учениц. Спорить с ним было бесполезно.

Судейкин был барин-самодур и с аппетитом играл самого себя; роль, предложенную ему природой и средой. По виду это был круглолицый крепыш, с насмешливыми глазами-щелками. Он обращался с нами, как приходилось, по настроению: казнил или миловал. Но мы его любили, и было за что: Он если и не помогал в разрешении больших вопросов и сомнений, то во всяком случае ставил нас на путь с ясной практической целью. Он был единственный учитель, который твердо знал, что хорошо и что плохо и что нужно требовать от нас. Он ставил нам роскошные натюрморты из всякой всячины: вроде цыганских платков, народных игрушек, фарфора, искусственных цветов, освещая все это потоками электричества. Он учил нас писать широко и смело. На выставке наших работ художники обсуждали их оживленно и с интересом.

Судейкин добросовестно возился с нами, учил ремеслу, но иногда исчезал без предупреждений, и тогда на сцену выходил его подмастерье Алешка, призванный помогать нам в технических делах. Пользуясь свободой, он копировал повадки маэстро, куражился, и тогда в мастерской начались бури. Жаловаться на Алешку было бесполезно. Он знал свою силу и цену в глазах Судейкина.

Возвращался Судейкин так же неожиданно, иногда в сопровождении гостей. Однажды он привел двух дам и, стоя с ними в дверях, показывал мастерскую, как свой зверинец, и хвастался нашими талантами. Обе дамы были очень хороши собой, каждая на свой лад. Алешка шепнул нам, что это Оленька и Веронька, жены Судейкина: одна бывшая, другая настоящая. Статная сероглазая красавица разглядывала нас в лорнет со спокойным любопытством. В годы нашей молодости встречались такие образцы женской красоты, выхоленной и вынеженной на особых пастбищах для утешения и обольщения мужского рода.

После первых месяцев добросовестного руководства Судейкин стал остывать к мастерской. К этому времени его привлекли к росписи «Привала комедиантов» вместе с художниками Яковлевым и Григорьевым.

Этот артистический кабачок родился вслед за «Бродячей собакой» и помещался на Марсовом поле в подвале. Судейкин взял с собой в по-

мощь и для практики нас с Таней Поповой. Мы надувались от гордости и безуспешно старались скрыть ее от подруг по мастерской.

В подвале расписывались три сводчатых зала и — как довесок к ним — маленькая комната, которую Судейкин передал нам, начертав рукою в воздухе эскиз росписи.

— В помпейском духе. Центральное пятно на каждой стене, виньетка или картуш из античных масок, свирелей, голубков и лавровых веток. Понятно?

— Понятно, — ответили мы.

Работа закипела. Маэстро показывался у нас редко. Он расписывал соседний зал на тему венецианского карнавала.

Это был, несомненно, лучший зал в подвале. На стенах из бархатно-черной глубины появлялись веселые маски: арлекины, коломбины и пьерро. Они плясали, обнимались, сбегались в простенки над канделябрами с пучками восковых свечей. Эти группы в масках, освещенные колеблющимся светом, казались более живыми, чем сама жизнь. От стен исходило щекочущее, дурманящее веселье и волшебство.

Был в Судейкине праздничный и самобытный талант, был он выдумщик, сказочник и забавник по самой сути, и перешеголять его на этом поприще было трудно. Рядом блистала классическими формами роспись А. Яковлева, и там было скучно. Зато зал Григорьева запомнился накрепко. Там во всю стену, от пола до сводов, мчался в развевающемся плаще и цилиндре страшный Мейерхольд, как знамя и символ театрального мира.

Днем в подвале было тихо. Плотники стучали молотками на сцене, Алешка бесшумно носился, как дух над хаосом, работая одновременно на сцене и в залах. В полумрак зала замахивал скучающий Маяковский и бродил, засунув руки в карманы брюк. Он стоял у наших лестниц и дразнил нас, бывало и стаскивал вниз за ноги. Он был долговязый, коротко остриженный, с яркими зрачками. Он вышучивал нас безжалостно и мешал нам работать. Мы сердились и смеялись до изнеможения.

Судейкин почти всегда бывал не в духе. Однажды ему не понравилась какая-то деталь в моей росписи. Он поднял крик, обругал меня обидными словами. Я бросила кисти, выбежала на площадку лестницы и плакала, уткнувшись в перила. Ничего не оставалось больше, как закончить самоубийством. Я не могла смыть росписи, а исправить ее казалось невозможным. Невозможно было и пережить публичного посрамления. К тому же я считала критику несправедливой.

Сзади подкрался Маяковский, поднял мою голову, вынул платок из кармана и широким жестом вытер мне лицо с жалостливо сочувственным видом. Я рассердилась и обиделась, но отчаяние вдруг утихло.

Мы с Таней носили широкие юбки и локоны вдоль ушей по тогдашней моде, были любопытны, и нам до смерти хотелось участвовать в таинстве подвальных вечеров. Но нас не приглашали. И обычно с наступлением вечера Алешка, которого мы ненавидели за дерзость, с галантными ужимками выставлял нас за дверь. И только краешком глаза иногда сквозь дырочку в занавеси нам удавалось увидеть сборище именитых гостей. На сцене выступал поэт Клюев в смазных сапогах и с напомаженной головой, а по бокам у него стояли два мальчика в лапотках, похожие на восковые куклы, вроде тех, какие выставлены в этнографическом музее. На сцену выходил поэт Кузьмин с внешностью ботлотного черта, с рожками вместо волос и пел:

А я с кем поеду в легкой лодке?

Алешка дергает за рукав и шепчет:

— Анна Андреевна! Смотрите, вон там...

— Кто? Где?

— Ну, Ахматова, конечно. Видите — каменный профиль, шаль спадает с плеча... Королева! А там, смотрите, видите — маленькую, рыжую, которая с моноклем. Это поэтесса — Диана Олимпиевна. — Помолчав, шепчет: — Она сегодня будет выступать нагишом.

Мы замираем от восторга и ужаса. Врет он, что ли, этот бес Алешка? Проверить это дело нам уже не удастся. Он выводит нас, потихоньку подталкивая за дверь.

Я с интересом ждала встречи с художником Сомовым. Павел находился в дальнем родстве с ним, и после нашей свадьбы мы решили сделать официальный визит к нему.

Константин Андреевич Сомов — небольшой человек с внимательными карими глазами, с округлыми движениями и неслышной походкой. На нем черная бархатная курточка. Он прогуливался по комнате и ставил на мольберт по очереди небольшие изящные картинки с купальщицами и зелеными веточками, написанными с ювелирной тонкостью.

Я робела перед ним и принимала без критики и замечательный его рисунок, и добротную портретную живопись, и прекрасную книжную графику, и эти манерные безделушки позднейшего периода, выдуманный мир пресыщенных уродцев.

Константин Андреевич спросил меня:

— Скажите, вы любите забавляться? — После небольшой паузы сказал наставительным тоном: — Нужно уметь забавляться.

Во время нашей юности слово «забавно» было самым характерным и модным эпитетом для всего выходящего из привычных рамок, для всего оригинального и талантливого.

Мне казалось, что Константин Андреевич не прочь внушить покорному слушателю, что искусство не требует труда и усилий, и скрыть, что ему, как и всякому мастеру, пришлось пройти долгий путь, пока он не достиг умения «забавлять» и «забавляться» своим искусством.

Я поступила в студию Яковлева, Саши-Яши, как называли его в «Привале комедиантов», блестящего рисовальщика в неоакадемическом стиле. Его двойник, его тень — Шухаев — преподавал на наших курсах. Меня привлекла основательность системы, я искала положительных и твердых устоев школы. Яковлев был жизнерадостным человеком. В студии его окружали «апостолы», как это было принято во всех студиях и, по убеждению моего будущего учителя Петрова-Водкина, было закономерным и естественным явлением. Приближенные к учителю гнушались непосвященных, говорили на особом языке и работали в одной манере, ловко подражая «мэтру». Яковлев заходил ненадолго, шутил с «апостолами», похваливал их и проходил мимо новичков с пренебрежительной улыбкой. Я чувствовала себя одинокой и бездарной и ловила крохи со стола избранных.

В студии готовили бал-маскарад. Барышни шили костюмы пастушек и маркиз, и я некоторое время завидовала им: у меня не было средств для париков и кружев. Наконец я кое-что придумала. Я купила колленкор цвета клюквы и сшила себе чехол, обтягивающий голову, торс, ноги. Для глаз были прорезаны отверстия, посреди лица нашит нос колбасой, качавшийся при движении, а вокруг шеи я завязала широкую черную шелковую юбку с оборками. Дядя Женя, в доме которого готовился этот туалет, искренне негодовал.

Я влетела в студию красным чертом с шуршащими крыльями за спиной. Не помня себя, я танцевала и прыгала, и публика шарахалась с визгом. Танцы остановились. Все стихло, потом поднялась буря: хохот, крики, аплодисменты, возбужденные лица, погоня. Я выскальзывала из

рук и внезапно исчезла, как если бы провалилась сквозь землю. Я оставила после себя разгоряченное любопытство, догадки и споры, и больше всех волновался наш маэстро, обычно щеголявший невозмутимостью. Ну и нахохоталась же я, примчавшись домой!

Больше в студии я не появилась. К уходу понуждали трудности полуголодной жизни.

Тогда, во время встречи с Сомовым, на его вопрос: люблю ли я забавляться, я, глядя в равнодушное лицо, постеснялась ответить: «Ну еще бы!»

Но забавляться нам не приходилось. Кстати, и учиться мне не пришлось больше. Привычная жизнь разваливалась на глазах.

ЧАСТЬ III

ЮГ

1

Настал февраль 1917 года. Я погрешила бы против правды, если бы стала описывать эти дни по своим воспоминаниям. Этих воспоминаний мало, они нестойки и подчас уступают место прочитанному и передуманному позднее.

Вот что я видела своими глазами: ветреный и солнечный день в Лесном, кое-где подтаивают сосульки под крышами. Везде толпится возбужденный народ, кучки людей с жадностью смотрят наверх, туда, где на чердаках и на крышах прячутся городовые. Перестрелка: стреляют и сверху вниз и снизу вверх, крики, беготня и погоня. Мы пьяны возбуждением, страхом и восторгом.

Первые дни после февральского переворота прошли как праздник. Все, как мне казалось тогда, одинаково захлебывались радостью. Все поздравляли друг друга. Воспевали бескровную революцию. Кадеты изливали речи в газете «Речь». Девчонки раскупали портреты Керенского.

Постепенно праздничный подъем начал спадать, и мы, не успевшие разобраться в происходящем, стали озираться в тревоге. Революция совершилась. Что же нужно еще на данном этапе? И что вообще происходит? В эти дни занятия на курсах то и дело прерывались. Транспорт расстроился. Наступал голод. В это время назревающих и непонятных событий я ждала ребенка и была слаба. Мать Паши, строгая дама, содержащая пансион в Алуште, взяла меня в Крым на поправку.

Думалось: осенью вернусь с новыми силами, за эти месяцы все станет на свои места, бурный разлив войдет в берега. Начнется жизнь на новых началах свободы и справедливости, рай на земле.

Прошло полгода. Вся наша семья собралась в белом домике на Балаклавском тупике в Ялте, чтобы пережить под солнцем голодные и тяжелые дни. Сюда же перевезли полупарализованного отца. И тогда Крымские горы надолго заслонили от нас движение жизни.

Осенью семнадцатого года родился мой сын.

Павел был далеко. Он приезжал на короткое время в форме прапорщика инженерных войск. Я не узнавала его в исхудавшем строгом чловеке. Надвигались события, смысла которых он не понимал. Он ничем не мог помочь мне, как и я ему. Он уехал в какую-то часть, и мы надолго потеряли его из виду.

Мой мальчик подрастал, он был смугло-розовый, как персик, и слишком тяжелый для моих рук. Мама и сестренки возились с ним больше, чем я. В ту пору мое отношение к ребенку было игрою в материнство.

В тихой провинциальной Ялте было душно, цвели розы и гул событий почти не прорывался сквозь горную цепь.

А в это время произошла Октябрьская революция.

2

В Ялту устремились потоки беженцев. Ветер с севера стремительно гнал их. Они оглушали нас рассказами о гибели страны и государства, о развале всех моральных устоев, всех гуманистических завоеваний, всей культуры, о разгуле террора и голода. Большинство слушателей не верило ни в сказки об антихристе, ни в немецких шпионов, вывернувших наш мир наизнанку, но ужасались тому, что называлось «разбушевавшимися инстинктами», и надеялись на спасение изнутри.

В непрерывном потоке бежали коммерсанты, банкиры, их жены и любовницы, бежали авантюристы, и профессиональные развратники, и пройдохи всех мастей.

Были здесь и просто перепуганные и оглушенные люди. Последних было немало, и среди них множество добросовестных интеллигентов, привыкших думать обо всем, кроме революции. Многие из них опомнились на краю пропасти, куда в конечном счете провалилось несущееся в панике стадо. Многие из увлеченных потоком спустя долгие годы вернулись в Россию с горечью и сожалением о потерянном времени.

Ялта превратилась в кипящий котел, в ней жили сегодняшним днем, без будущего, всеми способами стараясь заглушить страх перед неминуемой катастрофой. В кабаках пили, пели и придумывали средства для спасения России от бандитов и «немецких наемников». Даже не придумывали... просто болтали, проклинали и плакали.

По набережной разгуливала нарядная толпа, всякие знаменитости и красивые женщины с загадочными глазами. «Великая блудница» Диана Олимпиаевна мелькала, как рыбка, там и сям. Она называла себя «маркой старого Петербурга». Зловещая старуха в перьях и бриллиантах водила под руки двух рослых накрашенных и завитых девиц, похожих на кукол с закрывающимися глазами. Молодой человек без профессии, без фамилии и без отчества, просто Володя, бродил по набережной с трагическим лицом, напудренный и бледный, как Пьерро. Есть ему было нечего, он искал покровительницу и нашел-таки. Много лет спустя я видела его в Париже, куда его увезли и где он жил балованным ребенком на средства влюбленной в него дамы.

Я не попала бы в «Кафе поэтов», не случись встречи с художницей Аленой. Она была вольная птица, и жизнь у нее была самая беспутная, но природа наградила ее умом, вкусом и многими талантами. Она училась прежде в студии Яковлева вместе со мною, но мы не познакомились с нею в свое время. Однако я хорошо ее запомнила. Теперь неожиданно я увидела ее на пляже, толстую и насмешливую, с папиросой в руке. Она стояла подбоченясь, рукава блузы были закатаны за локоть, ветер облеплял белую юбку вокруг ее широких бедер.

Я подошла к ней и назвалась чертом. Она, смеясь, сказала мне:

— Так вот он какой, этот черт, который наделал нам шуму в студии! Мы долго его искали. Мне посчастливилось больше других. Я очень рада.

Она протянула мне руку, улыбаясь узкими желтыми глазами и ямочками на круглых щеках.

Мы подружились. На поверку чертом оказалась она. Алена была моим Мефистофелем, я не сержусь на нее за это. Она ввела меня в мир богемный и бездумный и разбудила во мне женское тщеславие и способ-

ности или качества, которые я в себе не сознавала до тех пор. Правда, кроме Алены, нашлись и другие воспитатели.

Однако здравый смысл и чувство меры послужили мне надежной защитой от распушенности, характерной для тех лет и той среды.

Что же касается Алены, то, при всей своей многоопытности, со всем цинизмом и своеволием, она была безвольной, а потому и беззащитной. Казалось, что ее несет ветром. Все, кто знал эту грешную женщину, вспоминали о ней впоследствии со смешанным чувством досады и восхищения. Она умерла в Париже, куда ее занесло позднее все тем же ветром шалого авантюризма.

Мы с Аленой принялись за живопись. В числе портретов мною был написан смешной портрет Дианы Олимпиаевны, стоящей с моноклем в глазу на перекрестке улиц.

В Ялте очутилось много художников, объединившихся под флагом «Мира искусства». Роль капитана на тонущем корабле взял на себя Сергей Маковский, художественный редактор журнала «Аполлон». Он был порядочно потрепан ко времени крымского плавания, но все же не потерял энергии. Он организовывал выставки петроградских и крымских художников и руководил художественной жизнью в Ялте. Его холерный вид и хищный взгляд, его обольстительные и туманные речи пугали и смешили меня одновременно. Больше пугали...

Наши этюды, портреты, натюрморты были приняты на выставку. Работы продавались. Покупали их шалые люди с шалыми деньгами. Это были слабые работы, но в них, очевидно, была детская непосредственность, шекотавшая ноздри гурманам.

Мы пили вино, слушали стихи Волошина и сами читали их в «Кафе поэтов». Там же впервые мы прочли «Двенадцать» Блока. Мы были ошарашены, ничего другого по поводу тогдашнего впечатления, пожалуй, не скажешь.

Нашим постоянным спутником был юноша Гриша Рошаль, переполненный через край поэзией, своими и чужими стихами. Мы все почти не знали, что совершается в мире и что ждет нас.

А события шли своим чередом. Начиналась гражданская война. Белая армия, поддержанная интервентами, теснила молодую советскую власть на всех фронтах. Крым был временно как бы выключен из событий. Жизнь замерла.

Мы не знали, что в это же время зарождалась подпольная работа в Крыму и что наш приятель и поэт Гриша Рошаль, которого мы считали собратом по растерянности и призрачной жизни, был направлен в Крым для участия в политической борьбе.

В доме нашем было до крайности бедно и печально. Не было ни платья, ни обуви. Не было денег. Мои заработки с выставки кончились. Папа лежал, не вставая. А мой Ваня только начинал ходить. Мама и сестренки нянчились с ним, пока я богемствовала.

Осенью пришла весть от Павла. Он очутился в Симферополе. Что он делал там, мы не знали.

Моя свекровь собралась на свидание к сыну и взяла меня с собой. Мы сели на пароход, шедший в Севастополь, в холодный осенний день. Под вечер начался свежий ветер. Я в своем пальто, сшитом из солдатской шинели, стояла у окна в кают-компани. За столом веселились солдаты, то ли демобилизованные, то ли бежавшие с фронта. Один из них, бритый наголо, с широкой улыбкой, которая светилась в сумерках, повернулся к нам и попросил нож, чтобы разрезать хлеб. Моя свекровь торопливо подала ножик, он же взглянул на меня — словно просверлил — маленькими умными глазами. Поразил меня голос с вкрадчивыми интонациями и с белорусским незнакомым акцентом. А потом мы стояли у окна и го-

ворили обо всем на свете — и о Петрограде, и об общих знакомых. Потом он, бурно радуясь, потащил меня на палубу. Ветер крепчал, и пароходик клевал носом и взбрыкивал кормой на волнах. Мой спутник в лихорадочном возбуждении рассказывал о настроениях солдат на фронте, и о полученном на войне туберкулезе, и о Петербургском университете, и об этнографии, и о путешествиях по Кавказу, где он этой наукой занимался, и о том, что после Октябрьской революции начнется новая эра. Слушать все это было интересно и удивительно.

И все же я вырвалась из неожиданного плена и ушла в каюту, чтобы лечь, чтобы выспаться перед встречей, которая была важнее интересных разговоров. Моя свекровь не ложилась и с озабоченным видом рассматривала свои ногти, что служило у нее признаком душевного расстройства. Она молча посмотрела на меня поверх пенсне. Я легла спать, но она еще долго сторожила мой сон, то и дело выглядывая в коридор, где бродил непрощеный спутник. Чутьем старой женщины она угадывала опасность этой встречи.

Ночь была тревожной. Ветер свистел в щелях, пароход качался близ Севастополя на рейде, не решаясь подойти к молу.

Так мы встретились с Глебом Анатольевичем Бонч-Осмоловским, сыгравшим большую роль в моей жизни.

3

Шел восемнадцатый год. Деникин мобилизовал в добровольческую армию мужское население Крыма. Симферополь воинственно ошетинился. Не узнать было сонного до того времени города. Он вскипел возбуждением, музыкой духового оркестра, выпренными речами. Офицеры щеголяли в иностранном обмундировании, звенели шпорами. Дамы вились, как мухи, вокруг них, готовые на любые жертвы для защитников родины.

Павел превратился в подтянутого офицера, исхудал и, казалось, вырос еще больше. В его замкнутости мне чудилось недоброе. Он говорил тихо, как бы прислушиваясь к своим словам, как бы оправдываясь, что нужно спасать Россию, что нужны жертвы и даже временные компромиссы и что поэтому приходится соглашаться на объединение с царскими генералами. Дальше видно будет. Политическое устройство — дело будущего.

Он говорил, как читал по учебнику. Я слушала без всякого воодушевления. Но что нужно было делать, я не знала. Я просто не знала и старалась не думать. Меня занимало другое. Я спросила, заглядывая в непроницаемые очки:

— Скажи, у тебя есть кто-нибудь, кроме меня?

Он поцеловал мне руку. Его хорошие глаза были подернуты ледком. Первый раз в жизни он показался мне чужим.

Мы остановились в семье известного врача-караима. За столом покойной хозяйин дома подчеркнуто ухаживал за офицером с печальными глазами. На лице врача было написано: «Это я не за вами ухаживаю, это я отдаю честь мундиру».

Сыновья врача — студенты — сидели нахохлившись, молча.

Молоденькая жена одного из них не сводила блестящих глаз с Павла. Я чувствовала себя неуютно. Мать Павла сидела пригорюнившись. Старик доктор, багровея от возбуждения, ораторствовал в тишине:

— Все делается без нашего участия. Мы, видите ли, не нужны. Нас выбросили на свалку. Вместе с нами туда же и всю русскую культуру... Какой же, спрашивается, выход?.. Единственный — драться! Обуздать

разбушевавшуюся стихию. Хватит болтовни! Болтуны сделали свое дело, погубили страну и революцию. Нужен кулак. Военный кулак. Наполеон нужен!

Сказав все это залпом, победоносно оглядел сидящих воспаленными глазами. Его сын, маленький рыжий студент, вздохнул и тихо сказал:

— Наполеон защищал завоевания революции от интервенции, белая армия объединилась с интервентами.

На другой день мы собрались домой. Простились растерянно. Мы не знали, где и когда встретимся. Павел хотел верить в свое дело и словно боялся, чтобы ему не навязали сомнений. Он жаждал подвига, но я чутьем угадывала непрочность его взглядов и решений.

Началась полоса непонятной жизни при непрерывной смене властей в Крыму.

Изредка на имя отца пробивались по разрушенным дорогам посылки с продуктами от неизвестных друзей, учеников и почитателей. Эта помощь спасала семью.

Мы жили в тишине ожидания и обреченности. Мы уже знали о смерти Коти в последние месяцы войны. С севера шли слухи, один другого страшнее и безнадежнее.

Ялта отшумела. В ней было голодно и пустынно. После эвакуации беженцев еще не рассеялся чад и угар последнего пира. По набережным ползали, как ослабевшие осенние мухи, оставшиеся, забытые, выброшенные за борт люди. Обыватели питались слухами, пугали и обнадеживали себя небылицами, которые придумывали сами.

В один из весенних дней в наш дом постучался странник с мешком за плечами. Он был худ, бледен, небрит и ухмылялся до ушей. Я узнала вдруг эту озорную улыбку и воскликнула:

— Глеб!

Мы встретились так, как будто знали друг друга всю жизнь. В тот же вечер я проводила его в туберкулезный санаторий, куда он направлялся со свежим пневмотораксом и контузией, полученными на войне.

Мы поднимались в гору и весело болтали, как бы продолжая разговор на пароходе. И вдруг он схватил меня за руку, сказал:

— Не пугайтесь, мне нехорошо, это сейчас пройдет.

И лег прямо на дорогу. Я с трудом оттащила его на обочину. Потом села на землю и положила его голову к себе на колени. Это продолжалось недолго. Он лежал навзничь, стиснув зубы и закрыв глаза. Время от времени он судорожно подергивался и бился головой о землю. Лицо его, искаженное болью, было трудно узнать.

Когда припадок прошел, он заулыбался снова. С этого дня я стала навещать Глеба в санатории ежедневно. Он лежал на своей койке, дымил папиросой, пошучивал. У него было неизменно хорошее настроение. Почти такое же, как у ручного бельчонка, плясавшего на подоконнике. Мне не приходилось видеть человека, более изможденного и более веселого в то же время.

Глеб ворвался в наше болотце и переполошил его. Он для многих из нас стал олицетворением нового мира с его исторической неизбежностью. Он ходил по городу со своей огромной улыбкой и раздражающе самоуверенной речью. Он единственный из всех с нетерпением и радостью ждал прихода «красных», верил в победу большевиков. Он смеялся над обывательской болтовней.

Его непохожесть на всех виденных людей была удивительна. Его анкетные данные поражали и белых и красных и вызывали подчас недоверие. Его это забавляло.

Родители Глеба были дворяне и крупные белорусские помещики, в то же время они были профессиональными революционерами.

История семьи Бончей могла бы лечь в основание романа. Родители Глеба Анатольевича были последними представителями революционно-демократической интеллигенции прошлого века.

Мать Глеба Анатольевича Варвара Ивановна Ваховская — подруга Веры Фигнер и Софьи Перовской, ученица Бакунина в Париже.

Я увидела ее первый раз на выцветшем снимке в возрасте семнадцати лет и была тронута предельной ясностью образа девушки семидесятых годов: темное платье с отложным воротничком, коса, перекинута через плечо, особенная прелесть одухотворенной задумчивости.

Она была осуждена по процессу 193-х в 1875 году за пропагандистскую работу среди питерских рабочих, отсидела три года в тюрьме, по молодости лет была в дальнейшем сослана в имение своего отца под надзор полиции, откуда ее вызволил по поручению партии фиктивный жених Анатолий Осипович Бонч-Осмоловский. До тех пор они не знали друг друга.

Варвара Ивановна оказалась разборчивой невестой. Она отвергла нескольких женихов-народовольцев по несогласию с террористическими установками партии. Она не признавала «убийства из-за угла» и предпочитала иметь дело с единомышленником даже в фиктивном браке.

Анатолий Осипович увез ее в свое имение, они начали совместную работу с организации крестьянской артели. Неожиданно для себя они оказались в настоящем браке, что подтвердилось появлением вполне реального сына.

В растерянности они отирались к Л. Н. Толстому за разрешением сомнений. Как жить дальше? Толстой ответил: «Так и живите».

В старости Варвара Ивановна рассказывала эту историю с юмором. Она была умная женщина и любила посмеяться над тем, что кажется смешным.

В дальнейшем жизнь Варвары Ивановны как бы раздвоилась. Вместе с мужем она продолжала революционную деятельность и превратила имение в гнездо подпольной работы, была под судом и в ссылке и попутно рожала детей и боролась против разрушения и разорения имения, вступая в противоречия со своими профессиональными установками. Ко времени затишья и спада революционной деятельности интересы семьи и хозяйства одержали верх. После Октябрьской революции она со вздохом облегчения рассталась с имением Блонь.

Я познакомилась с Варварой Ивановной, когда она, оставленная мужем, жила с дочерью и внуками в Минске. Это была маленькая старушка с тяжелой головой, глаза ее тонули в тяжелых веках. Она была дружелюбна и насмешлива. Ее забавляли мои живописные искания, высокий каблук и губная помада. Она говорила:

— Вы все считаете Венеру Милосскую идеалом женской красоты. Вроде бы она кого-то выпрямила. Не пойму я, зачем люди пишут весь этот вздор! Всего-навсего голая женщина. А какая красота, спрашивается, может быть в голом теле? Пуп у нее есть? Есть. Ну, и никуда от него не денешься.

После этого выступления крыть было нечем. Варвара Ивановна улыбалась, насмешливо сморщив нос.

Анатолий Осипович смолоду состоял в организации «Черный передел». Получив наследство, он бросил все, что мог, на нужды революции и в дальнейшем выжимал из имения средства на революционную деятельность, на организацию тайной типографии, пропагандистскую работу и помощь товарищам. Был кряжист, по-мужицки хитер и простодушен одновременно. В старости пышной бородой и кустистыми бровями напоминал Голстого. В нем сочетались самые противоположные свойства: широкий размах и скупость, эгоизм и сентиментальность, аскетизм и не-

истовый темперамент. Но несмотря на организаторский талант, который числился в списке его достоинств, разрушительная стихия одержала верх. Он был поистине талантливый разрушитель! И поэтому его диковинные хозяйственные эксперименты приводили подчас к самым неожиданным и плачевным результатам.

Когда я встретила с ним, он был старик. Глаза его посверкивали из-под лохматых бровей по-звериному остро и внимательно.

Большую часть своей жизни он был убежденным толстовцем, проповедывал целомудрие, вел священную войну с безнравственностью и в своем имении по ночам разгонял палкой влюбленные парочки.

Его шумная деятельность была увенчана концовкой, которая поразила общественность и вызвала суровое осуждение взрослых детей. В возрасте шестидесяти пяти лет он оставил свою подругу и женился на молодой девушке, домашней портнихе, с которой и произвел на свет новое поколение детей.

Варвара Ивановна умерла в Доме Ильича в Москве в 1929 году. Анатолий Осипович пережил ее на один год.

4

Глеб, ничуть на дворянина не похожий (так же как и его родители), недоучившийся студент, путешественник, этнограф и солдат, в те годы был фигурой непонятной и подозрительной. В нем отразились черты анархического воспитания, наследственного нигилизма и простодушия. На войну он пошел, побуждаемый патриотизмом в той же мере, как и жадным любопытством. Он был разведчиком, вынес из войны туберкулез легких и созревшие политические взгляды. В партию он, однако, не вступил ни сразу, ни после. В этом сказалась интеллигентская раздвоенность, дух сомнения. Это помешало ему быть в гуще событий, что при активной его натуре было, вероятно, ошибкой.

В Ялте, сняв солдатскую форму, он стал носить немислимый костюм, состоявший из бекеши, старой шляпы, косоворотки или выцветшей гимнастерки. У него были провинциальные манеры, шершавая речь с мягким белорусским акцентом.

В обстановке межвластия и томительного ожидания, среди гадающих на кофейной гуще обывателей мы были растерянны и подавлены неизвестностью.

Вокруг Глеба собрался кружок молодых девушек и женщин, моих сестер и приятельниц. Мы спорили с ним, рисовали на него карикатуры и смеялись. Он смеялся больше всех. Мы страдали от его неуязвимости. Когда ему надоедало смеяться, его сухие крупные губы складывались в неповторимо строгую форму, лицо твердело, выражало волю, ум, страсть, больше того — одержимость.

Мы запутывались в его сетях, я и младшая сестренка. И многие другие так или иначе подпадали под его влияние.

Я противилась ему и его влиянию начиная с того времени и долгие годы потом. Я противилась ему, как мне кажется, всю нашу жизнь. Он был отчаянный спорщик, и его неумолимая логика сражала, не убеждая. Положенный на обе лопатки, противник продолжал бунтовать про себя.

В наших спорах, признавая его ум, я всегда чувствовала отсутствие подтекста, того, что непередаваемо словами, но убеждает больше формальной логики.

Но Глеб учил думать, он преследовал умственную лень. В том воз-

расте нас сильнее всего и превыше всего волновали вопросы любви, личной жизни, человеческих отношений. Это не так уж удивительно вообще, а в данных условиях — в условиях умственной спячки и вынужденного безделья — был открыт самый широкий путь для сердечных переживаний. В то время вопрос о свободной любви стоял, как говорится, на повестке дня. В теориях, которые мы приписывали гению нашего «воспитателя», перемешались возрожденный нигилизм предков с анархизмом буржуазной богемы.

Вольные рассуждения Глеба в ту пору действовали на нас оглушительно. Они казались нам откровением.

Глеб дружил с Аленой. Алена, высмеивавшая Глеба больше всех, прибегала к нему в минуты разочарованности и раскаяния и ему одному поверяла истории своих беспутных походов. Она влезала в окно его палаты ночью и редела, уткнувшись ему в грудь. Глеб ругал ее и поучал. Он осуждал Алену не за количество романов, но за их никчемность. За то, что у нее, как он утверждал, нет стержня, иначе говоря, воли и целеустремленности.

У Глеба с Аленой всегда находились темы, чтобы позубоскалить и побраниться. Они щеголяли цинизмом и неустрашимостью друг перед другом, а еще больше передо мной. Алена покровительствовала нашему начинающемуся роману и утешала Глеба, как добрая сестра.

Был у Глеба еще один преданный друг — моя сестренка Леля, или, как мы ее называли, Леша. Ей в то время минуло пятнадцать лет, и Глеб был ее первой любовью. Она выросла вдруг, стала крепкой и не по возрасту пышной девушкой. Ее глаза казались фиолетовыми. Любовь в эти годы бескорытна, ничего не требуя для себя, она находит радость в самоотверженности. В дни наших с Глебом размолвок, моего отхода и борьбы с собой, Леша ежедневно навещала его в санатории.

Мне не хотелось бы упрощать случившееся. Это не было простой моей слабостью. Это был неминуемый шаг в неизвестность. Я не могла не сделать его. И все же, потрясенная до основания, я продолжала воевать с силой разрушения, которую олицетворял Глеб. Шла война за единую и верную любовь, и в этой войне бывали, как во всякой войне, отступления и поражения. Наш драчливый роман с Глебом быстро оборвался, я вытравила его насильно. Позднее судьба свела нас в обстоятельствах непреодолимых. В этом была своя логика, но не было того, что люди называют счастьем.

5

Теперь, когда все осталось далеко позади, мне хотелось бы показать Глеба таким, каким я знала его на разных этапах жизни, и еще раз мысленно пройти наш тяжелый совместный путь.

Но путь этот был долог, и выполнить задуманное не хватит ни сил, ни времени.

После войны и революции Глебу пришлось заканчивать университет и в тяжелых материальных условиях бороться за дело, которому он отдал последние силы.

В 1920 году Глеб ошупью набрел на изучение палеолита Крыма и начал работу по раскопкам крымских пещер без поддержки, в трудных условиях. Его личность и его деятельность вызывали к себе всегда только крайние чувства. Но у него были преданные ученики. Глеб умел настраивать молодежь на большие дела, заражать энтузиазмом, воспитывать мужество. Он умел работать весело, в его скромных экспедициях кипели

увлечения наукой, азарт кладоискателей и сама молодость. Глеб был для всех этих мальчишек и девчонок и учителем, и старшим товарищем.

Глеб посвятил последние годы жизни вопросу очеловечения антропоида, вопросу становления человека. В его работе и в его выводах ему понадобились знания по геологии, палеозоологии, анатомии и даже невропатологии. И в орбиту его научной работы и борьбы, так же как когда-то у моего отца, были вовлечены различные специалисты.

На северных склонах Яйлы им были найдены первые до тех пор в России остатки скелета неандертальца и каменные орудия, датировка которых вызывала ожесточенные споры.

Изучая строение кисти руки и других остатков скелета неандертальца, Глеб Анатольевич подтвердил гипотезу Энгельса о происхождении человека, прежде всего о том, что общий предок человека и современных обезьян вел наземный, а не древесный образ жизни. Одна ветвь его дала начало современным обезьянам, уйдя в леса; другая — попала в суровые климатические условия и в борьбе с ними, в труде по изготовлению каменных орудий эволюционировала. Лапа этого существа постепенно становилась рукою человека. Это героическое и мужественное существо с покатым лбом и тяжелой челюстью и есть наш прямой предок.

Глеб вносил в науку жаркий максимализм. Он высмеивал авторитеты и дразнил осторожных ученых, тайных злопыхателей и врагов. Глеб вызывал их на споры как научные, так и политические, его балагурство возбуждало ненависть и недоверие. Ему приходилось вести ожесточенную борьбу за средства на раскопки, на выставки материалов, ему приходилось сражаться за свои открытия и выводы.

И все же он добился поездки во Францию в двадцать шестом году. Его работа и находки вызывали живой интерес в среде французских палеонтологов.

Помимо испытаний незаслуженных и от него не зависящих, он делал в своей жизни все, чтобы сгореть как можно скорее.

После долгих лет борьбы, болезней, нужды он был арестован в 1934 году, без вины и без суда сослан на три года за Полярный круг. Он вынес все, что выпало на долю и других людей.

Я виделась с ним летом в Котласе. Партия сосланных в Воркуту была временно задержана там на работах. Мне удалось найти пристанище в домике лесника, у порога тайги. В мелколесье, на болотах, было душно, как в парилке; тучи гнуса видимого и невидимого одолевали до отчаяния.

Я ждала его на краю канавы в условленном месте, когда заключенных вели на работу. Глебу удавалось сбежать ко мне на несколько минут. Он был в лохмотьях, оброс бородой, улыбался бледной улыбкой. Глаза его потеряли свой сверлящий упор. Он метался в неразрешимых вопросах.

Наши отношения ко времени этого несчастья были уже непоправимо подорваны. Но наша дружба, уважение и оценка друг друга остались прежними.

Во время Великой Отечественной войны, в тяжелых условиях эвакуации, он снова со всей страстью бросился в научную работу.

Его труд начал находить признание и поддержку. Он добился реабилитации. Ему была присуждена степень доктора исторических наук. И тогда у него остановилось сердце.

Так прошел он свою недолгую и трудную жизнь — бродяга и ученый, болтун и мудрец...

В апреле 1919 года в Ялту вошли регулярные войска Красной Армии. На следующий день случилось удивительное происшествие, которое кажется теперь мало достоверным, но вполне отвечало духу тех романтических и бурных дней.

В сумерках в Балаклавский тупик завернула легковая машина и подъехала к нашему дому. Из нее вышел человек в военной форме и направился к дверям.

Моя старая свекровь, остолбенев на минуту, вдруг вскочила, вырвала из моих рук малыша, пускавшего пузыри, и бросилась из комнаты с криком:

— Беги!

Я осталась, открыла приезшему дверь. Он спросил мою фамилию. Онемев от страха, я провела его в свою комнату. И вот мы сидим друг против друга. Он разглядывает меня откровенно, я его исподтишка. Человек как человек: коренастый, немолодой, с усталым лицом и выцветшими усами. Он вынимает кисет и просит разрешения закурить. Мы закуриваем.

— Вот,— говорит он.— Я командующий Тринадцатой армией, вступившей в Крым. Моя фамилия Котельников. Пришел к вам по делу, исполняя просьбу Осипа Ивановича Сомова, отца вашего мужа. Вы, конечно, слыхали, что он прожил много лет в Швейцарии, как политический эмигрант. Теперь он вернулся и в настоящее время является членом Реввоенсовета. Он имеет самое прямое отношение к наступлению на Крым.— Помолчав, чтобы дать мне время освоить сказанное, продолжает:— У меня есть записка Осипа Ивановича к сыну, к вашему супругу. Ему, Осипу Ивановичу, известно, что сын его воюет против советской власти и что он находится сейчас в Керчи, где денкиинцы окружены и обречены на уничтожение. Осип Иванович предлагает ему путь к спасению при условии, что он сознает свое заблуждение и захочет исправить ошибку. Короче — его нужно вывезти из Керчи и доставить в Москву к отцу для переговоров. И вот я собираюсь предложить это дело вам...

— Мне? Каким образом?

— Очень просто. Я берусь отправить вас с этой запиской в Керчь на рассвете. За беспрепятственную доставку вас в Керчь я ручаюсь. Записка и обратный пропуск будут зашиты в одежду. Ну, а в Керчи вы справитесь сами. Выкручивайтесь, как умеете. Ну, как?

Я сказала:

— Хорошо. Но вы дайте мне время собраться с мыслями.

Котельников ответил серьезно и дружелюбно:

— Это можно. Приходите вечером часам к восьми по адресу... Это — штаб армии. Там мы с вами обсудим все подробно.

И тут же ушел.

Я бросаюсь бежать из дома. Конечно, к Глебу. Кому еще могла бы я рассказать все это?

Глеб жил тогда в санатории. Это было время свободных нравов. Персонал санатория привык к постоянным набегам посетительниц к единственному пациенту, к складу пустых бутылок под его койкой, к ручному бельчонку, скачущему на подоконнике, и мирился со всем, что было бы невозможно в другое время.

Увидев меня, он вскочил с койки. Глаза его забуравили меня в настороженном ожидании. Услышав новости, он стал бегать по комнате. Сказал:

— Я считаю, что тебе ехать нельзя. Я поеду вместо тебя. Мне это

проще. Мне надоело сидеть без дела. Я возьмусь за любое поручение, независимо от тебя, от вас... Ты же просто не имеешь права рисковать жизнью. Подумай о малыше...

И вот мы отправились, взявшись за руки, «туда», в страшное место, для встреч и разговоров, повернувших мои мысли по новому руслу.

Штаб армии помешался в брошенном особняке на склоне гор. В саду, среди роз и фонтанов, расположилась походная кухня, солдаты бродили вокруг дома, лежали на траве... На нас поглядели, посмеиваясь. Пропустили по одному слову.

В полутемном зале было полно людей, шуму, махорочного дыма. На столе стоял котел с варевом, в клубах пара толпились солдаты с котелками и тарелками; потом мы увидели и женщину в пенсне, с засученными рукавами, разливающую суп, и двух мальчишек, снующих вокруг стола.

Мы стояли в растерянности, никто не интересовался нами. Мимо нас шла деловая жизнь.

К нам подошел Котельников и позвал с собой. Женщина у стола с любопытством проводила нас взглядом. В кабинете, где, кроме письменного стола, почему-то не было мебели, Котельников присел на кончик стола. Он был в расстегнутом кителе. Усталые, в морщинках глаза его смотрели добродушно. Он сказал:

— Нуте-с...

И тогда я предложила ему Глеба взамен себя для путешествия за Павлом.

— Кем он вам приходится? Брат?

— Нет. Просто большой мой друг...

После недолгого разговора Котельников попросил меня выйти и подождать в саду. Я ушла и ждала долго. Мне стало страшно за Глеба. Куда я привела его? Зачем понадобился секретный разговор? Чем все это кончится?

Глеб вышел с тем особенным выражением просветленности и душевной сосредоточенности, которое временами так преображало его. Мы долго шли молча. Пришли на набережную, дошли до условленного места, откуда в пять часов утра должна была отойти фелюга на Керчь.

Глеб был потрясен разговором и оказанным ему доверием. Он взял на себя еще какое-то неизвестное мне поручение. Ответственность, риск этой затеи переполняли его восторгом.

— Вот какие они! Теперь ты видишь это сама.

Я сказала:

— Да, я не думала, что у них так хорошо. Во всем, что они делают и как они говорят, чувствуется, что они правы, и это сознание делает их счастливыми.

Мы долго говорили о том, что надлежит сделать Глебу и как нужно вести себя при переходе через линию фронта, и о том, как встретит Павел Глеба и как отнесется к письму. Странное дело, мы были так опьянены, так разгорячены романтической стороной дела, что почти не сознавали опасности и трудности задачи. Мы ходили, держась за руки, и говорили. Тем временем начался рассвет, море зашуршало камешками у наших ног... Поднялся легкий ветер, и солнце вышло из моря. А фелюга так и не пришла.

Утром этого дня деникинская армия, поддержанная англичанами, вырвалась из мышеловки и в двенадцать часов входила в Ялту. Павел на мотоцикле подъехал к нашему дому. Все случившееся вчера отодвинулось куда-то вдаль, оставив смутное ощущение ускользающего сна.

7

Вечером, уложив Ваню, мы сидим друг против друга за столиком с нехитрым ужином. Как ни трудно, но мы говорим все, что можно сказать словами, и все, что не следует укладывать в слова. Наши отношения должны выдержать правду, но если бы и сломались под ее тяжестью, мы не могли поступить иначе.

У Павла дрожат руки. Он налил вина мне и себе. Сказал:

— Ну что ж. Мы оба оступились. Не будем казнить друг друга. Нет больше королевы, которая не может ошибаться, и нет больше рыцаря. Простим друг другу ошибки, исправить их в нашей воле. Обещаем друг другу верность. Мы должны наконец стать взрослыми, Оленька.

— Да. Мы должны стать взрослыми.

Я плакала и верила, что все будет хорошо. Я обещала Павлу, что уеду с ним на фронт.

Но я спросила его:

— Зачем ты не уйдешь «оттуда»? Ты же не веришь больше в то, ради чего вы воюете...

— Я ни во что не верю больше...

— А я начинаю верить. Но я поеду с тобой для того, чтобы все увидеть своими глазами и увести тебя.

— Я не смогу уйти. Ошибку исправлять поздно.

Мы поехали в Симферополь, где находилась в то время вся моя семья. Осенью 1919 года отец получил кафедру лесоводства в Симферопольском университете. Это было подарком отцу в конце его жизни. Но то, что всегда было недостижимой мечтой, теперь уже не могло его радовать. Он читал лекции и создал кабинет-музей, но он умирал. И страдания, которые стали привычными для окружающих, с каждым днем становились для него страшнее.

Мы привезли и сдали на руки матери нашего Ванюшку.

Я пришла к отцу, чтобы попрощаться. Он лежал, отвернувшись к стене. Я взяла его маленькую, исхудалую руку и поцеловала. Он сказал:

— Мы не увидимся больше.

Я выбежала. Мама и девочки сидели молча, Павлосич стоял с виноватым лицом. Я обняла маму и сестер, смотревших на меня осуждающими светлыми глазами. Мы вышли. Я оглянулась с улицы, сквозь завесу слез увидела скорбное, строгое лицо мамы в окне. Она поставила на подоконник розового малыша. И он, единственный из всех, улыбнулся мне.

Так шагнула я в авантюру и, очевидно, не могла поступить в этот час иначе.

8

Одесса накануне нового, 1920 года замерла в небывалой стуже. Шло лихорадочное формирование бронепоезда. Павел пропадал целыми днями, дни тянулись долго и тоскливо. Метель сбивала с ног. Ветер, снег, молчание.

И вот наконец бронепоезд. Я была тут единственной женщиной.

— Куда ты привел девочку? — спросил Павла кто-то из старших офицеров.

Павел поручил меня заботам своего друга Ашуркова. За плечами этого мальчугана стоял «ледяной поход» Корнилова. Но бесславный конец этой авантюры не разрушил иллюзий, которыми жил он фанатически. На всем его облике и поведении лежала печать обреченности. Он

знал, что идет на смерть, и не ошибся. Недолго спустя погибли почти все наши спутники, был расстрелян и Ашурков.

Никто не знал, куда мчится этот последний поезд, но все чувствовали приближение конца.

Ночью на вторые или третьи сутки была объявлена тревога. Павел вбежал в купе, встряхнул меня, поднял на ноги. Заряжая револьвер, он говорил срывающимся голосом:

— Оленька, проснись. Мы идем навстречу окружению. Путь впереди отрезан. Но мы будем пробиваться. Будем драться до конца. Слушай меня... когда будет нужно, мы умрем оба. Ты должна верить мне: я сделаю это, когда не останется другого выхода. Ты слышишь меня? Понимаешь? Веришь?

— Да,— сказала я, и мы поцеловались.

А потом я вышла в коридор и стала у окна. Поезд мчался, раскачиваясь и роняя хлопья белого дыма в черную мглу. Кто-то пробегал мимо, стуча сапогами, хлопали двери, где-то приглушенно звучали возбужденные голоса...

Вдруг Павел ворвался в вагон. Я взглянула в его глаза, поняла, что все миновало, и уткнулась головой в его грудь.

Наутро близ Тирасполя был передан приказ от сбежавшего командования: собирать обоз первой степени и отправляться пешком по берегу Днестра в Польшу.

В растерянности мы выходили из вагона. В зимней мгле началась оттепель. Лица серы, угрюмы, сосредоточенны. Люди не смотрят в глаза, перебрасываются ворчливыми репликами, огрызаются.

Вдоль застывшей реки, по левому ее берегу, ползет густой и черный человеческий поток, разгромленные остатки белой армии. Смерть догоняет их, наступая на пятки. Все перемешалось: пешие и верховые, солдаты и беженцы, подводы, груженные людьми, пушками и награбленным добром. В молчаливом и паническом шествии кое-где вспыхивают короткие разговоры: в них — ненависть к командованию, презрение к самим себе и восхищение большевиками, пересыпанное ядерной бранью.

Идет липкий мокрый снег, мы глотаем его и грызем сахар, которым набиты карманы. Больше есть нечего. В селах на пути нас встречает молчание, запертые двери, хлеба нет.

— Все, что было,— ваши же и очистили. Везде пусто,— слышим мы.

Мы спали не больше трех-четырех часов на мокрой соломе вповалку. Ночью хрипели, храпели, стонали, кто-то наступал на ноги, и все было безразлично. Мои легкие ботинки на высоком каблучке раскисли от мокрого снега. Начался озноб, жар, зубная боль.

Закрывая глаза, я видела перед собой все ту же отпечатавшуюся в мозгу картину. На белой плоскости реки черные фигурки мальчишек-кадетов, бегущих от нас на румынский берег. Их отправили после договоренности с румынскими властями о пропуске. И вдруг оттуда, с румынского берега, затрещал пулемет. Фигурки заметались и стали падать на лед. Идущие мимо смотрели молча и медленно отворачивались. Я не давала Павлу спать, спрашивала:

— Ну, как? Пойдем дальше или отстанем наконец от бессмыслицы?

Павел не отвечал. Лицо его было замкнутым и чужим. Он закрывал глаза, делая вид, что спит. Так или иначе, но надежды на спасение было мало. Все же и умереть хотелось по-человечески. Павел старался найти оправдание и утешение в безысходности. Я же думала, что нужно решать и действовать. И уж если быть расстрелянными (так нам и надо), то пусть это будет скорее и пусть мы сами придем и сдадимся, чем если нас поймают наконец, как бездомных собак.

Вопрос для нас решился сам собой. В Дубоссарах, куда мы пришли ночью, меня, полуживую, Павел забросил в дом местной учительницы и убежал со словами:

— Скоро вернусь... спи спокойно.

Прошел час и два, и в село ворвались люди. Слышалась перестрелка, кто-то прибежал, шептался в сенях. Учительница, миловидная вдовушка, жила с матерью и малышом. Она никому и ни во что не верила, была напугана и озлоблена несправедливой, как она считала, судьбой и событиями, в которых и не пыталась разбираться. Звали ее Люся, у нее были круглые черные глаза.

Она подняла меня с постели, стала торопливо подталкивать к дверям с причитаниями и уговорами:

— Уходите скорее, я не могу вас спрятать. Меня убьют вместе с вами.

Я покорно вышла во двор и побрела в пространство, увязая в снегу. Впереди были заснеженные задворки, где-то поблизости перестрелка, крики, топот.

Какая-то женщина взяла меня за рукав и повела к себе. В ее избе я пролежала на печке дней десять в жару. Все, что я видела и слышала в эти дни, было, как я узнала впоследствии, вторжением махновцев. В избе постоянно забегали чубатые молодцы в невиданных костюмах: в галифе, сшитых из занавесок в крупных розах, в офицерских френчах и в казацких папахах. Всех их томила жажда. Запасы самогона были освобождены из тайников. Шло соревнование в песнях, ругани, хвастовстве и живодерных анекдотах о замученном офицере, их отродьях и бабах. Один из этих молодцов появлялся чаще других. Он был худ, как отощавший за зиму волк. На сером лице тревожно бегали глаза, он всегда был на взводе, пьян самогомом и кровью. Он говорил отрывисто, хриплым голосом, хохотал, как лаял, беспокойно озирался, вскакивал, бросал винтовку, выбегал так же неожиданно, как и приходил.

Я лежала на печке, свесив голову, слушала, иной раз расспрашивала. Однажды он дико взглянул на меня и обратился к хозяйке:

— Это кто там у тебя вякает?

— Ша! — сказала хозяйка, махнув на меня полотенцем, — это племянница хворающая. Ну ее совсем! — А после выговаривала мне: — А ты, милая моя, не смей соваться, куда не спрашивают. Терпи. Молчи. А то как бы и тебя и нас заодно не шлепнули с ходу.

Встав на ноги, я опять пошла к черноглазой учительнице Люсе, — деться было некуда.

9

Весна в Молдавии наступает внезапно и стремительно. Снежный покров вдруг почернел, осел и дал трещины, из степи по оврагам ринулись сверкающие и гремящие ручьи. Обнажился мокрый, чавкающий под ногами чернозем. Земля пухла, дышала и вздымалась, как опара, и солнце яростно слепило с раздавшегося неба.

В селе наступило затишье. Не было ни красных, ни белых, ни петлюровцев, ни махновцев. Люди, озираясь, выползали, словно из-под земли.

Я прожила больше месяца за печкой в семье учительницы. Я мешала Люсе и бабке. Им было трудно делиться запасами с непрошеной гостьей. Их раздражала сидевшая в углу беспомощная фигура. Я не умела колоть щепки и была плохой нянькой. К тому же надежда на будущую благодарность с моей стороны постепенно исчезла. О муже ничего не было

слышно, у меня не было ни смены одежды, ни денег, ни сил, чтобы двинуться куда-нибудь на разведку. Никто не знал точно, что делается в мире, кроме того, что Одесса взята большевиками, кроме того, что в городах голодают. Для меня голод начался раньше. Однажды я неожиданно открыла дверь в кухню и застала хозяйек за столом. Они с испугом прятали что-то под салфетку, и я, смущенная и за себя и за них, постаралась исчезнуть как можно быстрее.

Я старалась уходить из дому и проводить время в безнадежных поисках Павла. Я искала его среди трупов, которые вытаскивали из-под снега. Ко мне присмотрелись.

Кулацкое население села спешило возместить убытки, понесенные с гражданской войной; кляня всех на свете, оно обогащалось и жирело за счет голодающих городов.

Началась подготовка к пасхе. Откуда ни возьмись, под окнами домов выросли горы яичной скорлупы, везде что-то месили, толкли и сбивали. Не прекращался пороссячий визг — повсюду кололи свиней.

Наконец пришел праздник. Ночью последние куличики остывали в печке, и старуха, спотыкаясь от усталости, побрела святить их под оглушительный трезвон. Люся накрывала на стол. Она похорошела и подобрела. «Христос воскрес»...

На следующий день началось гулянье. Из сундуков вытащили слежавшиеся платья и пошли под гармонь пьяной и разряженной толпой с песнями и драками месить жирную грязь. А на третий день в Дубоссары вошли войска Котовского.

Когда пришли за мной, было солнечное утро. Красноармеец стоял в дверях.

— Где у тебя тут скрывается денкинка? — спросили Люсю. — Давай ее сюда, да поскорее.

Меня вывели, укутали в платок, перекрестили.

Я побрела, утопая в грязи по колено, красноармеец подгонял меня прикладом. Над затихшим селом хором заливались жаворонки.

У избы, где помещался штаб, меня оставили одну. На минутку... и я смогла поднять лицо к солнцу и ветру, как думалось, последний раз.

В избе, куда меня втащили наконец, было темно, накурено и тесно от людей. Я с трудом пробралась к столу у окна, где сидели какие-то люди. Лицо человека в папахе против света казалось черным пятном. Я обратилась к черному пятну; все кругом стихло, и я услышала свой голос, как если бы говорил кто-то другой. И вот рассказываю обо всем, что случилось с нами. Все как было. О сомнениях, запутанности, надеждах. Я прошу помочь найти исчезнувшего Павла и называю фамилию.

Человек в папахе размышляет с минуту, потирая переносицу, говорит:

— Припоминаю. Было такое дело. Толковали о сынке Сомова и о племяннике Луначарского. Хороши детки... Однако полагаю, что они живы. Найдутся! А что касается вас, гражданочка, то вы можете идти подобру-поздорову.

Я хотела еще спросить что-то, но в это время в избе поднялся шум, дверь распахнулась, толпа женщин ввалилась с криком.

— Вот этот самый, — кричали, указывая на моего провожатого. — Что? Кто? Федька? Да, он, он самый. Украл часы при обыске...

Человек в папахе вскочил, крикнул:

— Отдавай часы! — и следом сразу: — Вывести в расход!

Поднялась возня, солдата Федю вытащили на двор и в наступившей тишине послышался выстрел.

Тогда я тихонько вышла.

Неподалеку на моем пути, прямо на дороге у лежащих бревен, два бородача кололи кабана. Он не хотел умирать, и с ним долго возились.

Я села на бревно, закрыла глаза и задремала на солнце, ощущая, как поток жизни подхватил меня снова и понес, покачивая, неведомо куда, зачем, надолго ли.

Мне дали работу делопроизводителя исполкома. Что значила эта должность, никто не знал. Работы не было, если не считать переписывания двух-трех бумажек в день. Я сидела в пустой комнате наедине с чернильницей, изредка забегала соседская девчонка и хрипела мне на ухо:

— Опять кадета из колодца вытащили. Не твой ли? Побежим.

Но я уже знала, что найду его не в колодце. Если найду...

Вечером, вырвавшись из душевной избы, я бежала на Днестр купаться. На берегу мы обычно встречались с Люсей. Я поджидала ее, сидя на поваленном дереве.

Во мне не было зрелости, уверенности в себе, не было ясного представления о том, что творится в мире.

Я старалась не допустить мыслей о гибели Павла. Все душевные силы сосредоточились на заклинании: «Пусть он будет жив, пусть он найдет меня».

Я не знала, что делается в Крыму и живы ли родные. Если они живы, то, наверное, похоронили меня в мыслях.

Мне очень не хотелось самой быть выброшенной из жизни. Может быть, и нас тоже примет эта новая, неизведанная жизнь?

10

Наконец мне удалось выбраться в Тирасполь, где я надеялась навести справки о Павле.

На подводе ехали двое красноармейцев, матрос, учительница и я. По пути спорили на политические темы и ссорились.

Матрос держал себя вожаком и рисовался своей ролью. Ему нравилось задирать и пугать меня. И, развалившись в телеге, покусывая сенцо, он насмешливо и воинственно излагал свои мысли по поводу моего существования и существования прочих тому подобных гадов.

— Вот вы мечтаете найти своего мужа... А не следовало бы и братья за такое дело. Вряд ли его помиловали, да и за что бы? Пора сообразить, что вы, интеллигенция, лишняя обуза для народа. От вас только вред.

Я пыталась возражать.

Вечером приехали в Тирасполь. В зале гостиницы все заплевано и прокурено. На стенах прегадки картины, на обшарпанном столе бутыл с самогоном, буханка хлеба и молдаванская закуска — крутые яйца, плавающие в постном масле. Ели из общей чашки кто ложкой, кто вилкой. Пили, кричали, курили махорку.

Я глотнула самогону и совсем заскучала. Захотелось спать. Сквозь слипающиеся веки увидела, как в дверь вошел, нет, вполз из щели человек в грязном халате. Человечишко заблеял тонким-претонким голоском:

— Девочки, да какие славненькие! И самогончик.

Он потер руки, снова запахнул халат, и все кругом смеялись, и кто-то хлопал его по плечу, и кто-то представлял, а может быть, это он сам представлялся:

— Наш замечательный актер. Первый любовник. Хи-хи. Какая веселая компания.

Я снова задремала и сквозь дремоту услышала хохот и крики:

— Девочек по жребью. Тяните!

Так попала я в номер со своим спутником по подводе, молчаливым и незаметным шофером Федей. Он был пьян вдребезги, что и придало ему смелости в первые минуты нашего сражения. В своей молодости я крепко верила в силу убеждения словами. Я была уверена, что со мной не может случиться ничего дурного, и ничего и никого не боялась. Эта доверчивость действовала лучше всяких хитростей. Укрощение произошло быстро.

Сидя на железной кровати, я поучала Федю на темы о любви и дружбе и рассказывала о своем сынишке. Он же сидел на полу рядом с койкой и говорил с почтительной нежностью. Он уже не собирался слопать меня, как кусок мяса, он обещал мне помочь добраться до дому и уверял, что гражданская война закончится скоро полной победой Красной Армии, и тогда он сам отвезет меня в Крым. А потом мы задремали, я на кровати, он на полу, положив голову на мою подушку. И в таком виде ввалившаяся ватага застала нас утром.

Я побежала по учреждениям города, вернулась усталая от неудач. На койке лежал Федя, разметавшись в жару. Это был сыпняк. Мне пришлось уstraивать его в больницу и проводить в последний путь.

Спустя несколько дней я попала в ту же больницу, куда меня привезли из Дубоссар.

После больницы я очутилась на бульваре. Не было ни крыши над головой, ни вещей, ни денег. Возвращаться в Дубоссары было незачем. В больнице мне сбрили волосы. Я выпросила у санитарки платочек на голову.

Я не знала, жив ли Павел. Я не могла представить себе, каким путем дойду до родных людей. Вокруг был чужой мир, и ему не было до меня никакого дела. Я была слаба, голодна и напугана, и слезы безудержно заливали мне лицо. Я подняла голову и увидела внимательные глаза, рассматривавшие меня на близком расстоянии. Рядом на скамейке сидел шупленький, плохо одетый человек с болезненным лицом. Он виновато улыбнулся, развел руками, сказал робко:

— Вот наблюдаю вас уже давно. Вы уж простите мое любопытство. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Я рассказала ему залпом все о себе. Он слушал внимательно, потом отрекомендовался.

— Я землемер. Меня зовут Аполлон Евстафьевич. Еду на работу в Дубоссары. Не хотите ли поехать со мной, вместе жить... пока вы не найдете своего мужа? Вы будете помогать мне чертить и раскрашивать карты. Ехать завтра. Подумайте. Я подожду здесь.

Что мне еще оставалось делать? Я решила. И таким образом мы прожили с Аполлоном Евстафьевичем два месяца в Дубоссарах.

Я перестала плакать. Сельский нотариус, поповские дочки и прочая местная интеллигенция осуждали меня за «сожительство» с землемером. Со мной перестали здороваться. Мой «сожитель» усаживался в ноги моей койки и утешал меня в тревожные часы и смеялся вместе со мной, когда мне бывало смешно. Это был самый бескорыстный человек на свете.

Я звала его Анчуткой, по народной сказке о болотном черте, вполне безобидном и готовом выручить полюбившегося ему человека в любой беде.

Аполлон Евстафьевич был коммунистом. Он мало знал, но умел верить. Его убеждения были органическими. Он был тяжело больной и совершенно одинокий человек, казавшийся мне старым, хотя и было ему всего тридцать лет. Наш договор с ним давал мне полную свободу жить.

как хочется, пользуясь его заботой, дружбой и поддержкой. Я и пользовалась, не задумываясь, что и ему, быть может, нужно что-нибудь большее, чем мое присутствие и весьма относительная помощь в чертежах.

Однажды Аполлон Евстафьевич сказал мне:

— Ну, а если он не вернется, что тогда?

— Когда будет можно, я поеду в Крым к сынишке и маме.

— Ехать еще долго будет нельзя. Останься со мной. Выходи за меня замуж. Потом мы возьмем к себе твоего мальчика.

Я удивилась.

— Что ты, Анчутка, дорогой мой друг, разве можно выйти замуж за подругу?

На этом перегоне нашелся у меня еще один попутчик. Это был кареглазый, с пушком на лице студент, случайно, как и я, уцелевший в Дубоссарах.

Встретившись на узкой тропинке у реки (до того мы поглядывали друг на друга издали), он отрекомендовался мне:

— Иван Матвеевич — липовый кадет.

— Ну что ж, липовый — тем лучше.

Вот с ним-то мы и побегали, спеша надышаться, насмеяться и нацеловаться, благо жизнь и молодость вырвались на волю в этот час передышки. Все тяжелые мысли были спрятаны на замок. Чем тревожнее была наша судьба, тем сильнее желание забыться. Но при всем этом легкомыслии, приводившем в ужас местных жителей, мы строго соблюдали наш договор о верности пропавшему без вести.

Бывали у нас и разговоры о серьезном, всегда на ходу, мельком:

— Почему ты оказался у кадетов?

— По глупости.

— А почему не переходишь к красным? Почему скрываешься?

— Скрываюсь потому, что не помилуют. Перейти на другую сторону не мог бы, потому что есть такие понятия: долг, честь, верность товарищам.

— Ну, а как ты думаешь о будущем?

— Ничего не думаю. Старое плохо. Белогвардейщина — гниль. Что-нибудь да будет.

И вот пришел большой день. Люся получила телеграмму из Одессы. Она извещала о чуде. Павел был жив и разыскивал меня. Я стала собираться в Одессу. Пришло время прощаться с друзьями. Они сделали для меня очень много. Мне же нечем было отблагодарить их.

Меня провожали оба друга. Они собрали мне в трудную дорогу все, что смогли: золотую цепочку, мужскую рубашку, горшочек с топленым маслом.

Все трое мы были растроганы. Я взгромоздилась на телегу с сеном и старалась улыбаться сквозь слезы, набегавшие на глаза. Красногоржий и рыжий возница поглядывал с хитринкой на моих телохранителей, подбрасывавших солому на высокий воз.

— Вы бы ей, — сказал он, — под... подкинули.

Загнув словечко, он с кряхтеньем забрался на сиденье и дернул вожжи.

Так кончилось наше торжественное прощанье.

Мы встретились в чужом доме. Павел был обрит наголо, одет в лохмотья солдатской формы и так худ, что ветер, казалось, раскачивает его длинную фигуру на ходу. Глаза у него запали глубоко и взгляд стал одичалым.

— Где же ты был все это время?
 — Валялся в тифу в тюрьме. Сначала сыпной, потом возвратный тиф.

— Откуда у тебя шрам на лице?
 — Это в первые дни, как арестовали, били. Вышел из тюрьмы неделю назад и сразу же дал тебе телеграмму. Выжил, как видишь.

— Где же ты живешь, Паша?
 — Нигде. Ночую, где придется. Эти милые люди, у которых мы гостим сейчас, простили меня уйти. Очень боятся.

Я открыла горшочек с маслом, вынула хлеб и, взглянув на Павла, едва удержалась от слез. Так страшно показалось мне выражение крайнего голода на его лице в неподвижном взгляде, присосшем к моим рукам. Я протянула ему кусок, он взял его дрожащей рукой.

Лето было знойное и душное. Мы работали инструкторами в наробразе. Мои деревянные сандалии отстукивали дороги из одного конца города в другой. Под вечер мы стояли в очереди в столовую среди голодного люда, добывая в поте лица тарелку супа «с шрапнелью». Потом шли домой.

В квартире зубного врача мы получили комнату по ордеру. В ней были ковры, пыльные портьеры, бархатная мебель, полумрак. Хозяева смотрели на нас лютыми глазами, мы с ними молча презирали друг друга.

Одесса голодала. Старожилы спускали на барахолке накопленные богатства, меняли драгоценности на продукты, одежду на хлеб. Кулацкие подводы уходили в обратный рейс нагруженные зеркалами, двухспальными кроватями, люстрами и коврами. Терпеливые волю тащили в деревню бронзу, красное дерево, горы невиданной роскоши.

За вещи можно было получить все, что снилось в голодных снах: гусей и поросят, сало, яйца и хлеб. Но нам менять было нечего. Моя единственная юбка протерлась на коленях, и эти лохмотья смущали даже зава подотдела, выдавшего всякие виды. Однако в наших спорах он был несокрушим.

— Обувь! Откуда я возьму для вас обувь? Нету! Понимаете вы русский язык?

В толпе осаждающих здание наробраза служащих, лишенцев и дельцов попадались такие, что предлагали шепотком приличную одежду — «стоит только захотеть».

Наконец настал день, когда мне дали работу по специальности. Мне предстояло учить рисованию беспризорников, которых в то время еще только начали вылавливать повсюду и направлять в детские колонии, в школы-дома.

Для первого случая я захватила с собой несколько допотопных журналов, стащив их с этажерки у хозяев квартиры. Идти пришлось в дальний путь — в трущобы Пересыпи.

Меня привели в обычный школьный класс.

— Вот вам, дети, учительница рисования; видите себя хорошо.

Сказав эти слова, сопровождающий исчез, как растаял, и оставил меня одну против беснующейся толпы.

Передо мной металась какие-то головы и руки. Одна яркая рыжая голова отделилась и придвинулась ко мне почти вплотную. Я струсила, увидев огненно-красное ухо, светящийся зеленоватый глаз. Но это был обыкновенный мальчишка апельсиновой масти. Он вложил пальцы в рот и свистнул. Я поколебалась с минуту и — приняла вызов. Нужно было растолкать толпу, нужно было сесть за первую парту, нужно было вынуть из портфеля журналы.

Я все это проделала.

Многое из практики первого месяца работы осозналось позднее. В ту пору я сражалась, не раздумывая. И вот, развернув журналы, я сделала вид, что утонула в чтении. Это было не так легко в обстановке кошачьего концерта и под обстрелом жеваной бумагой. Однако постепенно шум стал стихать и становилось меньше попаданий в цель. Перемена настроения была явной, и мало-помалу началось новое движение за спиной, шорох, сопенье, жаркое дыхание в затылок, и теплая груда ребячьих тел, толкаясь, надвинулась на меня, заглядывая через плечо в раскрытый журнал.

Я продолжала перелистывать страницы немецкого журнала с рисунками. Чего там только не было! Сенбернар совершал альпинистские подвиги, прелестная пастушка обнималась с козочками, в то время как усатый кавалер в тирольской шляпе скромно прятался за забором. И первый локомотив поражал зрителей замысловатым дымом. Постепенно в классе затихло.

И тогда я стала говорить.

Этот первый урок не был похож на обычный урок, но все же я унесла домой чувство победы.

После первого боя на новом пути я поняла, что нельзя позволить себе усомниться в своих силах, нельзя обнаружить упадок духа. Этих вещей ребята не прощают.

Нужно было выработать независимость поведения. Моим оружием стала насмешка, я выдвинула ее как щит. Я руководствовалась инстинктом, чутьем, бог знает чем еще, но каждый мой шаг в то время был новым завоеванием и приносил радость.

И вот мы стали рисовать. Сначала в классе, а потом и на воле. Это был первый опыт этюдной работы с ребятами. Мы бродили по задворкам города, усаживались прямо на тротуаре и рисовали все, что попадалось под руку. Никто не мешал нам в то время. Даже милиция. Наша война с нею началась много позднее.

Чаще всего беглые записи и наброски служили лишь материалом для композиций на сюжеты, подсказанные улицей, в их основе лежало непосредственное наблюдение. И, как всегда, в большом коллективе ребят нашлись художники, которые вели за собой остальных, заражая своим увлечением.

Парнишка, осмивавший меня на первом уроке, носил кличку Аспид. Он стал одним из столпов коллектива, и мы выбрали его старостой кружка. Это был один из самых неспособных ребят, и тем не менее он увлекался процессом рисования. Неудачи его не смущали, своими рисунками он бывал неизменно доволен.

Одна из немногих девочек, Райка, или Раечка, была нашим завхозом. Эта тщедушная девица зимой и летом ходила закутанная в грязный платок. В ней поражало несоответствие вида с неукротимой энергией. Она была горластой и храброй. Если она не дралась с кем-нибудь, то досаждала мне неудержимыми излияниями чувств, поток ее красноречия остановить было трудно. Раечка рисовать не любила, ее увлекали общественные обязанности, и она свирепо оберегала коллективное имущество от расхищения.

Валя Одров считался моим ассистентом. Об этом мальчонке мне трудно вспоминать даже теперь, по простетвию более чем тридцати лет.

Валя был бледный и хилый паренек. На подергивающемся лице его легли морщинки голода и скорби. Он был молчалив, замкнут и дик. Валя вложил все мечты о будущем, всю страсть своего сердца в наши занятия. Моя похвала делала его счастливым, неудачи приводили в

отчаяние. Однажды я поймала его на какой-то лжи. Я расстроилась, особенно потому, что доверяла ему, потому что возилась с ним, стараясь улучшить его судьбу. Я выбрала его при свидетелях. Валя разрыдался и выбежал из учительской. С тех пор я никакими усилиями не смогла заманить его в кружок. В ночной темноте, отстукивая своими деревяшками обратный путь, я часто слышала шелест в кустах акации, перебежки, таинственные овистки и переговоры вполголоса:

— Валька, Валька, «твоя» идет.

Однажды я остановилась, всматриваясь в темноту, позвала тихо:

— Валя!

Черная звездная ночь не отвечала. Я шла домой, зная, что меня провожают добрые силы, но печаль и раскаяние терзали меня с тех пор. Чего бы я ни сделала, чтобы помириться с Валькой и приручить его снова.

Десять лет спустя я снова побывала в Одессе. Голубой день. Городской сад, площадка над морем. Белые скамьи и тюльпаны, сладкий голос Александровича, поющий о любви из растрюба громкоговорителя. Яркие женские платья и позади всего — высокой и зыбкой стеной стоящее море.

Я села отдохнуть на скамью. Неожиданно из дали прошлого пришла воспоминания о страшном окончании одесского перепутья. Я очнулась, когда ко мне подбежала высокая, голенастая девушка. Она улыбалась, как могла улыбаться одна Раечка.

И в самом деле это была она. Откуда ни возьмись, в ней появилось изящество — если не в одежде, какая уж там одежда, — то скорее в пропорциях и манерах. И все такая же была в ней неукротимая сердечность и самоуверенность. Наша встреча была радостной. В один миг она рассказала мне о себе все. О том, что работает затейником при доме отдыха и готовится к поступлению в педагогический вуз. Романы ее не интересовали. Мальчишками она командовала по-прежнему. Я подумала о том, что детство на улице, в трущобах большого города, закалило ее. И все-таки дурное детство, как тяжелая болезнь, оставляет неизлечимые следы — своего рода рубцы и спайки в душевном мире человека.

Я спросила Раю, не знает ли она о судьбе Вальки.

— Ой, как же вы не слышали! Это же все знали! Он умер осенью от туберкулеза. Его на улице подобрали и спасти было уже невозможно. Мы тогда вас искали, но вы уехали куда-то. И мы так за вами скучали!..

Кратковременная работа в зарождающейся колонии дала много и ребятам и мне. Но на всю жизнь осталось горькое и тревожное чувство неожиданной и непоправимой ошибки с Валею.

На протяжении всего лета в Одессе мы с Пашей избегали больших разговоров. Мы говорили о хлебе насущном, которого нам не хватало, о лохмотьях, которые нечем было латать, о трудностях и неполадках в работе, о неразберихе в наробразе. В этом учреждении было шумно и бестолково. Все были заняты, но никто не знал, как нужно руководить делом. Мы почти не вспоминали вслух о доме, о Ване. По ночам мы вздыхали и думали.

К концу лета появились грозные предчувствия. Нужно было что-то решать. Как жить дальше? Мы не могли бы пережить зиму в условиях полнейшей нищеты, неясности положения, неопределенности работы.

Если я как-то могла наметить свой дальнейший путь, то Павел едва

зацепился за жизнь и чувствовал себя в пустоте. Он стал исчезать куда-то по вечерам, возвращался мрачным и рассказывал мне страшные истории о преследовании бывших офицеров. Он мучился, и я мучилась вместе с ним.

Павел сказал мне:

— Бежим в Крым. Бежим домой, там будет видно, что делать дальше. Стены помогут. Здесь я не могу оставаться больше.

Я с жалостью смотрела на него. Он стоял передо мной, огромный и худой, похрустывая пальцами стиснутых рук. Глаза его в темных и глубоких провалах глазниц глядели растерянно.

Я спросила:

— Что ждет тебя там? Врангель? Он тебе нужен? Думаю, что нет. И знаю, что не сегодня-завтра он сгинет. Крым будет советским. Ты что же, не видишь этого?

— Вижу. Знаю. Но ехать домой нужно. Если меня не расстреляют, мы погибнем от голода и холода. Я договорился с группой скрывающихся офицеров. Мы должны бежать на этой неделе, на лодке. Я просил за тебя. Они согласились неохотно... Но все же согласились. И у нас нет другого выхода... Оленька.

Нет другого выхода. Я искала его мучительно. И не сумела найти. Был страх одиночества, была безнадежность в поисках дороги для Павла, было убеждение, что я должна пройти до конца вместе с ним его несчастный и нелепый путь. И я согласилась на новую авантюру, подавив в себе внутренний протест.

У нас было очень мало надежды на благополучный исход. Это был шаг, сделанный в отчаянии. Так поступают люди с петлей на шее. И все же на мне петли не было. Я лезла в нее из чувства солидарности. Товарищи по аванюре были заядлые волки, мечтавшие спасти свою шкуру в общей стае либо уж погибнуть всем вместе.

В дождливый вечер мы сползли по глинистому обрыву на Ланжеронский пляж, где была присмотрена пустая рыбацья лачуга.

Ночь тянулась долго. Мы сидели на полу, закрыв окно мешком, затаив дыхание, слушая скрип шагов патруля на морском песке. Я положила голову на колени Павлу и задремала. Он наклонился и шепнул на ухо:

— Пошли...

Спустили на воду лодку. Это был парусный ботик, принадлежавший начальнику милиции Одесского порта. Ветер бил в лицо. Долго не бывший в употреблении парус не слушался рук. Началась борьба с прибоем, парус беспомощно хлопал на ветру... Весь этот шум проходил безнаказанно, потому что единственный сосед-рыбак лежал связанный в соседнем домишке. Во рту — кляп, а рядом деньги и записка с извинением за причиненное беспокойство.

Мы вышли наконец в море, и при первом же налете штормового ветра мачта сломалась, и парус грохнул на дно лодки. В эту горькую для нас минуту на высоком берегу загорелся глаз прожектора, и луч света пошел шарить в море. Нашел нас, посмотрел в упор... Люди попадали на дно, лодка заплясала на волнах... и наконец пошла вправо на одном кливере вдоль берега на расстоянии выстрела. в сумеречном свете раннего утра.

И все-таки мы ушли. Начавшийся шторм спас нас от погони. Первые обрушившиеся на лодку волны вынесли из нее компас, карту, мешок с провизией. Мы захлебнулись в соленом душе и с этой минуты начали отчаянную борьбу с волнами, которые догоняли нас то справа, то слева, поднимались мутно-зеленой стеной за кормой, обрушивались с грохотом.

Дела было много, думать было некогда. Изредка я встречала взгляд Павла, сидевшего на кливере. Он обращал ко мне почерневшее лицо, улыбался ободряюще, говорил:

— Оленька, держись.

Я держалась. Я растирала ноги лиловому старияку, капитану нашего судна, выкачивала воду и следила за направлением волн, бегущих за нами под разными углами.

После долгих часов разбушевавшееся море понесло нас наконец попутным ветром. Куда? Мы не знали точно. Только не в Крым. Быть может, в Константинополь?

Море было серое, лютое, вздувающееся горами, и мы не знали, сколько времени сможем продержаться на своей скорлупе, то взлетающей на вершины, то падающей в пропасть. Мы коченели, и постепенно равнодушные стало вытеснять все остальные чувства, мысли и соображения.

Наступал вечер, и на горизонте мелькнула тонкая черная полоска. Земля. Мы были бессильны направить лодку к ней. Шли, положившись на судьбу. Среди прорвавшихся облаков вместе с нами бешено неслась луна. Море бесновалось и ревело, и мы наконец увидели стену, надвигающуюся на нас с устрашающей скоростью.

И вот брошен якорь; бот стал боком к волнам, перевернулся, и я очутилась на берегу, дрожащая, в промокшей шубке и босиком. Лодка была вытащена зачем-то на берег. Все наши действия в этот час были почти бессознательны и судорожны. Мы очутились, как выяснилось сразу, на румынском берегу.

Вскоре румынский патруль молча забрал нас с собой. К удивлению, нас не убили и даже высушили у костра. Наконец можно было заснуть на твердой земле. Какое это было счастье!

13

Месяц, проведенный в Румынии под фантастическим арестом, принес мне единственную пользу — научил ненавидеть.

Мы прошли через подозрение в шпионаже, были забавой румынских военных властей и развлечением для пьяных русских купцов.

После нашего появления полуголыми и босыми на улицах Кишинева газеты стали наперебой сочинять сказки о «красавице графине, бежавшей из Совдепии со своими друзьями».

Эти небылицы сослужили нам пользу, мы стали мифом, легендой, сенсацией.

Пока вокруг нашего появления шла борьба властей с эмигрантским населением, мы сидели в подземной тюрьме. Это продолжалось, вероятно, всего час или два и сделано было, быть может, для того, чтобы запугать нас. Нас спустили в могильный мрак и холод. Под ногами скользило, где-то монотонно капала вода. Невидимые тени окружали нас — живые ли, мертвые ли, люди, звери или призраки. издающие пугающие звуки, стоны, бред, брань на чужом языке. Мы стояли, держась друг за друга, боясь шевельнуться.

Я спрашивала шепотом:

— Слышишь? Что это?

— Не слушай. Неважно.

— А где все наши?

— Тут, где-нибудь рядом. Молчи. Скоро все кончится.

И действительно «это» кончилось. Нас вывели на свет и повели

куда-то под конвоем. Мы очутились в гостинице; без всяких объяснений нас привели в номер с зеркалом, белым умывальником и двупальной кроватью.

Оказалось, что русское население взяло нас на поруки и добилося разрешения держать под стражей в гостинице. Нас кормили. Мы были вынуждены принимать у себя гостей — беглых купцов и фабрикантов, спасших нас от смерти. В ресторане гостиницы мы слушали пьяные излияния.

Комендант Кишинева, жирный майор, был затянут в зеленый френч и скрипел на поворотах. Соблазненный сенсацией, он не уставал допрашивать нас и вел следствие наедине со мной в отдельном кабинете ресторана. Ради конспирации он влезал в окно из сада. Влезал с трудом, пыхтя и скрипя сочленениями, этакий пузатый Ромео с розовыми ленточками в манжетах. Он гонялся за мной по городу, пугал сигуранцей, грозил пытками. Страха не было, он был, по-видимому, израсходован к тому времени, было омерзительно. Было плохо, как никогда в жизни.

Вскоре нас всех отправили по этапу в Тульчу и сдали на последний военный транспорт, отходивший в Крым, к Врангелю, на посрамление или гибель. Дни врангелевщины были на исходе.

Все окрасилось для меня в новые цвета. Я ела и спала, если была к тому возможность. Но не стало каких-то чувств, обязательных или естественных для живого человека. И когда по дороге домой я узнала о смерти отца, в сердце ничто не шелохнулось. Я подумала, что он намучился достаточно и что умер хорошо. И что умереть лучше, чем жить. Это омертвление душевных сил было у нас обоих, и наши отношения потускнели и замерли.

С таким тяжким равнодушием я добрела до дома.

14

Мы не сразу нашли маму. Квартиры при университете больше не было. Мы открыли дверь без стука. От площадки вниз в комнату вела лестница в несколько ступеней.

Мама сидела за столом с мальчиком на коленях и кормила его. Она подняла голову. Я увидела, как вспыхнули строгие глаза, как лицо осветилось радостью, похожей на страдание. Какой-то момент мы все не двигались с места. Румяный пряничный мальчик улыбался нежно и лукаво и сказал:

— Мама Оля.

На столе лежала телеграмма, посланная нами с дороги.

— Это хорошо, — сказала мама, — что вы предупредили нас.

Я подумала о том, как много ударов обрушилось на поседевшую голову мамы.

Прошел год в разлуке. Мы были наконец дома. Мы были живы: мама, сестры, малыш, мы с Павлосичем.

Я рассказывала о наших скитаниях, и мне самой рассказ этот казался неправдоподобным то ли потому, что пережитое еще не улеглось на место, то ли рассказанное не могло разбить стену отчуждения, бог знает почему выросшую между нами.

Мне рассказали о смерти отца. После нашего отъезда он с большим трудом продолжал читать лекции, для этого нужно было перейти в смежное помещение. Дуняша водила его под руку. Она усаживала его в кресло, подавала ему платок, которым он закрывал неповиновавшийся, парализованный рот.

Потом он слег совсем, но, неподвижный и беспомощный, он работал и читал до последнего часа. Но в день его смерти мама заметила, что он держит перед собой книгу вверх ногами с уверенностью, что ее читает.

Вечером Лидочка дала ему, как всегда, снотворное и вышла из комнаты. Он заснул и больше не проснулся.

Папу похоронили не на кладбище, а в парке на реке Салгир. Несмотря на голод, разруху и одичание, провожать его пришло огромное множество друзей, учеников, почитателей. Могила окружена решеткой. Между стволами деревьев за грядами холмов голубеет силуэт Чатыр-Дага.

В этот вечер мы говорили обо всем сразу. Я спросила о Глебе. Что с ним случилось? Мама сказала несколько слов о его подпольной работе против Врангеля, а потом о том, что он был ей опорой и что вместе с Лешкой он выходил ее и Лиду от сыпняка. И что все еще он ждет меня. И тогда, когда все остальные перестали ждать, он верил в мое возвращение. Мама осторожно взглянула в сторону Павла. Он не слушал. Он был полон тревожных предчувствий и забот.

На следующий день пришла весть о падении Перекопа. И мама сказала:

— Наконец-то!

Что я должна была сказать? И что делать? Что будет с нами дальше?

Всю ночь мы говорили в нашем углу с Павлом.

— Нужно бежать,— твердил он, и я не смела уговаривать его остаться.— Эвакуируемся вместе? — спросил он.

И тут, разрываясь от слез, я отказалась. Я не могла бежать. Я была наконец дома. Я не могла оставить мальчика и маму. Я должна была жить для них. Я израсходовала все, весь запас чувств. Они выродились в огромную к нему жалость. Я умирала от жалости, но это было не то чувство, ради которого жертвуют всем.

У него в ту пору не было политических убеждений, которые он мог и хотел бы защищать активно, но если бы ему пришлось умереть, он умер бы, не обнаружив ни слабости, ни трусости, умер бы из солидарности с товарищами, с покорностью судьбе и недоумением.

Ему пришлось бороться за жизнь. Это было противно его созерцательной природе. Ему пришлось бежать. Я не думала, чтобы он легко привился на чужбине. Он был мечтатель и романтик и прежде всего русский человек.

За год скитаний самым главным моим чувством стало желание иметь свою родину и право на работу для нее. Родина была на советской земле, я научилась ненавидеть ее врагов. Я была наконец дома.

И, несмотря на трудности в первые дни после прихода советской власти в Крым, когда мама и Глеб боялись за меня, я не чувствовала страха. И вины за собой не ощущала. Я прошла наблюдателем по дорогам поражения старого мира, побед нового. И эта случайная роль была поистине тяжелее, чем любое действие на чьей-нибудь стороне, где нужно выполнять волю коллектива, частицей которого ты являешься.

Прощаясь на вокзале, в злой суматохе и растерянности мы говорили глупости.

Он сказал мне:

— Поклянись, что не будешь с Глебом.

Я обещала ждать. Мы пытались обмануть самих себя, обещая верность и встречу. Когда я уходила, качаясь от горьких слез, я уже не верила в обещания.

И все же наша встреча с Павлом состоялась. Только случилось это в конце жизни,

Пожалуй, с этих дней и кончилась молодость. Началась новая жизнь. Я стала карабкаться вверх. Я старалась не оглядываться и сражалась с Глебом за право быть одной со своими трудностями, со своим горем и озлоблением.

Я с гордостью приносила домой свою горбушку хлеба, но не всегда в течение рабочего дня ее удавалось сохранить в целости.

Между тем Глеб не оставлял меня. Нас принимали за мужа и жену. Да это и не удивительно, потому что Глеб почти насильно принудил меня к «фиктивному браку».

Глеб под всякими предлогами затаскивал меня в свою комнату. То для того, чтобы избежать проверки документов, налетов по доносу, то для отдыха от тесноты и ссор в маминной комнате.

Мы там действительно жили плохо, в разбитой семье не было мира, моя деловая и нервная сестра Лида раздражалась и удивлялась моей неизлечимой беспомощности и рассеянности.

Леша сразу же после смерти отца стала бродяжничать по Крыму, занимаясь в сады и виноградники на уборку фруктов. Она работала с приезжими из Украины девушками, их называли «капорками». Алешка мужественно отказывала себе во всем и копила деньги на отъезд в Петроград. Она появлялась в Симферополе внезапно, грязная, обгорелая и голодная. Ее приводили в порядок, она отправлялась в путь снова. У нее были все те же распахнутые в мир глаза — не глаза, а глазищи, и притом фиолетовые, как говорил Глеб. У Леша были умелые и энергичные руки. Она никогда, начиная с тех лет, не жалела себя, своих рук, своих сил, себя самое в любом труде.

Наконец ей удалось уехать. Путешествие в Петроград заняло полтора месяца. Она поступила в Академию художеств. После занятий ей приходилось возвращаться поздно вечером на окраину города, в часы, когда «попрыгунчики» выходили на своих ходулях пугать обывателей. Леша носила мужской костюм, что было тогда в диковинку, и в кармане брюк хранила кастет. Она мечтала о сражениях и о победах. Но, к большому ее огорчению, «попрыгунчики» избегали встречи с нею. Совершить подвиг ей не удалось.

Она была воплощением энергии, мужества и жадности к жизни.

На Крестовском острове, под крышей школьного здания, светило окошко. Там жил старый школьный учитель, наш дядя Саша. Он был легкий старичок с острой бородкой клинышком. На него было приятно смотреть. Поджидая Елену, он жарил на примусе дрожжи и насвистывал любимые арии. С тех пор как она ворвалась в его старость, он ожил. Так птица, просидевшая зиму в клетке и вдруг увидевшая свет в окне, встряхивается и пробует голос.

До последней встречи с ним мы не знали, как много в нем юмора и неизрасходованной нежности. Когда все три сестры собрались в Петрограде, нельзя было представить себе праздника без дяди Саши, без его пения, выдумок и дурачества.

Лешка была первой ласточкой, перелетевшей на север. Следом за ней и мы стали готовиться к перелету.

Мама с грустью наблюдала нашу жизнь, наши метания, нашу с Лидой исковерканную судьбу. Сама же мечтала об отъезде, о своей маленькой работе в кабинете лесоводства Лесного института. Она естественно и просто приняла новый строй и не боялась трудностей, несмотря на то, что была неумелой и непрактичной. Она растила Ванюшку и с надеждой смотрела в будущее. От одной мысли о перемене жизни, о возвращении в родной город она молодела.

Однажды, собираясь в больницу навестить какую-то знакомую, мама попросила у меня шляпу. Это была бархатная панамка, вывезенная из Румынии, где ее подарила мне одна из сердобольных кишиневских дам.

Мама никогда не заботилась о своей наружности и, вероятно, ничего не знала о своей красоте. В годы после революции мы не имели одежды, кроме той, которую носили на себе. Немало способствовали этому частые обыски по изъятию излишков у буржуазии. И мама, надев шляпу на свои поседевшие кудри, загляделась в зеркало.

— Ты не подаришь ее мне? — робко говорит она вдруг.

Я поражена, чувствую удар в сердце. «Что случилось с мамой? Зачем ей шляпа? Ну, если даже она идет к ней, если она ей нужна, я-то как могу расстаться с таким редким сокровищем?»

Я говорю, спотыкаясь:

— Ты носи ее, когда захочешь, но отдать ее насовсем я не могу...

Одним словом, я пожалела шляпу. Это была ее, пожалуй, единственная в жизни и последняя просьба. Чего бы я ни отдала, если бы она могла просить у меня что-либо спустя три дня, когда ее не стало.

Это воспоминание жгло меня на протяжении всей жизни.

16

В симферопольском наробразе подотделом искусств ведал художественный критик и трогательный человек Яков Александрович Тугендхольд. Он был большой знаток искусства и написал о нем с любовью несколько хороших книг. Мы были с ним неразлучны. Он приходил после работы, когда я писала портрет Глеба в его комнате, смотрел, ухмылялся, похваливал. По своей деликатности вряд ли бы он решился выбрать меня за плохую работу, но недовольство его я бы почувствовала.

В портрете мне хотелось выразить черты самоотречения, воли. Сжатые сухие губы, острый царапающий взгляд. Глаза, как угольки, на бледном лице, поза усталого человека, задумавшегося над обеденным столом с обглоданной селедкой и куском хлеба. При всей самодеятельной беспомощности и наивном «сезаннизме» была, по-видимому, какая-то убедительность образа. Может статься, что портрет был красив по цвету, судить теперь об этом трудно.

Вечер. Тощий Глеб колет щепки и топит буржуйку, раздувая огонь в классической позе голодных и холодных лет. Я не менее тощая и растрепанная, стоя перед мольбертом, размахиваю кистью, зажатой в цыплячьей лапке; кругом хлам и мусор, дым ест глаза, на полу — страшно смотреть — селедочный скелет и картофельная шелуха. В таком виде изобразила нас Алешка, не пожалев трудов и красок. Но она забыла о Тугендхольде. Он сидит на топчане в углу в ожидании скудного ужина. Мы оставляли его ночевать, а поутру он предлагал сбежать за молоком. Глебу не раз приходилось бежать за ним следом, чтобы выручить из облавы или другой какой-нибудь беды.

Однажды Глеб нашел его за оградой, куда патруль сгонял прохожих, не имеющих при себе документов. Глеб вытащил его за шиворот из толпы, со двора, проявив бесстрашие и обезьянью ловкость. Дома мы бранили Тугена за рассеянность; он сидел на лежанке, поджав под себя промокшие ноги, и улыбался виновато и беспомощно. Он был похож на беспризорника.

17

Мы переживали трудное время. Классовая борьба и террор приняли особо острую форму. По ночам мимо окон с грохотом проходили грузовики, на которых везли врагов революции. Этих врагов было очень мно-

го. И каждый из нас, не будучи врагом, мог случайно попасть в их число. В спорах мы пытались вернуть поколебленную в те дни твердость духа.

Глеб, казалось мне, не должен был пугаться и не должен был страдать. Но он оказался таким же, как мы, обыкновенным человеком из плоти и крови, со всеми болезнями интеллигента нашего времени, рожденного в девятнадцатом веке, но также и со всеми качествами, которые помогли ему и многим выдержать тяжкие испытания и не изменить основным убеждениям.

В то время мы с Глебом работали с увлечением. Глеб занимался собиранием художественных ценностей, брошенных без призора или припрятанных в дворцах на южном берегу, и организацией музеев. Он назывался «завкрымокрис». Позднее, получив особые полномочия в Москве, он стал «уполчрезэкомэкспортсто». Это было очень хорошее название для новой серии карикатур.

Я писала к праздникам плакаты и панно в размере целой стены. Они вывешивались на улицах. Осенний дождь размачивал моих восточных всадников с красными знаменами, и ветер срывал мокрые лоскутья со стены. Признаться, никто, кроме меня, об этом не горевал.

В конце нашего крымского периода мы вместе с Глебом и маленькой группой специалистов объездили все дворцы южного берега, чтобы в последний раз отобрать и свести в музейный фонд все оставшиеся художественные ценности. Шофер гнал машину ночью под обстрелом «зеленых». Дорога петляла, и машина на крутых поворотах иной раз задирала колеса над пропастью.

В Ялте стоял сладкий запах гниения. Нас встретили перепуганные отошавшие работники музеев. В домике на Балаклавском тупике при свете огарка три помутившиеся от голода старухи вцепились в меня. Им было страшно.

— Вы там знаете все. Когда же конец, скажите? Правда ли, что французский самолет летает над Ялтой и скоро ли будет десант?

Мы останавливались в Алушке и Гаспре. Дворцовая челядь в бывшем имении Юсуповых суетилась вокруг нас, угощала редчайшими винами, которых не могли вывезти убежавшие хозяева. На вино возлагались большие надежды. «Хорошо, как удастся опить большевистское начальство, а там, глядишь, и припрятать кое-что!»

Но планы провалились. И хотя комиссия от вин не отказывалась и едва держалась на ногах к концу дня, головы комиссии оставались трезвыми: кладовые были запечатаны сургучом, и опись произведена, и митинги среди населения проведены с большим оживлением.

Собираясь к отъезду на север, я решила написать портрет мамы с мальчиком. Ванюшка, по определению Тугендхольда, был мальчик из русской сказки; то ли Иванушка-дурачок, то ли Иван-царевич. Любуясь им и посмеиваясь, он говорил: не плохо бы законсервировать эту лукавую славянскую мордочку.

На третий день работы меня поразило изменившееся лицо мамы. Оно как бы таяло. Глубокие, живые ее глаза тускнели. И я с удивлением спросила:

— Что с тобой случилось, почему у тебя мертвые глаза?

Мама постаралась улыбнуться. На виске у нее синело пятнышко.

— Это случилось тогда в больнице, — сказала она.

Я вспомнила историю со шляпой.

— Ну, и что случилось?

— Укусила какая-то муха и, очевидно, занесла инфекцию. — Она не любила жаловаться и никогда не говорила о своих недугах. Но я испугалась вдруг.

Спустя три дня мамы не стало. До последней минуты я держала ее голову в руках и говорила в задыхающееся лицо все добрые слова, которые могла припомнить.

Пришедшие с опозданием врачи удостоверили смерть от сибирской язвы. Когда мы с Лидой положили на стол холодное, тяжелое, неподвижное тело ее, то мы уже не могли оторваться друг от друга и легли спать обнявшись. После длительного отчуждения мы вдруг словно бы превратились в одно страдающее существо.

На другой день после похорон Глеб ворвался в нашу опустевшую комнату и застал нас одичавшими от горя. Он вернулся, вызванный телеграммой с южного берега, был окрылен работой и показался нам добрым волшебником. Он отвел нас к себе, забрав по дороге от соседей заброшенного Ваню.

Ночью решалось наше будущее. Глеб спросил:

— Будем вместе? Я знаю, что ты не любишь меня, но давай все же попробуем. Быть может, нам удастся построить совместную жизнь, если мы построим ее на дружбе, на работе. Выбирай: если ты хочешь искать Павла, я помогу тебе уехать за границу.

Мы сидели втроем — он, я и Лидочка — у оплывающей свечи. Ваня спал в углу комнаты. Я не могла говорить, я протянула ему руку, он взял ее в свою, а вместе с нею и мое растрепанное сердце. Мы были нужны друг другу. Будем вместе. Может быть, удастся начать жизнь сначала. Нужно постараться не оглядываться и не плакать о том, чего нельзя вернуть.

Спустя несколько дней Лида провожала нас. Она оставалась, чтобы закончить университет. Ее лицо напоминало маму выражением замкнутой в себе печали.

Начался долгий путь в поисках места, где нужно жить. И дела, которое нужно делать.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

С тех пор прошло больше сорока лет.

Заканчивая свои записки на этом перегоне, я получила известие о приезде Павла Осиповича в Москву. До этого письма я уже знала, что он жив, что разыскивает своего брата, меня, сына и моих сестер и что он мечтает о приезде в СССР. И что он живет в Чехословакии. Он писал сдержанно, понимая, что не каждый охотно возобновит беспоконное знакомство. Кто знает, не повредит ли оно служебному положению, не бросит ли тени на репутацию советского гражданина, не внесет ли попросту тревогу в устоявшуюся жизнь?

Я собралась в Москву. Хотелось ли мне выглядеть лучше и моложе? Ну, хотелось, конечно. Но, усмехнувшись в зеркало, я решила, что обойдусь и без всяких к тому усилий. Хватит и того, что осталось.

Ленинград и Москву разделяет час полета или ночь рельсового пути. Поезд идет бесшумно, за шторкой в окне непроглядный мрак, в купе молчание, мягкое покачивание и неслышный сон соседей.

Москва встретила неприветливо. Ни осень, ни зима. Сыро, темно и ветрено. Мечты о номере в гостинице провалились. Я телеграфировала Павлу о встрече на следующий день в Музее изобразительных искусств и приехала по своей беспокойной привычке за полчаса до назначенного срока. Стала бегать по вестибюлю. Как я узнаю его? Большой, толстый, старый? Очки? Ну, а если не придет, тогда что? С приближением стрелки к двенадцати часам воображение с большой изобретательностью подсказало множество неудачных вариантов и успело привести меня в отчаяние.

И вот в сотый раз входная дверь отворилась. Мы угадали друг друга. Я сделала шаг навстречу. Что-то дрогнуло в беспомощно близоруких глазах. Мы поцеловались, кажется. Я взяла его за руку, и мы растерянно пошли вверх по лестнице. У нас спросили билеты. Он сказал:

— А разве нужно?

— Нам ведь только посидеть у входа, — добавила я.

Билетерша ошетибилась вдруг. В глазах появился подозрительный блеск. Тогда мы убежали в буфет. Сели за столик.

Вот он, большой, грузный человек с добрым лицом и белой головой. Белая щеточка усов, неуловимые признаки европейца то ли в манере, то ли в акценте.

Не знаю, что было вокруг нас, что-то шумело и мелькало в тумане. Мы были вместе — два старых человека, потрясенные до основания.

Мы стали говорить обо всем сразу, и туман рассеялся понемногу, и стало легче дышать. И юность заглянула в глаза. Я спросила его неожиданно для самой себя:

— Я нравлюсь тебе?

Лицо его опять дрогнуло, он посмотрел из-под очков и сказал:

— Нравишься.

— И ты мне нравишься.

И мы рассмеялись. Разговор продолжался три дня. И все-таки мы мало рассказали друг другу. Почти полвека разлуки, три дня рассказов.

Нам негде было видеться, кроме как на чужих улицах. Когда мы шлепали по лужам или бродили по музеям, от усталости кружилась голова, но мы не сдавались.

Его несходство с привычным обликом советского человека бросалось в глаза. Это — прежде всего — другой ритм: замедленность движений, созерцательное спокойствие, наивность дружелюбного взгляда. Примерно так мог бы выглядеть Пьер Безухов, если б очутился на улицах советской столицы. Бегущие мимо люди оглядывали его с любопытством.

Он удивлялся и радовался всему, что видел. И я радовалась вместе с ним.

Шаг за шагом, подводя итоги, мы шли к общим выводам, которые были выстраданы на протяжении сорока с лишним лет разлуки.

Мне думается, что и самые обыкновенные люди в нашей стране, бывшие свидетелями и участниками борьбы за переустройство мира, имеют право на гордость. Как бы мало ни было это участие, каждый боролся и побеждал вместе со всеми. Каждый защищал свою землю и свой строй, терял друзей и детей, умирал на фронте или в тылу от голода или от блокады. Каждый оставшийся в живых восстанавливал разрушения, спасал, лечил и воспитывал смену. Мне еще удалось вырастить двух сыновей и вместе с ними пройти сквозь все испытания. Оба они вышли на свою большую дорогу и потому счастливее нас. Не многие из моих современников укрепились на большом творческом пути, но даже и те, кому не хватало на это сил, могут умереть спокойно. Мы поработали. Мы узнали цену жизни, и каждый прожил большую жизнь.

Путь Павла был более сложным и запутанным. Его несло быстрое течение по чужим странам. Он долго метался в противоречиях. Время учило его смотреть и думать. Он знал о черных страницах нашей истории понаслышке, ему легче было сохранить ощущение масштаба событий на расстоянии. Он радовался нашим победам и политике миролюбия и, как мог, участвовал в поступательном движении дружественной нам страны. Казалось, жизнь его в русле творческой инженерной работы наконец шла спокойно.

Но, очевидно, не может русский человек помириться с потерей Родины. Он затосковал и стал искать возможности вырваться, чтобы взгля-

нуть на родную землю хотя бы одним глазком. По существу он давно пришел домой.

Он хотел бы остаться дома, но как теперь, в семьдесят лет, смог бы он доказать добрые намерения, желание работать и умереть на родной земле?

Он счастлив и горд успехами своей страны, ее строительством, ее мирной политикой, великими дерзаниями ее научной мысли. Он, как ребенок, смеется с открытым ртом, и смотреть на него весело. И я знаю, что он будет весь остаток своей жизни тосковать по родине.

Усталые и голодные после блуждания по городу, мы были рады, попадая в добрые руки его незнакомой мне родственницы. Эта славная женщина кормила нас и обхаживала с добротой, тем более трогательной, что была обращена к старым людям и к отношениям без будущего.

В последний день мы очутились в новом здании Московского университета, где недавно был поставлен бюст моему отцу — Георгию Федоровичу Морозову.

Огромный небоскреб зарылся в облака. Нам очень хотелось, но так и не удалось увидеть Москву с двадцатого этажа. Что поделаешь? Мы решили не огорчаться ничем.

Бюст, как я уже говорила, мало похож на отца. Но это не так уж важно. Главное — знак признания после долгих лет замалчивания.

Мы стояли рука об руку и молча, не глядя друг на друга. Мы думали и о том, что происходящее сейчас — последний праздник в нашей жизни.

Все эти три дня мы жили, не переводя дыхания, и, как бывает с очень счастливыми людьми, нам казалось, что все вокруг цветет и улыбается нам. Но о старости мы все же не забывали, и каждый из нас посмеивался над собой потихоньку. Ничего из этого не нужно было говорить вслух, и это было самое лучшее в нашей трехдневной встрече.

Я рассказываю кусок своей жизни и не только для себя, но и для людей, зная, что горе уменьшается, а радость вырастает, если разделить ее с людьми.

Для меня в жизни всего надежнее и важнее казались две вещи — творческая работа и дружба. Понятие творчества обширно и растяжимо. Оно в чистейшем виде присутствует в работе ученого или художника, но без него мертва любая деятельность, вплоть до построения гармонической семьи.

Ну, а мы с тобой, друг Павлосич, как прожили нашу жизнь?

Однако настало время расставаться с Павлом.

В тесноте вагона мы быстро простились: он вышел на перрон. Я смотрела в окно, не отрываясь, без того чувства неловкости, которое бывает при затянувшемся прощании. Павел стоял без шляпы, ветер трепал короткие седые волосы. Он долго шел за поездом.

Мы, наверное, не увидимся больше. И ничего уже не дано нам изменить в своей судьбе.

Но дело не в печали, как бы ни была она сильна.

Хорошо, что есть на свете дружба и возможность понимать друг друга, несмотря на десятки лет разлуки и всякие испытания. Хорошо, что есть молодость сердца.

Ну, вот и все. Так замкнулся круг жизни.



ЛУИС АРДИ

★

О МОЙ КРАЙ, ИСПАНИЯ!

Мы публикуем несколько стихотворений молодого испанского поэта. Начальник тюрьмы сказал ему однажды: «Посиди, подумай. В камере у тебя будет достаточно времени для размышлений» И действительно, времени было достаточно. Вот они, эти размышления, гневные и горькие, полные боли за Испанию, томлящуюся под фашистской диктатурой.

НЕ УМИРАЙ!

Хлеб из песка —
это Испания.
Чужое лицо, тоска —
это Испания.
Красная кровь, в глазах темно —
это Испания.
И открытое настежь окно —
это тоже Испания.
Окно, открытое в звездные дали.
Стеклянные голоса печали —
женщин и звезд голоса:
О мой край,
Испания! Не умирай!

СЕРЫЙ ЦВЕТ

Я зову тебя.
И мне отвечают серые стены
простуженным эхом.
Я зову и плачу.
И мне отвечают серые крысы
беззвучным смехом.
Над чем вы смеетесь,
серые звери?
Не над тем ли,
что заперты двери?
Я зову тебя.
И тонкими струйками
течет мой голос
сквозь серые прутья решетки
к железным воротам,
где серый монах
перебирает четки.

И нет у меня ничего,
 кроме кусочка
 серого неба.
 И нет у меня ничего,
 кроме куска
 серого хлеба.
 И словно девочка с землистым лицом,
 в серых лохмотьях,
 кружится в бешеной пляске
 изнемогающая планета.
 Все серо кругом.
 Только кровь у меня
 красного цвета.
 Пока еще красного цвета.

:

И сказал господь:
 «Не убий!»
 А меня убили.
 Люди в черных сутанах
 не плакали и не молились.
 И другие люди в мундирах
 застегнулись на все пуговицы,
 поправили шляпы,
 и сняли белые перчатки,
 и отдали их прачкам,
 потому что на белых перчатках
 была красная кровь.
 Неужели никто не плакал?!
 И тогда я услышал плач.
 Плакали три женщины
 в красных одеждах
 (это был цвет моей крови,
 но они не боялись).
 Они собирали слезы
 в глиняные сосуды
 и поливали землю,
 под которой я лежал.
 И мои кости,
 не успевшие еще истлеть,
 почувствовали солоноватую влагу.
 И тогда я услышал голос слез,
 шептавшей мне:
 из тебя произрастет пшеница
 с тяжелыми желтыми зернами.
 Из зерен сделают хлеб
 и накормят голодных.
 И они будут живы.
 А когда умрут и они
 (может быть, их тоже убьют,
 как тебя),
 из их праха произрастут маки,
 или акации,
 или горох —
 не все ли равно?

Потому и сказал господь —
не убий!
А ты просто неправильно
его понял.

* * *

Кто знает, в каких мирах
начинаются звездопады?
Кто знает, из каких гнезд
вылетают птицы?
И в каких глубинах,
темных или светлых,
рождаются слезы?
Как больно оттого,
что все проходит,
для нас, для меня
проходит.
Ты тоже уйдешь
и не возродишься
из пепла сожженной оливы,
как горлица
в старой мавританской сказке.
Если ты уйдешь раньше меня,
мне будет бесконечно больно.
Но все же я хотел бы,
чтобы ты ушла раньше,
чем я,
потому что мне невыносима
мысль,
что больно будет тебе.

ПИСЬМО ЖЕНЕ

О Кармен! Моя жена!
Вижу губы твои —
два лепестка красной розы,
два красных потока
без берегов и дна.
О Кармен! Моя жена!

О Кармен! Моя сестра!
Вижу твои поседевшие косы —
ранние пряди
пыльного серебра.
О Кармен! Моя сестра!

О Кармен! Моя вдова!
Вижу, как из слез твоих
прорастает на кладбище
горькая и зеленая,
раздетая догола трава.
О Кармен! Моя вдова!

Перевела с испанского Н. Горская.



К 70-летию со дня рождения Сакена Сейфуллина

К. ДЖУМАЛИЕВ,

доктор филологических наук, член-корреспондент
Академии наук Казахской ССР

★

НАШ САКЕН

В этом году исполнилось семьдесят лет со дня рождения выдающегося казахского советского писателя, ученого, общественного деятеля Сакена Сейфуллина. В 1937 году Сейфуллин был незаконно репрессирован и вскоре погиб. Ниже мы публикуем воспоминания о Сейфуллине Кажима Джумалиева и отрывок из автобиографического романа писателя «Трудный путь».

Это было тридцать пять лет тому назад. Был я тогда студентом-первокурсником филологического факультета Казахского педагогического института.

...Весна. Ясный, безоблачный день. С высот светло-синего чистого неба на Алма-Ату льются живительные лучи майского солнца. Не зной — мягкая ласкающая теплынь. В тугую, как шелк, синеву врисована жемчужно-белая гряда Ала-Тау.

Раздается звонок. Студенты группами и поодиночке тянутся в просторные аудитории — они покажутся им сейчас после парка тесными и душными.

Наш курс сегодня все угро гипнотизирует имя нового преподавателя — мы прочли его в сегодняшнем расписании занятий. Мы волнуемся... Вот наконец шаг. Дверь нашей аудитории открывается. Мы вскакиваем с мест и замираем, как солдаты в строю. Искреннее приветствие наше звучит восторженно.

— Здравствуйте, — просто говорит вошедший, и губы его трогает едва уловимая улыбка, а тонкие, гемные, как в России говорят — «соболиные», брови очень выразительно поднимаются вверх, и мы поражены огнем больших черных глаз. Мы ждем, что он займет кафедру. Нет! Он подходит к первому ряду и останавливается. Первые слова его удивляют нас: он говорит о посторонних, обыденных вещах, и говорит так, словно знаком с нами добрый десяток лет — естественно, буднично, просто. Мы недоумеваем...

Вот он стоит перед нами: красивый, нарядный, какой-то праздничный. В руке его пестрая трость. Никто до него не приходил к нам на лекции с тростью. Перед нами лежат развернутые тетради, ручки, карандаши. Мы готовы записать слова лекции, ожидаемой с нетерпением. А он не торопится. Опираясь обеими руками на трость, он начинает задавать то одному, то другому вопросы. Не об учебе — нет! Совершенно не относящиеся к делу вопросы! Мы отвечаем робко, односложно. Ответив, скорее садимся на место. Ясно: он знакомится с нами, разгадывает нас, хочет найти верный тон с нами. А мы смотрим во все глаза. Мы уже были слышаны, что наш новый преподаватель как-то особенно красив и обаятелен. Но эта молва меркнет перед тем, что мы видим.

Иссиня-черные волнистые волосы, высокий большой лоб, прямой нос, подстриженные по-английски черные усы над энергично очерченными губами, гордо посаженная голова... И глаза! Они запомнились мне на всю жизнь. В них можно было прочитать и гнев, и веселье, и тонкую насмешку, и сочувствие.

Сегодняшний читатель, может быть, найдет в нашем тогдашнем обожании и благоговении что-то наивное, незрелое, подумает, что мы «переборщили» в своей восторженности. Но об этом человеке писали очень многие, и ни один не прошел мимо его бросающейся в глаза, своеобразной красоты. И нужно оговориться: восприятие этого человека было подготовлено удивлением, любовью и уважением, которые он внушил нам задолго до первой встречи. Этот знакомый незнакомец был человеком из легенды, человеком из сложной акынами песни. Народная молва несла его имя по всем аулам и городам нашей молодой республики. Его знали от мала до велика все казахи: от тех, кто заседал в Советах, до неграмотных чабанов, рудознатцев и хлебопашцев. И уж, конечно, его знал любой студент.

Достаточно было произнести имя этого человека, чтобы перед нами возникли суровые, овечьные революционной романтикой были... Воображение переносило нас в недавнее прошлое, когда белогвардейцы ворвались в Акмолинск, разгромили там Совет, а всех советских людей ловили, вешали, расстреливали. В эти кровавые дни вчерашний друг нередко оказывался предателем, близкий — врагом, сосед — чужаком, однодворец — доносчиком. В руках карателей свистели шомпола, визжали плети, шелестели волосьяные арканы.

Человек, стоящий перед нами, был в те дни в акмолинском Совете. Горстка верных друзей говорила ему:

— Немедленно уходи. Белогвардейцы разорвут тебя, повесят на воротах.

Но он считал уход бегством, а свою жизнь ставил ничуть не выше жизни рядового бойца. Он остался в Акмолинске и боролся, покуда хватило сил, не отступив, не бросив поста, являя пример отваги, преданности революции и презрения к смерти. Его схватили. Когда его, окровавленного, закованного в кандалы, вели по акмолинским улицам — спереди, сзади, с боков кричала, улюлюкала, бесчинствовала разношерстная, озверевшая толпа байской челяди, купеческих прихлебателей:

- Безбожник!
- Вероотступник!
- Развратник!
- Большевик!

Вместе с другими пленными большевиками он был брошен атаманом Анненковым в вагон смерти. Именно тогда, в тяжелые часы, родились у него слова, которые читали и читают тысячи тысяч людей:

«Вагон. Кругом снег, лед, дым, пронизывающий до костей холод. Начнешь топить — отовсюду льется вода; перестанешь — тотчас все замерзает. И с неодолимой силой сковывает леденящая стужа. Вагон — ад. Даже тюрьма по сравнению с ним кажется раем. Все мы, сидящие в вагоне, высохли, поникли, исхудали. У всех ввалились, потухли глаза. Угольная пыль въелась во все поры. Все мы — черные, выделяются только зубы да белки глаз. Мы похожи на выходцев с того света. Я тоже погусторонний, неземной. Девять месяцев сижу без солнца, во мраке. Только девять месяцев. Но эти месяцы пыток заменяют девять лет».

Эти дышащие жизненной правдой строки написал стоящий перед нами человек, летописец боевой поры, первый мемуарист из казахов, автор знаменитой книги «Тяжелый путь, трудный переход». Каждый из нас, казахов студентов, прочел ее по несколько раз.

Я всматриваюсь в нового преподавателя. Кажется невероятным, что он был в анненковском вагоне смерти и остался жив.

...1919 год. Март. Засыпанная снегом, окованная льдом омская тюрьма. И среди ее узников он, этот легендарный человек. Весеннее солнце рушит снег, растапливает лед. Не убрать снег — неизбежен потоп. Его из тюрьмы вывозят на

санях. Нагружают узники. Организовать побег под самым носом охраны — дело рискованное, почти невозможное. Поймают одного — расстреляют многих...

— Ложись!

Черноглазый узник ложится ничком в сани — лицом в снег. Ноги не уместаются в санях. Приходится поджать их. Впервые в жизни он досаждает на свой богатырский рост. Его мгновенно засыпают снегом. Обледенелые комья бьют по ногам, по плечам, по голове. Терпит. Лед и снег грузны. Они придавливают почти чугушной тяжестью. А тут еще возчик, австрийский военнопленный, взбирается на снежный воз. Дышать нечем. Но даже сказать «умираю» невозможно в этой снежной могиле.

Наконец сани трогаются. Визжат полозья. Погоняет гнедую австриец.

— Ну, ну!..

Так он бежал из омской тюрьмы. А затем сотни километров пути по степям, от аула к аулу — к красным. Хоронясь, голодая, изнемогая от усталости. Вот он наконец в Советском Туркестане. Обратный путь радостен и быстр. Он становится народным трибуном. В нем получает осуществление древняя мечта казахов о том, чтобы джигит был мастером на все руки, монолитной многоцветной глыбой, алмазом, играющим множеством граней. Он воин и государственный деятель, оратор и лектор, редактор и публицист... Он просветитель и педагог. Он председатель Совета Народных Комиссаров Казахстана.

Любимый наш герой Еркебулан из пьесы «Красные соколы» — это ведь тоже он. Но, пожалуй, самое главное — он поэт и прозаик, драматург и критик, основоположник советской литературы казахского народа. Ему принадлежат стихи, ставшие боевыми песнями. Он был запевалой, первым певцом коммунистической партии и советского строя в Казахстане. Он создал первый автобиографический роман, написал первые в Казахстане стихи и поэмы о Ленине. Наследник Абая, он выступил как реформатор казахского стихосложения, как новатор, положивший начало невиданным до него формам казахского стиха. Его лирика и поэмы, проза и пьесы подняли казахскую литературу на новую высокую ступень.

Как он прост в своих стихах, музыкален, правдив. В них сплетены огненная патетика, тонкая, сердечная лирика, меткий, блестящий юмор.

Мы смотрим на него, и, вероятно, многие из нас вспоминают про себя его стихи:

Ох, надоели попрошайки-куры!
Кудахчут и шумят многоголовосо.
Они от вас отстать не могут, дуры,
Пока в кармане вашем рис иль просо.
Так и «друзья». Они подобны курам,
Кудахчут вам, пока вы не в опале.
Но лишь над вами небо станет хмурым,
Их днем с огнем не сыщешь! Все пропали...

Мы, студенты, знаем наизусть эти и другие стихи нашего наставника. Никто после Абая не писал так в Казахстане! Новая тематика, новые мысли, новые слова, новая ритмика.

Но этот человек имеет и еще одну грань: он учитель и помощник всех молодых литераторов Казахстана; он отечески пестует молодую советскую литературу казахской земли.

...Тридцатипятилетний, в расцвете сил и здоровья, красивый и гордый, как степной орел, увенчанный всенародной славой, он стоит перед нами, джигит джигитов, наш юношеский идеал Сакен Сейфуллин! О нем идут по степи легенды, сказки и песни. Одна из легенд гласит, что нет девушки в мире, что, увидев Саке-на, не полюбила бы его с первого взгляда.

Мы горды и счастливы, что отныне литературу нам будет преподавать Сакен Сейфуллин.

Познакомившись с нами, проторив тропки в наши сердца, а вернее сказать, очаровав нас, он приступает к своей первой лекции. Тема — фольклор. И тут Са-

кен говорит о народе. Нет ничего выше этого понятия — народ! Все великое — от него. Народ — мудрец, поэт, создатель всех сокровищ культуры. Язык наш — это тоже коллективное тысячелетнее творчество народа. Потом он переходит к сокровищнице казахского фольклора, к заповедным словеснымкладам, к бытовым песням и героическим поэмам, к истокам могучего народного эпоса.

Сейфуллин говорит, и мы слушаем его, позабыв обо всем на свете. Мы не замечаем времени. Ловим каждое его слово. Он нас увлекает глубиной мысли, обширностью познаний, образностью речи, широтой идеи...

И когда раздается звонок, мы не рады.

«Сакен-ага!» — почтительно называем мы его и гурьбой идем за ним, наслаждаясь беседой. Тут мы открываем еще одну сторону его характера. Он удивительно прост! При его громкой славе, огромной популярности и влиятельности, он говорит с нами, с первокурсниками, как равный с равными. Его простота — родная сестра огромного таланта, мудрости, широты мышления.

Этот широко образованный человек рекомендовал нам, студентам, кроме классиков марксизма-ленинизма, читать многих тюркологов: В. Радлова, Ф. Корша, А. Алекторова, В. Бартольда, П. Тютша, Н. Ильминского, Ю. Новицкого, Г. Потанина, Ч. Валиханова. От Сейфуллина мы впервые услышали имена славных русских ученых-тюркологов — он произносил их с большим уважением. Особенно он чтит Радлова, автора многотомного сочинения о культуре тюркоязычных народностей.

Надо ли говорить, что библиотекаря в тот же день выдала нам все имеющиеся в библиотеке труды русских тюркологов.

После лекции мы всем курсом проводили Сакен-агу до дому. Попрощался он с нами сердечно, каждому пожал руку. Весь день мы только и говорили о Сейфуллине. Он покори нас всех раз и навсегда. Лекции его мы стали ждать, как праздника. Студенты второго курса С. Камалов и Т. Жароков искренне сожалели, что они не на первом курсе, где читает лекции Сакен Сейфуллин.

Надо сказать, что еще больше лекций мы любили разговоры с Сакен-агой в перерывах. Однажды ныне покойный Алибек Конратбаев, посмотрев на часы на десять—пятнадцать минут раньше срока, заметил:

— Саке, пора делать перерыв.

Сейфуллин чуть заметно улыбнулся:

— Ну пора так пора!

Он видел, что мы горим нетерпением завести с ним одну из дружеских бесед, которые так любили. Один из студентов спросил о красоте. Мы затаили дыхание. Что скажет Сейфуллин?

И он заговорил взволнованно, увлеченно, жарко, как бы беседуя с самим собой, заговорил об эстетических идеалах, о взглядах на прекрасное Ленина, Плеханова, Чернышевского, Луначарского.

Услышали мы много нового, неожиданного и глубоко поучительного, такого, что нельзя прочесть ни в одной книге.

А вот еще случай, где Сакен-ага раскрывается с новой стороны.

В те годы по воскресеньям студенты собирали металлолом и утильсырье. Изредка в воскресниках принимали участие преподаватели.

Был выходной день. С утра лил дождь. Студенты собрались в институт порядком вымокшие по дороге. Не помогли ни зонты, ни газеты. Наш староста ворчал:

— Какой воскресник в такую погоду? Хороший хозяин собаку не выгонит...

И вдруг появляется весь мокрый, отряхивающийся от дождя Сакен Сейфуллин. Мы знали, что Сейфуллин перегружен не только преподавательской и писательской, но и общественной государственной работой. Неужели без него нельзя обойтись при сборе старых подков и ржавых гвоздей?

Староста, растерявшись, стал осторожно уговаривать Сейфуллина вернуться домой:

— Никого из преподавателей нет. Погода душегубская. Воскресник, видимо, не состоится.

Но Сейфуллин блеснул глазами:

— Да разве этот деляга оставит меня в покое?

Речь шла о секретаре партийного комитета, которого все хорошо знали. Он был старше нас. Полубеллетрист, полупоэт, полукритик, полуочеркист — этот пролаза предпочитал беготню учебе, суету — чтению, болтовню — работе, делячество — делу... Оказывается, он на последнем партийном собрании упрекнул Сейфуллина за то, что тот не ходит на воскресники. И вот коммунист Сейфуллин вышел на воскресник, вышел не из-за боязни, а из высокого уважения к партийной организации и партийной дисциплине.

Помню в 1930 году собрание казахских писателей в одиннадцатой аудитории нашего педагогического института. На повестке дня — творчество Сейфуллина. Докладчик покойный ныне Жаманкулов. Кроме Сейфуллина, на собрании присутствовали Беймбет Майлин, Ильяс Джансугуров, Сабит Муканов, Габбас Тогжанов и другие писатели. Мы, студенты, — Камалов, Жароков, Конратбаев, я — предусмотрительно заняли места поближе к президиуму. Аудитория была переполнена. Мест не хватало. Мы впервые видели наших казахских писателей, собравшихся вместе. Сидели, затаив дыхание. С нетерпением ждали, что скажет докладчик.

Жаманкулов говорил вяло, запинаясь, путаясь. Был он весь какой-то несобранный, нескладный. Сейфуллина он вначале расхвалил, а потом начал атаковать. Мы не сводили глаз с Сакен-аги, сидящего в президиуме. Он был спокоен, весел, жизнерадостен. Нападки критика он встречал иронически. Когда Жаманкулов, обернувшись к Сейфуллину, задал вопрос примерно такого порядка: «Почему, Сакен, ты написал это стихотворение так, а не этак?» — он получил молниеносный ответ:

— Потому, Жаманкулов, что я надеялся — ты так напишешь!

В аудитории прокатился хохот.

Докладчик, не ожидая такого ответа, замолк, густо покраснел и стоял, растерянно хлопая ресницами. Надо сказать, что Жаманкулов был экономистом и руководил издательством художественной литературы, плохо разбираясь в ней. Реплика Сейфуллина давала уничтожающую оценку деятельности человека, взявшегося явно не за свое дело.

Кое-как Жаманкулов взял себя в руки и продолжал речь. Обиженный репликой Сейфуллина, он захотел отыграться и начал допускать резкости.

Студенты протестовали. Сейфуллин хранил молчание. Но вот докладчик задумал сослаться на одно из стихотворений Сакена. Запинаясь, он перебирал слова, шевелил пальцами, хватался за голову. Нет! Не может вспомнить ни названия стихотворения, ни одной строчки из него. Смотрит на Сакена — тот невозмутимо молчит, обращается к присутствующим — в аудитории зловещая тишина. Мы знаем, о чем идет речь, но молчим. Молчит и весь зал, недвусмысленно показывая, что он на стороне Сейфуллина. И вдруг в полной тишине раздается чуть насмешливый веселый голос Сейфуллина:

— А ты спроси Габбаса... Габбас знает всю мою подноготную.

И снова — хохот. Смеются все. Молчат только злополучный докладчик и Габбас Тогжанов. Маленький, бледно-рыжий Тогжанов покраснел до корней волос и растерянно оглядывается. И у этой сейфуллинской реплики был подтекст. Габбас Тогжанов, один из видных критиков, конечно, знал казахскую литературу, но в отношении к Сейфуллину был односторонен, резок и несправедлив до въедливости. Пером критика водила личная неприязнь.

Реплика Сейфуллина по адресу Тогжанова прозвучала как пощечина.

Начались прения. Подавляющее большинство было на стороне Сейфуллина. Провал докладчика стал очевидным для всех.

Сейфуллин не выступал, но две его реплики стоили выступления.

Казахская поговорка гласит: «У великого и дела велики». Крупный талант

трудно обрисовать, не упустив ничего... О нем много написано, будет еще больше написано.

Я хотел только сказать, что в дни моей юности Сакен-ага был властителем дум молодежи, образцом, живым примером для нее. Он учил нас любви к родине, самоотверженной борьбе за интересы трудового народа. Его большевистская честность и принципиальность, простота, скромность, его большие дела и яркие книги стали утренней звездой для поколений.

Он вошел в сердца современников как великий гражданин, замечательный ученый, талантливый писатель.

Имя Сакена Сейфуллина было и будет одним из самых любимых имен казахского народа.

Перевел с казахского К. Алтайский.

САКЕН СЕЙФУЛЛИН

★

АШАЙ

(Из книги «Трудный путь»)

Однажды, когда я сидел в многолюдной юрте, раздался стук копыт. Подъехавший привязал лошадь к веревке, которая опоясывала юрту, и с приветствием вошел к нам — это был рослый рыжий джигит. У него были короткие медные усы и на подбородке торчал кустик таких же волос. Одежда его бросалась в глаза: новый тымак из меха красной лисицы, покрытый сине-полосатым шелком, поношенная короткая доха из шкуры гнедого жеребенка, неприглядный матерчатый кушак, старые сапоги с короткими голенищами. В руках кнут с кнтовищем из таволги.

— Кто это? — спросил я у сидящих рядом.

— Известный джигит Ашай!

Чего я только не слышал уже о нем: «...Борзая Ашая поймала лисицу... Ашай застрелил кабана... В схватке с бандитом Ашай вырвал у него из рук ружье. А в прошлом году он один одолел десятих...»

Рыжий, крепко сбитый Ашай сел рядом со мной.

— Говорят, недавно ваша борзая поймала красную лису? — спросил я.

— Да, поймала.

— Действительно, красную?

— Как вам кажется, красная ли лисица на моем тымаке? — спросил Ашай, покачивая головой.

— Красная! — подтвердил я.

— В таком случае та лиса еще краснее этой!

Уезжая, Ашай вызвал меня из юрты и сказал, что хочет познакомиться со мною.

— Давайте будем добрыми друзьями! — предложил он.

Мне это было приятно.

— Ты заговорил со мной о красной лисице, которую я поймал вчера. Я сошью тебе из нее тымак и покрою тонким шелком. Завтра приезжай в наш аул, мой дом считай своим! — решительно заключил Ашай.

На другой день Ашай к моему приезду прибрал свою юрту и разостлал новые кошмы.

Сидя у костра, он играл на домбре.

— Жаль, что кобыз сломался при перекочевке! — пожаловался он. — У меня на нем неплохо получается кюй Ихласа... Слышал я, как сам Ихлас играл на кобызе. Вот был чародей! — восторженно сказал Ашай.

В ауле Ашай всего четыре юрты. Юрта самого Ашай маленькая, бедная. Все богатство его — рыжая борзая и тымак из лисы. Ветхий деревянный кебеже¹ и абдра². Тренога кособокая, казан на ней малый, погнутый, чайник весь покрыт сажей, перина грязная, тощая. Только разостланные под нами кошмы были новые.

Ашай стыдится своей бедности и всячески скрывает ее.

Его младший брат стоит перед ним, склонив голову. Он обращается к Ашаю с почтительным поклоном, как к чиновнику.

— Кто приглядывает за табуном? Где он пасется? — спросил его Ашай.

— Лошади пасутся в черном овраге, я недавно ездил, — отвечает младший брат.

— Отведи коня Сакена в табун! — приказал Ашай.

Это было сказано так, что можно было подумать, что лошадей у него хоть отбавляй. Но вскоре выяснилось, что в табуне всего лишь десяток стригунков и кобылиц и принадлежат они трем хозяйствам.

Вечером я увидел возле аула небольшую отару, голов сто, не больше.

— А овец-то у вас маловато, — заметил я.

— Нет, не так уж и мало. Основная отара в нашем втором ауле... — ответил он.

И опять же вскоре выяснилось, что никакой основной отары у него нет. Сильно удручала Ашай проклятая бедность, оскорбляла его человеческое достоинство.

Мы с ним подружились. Вечерами подолгу сидели у костра. С домброй в руках Ашай рассказывал мне о разных случаях из своей жизни. Вот один из них.

— ...В прошлом году, как раз в эту пору наш аул откочевал от черного оврага в сторону Чу. Одна наша юрта осталась на старом месте до следующего дня, так как у нас не хватило тягла. Ночью мы спали в юрте вдвоем с женой. Вдруг послышался топот копыт с востока — со стороны Арки. Я вскочил с постели, натянул сапоги и через шель в двери увидел целый табун, пять-шесть десятков лошадей, скакавших прямо к нашей юрте. Черными тенями выделялись всадники. Я не сосчитал, сколько их, но решил, что с десятков будет. Конечно, конокрады, думаю, гонят лошадей из аулов Шубыртпалы и Каракеска. С громким топотом табун проскакал мимо, а одна лошадь, наверное собственность кого-нибудь из конокрадов, изнуренная и изголодавшаяся в долгом пути, остановилась возле юрты. Кто-то подсказал к ней и хотел погнать дальше, но лошадь побежала вокруг юрты, и всадник стал гоняться за ней. Внимательно гляжу в шель и вижу, что у всадника за спиной ружье. Пока он отгонял лошадь от юрты, его спутники ускакали с табуном уже далеко. Тогда, выждав момент, когда конокрад окажется возле моей двери, я выскочил из юрты, схватил его за ногу и стащил с коня. Не давая ему опомниться, ударил кулаком в грудь раз, другой, сорвал с жены платок и сунул ему в рот. Связал руки и ноги, снял ружье, обыскав, вытащил из-за пазухи патроны. Жене дал нож и велел ей сторожить конокрада, а сам вскочил на его коня и погнался за табуном. Конь оказался сильным и резвым.

¹ Сундук для продуктов.

² Сундук для вещей.

«Эй!» — подали голос скакавшие впереди воры, видимо, принявшие меня за своего отставшего товарища. Я отозвался, все, мол, в порядке. Сейчас догоняю.

Там, куда они скакали, обитал наш род Токтаул. Я ждал, пока они приблизятся к его аулам, и поэтому не торопился, держался от них поодаль. Подъезжая к аулам, они опять подали мне голос. Тогда я проверил подруги и пошел на риск. «Держи воров!» — отчаянно закричал я, пустил коня галопом и выстрелил вверх. Среди ночи выстрел разнесся далеко. Скакавшие конокрады от неожиданности пришли в смятение. Я выстрелил, и один из всадников слетел с коня.

— Эй, конокрады здесь! Все на коней! — кричал я во весь голос.

Залаяли собаки, донеслись голоса людей из аула. Воры поскакали без оглядки. Тут я подстрелил еще двух лошадей под всадниками. Словом, когда подоспели люди из аула, я уже спешил троих воров. Потом поймали остальных, и только трое удрали. А всего их было двенадцать, из родов Тамы и Кзыл-Курта. Среди них оказался и дворянин Жусупбек...

Тут Ашай упомянул, кстати, и о своей жене добрым словом.

— Пока я не вернулся, она с ножом в руках не отходила от вора... А когда он стал сучить ногами, чтобы развязаться, она так стукнула его по затылку, что он сразу притих.

Жена Ашай, рослая, черноглазая, густобровая, лет двадцати двух, молча подбрасывала в костер боялыч, и видно было, что ей приятно вспомнить ту ночь.

Рядом лежала рыжая борзая с блестящими глазами цвета таволги и будто прислушивалась к рассказу игравшего на домбре хозяина.

Замолчав, Ашай подтянул струны.

— Правду ли говорят, что когда играет на кобызе сам Ихлас, та дойная верблюдица дает больше молока? — спросил я.

— Я был тогда еще юношей, — снова заговорил Ашай. — Четверо или пятеро во главе с Сатпаем мы приехали в аул Ихласа... Аул его стоял на одном из островов на реке Чу, в высоком густом камыше. Со стороны и не заметишь, что тут аул. Вошли в юрту и увидели Ихласа: сухощавый, рослый, с прямым носом, глубоко запавшими черными глазами и черной окладистой бородой. Они с Сатпаем обнялись, а мы почтительно пожали ему руку. Мои спутники сели, где положено в юрте сидеть уважаемым гостям, а я сел поближе к двери, чтобы приглядеть за нашими лошадьми.

Сатпай начал расспрашивать Ихласа о состязаниях в аулах. Я тогда безумно любил кобыз и поэтому не спускал глаз с Ихласа. Все в нем, и осанка и лицо, казалось мне необыкновенным. Он был серьезен, как человек, который никогда не смеется. Руки жилистые, пальцы длинные, и весь он жилистый, длинный.

В юрту сошлось много людей. Когда все расселись и затихли, Сатпай сказал, что он соскучился по кобызу Ихласа.

— Я не держал в руках кобыза с тех пор, как умер мой сын. Но раз Сатпай соскучился по кобызу, подайте мне его, — сказал Ихлас.

Ихласу подали кобыз. Не отрывая глаз, я в восторге глядел на него. Подтянув струны кобыза, Ихлас начал водить смычком. Из-под кончиков его длинных пальцев полился печальный, стонущий, хватающий за душу кюй. Сердце мое часто забилось... Стонущий кюй, казалось, лился откуда-то сверху, будто с небес. Все в юрте замерло. Кобыз тосковал, печалился, рыдал. Я был как во сне, а когда очнулся и поднял взгляд на Ихласа, то увидел, что головка кобыза словно приросла к его виску. Руки Ихласа исторгали из кобыза рыдания, и сам он плакал вместе с кобызом. Слезы текли по его щекам и бородке. Сатпай тоже глядел

вниз и тоже плакал. Я не смел шевельнуться... Ихлас круто оборвал слезное рыдание кобыза, а люди все сидели и сидели в глубоком молчании, — так закончил Ашай.

Я не слышал кобыз Ихласа, но рассказ Ашая взволновал меня. Я живо представил себе Ихласа, заставляющего рыдать и кобыз и людей. Я представил себе скромный аул из четырех-пяти юрт в долине Чу, в дремучем камыше... Голодную степь окутала ночь. Над рекой светят далекие звезды. Юрты тонут в камыше. Дует легкий ветерок, качается, шелестит и шуршит камыш и тихим шумом своим вторит рыдающему кобызу Ихласа. Кругом черная ночь, полная бед и страданий ночь проклятых времен царизма.

Долго стоял перед моими глазами образ скорбного, глубоко чувствующего народную боль Ихласа...

А рядом со мной у костра сидел и играл на домбре батыр Ашай. И молодая смелая казашка подбрасывала в огонь боялыч и изредка помешивала в небольшом котле вкусно пахнувший мясной бульон. Возле Ашая на кошме, положив голову на лапы, лежала рыжая борзая, слушала кюй и, поблескивая своими умными глазами, глядела то на огонь, то на Ашая, то на его жену, то на меня...



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

БРАТ АПШЕРОНА.

КОЛОДЕЦ ЖАРМА

Всю ночь порывистый ветер швырял песок на брезентовую кровлю палатки. До самого рассвета я ворочался в спальном мешке, завидую моему соседу, молодому геологу, — он не проснулся даже, когда с треском сорвало полотно у входа и колючие песчинки целыми пригоршнями посыпались на лицо.

Солнце всплыло над клубящейся пылью, и сразу все вокруг погрузилось в изнуряющий зной.

Так обычно начинается день на полуострове Мангышлак. Ветер, жара и пыль неразлучны в его пустынных степях. На сотни километров простерлась плоская, словно отглаженная гигантским раскаленным утюгом, безжизненная равнина. Ни одного деревца. Ни реки, ни ручья. Рыжая щегина выжженных солнцем трав. Застывшие под белым саваном солончаки.

Два с лишним часа катится машина, и на все четыре стороны света тянется такая же бесприютная, первозданно голая земля.

— Далеко еще до Жармы?

Шофер, не обернувшись, бросает:

— Сегодня приедем.

В его голосе звучит надежда, что я ни о чем больше не буду спрашивать. Видно, как он утомлен. Его обветренное, покрасневшее лицо покрыто серым налетом пыли, смешанной с потом, стекающим со лба. Он совершает сегодня второй рейс из поселка разведчиков к колодцу Жарма. Самый тяжелый этот послеполуденный рейс, когда жара становится поистине нестерпимой.

В кабине автомобильной цистерны сейчас, наверное, градусов пятьдесят, не меньше. Метеостанция Гурьева утром сообщила: во второй половине дня будет сорок три в тени. А где она, эта тень на Мангышлаке? Разве что спрячешься за кузовом автомашины, если ее останоят, чтобы немного остудить вскипевший радиатор и разогретый до предела мотор. Эти вынужденные остановки позволяют и нам чуточку передохнуть, выйти хоть на минуту из душной кабины.

На крутых боках автоцистерны еще сохранилась, не выцвела крупно выведенная белилами надпись «молоко». Не знаю, в каком городе по ту сторону Каспийского моря развозили в этой машине прохладным утром молоко. На Мангышлаке ей доверяют самый ценный груз — воду.

Дважды в сутки она совершает рейсы по дороге воды. Так здесь называют восьмидесятикилометровый путь к предгорьям Каратау, где находится колодец Жарма. Десятки таких машин курсируют по пыльному степному большаку, продавленному колесами и гусеницами тракторных тягачей, чтобы могли существовать, работать, искать нефть разведчики Мангышлака.

Этот конвейер несет жизнь в поселки Жетыбай, Узень, в каждый дом, построенный для разведчиков, и в каждую землянку — их еще не покинули пионеры нефтеносной целины.

Очень часто — и летом и зимой — этот полуостров бывает отрезан от Большой земли: не может пробиться сквозь пыльную бурю транспорт, не рискуют подойти к мелководным причалам в штормовой час пароходы и баржи.

Машины с надписью «молоко» уходят точно по расписанию. Как бы ни бесновался ураган, заставляя включать среди бела дня фары, автоцистерны всегда совершают положенное количество рейсов.

Сегодня ни разу не прогудел над нами самолет. Не выпустил Гурьев маленького «антона», задержали и большой Ли-2. Махачкала тоже не отправила свои рейсовые машины. Воздушный мост над Каспием перекрыт ураганом. И морскую дорогу нельзя использовать для снабжения Мангышлака. Не получают сегодня столовые свежую зелень, мясо, кефир. Придется взять кое-что из запасов, хранящихся на такой случай в каждом поселке. С опозданием придут новые станки, моторы, бурильные трубы. К этому здесь привыкли и научились выпутываться из подобных затруднений.

А вот без колодца Жарма нельзя прожить ни дня. И мы сейчас заканчиваем второй рейс по дороге воды, заканчиваем позднее, чем обычно. Не наша в том вина. Пыльная буря задержала нас в пути.

— Сколько еще осталось?

Шофер не отрывает взгляда от ветрового стекла. Машина идет так медленно, что порой кажется, будто и вовсе не движется вперед, лишь покачивается на глухих выбоинах. Дышать нечем, но опустить стекло невозможно — захлестывает песком и пылью, слепит глаза.

— Еще километров сорок, — отвечает наконец не очень уверенно шофер.

Сколько бы нам ни предстояло обливаться потом и глотать пыль, все равно необходимо добраться к Жарме и возвратиться тем же мучительным маршрутом в Жетыбай. И хорошо бы не сбиться с дороги, не сделать крюка, чтобы вовремя привезти две с половиной тонны воды.

Стрелка на приборном щитке опять коснулась цифры «100». Шофер вылез из кабины, обмотал руку промасленной тряпкой и, отступив подальше, отвинтил пробку радиатора. С шипеньем вырвался оттуда пар. Злой, как черт, шофер вернулся в кабину и резко включил мотор. Я не рискнул заговорить. Приглядываясь к дороге, он вывел машину на небольшой бугорок и затормозил. Потом позвал меня на помощь. Мы сбросили на землю толстый шланг и поставили ведро. Ветер швырнул в сторону тоненькую, мутную струйку. Все-таки мы успели подхватить немного воды и вылили ее в радиатор.

Покатилась дальше, теперь уже окончательно осушенная, автоцистерна. Мне вспомнилось, что рассказал однажды бурильщик Джубан Найруллаев. Это случилось три года назад, когда еще на Мангышлаке не находили нефть и мало кто верил, что ее здесь найдут. Несколько поисковых отрядов бурили скважины в северном районе полуострова. В середине июля, когда особенно часто проносятся над Мангышлаком пыльные бури, машина, которую отправили с морской водой для дальней вышки, потерпела аварию.

А в тот день поисковикам непременно нужно было приготовить глинистый раствор и наполнить им скважину, потому что где-то на глубине более пятисот метров бурильное долото врезалось в рыхлые породы. Они поглотили большую часть спасительного раствора. Возникла опасность погубить скважину, так как и долото и трубы могло прихватить обвалившейся породой.

Мастер велел поднять бурильный инструмент. Трубы вытягивали наверх и ставили на дощатый помост. Высоко над ним стоял на открытой площадке «верховой». Он орудовал на высоте десятиэтажного дома, подхватывая веревочной петлей каждую трубу, а когда он наклонялся, перегнувшись через барьер, казалось, порывом ветра его вот-вот швырнет на землю. Буровые рабочие и мастер старались не глядеть на «верхового» — даже закаленные, выдавшие виды развед-

чики Мангышлака почувствовали себя беспомощными перед угрозой, нависшей над буровой, над этим пареньком, который рисковал жизнью.

В скважине оставили часть бурильной колонны, поднятой над рыхлыми породами. Теперь нужно было непременно закачать через трубы густой раствор, но где взять для этого воду?

Вышка стояла в семидесяти километрах от моря. Штаб геологопоискового отряда расположился в рыбацком селении. Никакой связи с ним не было, и люди, предоставленные самим себе, приняли решение, единственно доступное им в этих трудных обстоятельствах.

Разведчики Мангышлака приучились беречь все, что позволяет бурить скважину. Они знают, как тяжело достать здесь любое оборудование, трубы, запасные части, глину. Возле каждой вышки стоит цистерна с питьевой водой. Никто, утолив жажду, не выплеснет из кружки остаток теплой, с привкусом ржавчины воды. Придя на вахту, старший по смене — будь то мастер или бурильщик — обязательно заглянет в цистерну: хватит ли пресной воды для всех до конца вахты?

На разведочной буровой, где возникла угроза аварии, сохранилось полтонны пресной воды.

— Сколько нацедим себе? — спросил мастер, собрав на мостках свою вахту. — Хватит, думаю, ведра два...

На всякий случай взяли три ведра. Кто знает, когда утихнет буря. Все, что было еще в цистерне, вылили в глиномешалку. Скважину спасли, напоили ее глинистым раствором.

Двое суток никто не мог пробиться к дальней вышке. Когда привезли смену, здесь оставалось по кружке воды на человека.

В этом месте, к сожалению, не нашли нефть. Но куски пород, поднятые из спасенной скважины, помогли затем выбрать точный маршрут к нефтяным залежам.

Дороги, по которой мы сейчас едем за водой, не было в те времена, когда начиналась разведка, потому что сюда, в южные районы полуострова, долго не заглядывали поисковые отряды. Они работали севернее, возле Форта Шевченко. Там, в песках Тюбкарагана, сохранились землянки, брошенные разведчиками. Первые маршруты, проложенные с таким трудом в недрах Мангышлака, не приблизили искателей нефти к желанной цели. Несколько лет они потратили на бесплодные поиски.

Никто не сказал бы разведчикам: «Вы допустили грубую ошибку. Не нужно было идти на север». Очень часто приходится вот так же, на пути к первому фонтану, немалое время плутать, тратить силы на поиски, уводящие в сторону от верного направления.

Геологопоисковые экспедиции получают все новые и новые приборы, чтобы «прощупывать» недра, заглядывать в них без бурильного долота. Можно, например, с помощью взрывных волн узнать, в каком месте подземные напластования изогнулись, образуя «купола», — в них скапливаются нефть и газ. Достижения многих наук помогают разведчикам недр. Но ошибки не исключены, и геологи Мангышлака могли убедиться в этом на собственном опыте. Шесть лет бурили они скважины, терпели всяческие лишения там, где, казалось, непременно найдут нефть. А нефти все не было.

Удостоверившись окончательно, что в северных районах полуострова действительно нет нефтеносных пластов, — геологи и буровые бригады направились к югу от Форта Шевченко. Впереди, как обычно, шли отряды геофизиков, прощупывая сейсмографами глубинные породы. Следом за ними потянулись буровики, и нельзя сказать, кому было тяжелее в этом походе. И те и другие ютились в землянках, пили ржавую, привезенную издалека воду.

В июне шестьдесят первого года на Южном Мангышлаке из скважины № 6 забил первый фонтан. Теперь каждому, кто сюда приезжает, показывают эту, можно сказать, историческую скважину. Вышку давно увезли, и над землей виднеется только труба с манометром и массивными, наглухо закрытыми задвижками. Сква-

жина «запечатана» до той поры, когда можно будет пустить отсюда нефтяной поток в резервуары.

Неподалеку отсюда, возле поселка Узень, открыли второе нефтяное месторождение.

А тем временем геофизики нашли еще несколько перспективных структур и подготовили новые позиции для штурма недр Мангышлака.

Я увидел одну такую позицию, когда машина снова остановилась и можно было покинуть кабину, пока остывал мотор.

Ветер дул с прежней силой, но завеса пыли чуть поредела, и впереди открылась впадина Карагие. Машина стояла над обрывом, на краю продолговатой, глубокой котловины с отвесными, голыми склонами. Далеко внизу, на каменистом дне этой впадины — самой глубокой в СССР — виднелась крохотная вышка. Только в бинокль можно было разглядеть возле нее деревянный домик с одним окошком.

Я прилег было на жесткую сухую траву, но шофер заставил меня встать, сказав, что Карагие кишит змеями. В это время два круглых серых камня позади нашей машины вдруг пришли в движение и медленно сползли по склону. Черепахи, оказывается, тоже облюбовали для себя эту мертвую впадину, где впервые за многие тысячелетия теперь работают люди.

Дорога воды повела нас дальше, вдоль Карагие. Исчезла, потонула в серой дымке вышка, и ничто больше не напоминало о присутствии человека в раскаленной котловине, похожей на лунный кратер.

Мы приближались к колодцу: в стороне от дороги показалась юрта. Рядом неподвижно стоял одного рбый верблюд.

— Теперь уже скоро, — сказал шофер.

Мы проехали еще километров десять и увидели у подножья пологого холма несколько таких же, как наша, автоцистерн. Они сгрудились возле бетонного купола, прикрытого деревянным щитом.

Седобородый казах, сидевший, скрестив ноги, возле колодца, поднял крышку. Студеная, прозрачная вода покоилась в круглой каменной чаше. Это было бережно упрятанное, защищенное от пыли и солнца, чистое родниковое озерцо. Из открытого люка повеяло прохладой. Гладкая, ничем не замутненная поверхность воды отразила наши вспотевшие лица и клочок белесого неба. Где-то под нами, из далеких пластов, пробился и наполнил чашу Жармы ручей, вдохнувший жизнь в степи Мангышлака.

Старый казах, хранитель Жарминского колодца, сказал: «Сорок, даже пятьдесят машин высосут воду, и едва заметишь, как понизился ее уровень в колодце. А если никто не приезжает полдня, колодец наполняется почти доверху». Старик спросил, слышал ли я песню про Жарму. Он охотно согласился спеть ее. Мелодия песни была незатейливая, просторная, как степь. «Солнце и ветер сговорились с песками — никому не позволим ходить по земле Мангышлака, разводить овец и верблюдов, ставить кибитки в степи. Но явился храбрый человек, захотел жить здесь, растить детей. Выпил он припасенную воду, поделился последним глотком со своим верблюдом и начал копать колодец. А солнце вечером не закатилось и стояло над его головой, и ветер бросал ему в глаза песок. Долго копал человек, а солнце не садится, и воды все нет и нет. Отшвырнул он кетмень, сел на верблюда и погнался его прочь отсюда. Но вдруг засверкал перед ним ручей. Услышал человек: «Не уходи! Я хочу, чтоб звенел твой голос и голоса твоих детей на Мангышлаке». И тогда в свой срок закатилось солнце, улегся ветер. Остался человек возле Жармы, и подружился он на вечные времена»...

Мы взяли две с половиной тонны воды и без всякого воодушевления тронулись в обратный путь.

Я уже знал, что неподалеку от колодца экспедиция гидрогеологов отыскала на глубине более полутора метров много пресной воды, что оттуда протянут трубы к поселкам нефтяников. Перестанут колесить по степям десятки автоцистерн, все получат вдоволь питьевой воды.

Но каждый, кто пришел сюда, чтобы взять еще не подсчитанные сокровища, сохранит добрую память о чистом студеном озере, спрятанном в каменной чаше, — о колодце Жарма, который поил людей, открывавших богатства Мангышлака.

МЫС ПЕСЧАНЫЙ

— Мы только чуть приоткрыли дверь в кладовую Мангышлака...

Так оценивают геологи то, что найдено и подсчитано.

— Почему вы уверены, что это — лишь малая часть запасов Мангышлака?

Геолог Валентин Петрович Токарев предлагает взглянуть на структурную карту. Она покрыта эллипсами и кружками — одни слегка заштрихованы, другие оставлены без всяких пометок, третьи залиты тушью.

Валентин Петрович не только вычертил их. За десять лет работы в геологической экспедиции он сам прошел все маршруты, которые привели к мангышлакскому кладу. Каждый штрих на структурной карте, можно сказать, вышаган им в долгих странствиях.

Перед тем как отправиться на Мангышлак, он искал «малую» нефть в Гурьеве, на Эмбе, в ее подземных соляных куполах. Многие здешние разведчики прошли на гурьевских промыслах хорошую школу. Это была, если так можно выразиться, тренировка кадров — они потом взяли на себя всю тяжесть долголетних исследований полуострова Мангышлак. Сложная геология гурьевского района, где каждую «каплю» нефти приходится вылавливать среди «пустых» пород, где нет уже никаких надежд набрести на большую нефтеносную площадь, заставила многому научиться. Таких знаний, такого опыта не получишь ни в институтской аудитории, ни на старых промыслах. Не случайно, что многие лучшие наши геофизики, владеющие магическим искусством «прощупывать» недра без долота и бурильных труб, тоже вышли из гурьевской школы.

Валентин Петрович говорит о себе:

— Я вырос в геологической атмосфере.

С юношеских лет он видел вокруг себя людей, увлеченных поисками нефти. Мало кто из ребят, выросших в Грозном, не мечтал о том, что со временем и ему посчастливится окунуть руки в теплый бурлящий поток, который хлынет из его скважины. Поступая в Грозненский нефтяной институт, Токарев выбрал для себя геологоразведочный факультет. Все здесь было для него привлекательным. Даже кропотливые, бесконечно повторявшиеся исследования проницаемости пород или практические занятия на буровых вышках, где нужно было размешивать в воде глину, постигать рецептуру глинистого раствора для различных пластов. Все это день за днем вооружало будущего искателя нефти точными знаниями, навыками, без которых нельзя проникнуть в подземный мир.

Валентин Петрович меньше всего распространяется о том, какие лишения и трудности ожидали разведчиков на Мангышлаке. Его огорчало иное.

— Геологу с молотком здесь нечего делать...

На полуострове Мангышлак редко увидишь обнаженные породы. В давние времена эта равнина была морским дном. Можно исходить вдоль и поперек огромные пространства, и нигде не понадобится молоток, чтобы отколоть кусок выгнувшейся на свет породы, унести его с собой в рюкзаке, исследовать в лаборатории. «Визитные карточки» подземных напластований здесь редко даются в руки. Над ними толстая броня ракушечника. Геологи называют Мангышлак и соседнее с ним безжизненное плато Устюрт «закрытыми районами». Природа закрыла от взора геолога все, что помогло бы получить предварительные сведения о районе. А как это важно — до прихода буровых бригад определить хотя бы в самых общих чертах геологический облик того места, где начнут глубокую разведку!

Вот почему пришлось потратить много времени и сил, больше чем в иных местах, чтобы легли на карту эти кружочки и эллипсы — они обозначают подземные «этажи», изогнутые в разных направлениях пласты. Там, где они заштрихованы, ожидаются фонтаны. Там, где чернеют густые пятна туши, нефть уже найдена.

— Смотрите, до чего же красиво получается!

Токарев соединяет линией все вычерченные структуры. Образовался широкий фронт нефтяной разведки.

— Вы спрашиваете — откуда такая уверенность, что нас ждут еще более значительные открытия? Да ведь Жетыбай и Узень — это лишь небольшой участок площади, которая должна дать нефть. Я говорю должна, потому что к югу от первых находок прощупаны отличные структуры. Мы не промахнулись в Жетыбае и Узени. Можно надеяться, что и там попадем «в яблочко».

Валентин Петрович показывает небольшой кружок, возле которого выведено тушью: «Мыс Песчаный». Здесь, на побережье Каспийского моря, поисковая партия закладывает самую глубокую скважину. Три с половиной тысячи метров просверлит она в земной толще, прорежет сверху донизу все осадочные породы, чтобы заглянуть в кладовую Мангышлака и пошире раскрыть ее дверь.

Вчера я вернулся с мыса Песчаного и сейчас, слушая Токарева, вспоминаю встречу с молодым сварщиком из бригады монтажников, закончивших установку оборудования на разведочной буровой.

Анатолий Калашников прибыл на Мангышлак из Баку. Надолго? Ему еще неясно — задержится на новом месте или возьмет расчет, когда пустят в ход буровую. Правда, заработки здесь соблазнительные. Платят гораздо больше, чем на Большой земле. Но мыс Песчаный, сами видите, не Приморский бульвар. Он живет вон в том бараке, его койка возле второго окошка слева. Задует ветер — пылица внутри такая, хоть топор вешай. И жара здесь, дай боже, — бакинцу и то привыкнуть трудно. А главное — куда, скажите, податься после вахты? Ну где здесь душу отведешь?

С деревянного, свежеструганного помоста вышки виден от края до края весь Песчаный. Горсточка барачков, несколько юрт. На безлюдном, обрывистом берегу белеет тонкая башенка маяка. У причала, выдвинутого за широкую полосу прибоя, покачивается катерок. Вода вдоль берега голубоватая, а дальше, до самого горизонта — густая, прохладная синеза, кое-где прошитая светлыми гребнями волн. Наверно, в открытом море сейчас ветер сильнее, чем на берегу. За крайним домом, где живет бакинский сварщик, стелются пески такие же пустынные, как и море.

И вдруг — словно мираж — зеленый островок среди желтых, унылых песков. Издали не разглядеть отдельных деревьев. Просто не верится, что там, в полутора или двух километрах от вышки, открытые всем ветрам могли они вырасти, уцелеть, прижиться на песке. Но Калашников подтверждает: да, это действительно тополя, березки. Хотите взглянуть?

Не знаю, кто посадил и уберег от зноя, от пыльных бурь удивительную рощицу на Песчаном мысу. Но это сделали, видимо, люди, не размышлявшие о том — уйдут с Мангышлака, заработав тыщонку-другую, или останутся на долгий срок. Они работали здесь, построили общежития, сложили их из пористого, серого камня. Невдалеке от маяка им удалось найти воду. Пробурили глубокий колодец, опустили в него насос. Воды было предостаточно для немногочленного населения мыса Песчаного. И кому-то пришло в голову посадить деревья. Откуда-то привезли саженцы тополей, берез, акаций, карагача. Наверно, из Махачкалы заодно с консервами, папиросами, крупой. И на полуострове, где над выжженной травой не поднималось до сих пор ни одно деревцо, зеленеет вот эта рощица.

Давно ушли в другие районы, на другие, тоже трудные маршруты люди, жившие здесь, и вряд ли когда-нибудь возвратятся на мыс Песчаный. А деревья обступили колодец, как овечья отара, и запах влажной земли внезапно переносит тебя от песков Мангышлака туда, где вот так же тянутся к свету, не сгорают травы и всем хватает воды.

Рощица на мысу Песчаном очень молода. Листва деревьев еще не заслоняет моря — над ним сейчас гудит рейсовый ИЛ. Быть может, сегодня ступит на землю Мангышлака бригада бурильщиков — их здесь ждут, для них соорудили вышку, заново побелили стены общежития. Для них же вырастили наперекор стихии эту рощу, и пусть она скажет им, что земля Мангышлака охотно откликается

ся на попытки изменить ее облик, что здешняя почва, еще не тронутая плугом, ждет не дождется, когда же человек использует ее плодородие.

Конечно, люди едут и будут устремляться на полуостров вовсе не за тем, чтобы сажать деревья, слушать, как перекликаются птицы, свившие себе гнезда в молодой роще. Автомашинны и пароходы везут сюда бурильщиков, механиков, инженеров, строителей. Вместо саженцев лежат на палубе и в трюмах станки, моторы, трубы, доски, кирпич. Но как хорошо было бы уже сегодня заложить в каждом поселке такую же рощу, переселить сюда выносливые сорта винограда, плодовых деревьев. И если не поверится кому-нибудь, что на Мангышлаке можно будет отдохнуть в тени карагача или тополя, пусть заглянет на мыс Песчаный.

Сварщик из Баку еще не решил, как быть, но мне кажется, не заспешит он, когда оживет буровая и монтажники уедут строить новую вышку.

— Интересно,— сказал он, растянувшись рядом со мной на травке,— что здесь поймают? Геологи говорят — Песчаный прогремит на всю страну. Да, если ударит фонтан — громадную площадь разбурят. Снесут наши бараки, построят на Песчаном мысу город.

Он не сказал, что хочет увидеть и нефть, которую помог добыть, и город на берегу моря, но можно догадаться, что ему не безразлично — зашумит ли здесь фонтан, или уйдут разведчики с пустыми руками.

И показалось мне, что не случайно Анатолий Калашников первый раз заговорил о будущем Мангышлака именно здесь, в роще, которую посадили и вырастили люди, связавшие свою судьбу с этим полуостровом.

Все это пришло на память, когда геолог Токарев развернул структурную карту и показал, в какую сторону пошли за большой нефтью. Хочется верить вместе с ним, что там, на морском берегу геологи тоже попадут «в яблочко». Они часто стали бить без промаха. На пути к морю подняты черные, пропитанные нефтью образцы.

— Понятно вам теперь, что мы лишь приоткрыли дверь в кладовую Мангышлака?

Токарев сворачивает карту. За окном нетерпеливо гудит «газик». Валентин Петрович отправляется на мыс Песчаный — сегодня начнут бурить разведочную скважину на берегу моря.

ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ

— За что любить Мангышлак? Вы видели наши безводные степи, наглотались пыли... Летом — жара, зимой — бураны с ног валят. Но так уж устроен человек — тянет его в родные края. И мне захотелось вернуться туда, где отец первый раз протянул мне в кибитке пиалу с верблюжьим молоком...

Адиль Нурманов прервал свой рассказ, поднялся из-за стола и заботливо придвинул ко мне вентилятор. В комнате главного геолога структурно-поисковой партии очень душно. Теплый ветерок, посланный в мою сторону вентилятором, не приносит никакого облегчения.

Нурманов сидит у наглухо закрытого окна, под самым солнцем, даже не пытаясь отодвинуться в сторону. Это — худощавый, смуглолицый человек лет тридцати. Полдня он провел в грузовике, побывал на дальних буровых, спускался к разведчикам на дно впадины Карагие. В его живых, с постоянной доброй усмешкой, наверно, очень зорких глазах, во всем облике ни тени усталости. Гладко выбритый, в аккуратной синей куртке, он выглядит так, словно не пределал сегодня утомительнейший рейс по степному бездорожью.

— Мой отец был учителем. Кочевал с колхозными чабанами по Мангышлаку. Школьники собирались утром в нашей кибитке. Было нас в семье десять душ. В праздники мать носила на груди орден героини. До сих пор помню — красивая была у отца кибитка, просторная. Всем хватало места. И никогда не бывало в ней жарко. Вот, кстати сказать, дали бы нам архитекторы жилье, тоже приспособленное к здешнему климату. Типовые проекты не годятся для наших степей. Здесь

нужен дом с толстыми стенами — ракушечника сколько угодно. И надо так располагать комнаты, чтобы они хорошо проветривались. Лоджии делать поглубже — пусть солнце совсем не заглядывает в дом.

Отец обучил меня грамоте и повез в аул Таушик, в единственную тогда на Мангышлаке среднюю школу. Думал, тоже стану учителем, буду кочевать с колхозом. Как и все ребята, я любил кочевье. Сегодня гоняешься за сайгаками в предгорьях Каратау, завтра ловишь сусликов у побережья Каспия. Не каждый ведь день налетает пыльная буря. Весной, когда поднимаются травы и цветут маки, — залюбуешься. Но я вбил себе в голову — буду геологом. И в пятьдесят втором году поступил в алма-атинский университет, на геологоразведочный факультет.

В те времена работали на Мангышлаке первые экспедиции. Иногда попадались мне в газетах заметки о геологических съемках. Приятно было прочесть знакомые с детства названия — Бузачи, Тюбкараган, Кошак. Разведчики шли там, где кочевала моя семья. И те же редкие колодцы поили их водой. Я вырезывал из газет короткие сообщения с Мангышлака. Только ни разу не промелькнуло ни строки о каких-нибудь открытиях.

Ничто не изменилось в родных краях, когда я получил диплом. Узнали друзья, что я попросился на Мангышлак, удивились: «Зачем едешь туда? Жить в землянке, пить ржавую воду? И только ради того, чтобы собирать коллекцию кернов? Давай лучше с нами в Гурьев. Если и не прославишься большими открытиями, так по крайней мере каждый день будешь заниматься полезным делом — добывать нефть».

Надо вам сказать, что за долгие годы сложилось о Мангышлаке довольно грустное представление. «Гиблое место», — говорили о нем, вкладывая в это совершенно определенный смысл: бросили сюда много денег, ничего не получили, нефти нет.

Я вернулся домой, не обольщаясь радужными надеждами. Не было для этого никаких оснований. Просто захотелось поработать там, где родился, где жили деды и прадеды. Меня послали в структурно-поисковую партию. Четыре года бурили мы в разных местах неглубокие скважины, поднимали керны. Похоже было, что друзья говорили правду. Я действительно «собирал коллекцию». И насчет условий существования тоже вроде не ошиблись. Жили в землянках, иногда в вагончиках. В общем — то же кочевье, только вместо верблюда — грузовик.

Можно бы и не очень горевать из-за этих житейских неудобств, если бы хоть где-нибудь набрали на нефть. А то ведь все четыре года ушли на пустые скважины. Бывало, сидишь над отчетом, перекладываешь с места на место образцы пород, вспоминаешь — где, из какой скважины вынули керны, и приходит на ум: еще один год списан в убыток. Сколько же так будет продолжаться?

Лично для меня эти годы были очень полезными. На Мангышлаке с его сложными структурами любой геолог пополнит свое образование. Но если знаешь, что тебя послали найти нефть, а ты день за днем только коллекционируешь пустые породы — горькая получается учеба...

Весной, когда бурили разведочную скважину в Жетыбае, наша партия вела детальную геологическую съемку неподалеку, на новой структуре. До того, как заложили скважину в Жетыбае, мы один сезон тоже работали там. Верхние пласты нам понравились. Все ждали теперь, что скажут нижние горизонты.

Как-то утром приезжаю в контору экспедиции. Никого на месте. Один чертежник дежурит в геологическом отделе. «Все поехали на шестую, — говорит. — Там открытый фонтан».

Первый раз увидел я мангышлакскую нефть и запомнил то утро на всю жизнь. Открытый фонтан — грозное зрелище. Это вроде извержения вулкана. За километр от буровой можно было услышать грохот, будто взлетела целая эскадрилья реактивных самолетов. Вышку заливало нефтью.

Сердце сжимается, когда видишь вырвавшийся на волю фонтан. Это авария. Не так-то просто перехватить его, заковать в трубы.

Но, подъезжая к буровой номер шесть, я думал о другом. Грохот нарастал, и не трудно было определить, что здесь вскрыли богатый пласт. Мангышлак заявил о себе полным голосом.

Нет, ничто не могло омрачить это утро. Пусть бушует нефтяной вулкан. Его схватят за горло. Вон уже подтащили к скважине фонтанную «елку». Пошлют наперерез потоку нефти тяжелый глинистый раствор и остановят извержение.

Жетыбайский фонтан укротили. Началось изучение месторождения, стали подсчитывать его запасы. А наша партия двинулась дальше. Мы, структурщики, не открываем дорогу фонтанам. Пробуем метров пятьсот—семьсот и — на новое место. Но без нас нельзя взять точный прицел, когда идешь на большую глубину.

Так же, как в первый год работы на Мангышлаке, Адиль Нурманов продолжает коллекционировать образцы пород. Случилось то, что предрекали его друзья. Но теперь они могут позавидовать геологу, который вернулся в родной край. Он стал участником великих открытий.

БУДУЩЕЕ

На заседание коллегии Министерства геологии и охраны недр Казахстана в Жетыбай прибыли ученые, геологи, инженеры, гидрогеологи из Алма-Аты, Москвы, Ленинграда, Баку. Настало время заглянуть в будущее Мангышлака.

Заседание происходило в бараке, построенном для ремонтной мастерской. В двух шагах отсюда, на склоне песчаного холма, дымили железные трубы землянок. Возле одной остановился грузовик. Мужчина и женщина вынесли и положили в кузов кровать, стол, стулья, кухонный шкаф. Когда все вещи были погружены, муж посадил в кабину жену с ребенком и аккуратно прикрыл дверь землянки. Машина спустилась с холма, направляясь к поселку.

Как раз в это время выступил на заседании старый бакинский нефтяник Гурген Томасович Овнатанов. Его слова прозвучали добрым напутствием — и семье, переехавшей в новый дом, и всем людям Мангышлака:

— Вы проложили только первые маршруты к своей нефти. Не часто совершаются подобные открытия. Я человек немолодой, но уверен, что еще увижу на этом полуострове большие города. Когда разнеслась весть о ваших месторождениях, кто-то хорошо сказал: «Мангышлак — это брат Апшерона». По ту сторону Каспия, на Апшероне, гремели такие же фонтаны, как Жетыбайский. Перед вами — целина черного золота...

Заседание продолжалось, геологи рассказывали о шестнадцати структурах, подготовленных к разведочному бурению, называли все новые и новые участки, где со дня на день ожидаются фонтаны.

Еще не подсчитаны все запасы нефти и газа в недрах полуострова, но можно предвидеть, что Мангышлак выдвинется на одно из важных мест среди нефтеносных районов.

Геологи настойчиво требуют ускорить разведку, стянуть побольше техники. И понятно, почему разведчики охвачены таким нетерпением. Хочется им наверстать время, потраченное на севере полуострова, где их долго преследовали неудачи. Хочется приблизить будущее — его контуры уже прорисовываются сквозь пыльные бури и бураны, вдохновляя всех, кто пришел в этот суровый край.

Бакинцы прославили своим трудом полуостров Апшерон, старейшую нефтяную базу нашей страны. Теперь на противоположном берегу Каспия тоже поднимаются вышки, обещая столь же громкую славу Мангышлаку, брату Апшерона.



ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ГНЕДИН

★

МОДЕЛЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Социологические заметки о современном буржуазном обществе

1. НЕСКОЛЬКО ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ИСТИН

Ходячее мнение гласит, что люди не извлекают уроков из опыта прошлого. Это суждение принадлежит к числу тех, которые верны в частных случаях, но, выражаясь на языке кибернетики, неприменимы к множеству, к системе в целом. У человечества есть память. Она запечатлена в творениях науки и искусства. Но отдельные общественные деятели и общественные группы порой действительно поступают так, словно им не известен даже опыт самого недавнего прошлого. Чаще всего это вызвано сознательным или неосознанным нежеланием сделать должные выводы из очевидных фактов.

Современность дает достаточно материала для иллюстрации этой истины. Опыт двадцатого века содержит многочисленные доказательства того, что в наше время нельзя силой оружия сломить борьбу народов за свое социальное и национальное освобождение. Об этом наглядно свидетельствует ход событий, начиная с разгрома интервентов в Советской стране и вплоть до победы алжирского народа над армией французских колонизаторов. И тем не менее американские империалисты уже после полного поражения французских оккупационных войск загоняют свою технику, своих солдат и свой престиж в болото грязной войны в Южном Вьетнаме. Более того, после убийства Кеннеди усилились попытки крайних агрессивных элементов расширить плацдарм военных действий, явно обреченных на провал.

К сожалению, и в антиимпериалистическом стане имеются полигики, пренебрегающие историческим опытом. Такова политика руководителей КПК, которые стремятся защитить и сохранить пагубные порядки культа личности, а стало быть, произвол, бюрократизацию государственной и общественной жизни, безразличие к народным нуждам.

Ясно, что не только политические деятели, но и политическая публицистика должна учитывать уроки прошлого. Однако память человечества подсказывает нам еще одну истину: осознанное зло еще не есть устраненное зло.

Это относится в первую очередь к капиталистическому миру, где социальное зло может быть устранено лишь в результате длительной борьбы против реакционных сил, противящихся обновлению и преобразованию общества. Из этого не следует, что в самом обществе зло противостоит добру, как древнеперсидский дух тьмы Ариман духу света Ормузду или злое и доброе начало в христианской ереси манихейцев. Явления в обществе не выступают в своем чистом виде, указывал Ленин. Эту истину нельзя забывать при социологическом анализе, особенно когда речь идет о переходных эпохах. Анализ многообразной общественной жизни — лучший довод против пекинской пропаганды.

Процесс преобразования человеческого общества, приведший к победе социализма на огромных пространствах земли, не ограничен пределами этой территории, не замкнут в географических или государственных границах. Этот факт не отрицают проникатель-

ные сторонники отживающего строя. Естественно, что происходящие исторические перемены глубоко изучены и учтены на Западе прогрессивными представителями общества, и прежде всего партиями рабочего класса. Итальянская, французская, бельгийская коммунистические партии разработали на своих последних съездах многообещающую программу действий. Они не только вновь повторили, что главным противником трудящихся является монополистический капитал, но и установили, на какие объективные процессы можно сейчас опираться в борьбе за устранение осознанного общественного зла.

В современных капиталистических странах, как выразился Пальмиро Тольятти в докладе на X съезде ИКП, существует тяга к структурным преобразованиям и к реформам социалистического характера, а связано это с экономическим прогрессом и с бурным ростом производительных сил. Такая характеристика положения в высокоразвитых капиталистических странах опирается на анализ, произведенный в свое время Лениным; выводы из него применительно к середине нашего века сформулированы в Программе КПСС: «Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма».

Вот главная предпосылка, из которой надо исходить, пытаясь представить картину современного буржуазного общества. В этом обществе полнейшая материальная подготовка социализма пока еще не сопровождается его реализацией в социальной и политической области. Наоборот, властвующие ныне классы пытаются на этой самой материальной базе строить свое господство. Политико-государственная надстройка претерпевает изменения, но эти изменения пока приводят к тому, что она приспособляется к новым условиям экономической жизни: так, например, увеличивается удельный вес государственного сектора в промышленности, возникают такие новые явления, как европейский «Общий рынок».

Образуются и новые болезненные наросты: бюрократизация экономической деятельности в условиях частнокапиталистического хозяйства и бюрократические злоупотребления в управлении национализированной промышленностью. Авангард трудящихся, защищая интересы народа, сталкивается не только с капиталистическим предпринимателем и монополией, но и с бюрократическим аппаратом государственно-монополистического капитала. В новых условиях и по-новому дает себя знать тот факт, что финансовая олигархия наложила «густую сеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества...»¹.

Если в этой сети завязываются новые узлы или разрываются устаревшие звенья, то это явственно сказывается в политике и идеологии, которые служат показателем сдвигов, происходящих в обществе. Когда порожденная циклоном буря сотрясает здание, могут не сразу обнаружиться трещины в фундаменте, но на верхних этажах хлопают двери, со звоном вылетают стекла из окон и даже возникает пожар от короткого замыкания.

Окинем взглядом «верхние этажи здания», прежде чем обозреть социально-экономические процессы, происходящие в обществе, которое его сторонники называют «обществом процветания», хоть оно и остается обществом, бьющимся в сетях.

2. О РАЗОРВАННОСТИ СОЗНАНИЯ

Как известно, социолог в отличие от естествоиспытателя лишен возможности поставить эксперимент в чистом виде. Но сопоставление картин прошлого с настоящим может быть для социолога чем-то вроде научного опыта.

Под этим углом зрения мы и сопоставим два литературных произведения, относящихся к различным эпохам. Одно из них — философская повесть «Племянник Рамо», творение великого французского просветителя Дени Дидро. В те самые годы, когда в громе пушек под Вальми Гёте услышал голос мировой истории, — а то был голос французской революции, — он перевел на немецкий язык «Племянника Рамо». Гегель

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 285.

в «Феноменологии духа» главку, названную им «Разорванное сознание», построил на материале книги Дидро. Размышления Гегеля в этой главе с одобрением привел Маркс, сообщая Энгельсу, что перечел с наслаждением «неподражаемое произведение» Дидро. То, что великие мыслители, столь отличавшиеся один от другого, одинаково высоко оценили памфлет Дидро, объясняется тем, что это произведение представляет собой редкой силы художественно-философское обобщение кризиса общественного сознания в феодально-аристократическом обществе накануне революции. Мы можем использовать это произведение как один из «параметров» в нашем социологическом опыте. Другим «параметром» будет картина действительности, открывшаяся современному писателю, когда он взглянул на окружающее его общество «глазами гнева», как это сделал западногерманский писатель Генрих Бёль в своем романе «Глазами клоуна»¹.

В воззрениях просветителя восемнадцатого века и прогрессивно-мыслящего католика двадцатого века больше общих черт, чем можно предполагать. Но перекличка между двумя произведениями этих авторов определяется прежде всего общностью приемов. Племянник Рамо, главный персонаж книги Дидро, — блестящий мим, человек острого ума; герой книги Бёля — клоун, автор и исполнитель сатирических пантомим. Правда, Бёль создал образ человека чистой души, представляющего собой уникальный характер, и боиное крупнобуржуазное общество выбрасывает его из своей среды. Племянник Рамо в освещении Дидро — плоть от плоти парижского аристократического общества, воплощение его пороков. Однако «он был не более и не менее отвратителен, чем они; он был только более чистосердечен и более последователен, а иногда даже и глубок в своей нравственной испорченности»².

Вот первый предварительный результат нашего «опыта»: произведения, между которыми пролегло полтора века, объединяет трагическая ирония, с которой их создатели смотрят на современное им общество, их объединяет попытка увидеть общество глазами остро и последовательно мыслящего, откровенного человека. Тогда и звучат речи, о которых и Дидро и Гегель говорили, что они представляются «бредом мудрости и безумия, смесью в такой же мере ловкости, как и низости, столь же правильных, как и ложных идей, такой же полной извращенности ощущения, столь же совершенной мерзости, как и безусловной откровенности и правды».

Каковы же эти речи? Как они характеризуют общество? Ведь нас интересует здесь именно картина общества, а не самые герои. Мы как бы пытаемся зондировать две интересующие нас системы по признаку: «Реакция последовательно мыслящего индивида на общество». «Выходные данные опыта» — отрывки из речей героя Дидро и героя Бёля мы сопоставим между собой, пронумеровав, как полагается в лаборатории, каждый эксперимент.

№ 1

«Если вы будете применять... некоторые общие принципы какой-то там морали, которая у всех на языке, но которой никто не придерживается на практике, то белое окажется черным, а черное белым... существует ведь всеобщая совесть, точно так же как существует всеобщая грамматика, и, сверх того... исключения, которые у людей ученых называются... идиотизмами». «Есть идиотизмы, присущие всем странам, всем временам, как есть и присущие всем глупости» (Дидро, стр. 56—57).

«...министры, финансисты, судьи, военные, литераторы, адвокаты, прокуроры, коммерсанты, банкиры... Их образ действия во многих отношениях отстает от общей совести и полон нравственных идиотизмов». «Что подумали бы вы о нас, если бы при наших постыдных нравах мы вздумали претендовать на всеобщее уважение?» (Дидро, стр. 57 и 94).

«Вечю они прячутся за каменную стену догм и швыряются вырубленными из догм

¹ «Глазами гнева» назвал свою статью о романе Бёля М. Бажан. «Литературная газета», 21 мая 1964 года.

² Все цитаты из «Племянника Рамо» даны по книге Дени Дидро «Племянник Рамо» («Художественная литература», М. 1936). Цитаты из романа Г. Бёля даны по журналу «Иностранная литература», № 3, 1964, перевод Р. Райт-Ковалевой.

принципами, но если их всерьез поставить лицом к лицу с их «непоколебимыми истинами», они усмеются и кивают на «человеческую природу» (Бёль, стр. 84).

«...Какая-то защитная колючесть... я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами... — и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой, самозащиты... Все это ложные претензии, ложный стыд...» (Бёль, стр. 49.)

№ 2

«У меня дьявольски нелепый язык: не то как у светских людей, не то как у рыночных торговцев» (Дидро, стр. 120).

«Вообще, если наш век заслуживает какого-то названия, то его надо назвать веком проституции. Люди привыкли к словарию публичных девок» (Бёль, стр. 141).

№ 3

«Сохрани пороки, которые могут тебе пригодиться, но откажись от речи и наружного вида порочного человека... я делаю по системе, используя свою сметливость и верность взгляда — то, что большинство других делает просто по инстинкту». «Маска! Маска! Я дам отсечь себе палец, чтобы только найти эту маску» (Дидро, стр. 82—83, 74),

«Когда я начал накладывать грим, лицо мое стало лицом мертвеца... Глаза — светло-голубые, словно гипсовое небо, и пустые, как глаза кардинала, который не хочет себе сознаться, что давно потерял веру. Я даже не испугался себя. С таким лицом можно было сделать карьеру...» (Бёль, стр. 132.)

№ 4

«Поверьте мне: то, что вы называете пантомимой нищих — не что иное, как великий хоровод сего мира» (Дидро, стр. 132).

«...Один из моих номеров так и называется «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает — отъезд это или приезд» (Бёль, стр. 19).

Нельзя, конечно, чекать полного тождества выражения мыслей у этих совершенно разных авторов. Но как совпадают их представления о состоянии современного им общества! С этой точки зрения в нашем опыте, как говорится в учебниках физики, «параметры, характеризующие две системы, совпали с хорошей степенью точности, вполне достаточной для целей исследования».

На языке публицистики сказанное означает, что если смотреть сквозь призму художественно-философского обобщения на современное капиталистическое общество, то оказывается, что признаки его морально-идеологического кризиса и вырождения весьма сходны даже в частности с картиной феодально-аристократического общества эпохи упадка. Верхи такого общества перестают верить в постоянство господствующей морали, не верят в защищаемые ими принципы, они вместе с тем опасаются, что отступление от законов и морали, ставшие правилом, уже не пройдут безнаказанно, цинизм и нечистая совесть все чаще скрывают свое подлинное лицо под маской, нравственное одиночество проявляется в загрязнении и опошлении речи, а правящие слои, вовлеченные в хоровод нищих духом, все острее чувствуют, что общество вступило в кризисный период.

На этой почве и рождается «разорванность сознания», «язвительная насмешка» над бытием, «над хаосом целого и над самим собой», как писал Гегель. По его словам, эта «разорванность» — результат того, что «власть и богатство суть действительные признанные силы», между тем они проявление суетности, а «суетность нуждается в суетности всех вещей». Только «возмущенное сознание», знающее о своей разорванности, может возвыситься над ней.

Этот философский комментарий Гегеля нашел полное одобрение Маркса, потому что Гегель вслед за Дидро раскрыл противоречия в феодально-аристократическом обществе в период его заката. Вот почему абстрактные понятия, введенные Гегелем, вновь применимы как некая интеллектуальная модель социологических явлений, когда речь идет о закате капиталистического общества, в недрах которого уже созрели предпосылки новой, социалистической формации.

3. ЦЕПИ И МАСКИ

Известно, что каждая, хотя бы и строго продуманная, модель неизбежно бывает упрощением реальной динамической системы (в данном случае — общественного сознания). Но во всяком случае аналогия помогает исследователю размышлять об интересующем его явлении.

Размышляя над действительностью, отраженной в книгах Дидро и Бёля, можно обнаружить, что наша модель охватывает широкий круг явлений: язвительная насмешка Дидро характеризует не только пришедшую в упадок феодально-аристократическую систему, но и находившуюся на подъеме буржуазию. Обнаруживается взаимозависимость между противостоящими системами. В диалоге Дидро представитель вырождающегося аристократического мировоззрения беседует с автором, представляющим «благонамеренное сознание», которое отвергает суетность своего исторического антипода. Но это буржуазное, уверенное в своей правоте, благонамеренное сознание — само порождение суетности (о чем и говорил Гегель); оно становится низменным и исторически обречено на вырождение. Это с гениальной пронизательностью подметил Дидро в годы подъема буржуазии, а теперь через полтора века подтвердил современный писатель, как бы построив аналогичную модель «разорванного сознания».

Использование такой «модели» не означает подмену социальной борьбы «битвами чистых идей». Против такой ошибки предостерегали Маркс и Энгельс, критикуя не самого Гегеля, а его эпигонов, которые изошрялись в искусстве «превращать реальные, объективные, вне меня существующие цепи в исключительно идеальные, исключительно субъективные и исключительно во мне существующие цепи...»

Однако вдохновенная и гневная публицистика основоположников марксизма отнюдь не отрицала, что существуют цепи, сковывающие самую мысль. Она клеймила рабство духа, рабство мысли. Надо лишь понимать, что «субъективные цепи» — следствие того, что в самом обществе образовалась «густая сеть отношений зависимости».

«Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила». Потому-то пропагандистскому аппарату монополий удается внушить довольно широким слоям народа иллюзию безкризисного развития капиталистического общества, изображая его как «общество благосостояния». И наоборот, общий кризис капиталистического строя, угрожая материальному господству правящего класса, подтачивает и его влияние на духовную жизнь общества.

Угнетенные и страдающие слои общества, борющиеся за свое освобождение и, следовательно, осознавшие существование «реальных цепей», могут освободиться и от «идеальных цепей». Иногда этот процесс затягивается. Вспомним хотя бы указания Ленина на длительность изживания в быту и в сознании пережитков прошлого. Иногда лишь после того, как люди разорвали духовные цепи, они обретают в себе силы для того, чтобы уничтожить гнет материальной зависимости. Но, как уже говорилось, осознанное зло еще не есть устраненное зло...

Когда общество находится в сетях, то вся система духовных связей воспринимается на всех уровнях общества как бремя. Приведем несколько своеобразную иллюстрацию этой мысли: «Толстый человек властвует над бедным человеком в пределах известной системы. Но сам-то он не система. Он даже не властелин, напротив! Ведь и толстый человек носит цепи. Капитализм — это система зависимостей, которые идут снаружи внутрь, сверху вниз, снизу вверх. Капитализм — это состояние мира и душ». Эти слова принадлежат Францу Кафке, писателю, подчас болезненно, а подчас и верно отзывавшемуся на уродства в жизни общества.

Кафка был, конечно, чужд марксизму, он вряд ли знал о ленинском анализе «сети отношений зависимости» в обществе и не стремился иллюстрировать мысли Маркса о реальных и духовных цепях, сковывающих людей, или подтвердить указания Энгельса на то, что «продукт поработает сперва производителя, а затем и присвоителя...» И все

же приведенные высказывания Кафки — стихийно верная, хотя, разумеется, далеко не полная иллюстрация выводов науки об обществе.

Здесь мы подходим к Кафке не с литературоведческих, а с чисто социологических позиций. Нас по-прежнему занимает своего рода «модель» социологических явлений. Отражает ли эта модель действительность? Ответ заложен в самой действительности. Кризис буржуазного строя — причина того, что и «толстый человек носит цепи», именно поэтому он «надевает маску» и находится в состоянии «раздраженной самозащиты». Признаки разложения общества, подмеченные Дидро, Кафкой и Бёлем, можно рассматривать в одном ряду.

Подобно своему соотечественнику — замечательному чешскому писателю Карелу Чапеку — Кафка, правда, в более узких рамках, чем Чапек, нарисовал картину бюрократического обезчеловечения в условиях капитализма, обнажил корни фашистского вырождения. Кафка в 1914 и в 1920 годах не мог предвидеть будущую победу над фашизмом в 1945 году (ее не предвидел и Чапек, когда уже в тридцатых годах писал «Войну с саламандрами»), но оба они — повторяю, в различных масштабах и, конечно, с помощью присущих каждому из них средств выражения — создали произведения, благодаря которым легче распознать истоки и проявления фашизма. Игнорировать эту сторону дела может только тот, кто безразличен к существованию современных форм фашизма либо сам не чужд его. Такова позиция некоторых западногерманских явных и скрытых реакционеров, которые свою вражду к Чехословакии переносят и на писателя, почитаемого в Чехословакии. Кафку, тяготевшего условиями существования в обстановке национального угнетения в Австро-Венгерской империи, пытаются оспорить с античешских и антисемитских позиций¹. Так что не только произведения самого Кафки, но и характер критики по его адресу, когда она ведется с шовинистических позиций, дает материал для освещения истоков фашистской идеологии.

Размышляя над явлениями кризиса общественного сознания в мире капитализма, неизбежно сталкиваешься с проблемой возрождения расистской и фашистской идеологии. Это совершенно закономерно. Фашизм и сейчас предстает перед нами и в маске и без маски.

4. ФАШИЗМ В МАСКЕ И БЕЗ МАСКИ

Благодаря героической борьбе советского народа и его Советской Армии гитлеровский фашизм был разгромлен. Показанные недавно в документальном фильме чудовищные фигуры наполовину парализованного Гитлера и иступленного Геббельса, знающих, что их злодейская игра проиграна, и все же посылающих на верную смерть стариков и детей, — воспринимаются как отвратительные образы, ушедшие в прошлое. Однако это не освобождает от обязанности внимательно приглядеться к маскам, мелькающим в историческом хороводе сегодня. Надо помнить:

Еще плодоносить способно чрево,
Которое вынашивало гада².

В наши дни в масках предстают бывшие палачи и сообщники диктатора. Некоторые из них лишь теперь попали на скамью подсудимых. Присутствовавший на процессе освенцимовских палачей во Франкфурте-на-Майне американский драматург Артур Миллер обратил внимание на то, что, как правило, на всех процессах, связанных с массовыми убийствами, обвиняемые только постепенно открывают свое подлинное лицо. Они явились на суд в том обличье, в каком они фигурировали в обществе — как преуспевающие коммерсанты, инженеры или даже простые рабочие. На суде во Франкфурте был задан удивительный вопрос: «Разве мог совершить столь ужасные злодеяния человек с такими прекрасными манерами?» А сколько «прекрасно воспитанных господ»,

¹ На это обстоятельство обратил внимание в своем докладе на происходившей недавно в Москве научной сессии комиссии историков СССР и ГДР доктор исторических наук В. М. Турок (Институт славяноведения).

² **Заключительная реплика в пьесе Бертольта Брехта «Карьера Артуро Уи». Перевод Е. Г. Эткинды.**

укрывшихся не под маской дельцов, а генералов и даже судей и прокуроров, избегло ответственности за совершенные преступления! Поразительно, как искусно замаскировались и легко нашли свое место в боннском обществе бывшие соучастники преступлений фашизма!

Позволительно сказать, что не только отдельные представители общества, но и определенные слои общества носят маску. Разве не желали бы укрыться под маской те группы населения ФРГ, которые недовольны тем, что разоблачение преступлений гитлеризма, по их мнению, «компрометирует Германию»? Председатель суда во Франкфурте, надевший маску законника, к удовольствию фашистов, сидевших на скамье подсудимых, ловит на «противоречиях» свидетелей, в прошлом чудом спасшихся из рук палачей: «Раньше вы говорили, что семьдесят человек в вашем присутствии подвергались пыткам, а теперь говорите здесь, что девяносто... Неялоно, следили вы из чердака за избиваемыми на плацу или из нижнего этажа». В чудовищной маске предстает защитник, которому вовсе безразлично, каков был масштаб преступлений, ибо он вообще утверждает, что палачи — нормальные, добросовестные служаки, они ведь выполняли распоряжения, имевшие законную силу.

Артур Миллер привел в «Нью-Йорк геральд трибюн» подсчеты — явно преувеличенные, — согласно которым чуть ли не девяносто процентов населения Западной Германии высказывается против суда над палачами. Американский писатель восклицает: «Что пугает в немцах и остается загадкой для иностранцев — это их абсолютное послушание перед лицом вышестоящего начальства, полная моральная и психологическая προσταция».

Общество в маске предстает и в картине, нарисованной оксфордским профессором Тревором-Ропером: «Германское общество (имеется в виду ФРГ.— *Е. Г.*) после 1945 года просто-напросто отказывалось взглянуть в лицо действительности, которая неизбежно раскрылась бы в результате подобных процессов (о зверствах в концентрационных лагерях.— *Е. Г.*): вскрылось бы соучастие, скрытое, но неопровержимое в нацистских преступлениях. Повторяю: не о п р о в е р ж и м о е. Чем больше изучаешь историю нацизма, тем больше убеждаешься в соучастии всего общества. На германской общественной почве был взращен Гитлер, и общество дало ему политическую власть. Оно молчаливо уполномочило его осуществлять полученную им власть и стыдливо отворачивалось, когда Гитлер делал свое грязное дело... Оно никогда открыто не осуждало Гитлера... Самым удобным для него было... скрыть свою ответственность и возложить вину на нескольких известных лиц».

То, что палачи вынуждены держать ответ за совершенные злодеяния, — это, конечно, факт сам по себе положительный. Именно в связи с процессами в международной литературе, да и в самой Западной Германии снова широко дебатировался вопрос об ответственности за злодеяния фашизма. В дни первой мировой войны Роза Люксембург в брошюре «Кризис социал-демократии», говоря о внутреннем положении в Германии, писала: «Политически зрелый народ так же не может даже «на время» отказаться от политических прав и общественной жизни, как живой человек не был бы в состоянии «отказаться» от того, чтобы дышать». Несомненно, что именно признаком политической незрелости является нежелание значительной части западногерманского общества выяснить всю правду о преступлениях, совершавшихся и от имени народа, и при его стыдливо-попустительстве.

Артур Миллер рисует в мрачном свете унастроение большинства немецкого народа. И он, конечно, делает ошибку. А оксфордский профессор, как видно из его статьи, возлагает надежды только на молодое поколение. И американский писатель, и английский историк умалчивают о главном: существуют классы и партии, которые борются за обновление немецкого общества, существует Германия рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, существует немецкая антифашистская литература.

Живые силы народа противостоят фашизму, порожденному капиталистическим обществом. Но в Западной Германии это общество все еще существует и, стремясь уйти от исторической ответственности, носит личину боннской демократии. Ведь даже один из самых отъявленных реваншистов и воинствующих антикоммунистов, организатор системы террора и слежки в правительственном аппарате и вне его, бывший военный

министр ФРГ Штраус играет роль «демократического лидера» Христианско-демократического союза, входящего в составленную все на тех же «демократических основаниях» правительственную коалицию.

Скрытая фашизация методов государственного управления, хотя и в других формах, наблюдается также во Франции. Во время разгула ОАС возмущали акты террора, участие в них бывших немецких эсэсовцев и открытые фашистские речи наемников и колонизаторов. Может быть, сейчас, когда оасовцев понемногу выпускают из тюрем и они пока держатся в тени, полезно напомнить, что их злодейской деятельностью, в которой сознательно воспроизводились методы немецких фашистских карателей, руководили высшие французские офицеры и крупные капиталисты. Аргу, бывший начальник штаба французской армии в Алжире при Массю, позднее назначенном командующим военным округом в Страсбурге, писал: «Я самолично, под свою собственную ответственность, вершил суд и расправу... Я не скрывал своих действий, я всегда осведомлял своих начальников: все проходило гладко». Впоследствии полковник Аргу, с ведома все тех же высших начальников, стал фашистским оборотнем, главарем тайной террористической организации. Кроме Салана и Жуо, подлинные высокопоставленные вдохновители террора ОАС все еще скрываются под маской.

Не без основания они примирились с режимом Пятой республики. В конце апреля 1964 года ораторы оппозиции во французском Национальном собрании, критикуя временную передачу полномочий главы государства премьер-министру, констатировали, что парламентский режим и даже конституция 1958 года фактически сведены на нет. Как выразился один из деятелей оппозиции Миттеран, «происходит перманентный государственный переворот». Одним из элементов такого «переворота» явился принятый в мае 1964 года новый закон о муниципальных выборах. Редактор-издатель журнала «Экспресс» Серван-Шрайбер писал еще в прошлом году: «Нет надобности заставить коричневые рубашки маршировать по Елисейским полям или высылать Миттерана для того, чтобы задушить оппозицию». Правосудие, указывал буржуазный публицист, полностью подчинено воле правительства, которое использует закон в своих интересах... Основные средства распространения сведений — телевидение и радио — даже не претендуют на то, чтобы давать информацию: они превратились просто в орудие правительственной пропаганды, которая по своему усмотрению фабрикует или запрещает злободневные передачи». Назовем, в частности, хотя бы запрет радиопередачи, посвященной роли Советской Армии в освобождении Европы от гитлеровского господства.

И во Франции, и в других странах Западной Европы рабочее движение решительно отстаивает демократические завоевания. Тем не менее замаскированный или полумаскированный фашизм — явление весьма современное и международное. Оно нашло свое наиболее полное выражение в классической стране современного империализма — в Соединенных Штатах. На их примере наглядно обрисовываются и предпосылки этого общественного явления.

Вспомним, что Муссолини рекламировал себя как «волевого сверхчеловека» и получил поддержку полиции вскоре после глубокого экономического кризиса двадцатых годов. В числе факторов, облегчавших гитлеровскую демагогию и побудивших магнатов крупного капитала субсидировать Гитлера, решающую роль играла экономическая катастрофа тридцатых годов. Этих предпосылок нет сейчас ни в США, ни в Западной Европе.

Происхождение европейского фашизма в тридцатых годах освещено и объяснено. Но этих объяснений недостаточно, когда речь идет о современных тенденциях к фактической ликвидации буржуазной демократии, когда надо вскрыть корни современной человеконенавистнической идеологии, ее вражды к человеческому интеллекту, к свободной мысли, корни мракобесия в США.

Влиятельные покровители террористических групп в отличие от итальянских и германских фашистов в прошлом не выступают с откровенной и последовательной пропагандой фашистского переворота. Американские реакционеры, хотя и сделали мишенью своих нападков даже самые куцые формы демократии, одновременно заявляют о своей верности действующей республиканской конституции.

Американские расисты и организаторы «охоты за ведьмами» редко прибегают и к приемам явной социальной демагогии. Наоборот, они не скрывают того, что империалистическая агрессия, к которой они призывают, соответствует целям крупного бизнеса и что они стремятся укрепить режим, обеспечивающий всецелые монополии. Однако они носят личину приверженцев американского образа жизни, свидетельствуя тем самым о вырождении этого понятия, за которым ранее скрывались, хотя бы и ложные, представления о широкой буржуазной демократии.

Один из финансистов фашистского «Общества Берча» — тexasский архимиллионер Харольдсон Хант. Авантюрист, выигравший свою первую нефтьвышку в покер, азартный игрок на всех тотализаторах мира, Хант — один из хозяев Далласа и — по всем данным — один из организаторов убийства Кеннеди. Несколько лет назад Харольдсон Хант поручил фирме, издающей телефонные справочники, распространить свой роман-утопию. В двадцатом веке фашистские утопии стали довольно распространенным явлением. Бездарное бумагомарательство тexasского миллиардера не представляло бы интереса, если бы его программа не была тесно связана с недавними трагическими событиями¹.

Центральная фигура романа — пронципальный Хуан Алхала. «Он сложен, как атлет, горделив, непринужденно любезен; у него сверкающие глаза под красиво очерченными бровями: великолепные белые зубы то и дело поблескивают в его быстрой усмешке, оказывающей магнетическое влияние даже на людей с ним незнакомых». Этот «положительный герой» романа крупнокапиталистического автора излагает своим поклонникам программу спасения страны от демократических излишеств. Она сводится к следующему: глупо разрешать всем, кто этого пожелает, участвовать в выборах; надо, чтобы рядовые граждане передали свое право голоса самым богатым людям; тот, кто принадлежит к «элите элиты» (десять процентов из числа самых богатых лиц), должен располагать семью голосами. Уплатив дополнительный налог, богач может приобрести дополнительные голоса. Хант устами своего героя требует, чтобы общество управлялось, как акционерная компания: «Самый крупный акционер должен иметь наиболее широкие права». Система присяжных заседателей в судах должна быть отменена. Обложение крупных состояний надо свести к определенному минимуму.

Программа, изложенная в романе мракобеса-миллионера, не столь уж далека от тexasской действительности, особенно в ее экономической части. Член верховного суда США Дуглас подсчитал, что одна из нефтяных компаний, получающая прибыль в четыре миллиона долларов, уплатила за год налог в четыреста четыре доллара, то есть меньше, чем платит средняя американская семья, в которой имеется двое детей.

Богатейший штат Техас находится на сороковом месте по расходам штата на помощь старикам и инвалидам и на втором месте по использованию на это дело федеральной казны. Штат нефтяных монополий числится на тридцать втором месте по своим расходам на школьное дело, зато он на третьем месте по размеру федеральных ассигнований на тexasские школы.

Тexasские миллионеры демонстративно отпраздновали смерть Рузвельта, которого они ненавидели за то, что он пытался повысить налогообложение нефтяных компаний. Теперь по их наущению убит другой американский президент, чья политика не соответствовала политическим и экономическим планам монополий, толкающих страну на путь фашизации.

Нынешний фашизм в маске — не побочный ребенок кризиса, а законное дитя государственно-монополистического капитализма и, если угодно, атомного века. Его предпосылки — сосредоточение огромных капиталов и власти в руках монополистической олигархии, небывалый удельный вес военной промышленности и особенно ее засекреченных отраслей, дальнейшее сращивание монополистического капитала с государством монополий.

Бывший президент США Эйзенхауэр, покидая свой пост в январе 1961 года, так подытожил свой опыт: «Сочетание огромной военной организации и влиятельной воен-

¹ Содержание этого романа приведено в обобщенных всю мировую прессу статьях Т. Бьюкенена, пытающегося вскрыть подоплеку убийства Кеннеди.

ной промышленности — это новое явление в США. Общее влияние этой комбинации сил, влияние экономическое, политическое и даже духовное, чувствуется в каждом городе, на каждом выборном собрании штатов, в каждом учреждении федерального (центрального.— *Е. Г.*) правительства. Мы должны понять возникающие важные противоречия. Речь идет о самой структуре нынешнего общества. Опасность уже существует, и она остается».

Появилась уже большая литература, освещающая — не всегда с прогрессивных позиций — процессы, которые угрожают структуре американского общества. Автор исследования, которое субсидировалось фондом Рокфеллера (видимо, как раз в то время, когда он возглавлялся нынешним государственным секретарем Раском), Джон Гири свою объемистую книгу, озаглавленную «Международная политика в атомный век», построил на двух предпосылках: первая — в атомный век мировая война невозможна, и вторая — демократический контроль над теми, кто решает вопросы жизни и смерти, также невозможен. Одна из главных причин второго вывода сформулирована довольно просто — секретность. «Секретность ведет к двум тенденциям: к олигархизму и к такому поведению общества, которое не поддается рациональному объяснению». Автор ссылается, между прочим, на выводы другого американского социолога, Дэйля, автора книги «Атомная энергия и демократические устои», по мнению которого «внедрение секретности привело к тому, что кучка людей сосредоточила в своих руках контроль над принятием решений о судьбе огромного множества ценностей и столь же большого множества людей, и она обладает такой полнотой власти, какой, вероятно, не обладал ни один авторитарный лидер старого типа».

Так оценивают положение в государстве монополий убежденные сторонники и пропагандисты политики США; это из их уст мы узнаем о появлении еще одной разновидности скрытой фашизации, которую можно условно назвать «фашизмом секретности».

Можно предполагать, что картина, которая предстает при чтении нашумевшего протокола допросов, которым подвергся творец американской атомной бомбы Оппенгеймер, стала обычным явлением в кабинетах американских государственных учреждений. Своеобразное распределение ролей! Паш — проходимец и провокатор из контрразведки, выступал как признанный блюститель государственных интересов, а знаменитый ученый и советник президента должен был ему доказывать свою лояльность. По мере того, как милитаризация научной и промышленной деятельности в США принимает все более широкий характер, все чаще отнюдь не ученые, и не видные промышленники, и даже не советники правительства, а генералы из Пентагона или полковники из ФБР имеют возможность провозгласить: «Государство — это я!»

А надо иметь в виду, что многие официальные сотрудники секретных служб в США одновременно активно участвуют в деятельности антикоммунистических и даже террористических организаций.

Конечно, утверждение стипендиата фонда Рокфеллера Джона Гирца, что олигархия возникает в результате внедрения секретности, нельзя считать сколько-нибудь серьезным. Но, разумеется, милитаризация и культ секретности укрепляют власть уже существующей финансовой олигархии. За тезисом Гирца о фактической невозможности контролировать тех, кто распоряжается судьбой миллионов, скрывается либо оправдание всевластия монополий, либо нежелание признать, что есть силы, противостоящие явным и засекреченным организаторам военных и внутривнутриполитических авантюр. Когда затронуты интересы миллионов, такие силы непременно дают себя знать. Только недавно их влияние проявилось в том, что не удалось в конечном счете объявить вне закона Коммунистическую партию США.

Мы отнюдь не стремимся упрощать картину, доказывая, что фашизация нынешнего буржуазного общества неизбежна. Это противоречило бы марксистским принципам, было бы проявлением исторического фатализма. Упрощенную картину, как известно, рисуют сектанты-раскольники пекинского толка; они фактически игнорируют существование промежуточных этапов в развитии общества и промежуточных слоев в самом обществе и либо толкают на авантюризм, либо предлагают коммунистическим партиям в индустриальных капиталистических странах пассивно накапливать силы для

боев... в будущем. Однако авангард рабочего движения должен считаться с тем, что в обществе, в котором подготовлена материальная база для перехода к социализму, но еще господствует капитализм, сталкиваются, преобразуются и эволюционируют различные общественно-политические течения.

5. ОТ УБИЙСТВА РАТЕНАУ К УБИЙСТВУ КЕННЕДИ

Косвенным доказательством того, что и в правящей среде капиталистического общества сталкиваются весьма различные течения, явилось убийство Кеннеди. Это трагическое событие показало, что крайние агрессивные группы видели в политике Кеннеди препятствие для политики катастроф. В убийстве Кеннеди, как в фокусе, скрестились важнейшие тенденции в политической жизни современного буржуазного общества. Выстрел в Далласе породил в международной политике скрытую цепную реакцию, значение которой полностью уяснит, вероятно, только будущее.

Мировая печать сразу же после покушения на Кеннеди сравнила это событие с убийством наследника престола Австро-Венгерской империи в 1914 году, послужившим поводом для первой мировой войны. Вспоминается и убийство в 1934 году министра иностранных дел Франции Барту вместе с югославским королем Александром, которое организовали фашистские заговорщики, подготовившие вторую мировую войну. Когда в Далласе грянули выстрелы, над миром маячила тень третьей мировой войны — не как непосредственная угроза, но как ставший явственно заметным мрачный призрак.

Эти исторические аналогии, как и всякие другие, нуждаются в дополнениях. Самое существенное — это то, что изменилась общая картина мира: в прошлом не существовало таких мощных мировых сил, которые теперь противодействуют замыслам поджигателей войны. Кроме того, к политическому убийству в Сараеве в 1914 году и в Марселе в 1934 году наряду с темными силами данной страны были непосредственно причастны и н о с т р а н н ы е милитаристские клики. Между тем в 1963 году убийство американского президента было подготовлено а м е р и к а н с к и м и же реакционными центрами. Выдающийся деятель американского капитализма был уничтожен враждебной ему группой монополистического капитала.

Не для того, чтобы обязательно подыскать подходящую историческую аналогию, а по другим соображениям, которые будут ясны читателю, интересно провести параллель между покушением в Далласе и убийством в 1922 году германского государственного деятеля, главы монополистического концерна — Вальтера Ратенау.

Министр Веймарской республики, подписавший в 1922 году с Советским государством Рапалльский договор — первое международно-правовое воплощение политики мирного сосуществования стран с различными общественными системами, — Вальтер Ратенау был убит террористами из тайных националистических, будущих фашистских, организаций. Расистское мракобесие, антикоммунизм и авантюризм организаторов убийства Кеннеди мало чем отличаются от шовинистической и антисемитской идеологии фашистских оборотней, организовавших убийство Ратенау. Есть сходство и между группами, финансировавшими и вдохновлявшими в обоих случаях террористическую агентуру: в Германии — фабриканты пушек, магнаты тяжелой промышленности и нелегальный генеральный штаб, в США — военные монополии, в особенности заправили нефтяной промышленностью («Нефть, господа, это вооружение», — заявил как-то командир «гражданской гвардии» Техаса генерал Эрнест Томпсон), да и некоторые военные круги, близкие к штабу военно-воздушных сил.

На этой стороне аналогии между гибелью Ратенау и гибелью Кеннеди можно больше не останавливаться. Интересно сопоставить политические планы, планы организации экономики двух буржуазных государственных деятелей, которых, несмотря на их принадлежность к правящей крупнокапиталистической верхушке, постигла одинаковая судьба — смерть от руки поджигателей войны.

Можно сказать, что в политике и прежде всего в своей экономической деятельности Ратенау был крупнобуржуазным «новатором». Уже в этом замечаются точки сближения с Кеннеди. Во время первой мировой войны Ратенау создал и направлял систему цен-

централизованного управления хозяйством. Эту организацию хозяйственной жизни Ленин советовал изучать и использовать в деле строительства экономики Советской страны.

В условиях послевоенного кризиса Ратенау, считая себя передовым деятелем международного масштаба и будучи министром иностранных дел победившей Германии, по свидетельству находившегося с ним в дружбе Стефана Цвейга, видел свою миссию в том, чтобы «спасти Европу», а это значило установить прочный мир. Он сначала добивался приемлемого для германской буржуазии сговора с английским империализмом, и в частности против Советской страны. Однако он позднее убедился, что укрепление позиций Германии перед лицом победителей и достижение подлинного мира в Европе невозможно без соглашения именно со Страной Советов. Он навлек на себя ненависть оголтелых реваншистских элементов, обвинявших его в предательстве, подобно тому как реакционеры обвиняли Кеннеди в измене интересам США, когда он сделал естественные выводы из того факта, что без соглашения с СССР нельзя уже обеспечить мир в масштабе всей земли.

Ратенау выступал и как публицист (в этом тоже есть сходство с Кеннеди), он написал ряд книг; они не имели научного значения, но наделали много шума и неоднократно переиздавались. В этих книгах отразилась двойственность во взглядах капиталистического деятеля, который не закрывал глаза на действительность и стремился осветить узловые проблемы развития человеческого общества, но не находил их решения. Некоторые вопросы, поставленные Ратенау, звучат весьма современно.

В книге «Новое хозяйство» мы читаем: «Политическим последствием войны для государств с авторитарным режимом является их демократизация, для демократических — концентрация. Социальным же последствием войны будет постепенный переход через новый хозяйственный строй к новой форме социального расслоения общества»¹. В другом месте той же книги Ратенау писал: «Через все развитие человечества проходит двойное стремление: духовные элементы религии, искусства, мышления развиваются от этнической связанности к индивидуальной свободе; интеллектуально-механические элементы цивилизации, хозяйство, сношения, управление массами развиваются от разрозненного частного труда к органической связанности»².

Как ни сомнительна терминология капиталиста-«новатора», все же можно установить, что в двойственности его оценки развития современного общества отражены важные противоречия эпохи перехода от капитализма к социализму: интересам и движению трудящихся масс противоречит авторитарная организация государства монополий, возникает коллизия между демократическим развитием, а также интересами человеческой личности и теми последствиями, которые имеет в общественной жизни научно-технический переворот и внедрение централизованных форм организации экономики.

Политическое существо этих противоречий вскрыл Ленин в своем отзыве о самом Ратенау: «Вальтер Ратенау на две головы выше Карла Каутского, ибо второй хныкает, трусливо прячась от «истины без прикрас», а первый признает ее прямо». Эта «истина без прикрас» была сформулирована в следующих словах Ратенау, приведенных к статье Ленина: «...мы идем к диктатуре пролетарской или преторианской»³.

Ратенау не в состоянии был представить себе, что государство диктатуры пролетариата может по ходу исторического развития превратиться в общенародное государство, но он понимал, что власть «преторианской гвардии» диктатора, то есть фашистская диктатура, губительна для общества.

В конце девятнадцатого века и в начале двадцатого в Германии так называемая мировая политика — политика экономической и колониальной экспансии — вела к милитаризации и бюрократизации государства. А в середине двадцатого века к таким же последствиям во всем мире приводит «холодная война», борьба империалистических держав за ускользающие из-под их контроля бывшие колониальные рынки, а также международная картеллизация; ее выразительным воплощением является Европейское экономическое сообщество («Общий рынок»).

¹ В. Ратенау. Новое хозяйство. М., 1923, стр. 8.

² Там же, стр. 28.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 370.

Когда Ратенау в качестве видного практического деятеля буржуазного государства и как автор, склонный к социологическим обобщениям, оказался перед лицом резко меняющегося мира, он попытался построить представление о «новом хозяйстве» или «новом государстве» (так называлась другая книга Ратенау) в рамках одной страны и только отчасти — всей Западной Европы. Применительно к самой Германии он предвидел необходимость выбора между «диктатурой пролетарской или преторианской».

Теперь капиталистические «реформаторы» и социологи стоят перед такой же дилеммой в мировом масштабе. Они должны, как они сами выражаются, ответить на «вызов мирового социализма».

Так понимал свою задачу Кеннеди, когда, придя к власти в январе 1960 года, объявил себя и свой интеллектуальный штаб представителями «нового поколения американцев» и призвал американский народ «выйти на новые рубежи», вновь обрести потерянный дух пионеров, когда-то стремившихся к расширению границ на западе страны. На сей раз, правда, «новые рубежи» не имели конкретных очертаний, но от этого их завоевание не стало более легким делом.

Во внешней политике «новые границы», к которым устремилось «молодое поколение» империалистических политиков, означали: укрепление мирового влияния США и (так как вооруженное вмешательство терпит неудачу) применение новой тактики по отношению к «третьему миру», то есть к бывшим колониальным странам, завоевавшим государственную независимость. Обнаружилась необходимость отхода от обанкротившейся политики «холодной войны» и перехода к такой политике, которая учитывает изменение соотношения сил в пользу социализма и стремится избежать ядерной катастрофы.

Под «новыми рубежами» во внутренней политике понималось прежде всего урегулирование проблем, возникших в капиталистической экономике на почве научно-технического переворота; одна из таких проблем — рост безработицы в связи с автоматизацией. Решение этих вопросов само по себе не противоречило интересам монополий. Однако оно предполагало усиление роли и активности государства в экономической жизни. Когда мероприятиями правительства были затронуты интересы монополий, они дали им отпор. Так, например, в конечном счете была сорвана попытка Кеннеди наложить запрет на повышение цен металлургическими трестами. Конгресс отверг также законопроект, расширявшие функции центральных государственных органов (например, закон об общественных работах, проект закона о мероприятиях по профессиональной подготовке молодежи и обеспечении ее занятости и многие другие).

Уже через год после избрания Кеннеди президентом стало заметно, что представители «нового поколения американцев» похожи не на пионеров «дикого Запада», мчащихся к «новым границам», а на караван переселенцев, пробирающийся вдоль границы. Подводя итоги первому году президентства Кеннеди, сочувственно относившийся к нему английский журнал «Экономист» указывал с оттенком беспокойства, что «традиционно настроенные люди» вопрошают: «Является ли Кеннеди либералом, чью деятельность тормозят представители американского консерватизма, или же он сам консерватор, тормозящий действия либералов, с помощью которых он правит страной».

Известный обозреватель «Нью-Йорк таймс» Джон Рстон утверждал однажды, что Кеннеди надеялся «изменить направление потока истории», но якобы убедился, что смертным дано лишь двигаться по течению. Кеннеди, по словам того же Рстона, «привел страну в движение, но иной раз казалось, что это — движение по замкнутому кругу». Как ни вспомнить «хоровод нищих» Дидро и пантомиму «Приезд и отъезд» из книги Бёля! Рстон не выражал взгляды сторонников Кеннеди, но эти рассуждения интересны хотя бы потому, что по ним можно судить о его мировоззрении. Это пример того, как зарождаются пессимистические философские концепции о циклическом развитии человечества: они продиктованы разочарованием в практической политике своего времени.

Кеннеди и сам подчеркивал, как далек он от достижения «новых рубежей». Так, например, в послании 88-му конгрессу США от 14 января 1963 года он говорил: «Мы на склоне горы, а не на ее вершине. Отсутствие войны — это еще не мир. Отсутствие

спада — это еще не рост. Мы положили начало, но ведь мы и находимся только в самом начале». В другом послании конгрессу (от 2 апреля 1963 года) Кеннеди предупредил: «Наш мир близок к пароксизму исторической лихорадки». Эти конвульсии старого мира были, по мнению Кеннеди, обусловлены тем, что «приливная волна национальной независимости захлестнула страны, в которых живет одна треть населения всего мира. Промышленная и научная революция распространилась на самые дальние уголки нашей планеты».

Эти признания, содержащиеся в официальных документах, явно перекликаются с размышлениями Ратенау в его книгах. Правда, не исключено, что Кеннеди, который, конечно, был выдающейся личностью, испытывал то, что Гегель называл «возмущенным сознанием», пытающимся подняться над своей «разорванностью». Своеобразным проявлением такого «возмущенного сознания» представляются некоторые места в проекте речи, которую Кеннеди должен был произнести в Далласе в тот день, когда его жизнь оборвала пуля.

Этот любопытный документ был опубликован в американской печати после кончины президента.

Насколько можно судить, речь должна была состоять из двух неравноценных частей. В заключительной ее части президент, явно собираясь утихомирить недовольных тexasских магнатов монополистического капитала, намеревался подчеркнуть рост прибылей финансовых корпораций (за три года на сорок три процента) и рост стратегической и ядерной мощи США. Однако в основной части речи Кеннеди, которую он хотел, но не смог произнести в Далласе, прозвучали бы гневные ноты и горький упрек именно по адресу тех, кто, как теперь известно, принял решение заставить его замолчать навеки. Вот некоторые отрывки этой произнесенной речи: «В масштабе города или фирмы невежество или дезинформация являются препятствием для прогресса, но если мы допустим, чтобы они взяли верх во внешней политике, то они могут подорвать безопасность нашей страны...» «В стране всегда будут раздаваться голоса инакомыслящих, при этом таких, кто, выражая свое несогласие, не предлагает собственного решения... Однако сейчас в нашей стране звучат другие голоса, проповедуются взгляды, совершенно не учитывающие реального положения дел, вовсе неприменимые в шестидесятых годах; сторонники этих взглядов исходят, видимо, из предположения, что можно ограничиваться словами, а средств для достижения цели не нужно; по их мнению грубые выпады столь хорошее дело, что они равносильны успеху в борьбе, а забота о мире — признак слабости». Недвусмысленную критику авантюризма хозяев столицы нефтяных монополий Кеннеди собирался завершить резкой отповедью по поводу их атак на экономическую и финансовую активность правительства.

Вонистину достаточно текста речи, с которой президент хотел выступить в столице нефтяных монополий, для того, чтобы определить, какие силы и группы могли добиваться его устранения. Из этой же речи видно, что он понимал, сколь опасны происки агрессивных групп. И в этом отношении уместна аналогия между Кеннеди и Ратенау.

Деятельность и гибель Ратенау и Кеннеди — это вехи в развитии кризиса общественного сознания буржуазии в переходную эпоху.

6. РАЗОРВАННОСТЬ СОЗНАНИЯ И «ДЬЯВОЛ ФУЛБРАЙТА»

С точки зрения современника, не располагающего всей полнотой сведений, злободневные события и во всяком случае внутренний мир их участников можно уподобить кибернетическому «черному ящику», то есть системе, скрытый механизм которой и многие важные детали неизвестны наблюдателю. Чтобы получить представление о «содержании» такого «черного ящика», прибегают к помощи модели. В начале нашего очерка такой «моделью» послужили литературные образы и философские абстракции. Теперь мы попробуем использовать конкретные сведения о мировоззрении реально существовавшего человека.

Тонкий знаток человеческих характеров, писатель Стефан Цвейг рассказал в ме-

муарах о своих беседах с Вальтером Ратенау¹. Таким образом, имеется редкая возможность сопоставить объективные факты из практики крупнокапиталистического деятеля с его субъективными настроениями, с его оценкой плодов собственной деятельности. Перед нами раскрывается уже знакомая картина «разорванного сознания» как модель внутреннего мира современных капиталистических деятелей.

Знакомство между Стефаном Цвейгом и Ратенау первоначально было заочным. Между ними завязалась переписка, когда Ратенау опубликовал под псевдонимом в одном из журналов свои философские афоризмы, а Стефан Цвейг на них откликнулся, не зная, кто автор. Первая встреча между корреспондентами состоялась до мировой войны 1914—1918 годов.

Внутренний мир крупнобуржуазного деятеля накануне первой мировой войны раскрывается в следующем рассказе Стефана Цвейга: «Заметно было, что, при всем его огромном уме, он не чувствует твердой почвы под ногами. Все в нем говорило о вечном столкновении непрестанно возникающих противоречий. Он унаследовал от отца огромнейшую власть, но не хотел быть его наследником. Он был предпринимателем, а желал бы стать человеком искусства... Он мыслил в международном плане, но преклонялся перед пруссачеством, мечтал о народной демократии, однако ему всегда льстило, когда кайзер Вильгельм его принимал и с ним советовался... Его неутомимая деятельность словно наркотик давала ему забвение, помогала преодолеть свою тайную неуверенность и преодолеть чувство одиночества».

Миновала мировая война, закончившаяся поражением германского империализма. Вскоре после подписания Рапальского договора писатель и министр снова встретились. Ратенау беседовал со Стефаном Цвейгом в автомобиле по дороге в министерство и использовал эту возможность для разговора по душам. По словам Стефана Цвейга, Ратенау с горечью признавался в том, что не верит в успех мирной политики, за которую ратовал. Мир, сказал он, возможно, упрочится «через десять лет, когда у всех дела будут плохи, а не только у нас одних». (Через десять лет действительно во всех капиталистических странах дела были так же плохи, как в послевоенной Германии: разразился небывалый экономический кризис, но он привел не к миру, а, наоборот, ко второй мировой войне.) Ошибаясь в оценке последствий кризиса, время наступления которого он предсказал, Ратенау все же понимал, какие силы толкают к войне. Он говорил Цвейгу: «Нужно отстранить старое поколение дипломатов, а генералы пусть останутся только в качестве памятников на площадях». Ратенау не надеялся на то, что его пожелания осуществляться. Цвейг так заканчивает рассказ о своей последней встрече с Ратенау: «Редко бывало в истории, чтобы человек в таком скептическом настроении и столь полный сомнений брался за решение избранной им задачи, которую, как он сам понимал, ему не дано разрешить, ее в состоянии разрешить только время».

Через несколько дней после этой беседы Ратенау был убит в том же автомобиле и на той же улице.

Естественно, еще нет овидетельств об интимных беседах с Кеннеди, но, судя хотя бы по проектам его последних речей, можно предполагать, что он был не чужд таким сомнениям, какие, по словам Стефана Цвейга, испытывал Ратенау. Прошлое помогает нам осмыслить настоящее.

Впрочем, аналогичные опасения высказывают и другие современные политики.

«Американская политическая мысль страдает в послевоенное время своего рода шизофренией», — писал несколько лет назад известный американский дипломат и незаурядный публицист Джордж Кеннен. «Мы замечаем, что живем в двух различных мирах: один мир благополучен и рационален, и мы себя чувствуем там комфортабельно... другой мир воспринимается как кошмар... В одном применимы старые традиционные концепции, а в другом — действует только закон джунглей».

Конечно, Кеннен заговорил о шизофрении общественной мысли, основываясь на реальных фактах, отнюдь не под впечатлением книг Кафки или романа «Чума», в ко-

¹ Stefan Zweig. Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers (Стефан Цвейг. Мир вчерашнего дня. Воспоминания европейца). Berlin, 1955.

тором французский писатель Камю показал, как жители процветающего буржуазного города могут оказаться во власти стихийной силы и шизофренического кошмара.

В реальном мире существует фашизм, угрожающий людям подобно стихийной, обесчеловечивающей их силе. В жизни, а не только в романе Камю, честные люди, пытаясь оказать спасительную помощь своим согражданам, натываются на бюрократические рогатки. В американской действительности потерявшие самообладание политики панически вопрошают: «Как выжить?» — словно чума уже обрушилась на город. «Как выжить?» — называется справочник военно-воздушных сил США на 1964—1965 годы.

Между тем трезво мыслящие деятели пытаются вообще взглянуть по-новому на действительность. Такой смысл имела нашумевшая речь председателя сенатской комиссии по иностранным делам Фулбрайта от 24 марта 1964 года. Радикальные предложения Фулбрайта касательно внешней политики США известны из газет. В рамках нашего изложения интересны историко-философские рассуждения Фулбрайта. Он говорил: «Мы склонны рассматривать каждый конфликт как столкновение Добра со Злом, а не как обыкновенный конфликт интересов. Мы склонны видеть в свободе и демократии моральные принципы и хотим думать, что они обязательно должны всюду принимать формы, существующие в Америке: капитализма, федерализма и двухпартийности». «Мы были убеждены, что дьявол избрал своей постоянной резиденцией Москву»... Однако «дьявол сыграл с нами скверную шутку, он гуляет по свету и — что гораздо хуже — стал вездесущим, появляется во многих местах одновременно, относясь с чисто дьявольским безразличием к тщательно установленным идеологическим границам».

В книге Норберта Винера «Кибернетика и общество» содержится острое рассуждение о том, что «элемент случайности — это органическое несовершенство» мира; в нем надо видеть не «предумышленное зло», преследующее человека согласно учению манихейцев, а распространенное во всем мире «негативное зло, которое св. Азгустин охарактеризовал как несовершенство» окружающего мира.

Вне сомнений во всяком случае, что общественное зло в современном мире есть проявление несовершенства этого мира. С этой точки зрения вездесущий «дьявол Фулбрайта», действующий в обществе, воспринимается как знаменательная аллегория, как образное выражение того, что общественно-политический кризис современного капитализма вовсе не результат предумышленных действий, в частности «дьявольских козней Москвы», он плод органического несовершенства современного общества.

«Дьявол Фулбрайта» вездесущ по той причине, что «несовершенство» дает себя знать в самых различных областях экономической и общественной жизни. На международной арене обнаруживается несовершенство тех средств, с помощью которых капитализм пытается противостоять социализму и подъему новых освободившихся стран. Внутри самой капиталистической системы все очевидней становится несовершенство традиционных методов предпринимательской и иной экономической деятельности. Рост материального богатства и научно-технический переворот порождают новые противоречия в экономической и политической жизни. Несовершенство методов и форм управления экономикой хотя и не проявляется в кризисах, но создает новые тормозы в развитии, вызывает убыстряющуюся бюрократизацию хозяйственной жизни, и притом не только в национальных рамках, но и в европейском «Общем рынке». Экономическая концентрация усиливает всевластие монополий, а это в свою очередь углубляет противоречия между монополистической олигархией и большинством населения. Дьявол вездесущ...

Кризис капиталистической системы воздействует на политическую и общественную жизнь не только в периоды спада или хозяйственной катастрофы, но и при высокой конъюнктуре. Полнейшая материальная подготовка социализма в современных высоко развитых капиталистических странах является предпосылкой для двух процессов: для изменений в существующей государственно-политической надстройке и для формирования исторических сил, которые покончат с этой надстройкой и превратят возможность социализма в действительность.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА ДЕЯТЕЛЕЙ I ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Сто лет назад — 28 сентября 1864 года — митинг в лондонском Сент-Мартинс Холле возвестил о рождении первой массовой международной пролетарской организации — Международного Товарищества Рабочих — I Интернационала.

Душой этой организации, ее руководителем, автором всех ее программных документов был Карл Маркс. По словам Энгельса, Интернационал был венцом всей партийно-политической деятельности Маркса.

«Первый Интернационал (1864—1872) заложил фундамент международной организации рабочих для подготовки их революционного натиска на капитал...» — так оценивая место и значение этой организации в истории, писал В. И. Ленин.

На этом фундаменте выросло гигантское здание мирового коммунистического движения — более сорока двух миллионов человек объединяют ныне в своих рядах коммунистические и рабочие партии мира!

Пролетарский интернационализм, провозглашенный I Интернационалом, решительная защита единства международного коммунистического движения — и теперь важнейшее условие успехов в борьбе за мир, демократию и социализм.

Результатом огромной и разносторонней деятельности I Интернационала была не только победа организационных и тактических принципов марксизма — важным итогом деятельности Международного Товарищества Рабочих явилось создание сплоченного ядра последователей, учеников и сторонников Маркса, закалившихся в школе революционной борьбы.

Именно такими были верный соратник Маркса, член Союза коммунистов и член Генерального совета Интернационала портной Фридрих Лесснер (1825—1910), швейцарец Иоганн Филипп Беккер (1809—1886) — организатор немецких секций Интернационала в Швейцарии, Вильгельм Либкнехт (1826—1900) — близкий друг и ученик Маркса, один из создателей германской социал-демократической партии, и другие деятели Интернационала, письма которых публикуются ниже.

Письма этих преданных делу рабочего класса помощников Маркса, самоотверженно отдававших себя практической работе в Генеральном совете, освещают самые разные стороны повседневной, будничной деятельности Интернационала 1865—1869 годов. И, что особенно ценно, в письмах этих отражено отношение членов Интернационала к Марксу, тот огромный авторитет, которым он пользовался у них.

Письма — в переводе с немецкого — публикуются впервые по рукописям, хранящимся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Публикация подготовлена научными сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС: Л. Леваневской, О. Сенекиной, И. Синельниковой.

В. Либкнехт и К. Шиллинг — президенту Соединенных Штатов Северной Америки г-ну Джонсону

Господин президент!

В соответствии с решением, принятым единогласно 1-го сего месяца Берлинской общиной Всеобщего германского рабочего союза¹, в этом письме мы выражаем Вам, как представителю великого американского свободного государства, наше глубокое возмущение гнусным злодеянием, в результате которого Ваша страна и весь мир потеряли хорошего человека и верного своему долгу президента-гражданина Авраама Линкольна. Мы заверяем Вас в наших самых горячих симпатиях к делу, мучеником и жертвой которого он стал.

Нам, представителям рабочего класса, не нужно доказывать искренность своих симпатий, ибо мы можем с гордостью указать на тот факт, что в то время, как в Старом Свете аристократия открыто брала сторону рабовладельцев Юга,

а буржуазия была расколота в своих мнениях, — рабочие всех стран Европы единодушно и твердо стояли на стороне Союза². И как же могло быть иначе? Ведь та великая борьба, которую вел американский народ и ныне победно завершил, была борьбой свободного труда против рабства, труда действительно свободного, ибо этот труд обладает всей полнотой политических прав и пользуется таким почетом, которого он — создатель общественного богатства и государственной свободы — заслуживает, но которого, к сожалению, лишен труд в Европе: здесь он политически бесправен. Страна Франклина³ и Линкольна⁴, страна, высшим должностным лицом которой стал и теперь сын трудового народа, реализовала права трудящихся. Пример, который она нам дает, не будет забыт.

Мы еще и еще раз выражаем свое восхищение Авраамом Линкольном — самым чистым и самым благородным среди чистых и благородных мучеников свободы.

Он выполнил свой долг.

И счастлива страна, которая после такой ужасной войны, после такого неслыханного преступления сумела не нарушить основ общества и дать в качестве последователя Авраама Линкольна — Эндрию Джонсона⁵.

От имени Берлинской общины Всесоюзного германского рабочего союза

В. Либкнехт, 13, Нейенбургерштрассе, Берлин.

*К. Шиллинг*⁶, 85, Александриненштрассе, Берлин.

Берлин, 11 мая 1865 г.

¹ Всеобщий германский рабочий союз (1863—1875) — политическая организация пролетариата Германии, созданная на съезде рабочих обществ в Лейпциге. С самого своего основания организация эта подпала под оппортунистическое влияние Фердинанда Лассалья (1825—1864). В результате борьбы передовой части Союза, связанной с Марксом и Энгельсом, против лассальянского руководства возникла оппозиция, многие члены которой принимали активное участие в работе Интернационала. Берлинская община, целиком состоявшая из противников лассальянского руководства и возглавляемая Вильгельмом Либкнехтом, была тесно связана с Генеральным советом Интернационала и всецело поддерживала его. В частности, она поддерживала и его стремление выработать у пролетариата не зависящую от правящих классов позицию в вопросах внешней политики, особенно в отношении к борьбе за освобождение негров в Америке.

² Имеется в виду объединение Северных Штатов, сражавшихся против рабовладельческого Юга.

³ Франклин Бенджамин (1706—1790) — выдающийся американский политический деятель и дипломат, буржуазный демократ, участник войны за независимость в Северной Америке.

⁴ Линкольн Авраам (1809—1865) — выдающийся американский государственный деятель, президент США (1861—1865), активно выступавший против политики рабовладельцев Юга; в 1865 году был убит агентом рабовладельцев.

⁵ Джонсон Эндрию (1808—1875) — американский государственный деятель, выходец из трудовой семьи, принадлежал к демократической партии; в годы гражданской войны в США (1861—1865) был вице-президентом (с 1864 года) а с апреля 1865 года, после убийства А. Линкольна, стал президентом США. Впоследствии проводил политику соглашения с плантаторами Юга.

⁶ Шиллинг К. — немецкий рабочий-наборщик, активный член Берлинской общины Всеобщего германского рабочего союза.

И. Ф. Беккер — К. Марксу

Женева, 18 декабря 1865.

Дорогой друг Маркс!

Мое письмо от 28 числа прошлого месяца, которое я послал тебе через Юнга¹, ты оставил без ответа. Неужели снова все должно замереть? Ведь издание немецкого органа² — дело очень важное и неотложное. Позавчера появился первый номер французской газеты³, и нужно поистине обладать долготерпением, чтобы дальше участвовать во всей этой мышиной возне.

Пользуясь созывом конгресса, вы должны немедленно издать циркуляр и сообщить всем центральным комитетам на континенте правильные согласованные

установки, надо потребовать его опубликования во всех местных органах. Нам же придется дожидаться получения немецких шрифтов, и поэтому наш первый номер появится лишь в январе. У тебя еще есть время что-либо предпринять в этом плане, и я жду ответа на мое последнее письмо. Мне очень нужен твой адрес, которого я не записал в Лондоне. Будет ли Бендер⁴ принимать там подписку? В Лейпциге, Готе, Штуттгарте и Нюрнберге образуются секции: должны ли мы сейчас принимать их здесь, пока не возрастет их число в Германии и там не будет образован центральный комитет?

Предстоит присоединение еще 64-х секций Просветительного немецкого рабочего общества в Швейцарии. Вчера состоялось общее собрание нескольких секций Интернационала в Лозанне, куда мы направили двух делегатов. Короче говоря, дела подвигаются, и вы всегда сможете узнать из нашей газеты о нашей деятельности и успехах.

Сердечный привет тебе и семье.

И. Ф. Беккер.

Р. S. Ты, вероятно, знаешь, дорогой Маркс, что Швейцер⁵ и Хофштеттен⁶ из «Social-Demokrat» окончательно порвали с Бернхардом Беккером⁷, что последний вследствие этого 21 ноября заявил об уходе с поста президента Всеобщего рабочего союза и Фрицше⁸, сигарочник из Лейпцига, временно принял на себя обязанности президента, а Швейцер был затем 24 ноября арестован. Одна часть членов общества еще и сейчас держится с Б. Беккером, другая — на стороне Швейцера, и многие и слышать ничего не хотят о президентстве Фрицше. Мы должны попытаться как можно быстрее извлечь максимально возможную пользу из этого хаоса.

Пошли все же мне то, что у тебя есть из своих ранних работ, особенно программу 1847 г.⁹ и т. д. Что делает Энгельс?

Б.

¹ Юнг Герман (1830—1901) — член Генерального совета Интернационала.

² Речь идет о подготавливавшемся издании журнала «Vorbote» («Предвестник»), который выходил с 1866 по 1871 год под редакцией И. Ф. Беккера и являлся органом Интернационала в Швейцарии.

³ Имеется в виду «Journal de l'Association Internationale des Travailleurs» («Газета Международного Товарищества Рабочих»).

⁴ Бендер — книготорговец и издатель в Лондоне.

⁵ Швейцер Иоганн Баптист (1833—1875) — один из видных лассальянцев, с 1867 по 1871 год — президент Всеобщего германского рабочего союза.

⁶ Хофштеттен Иоганн Баптист (ум. в 1887 году) — лассальянец, в 1864—1867 годах — издатель и один из редакторов газеты «Social-Demokrat» («Социал-демократ»).

⁷ Беккер Бернхард (1826—1882) — немецкий публицист, историк, лассальянец, в 1864—1865 годах — президент Всеобщего германского рабочего союза.

⁸ Фрицше Фридрих Вильгельм (1825—1905) — лассальянец, один из основателей Всеобщего германского рабочего союза.

⁹ Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии».

В. Либкнехт — И. Ф. Беккеру

10, Байришештрассе, Лейпциг,
8 февраля 1866 г.

Мой дорогой Беккер!

Прежде всего разреши пожать тебе руку и торжественно просить прощения: я был не прав, считая одно время, что ты попался в сети престарелой Армиды — графини Гацфельдт¹. Виноват, мой старый генерал².

Экземпляры «Vorbote» я получил. Немедленно вышли мне дюжину номеров за февраль и сообщи, какова стоимость каждого номера с доставкой (при посылке одного и нескольких экземпляров), а также — как ты хотел бы организовать рассылки и, соответственно, сбыт. Здесь будет распространяться большое количество экземпляров, потому что акции Интернационала вообще стоят высоко.

До сих пор мне удалось привлечь лишь двенадцать человек. Но я только

лишь приступил к непосредственной деятельности (ты можешь себе представить, что здесь — независимо даже от моих личных взаимоотношений — потребовалась длительная подготовка). В числе тех, кого мне удалось привлечь, весь состав правления общества рабочих (некогда шульцеанского), насчитывающего пятьсот членов³, другие принадлежат к влиятельным демократам. Два самых многочисленных лейпцигских общества: уже упомянутое общество рабочих и Союз печатников (семьсот членов) находятся в моем распоряжении, и я в ближайшие дни выступлю в обоих с официальными докладами о Международном Товариществе Рабочих.

Мой план — объединить наконец на платформе Интернационала старых лассальянцев с бывшими шульцеанцами, и мне это, несомненно, удастся.

Напиши, с кем из лассальянцев ты связан; до сих пор я не уделял внимания этим людям, совершенно разобщенным, а ведь среди них есть и здоровые элементы.

В Берлине (где я недавно побывал инкогнито) я подготовил тебе почву для непосредственной переписки (Август Фогт, Матнеусштрассе, 16, 4-й этаж, это отличный парень из старой гвардии).

Пришли немедленно свежие номера «Vorboten» и напиши как можно скорее.

При случае пошлю тебе небольшую статью (отчет или информацию) для мартовского номера и тогда напишу тебе более подробно.

Привет.

Твой старый В. Л.

Ты можешь называть меня: И. Миллер.

Адрес указан наверху.

Это, пожалуй, надежнее.

Каково отношение Рюстова⁴ к Гацфельдт?

¹ Гацфельдт Софья (1805—1881) — графиня, друг и сторонница Лассалья.

² Либкнехт называет Беккера «мой старый генерал» в память об их совместном участии в баденско-пфальцском восстании 1849 года, во время которого Беккер командовал дивизией.

³ Речь идет о Лейпцигском просветительном обществе, находившемся первоначально под влиянием вульгарного экономиста Германа Шульце-Делича (1803—1883), пытавшегося отвлечь рабочих от политической борьбы путем организации обществ взаимопомощи.

⁴ Рюстов Фридрих Вильгельм (1821—1878) — военный писатель, демократ, друг Лассалья.

Фридрих Лесснер — И. Ф. Беккеру

Лондон, 4, Фрэнсис-стрит, Тоттенгем.
Курт Род.

Дорогой друг Беккер!

То, что понадобилось так много времени для ответа, — не моя вина. Причиной этому — уйма препятствий. Твое письмо госпоже Маркс я самолично вручил ей в тот же день, и ему были очень рады. Наш Маркс как раз собирался отправиться на взморье, чтобы немного поправить свое здоровье. По последним сведениям, он чувствует себя гораздо лучше и, возможно, сейчас уже возвращается в Лондон или уже приехал.

К Францу Тимму¹ я также пошел сразу; правда, застал я его только после третьего визита. Он сказал мне, что от фирмы Ферлаг-Халле никаких книг не получено; ты должен ему сообщить, через какой книжный магазин он их получит. А то, что он получил и не продал, — на следующей пасхальной ярмарке он перешлет в Лейпциг, так же как и деньги, если ему все-таки удастся что-нибудь продать.

Таков был ответ, который я от него получил. Поэтому сообщи ему сразу же, через какой книжный магазин он их должен получить. Счет, который ты для него послал, Тимм мне вернул, и я его пока буду хранить.

Что касается нашего конгресса², то дела здесь обстоят не так уж хорошо; из-за движения за реформу³ англичане совсем от нас отошли; подготовкой кон-

гресса занимаются только Юнг, Дюпон⁴ и мы, немцы. Но что можем мы здесь делать без англичан и без Маркса? То, что с англичанами мы можем сделать много, для этого у нас есть достаточные доказательства, но без них невозможно развернуть успешные действия. У членов Международного Товарищества Рабочих столько неотложных дел, что для тех, кто знаком со здешней обстановкой, не удивительно, что в подготовке конгресса мы несколько отстали. Лично я очень недоволен тем положением, в котором мы находимся; но в то же время я хорошо знаю, что причиной этому не люди, а современная обстановка. Поэтому не следует терять мужества, вскоре все будет улажено; я думаю также, что мы будем хорошо представлены на конгрессе, если только сумеем раздобыть денег. Может быть, наш Маркс скоро снова будет с нами, и тогда в нас всегда будет уверенность, что, если возникнет необходимость говорить, — будет сказано все, что нужно, а когда нужно будет действовать, то будет сделано все, что требуется, — для этого уже есть достаточное доказательств.

О том, что тут возникают большие трудности, ты, вероятно, слышал от нашего друга Юнга? Неприятности, вызванные поведением Кримера⁵, также следует иметь в виду, но несмотря ни на что, мы будем работать вовсю. Как говорится: «Один пойдет — за ним потянутся десять других». Обстановка такова, что люди становятся лучше, деятельнее и решительнее.

Надеясь, что в моем следующем письме я смогу сообщить более радостные вести, я заканчиваю и считаю, что наше положение не будет понято неправильно и никто не подумает, что мы равнодушны, ибо каждый, кто с нами действует, должен знать, что от благоприятного или неблагоприятного исхода конгресса зависит решение рабочего вопроса на ближайшее будущее. Итак, я надеюсь, что, хотя в настоящий момент все это выглядит неблагоприятно, конгресс тем не менее будет событием. Сорок экземпляров «Vorbote» я получил, и в следующий раз отчитаюсь о том, как я ими распорядился: Маркс, Эккарнус, Юнг и другие получили некоторые из них.

Извини же меня за долгое молчание, — оно было не по моей вине. Когда принимаешь участие в работе стольких обществ, часто не остается времени, чтобы черкнуть строчку.

Пока сердечно тебя приветствует твой друг

Фридрих Лесснер.

Лондон, 5.4.1866.

¹ Тимм Франц — книготорговец в Манчестере.

² Имеется в виду Женевский конгресс I Интернационала 1866 года.

³ Речь идет о борьбе за реформу избирательного права в Англии 1866—1867 годов.

⁴ Дюпон Эжен (1831—1881) — французский рабочий, мастер музыкальных инструментов, член Генерального совета Интернационала.

⁵ Кример Уильям Рэндал (1828—1908) — деятель английского тред-юнионистского и буржуазно-пацифистского движения, член Генерального совета Интернационала, противник революционной тактики в период борьбы за реформу избирательного права в Англии.

Фридрих Лесснер — И. Ф. Беккеру

4, Фрэнсис-стрит.

Дорогой друг Беккер!

Посылаю тебе 1 ф. 7 шиллингов за «Vorbote», 4 шилл. 6 пенсов от шести подписчиков на №№ 1—6 и 1 ф. 2 шилл. 6 пенсов от подписчиков на №№ 7—12. Пришли, пожалуйста, квитанцию через Юнга.

Я собрал от подписчиков только половину денег и поэтому пока выкладываю собственные. Если восьмой номер придет вовремя, тогда я сразу получу всю сумму. Многие уже думают, что поскольку № 8 до сих пор еще не вышел, то он уже и не увидит света.

Около шести подписчиков я потерял — они почти все уезжают в Америку; я надеюсь все же, что скоро смогу восстановить прежнее количество.

Все лишние экземпляры, которые были у меня, у Юнга и у Маркса, я отправил с ними в Америку — в Нью-Йорк, Чикаго, а также в Мидлтон и Коннектикут. Надеюсь, они там сыграют пропагандистскую роль. К сожалению, у нас не было достаточно первых номеров — всего несколько, — их я и послал. Поэтому я прошу выслать, если они у вас имеются, несколько экземпляров первых номеров, особенно № 1. Надеюсь, что вы это сделаете.

«Commonwealth»¹ я тебе за последнее время послал, не знаю, получил ли ты, во всяком случае договорись с Юнгом, как поступать в будущем.

Твое поручение относительно Ф. Тимма я выполнил. Я заходил к нему несколько раз, прежде чем застал его дома. После того, как я совершенно определенно объяснил, что мне от него нужно, он мне дал прежний ответ. Тогда я ему сказал, что у меня в руках имеются доказательства, которые точно подтверждают, что он получил книги от тебя и некоторые из них продал; после этого он уж решил сообразоваться проверить все это и сказал, чтобы я пришел к нему снова через три недели, а сейчас у него, мол, нет времени, так как он должен уезжать.

По его просьбе я оставил Тимму счет и сказал, что обязательно явлюсь к нему через три недели и чтобы он к этому времени все выяснил, что он мне и обещал.

По истечении трех недель я обязательно у него буду.

Что касается нашего конгресса, то вы, наверное, будете недовольны небольшим числом делегатов, но в настоящий момент уже ничего изменить нельзя. Нам стоило очень больших усилий отправить и этих, да и удалось это скорее благодаря помощи иностранцев, чем англичан. Больше всего старались Юнг и еще несколько немцев, чтобы набрать денег и людей.

Я бы поехал очень охотно, но не хватает денег, а собственных средств у меня нет, поэтому я должен остаться. От нашего рабочего Просветительного общества² мы бы охотно кого-нибудь послали, но мы не смогли раздобыть средств, с большим трудом мы собрали 2 фунта для Генсовета. Все же мы выдали мандат Эккарису³ и Картеру⁴, англичанину, члену нашего общества, — они и будут представлять его на конгрессе. Немцы должны позаботиться о том, чтобы потом обращение и устав были бы напечатаны целиком. Мы всегда оказываемся в затруднительном положении, когда нас о них спрашивают, и если бы эти документы не были опубликованы в «Vorboten», тогда мы совершенно лишены были бы возможности их распространять.

То, что наш друг Маркс не может присутствовать, безусловно отрицательно скажется на конгрессе, но я все же надеюсь, что ты и наши друзья вместе с нашими делегатами приложите все усилия, чтоб он прошел успешно. И я надеюсь, что Марксу и Энгельсу поручат выработать манифест, который должен быть итогом конгресса.

Тогда мы можем быть уверенными, что возместится все то, что было потеряно в связи с их отсутствием на конгрессе. То, что они способны это сделать, уже достаточно доказано. Будем надеяться, что на втором конгрессе они уже не будут отсутствовать.

Хотя мы, немцы, делаем больше всех как мыслители, на конгрессе вследствие сложности современных условий представлены очень слабо. Мы должны позаботиться и вдвойне возместить в духовном смысле то, что мы не можем обеспечить количеством.

В надежде, что первый европейский рабочий конгресс будет проходить хорошо и успешно, приветствует тебя самым дружеским образом

твой Фридрих Лесснер.

Лондон, 30/7 1866.

¹ «Commonwealth» («Республика») — английская еженедельная газета, орган Генерального совета Интернационала издавалась в Лондоне с февраля 1866 по июль 1867 года.

² Речь идет о Просветительном обществе немецких рабочих в Лондоне.

³ Э к к а р и у с Иоганн Георг (1818—1889) — рабочий-публицист, по профессии портной, член Генерального совета, делегат всех конгрессов и конференций Интернационала.

⁴ К а р т е р Джеймс — деятель английского рабочего движения, по профессии парикмахер, член Генерального совета Интернационала, участник Лондонской конференции (1865), Женевского (1866) и Лозаннского (1867) конгрессов Интернационала.

В. Либкнехт — И. Ф. Беккеру

11, Бройштрассе, Лейпциг,
3 августа 1867 г.

Дорогой старик!

Конверт, в котором ты получишь это письмо, был написан еще 27 мая; два дня спустя умерла моя жена — затравленная Бисмарком, — и с тех пор я не мог уделить тебе хоть сколько-нибудь времени. Да и сейчас урываю каких-то несколько минут.

Здесь, в Саксонии, дела наши обстоят хорошо; рабочее население Рудных гор настроено социалистически и демократически (но не «социал-демократически» в духе Швейцера), и преступление в Лугау¹ вновь привело в движение все горняцкое население области. Я сам был в Лугау, собрал необходимый материал и буду бороться до конца против тамошних рабовладельцев. Ты скоро от меня об этом узнаешь.

С выборами² дела идут так, как мы того хотели. Бебель³ (член Международного Товарищества Рабочих), Шрапс, Вигард, Фрезе, а также и я почти наверняка пройдем. То, что Народная партия⁴ — социалистическая, ты увидишь из пункта 4 нашей Хемницкой программы, которую ты можешь напечатать. Она была составлена в прошлом году, и мы твердо ее держимся. Если она не достаточно цельна, это объясняется историей ее создания.

То, что мы здесь не можем много сделать непосредственно для Международного Товарищества Рабочих, это определяется местными условиями. Мы вынуждены заниматься политикой. Если бы мы занимались чисто социалистической агитацией, как этого хотят официальные социал-демократы в Берлине, мы бы только действовали на руку нашему общему врагу, врагу всех честных немецких демократов, социалистов и патриотов, то есть действовали бы на руку прусскому цезаризму. Этого нельзя допускать любой ценой.

Во всяком случае могу сказать, что нам удалось привлечь большинство саксонских рабочих обществ к борьбе за наши принципы, заинтересовать основную массу рабочих социальным вопросом и вытеснить из Саксонии прусскую партию, которая абсолютно ничем не отличается от буржуазной партии. Раньше в Лейпциге Готская партия⁵ была всемогуща, теперь же она и пикнуть не смеет.

Пожалуйста, вышли мне немедленно два полных комплекта «Vorbote» с 1 июля прошлого года. Деньги за них, а также за два или три ранее полученных комплекта (сколько точно?), если оплатить их должен я, ты получишь в следующий раз. К сожалению, у меня не хватает времени, а то бы я мог набрать еще подписчиков, однако я постараюсь впредь делать больше, чем делал до сих пор. С июня прошлого года у меня не было ни минуты покоя. Война⁶, запрещение моей газеты, арест, болезнь и смерть жены. Думаю, все это вполне объясняет мое долгое молчание.

Не заходи слишком далеко с Фрицше.

Написал ли ты ньюйоркцам? Тамошний «Коммунистический немецкий рабочий клуб»⁷ принял 2 июля решение о присоединении к Международному Товариществу Рабочих.

Адрес: Ф. А. Зорге⁸.
Через Гамбург или Бремен.

Почтовый ящик 101, Хобокен Нью-Джерси
через Нью-Йорк. Америка.

Зорге ты, наверное, знаешь по Женеве.

Бебель шлет тебе привет.

Ну, будь здоров, старый верный боевой товарищ, не сердись больше на твоего

В. Либкнехта.

Да, вот еще что: Бебель токарь, его специальность — изготовление дверных и оконных ручек, со всеми к ним принадлежностями, розеток, щитков для замочных скважин, задвижек из рога буйвола. Его изделия исключительно красивы, хотя они немного дороже, чем латунные. Во всей Южной Германии и Швейцарии их не изготавливают. Единственное агентство имеется в Цюрихе. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто мог бы взяться за это дело? На этом можно зарабатывать. Каталог и образцы с прейскурантом можешь получить, если захочешь. Я буду очень рад, если ты что-нибудь сделаешь в этом плане, так как Бебель из-за своего перехода на нашу сторону потерял почти всю свою местную клиентуру.

¹ Имеется в виду катастрофа в одной из шахт Лугау.

² Речь идет о выборах в северогерманский рейхстаг 1867 года.

³ Бебель Август (1840—1913) — выдающийся деятель международного рабочего движения, член I Интернационала, депутат рейхстага, один из основателей и вождей германской социал-демократии.

⁴ Имеется в виду Саксонская народная партия, организованная Бебелем и Либкнехтом в 1866 году, объединявшая рабочих и демократическую мелкую буржуазию.

⁵ Речь идет о Готской партии, образованной в июне 1849 года в городе Готе представителями контрреволюционной крупной буржуазии и правыми либералами.

⁶ Имеется в виду австро-прусская война 1866 года

⁷ «Немецкий коммунистический клуб в Нью-Йорке», основанный в 1857 году группой немецких революционных эмигрантов.

⁸ Зорге Фридрих (1828—1906) — видный деятель международного рабочего и социалистического движения, член Генерального совета Интернационала, организатор его американской секции.

И. Ф. Беккер — Фридриху Лесснеру

Женева, 11 октября 1867 г.

Дорогой Лесснер!

Ты и наш Эккарнус, вероятно, уже благополучно прибыли домой и снова развиваете там бурную деятельность, чем, впрочем, я занимаюсь здесь постоянно.

Жаль, что вы не смогли пробыть здесь до окончания Конгресса мира¹, чтобы увидеть, чем завершился весь этот ералаш. Да, эта европейская буржуазная говорильня показала себя рядом с нашим рабочим конгрессом², который, правда, тоже имел свои недостатки, в полном блеске.

Несколько дней назад я получил книгу Маркса³ и вчера просмотрел ее; это наш меч и наша броня, оружие нападения и защиты. Теперь мы вызываем на бой весь старый мир! Я уже поллевал на кулаки, чтобы выдать всем, кому следует, по заслугам.

Я как раз начал писать о ней в 10-м № «Vorboten». Но прежде чем я буду писать о Марксе, я дам отчет о нашем конгрессе и о Конгрессе мира. Очень жаль, что в Германии еще есть много людей в нашем Товариществе, которые рассчитывают на комедию мирного союза с буржуазией, и поэтому жаль, что я, дабы «быть практичным», не могу просто высказаться от всей души по поводу этой чепухи. Но я постараюсь применять к ним гомеопатический способ лечения — капельными дозами.

Теперь я должен сообщить тебе и Эккарнусу одну новость, и я делаю это с очень тяжелым сердцем — после многолетней внутренней борьбы я принял решение отказаться от руководства секцией немецкого языка и редакцией «Vorboten». Во-первых, невозможно одному человеку, даже если он будет трудиться день и ночь, выполнить непрерывно возрастающий объем работы; а мне приходится все делать одному, потому что тех довольно посредственных работников, которыми мы располагаем, едва хватает для руководства различными организациями секции. Во-вторых, я не могу выполнять эти обязанности по экономиче-

ским соображениям, потому что в течение трех лет я работал исключительно для Товарищества и безвозмездно. Поэтому мои материальные дела очень плохи, это очень огорчает и вынуждает терпеть лишения мою семью. В-третьих, в результате этой бесконечной работы, не имея ни часу отдыха в течение многих лет, не имея возможности посвятить своей семье ни одного воскресенья для прогулки, я дошел до совершенного физического изнеможения и душевной подавленности. Я охотно буду помогать, я буду делать столько, сколько делают те, кто работает больше всех, но продолжать и дальше делать все, что я до сих пор делал, — свыше человеческих сил. В Германии я хорошо наладил дело, но чем больше я делаю, чем больше я организую секций и чем больше обществ присоединяю, тем больше доставляю работы самому себе и тем невыносимее становится одному ее выполнять. Прикомандировать мне платного секретаря не позволяет состояние Центральной кассы, а допустить, чтобы рабочие платили мне самому, если бы даже у них были для этого средства, невозможно. Принимая во внимание отношение к этому вопросу большинства рабочих в Германии, я в таком случае лишился бы своей независимости и необходимого для плодотворной деятельности влияния. Положение тяжелое, и я уже строил на сей счет сотни самых разных планов. Ведь не хочется допустить, чтобы бесследно погибли результаты моей многолетней работы.

Я пыгаюсь сейчас выяснить у Либкнехта, не сможет ли он со своими друзьями в Лейпциге взять на себя дела Центрального Комитета и редакции «Vorboten», которая должна, конечно, быть вместе с Центральным Комитетом. Правда, там снова подлые законы о печати и вся полицейская государственная машина будут препятствовать этому. Дайте же мне совет, как, не принося вреда нашей организации, прийти к какому-нибудь решению?

В Цюрихе также недостаточно надежных людей. Что делать?

Книга Маркса должна непременно быть переведена на французский язык, потому что французы, которые почти совершенно перестали критически мыслить, особенно в ней нуждаются. Даже газеты нашего Товарищества, такие, как «Voix de l'avenir»¹ в Шо де Фоне нашего славного Куллери, очень жалки. Лучше бы у рабочих совсем не было своих органов печати, чем такие.

Ну, подумайте обо всем. Передайте мой привет Марксу, Эккариусу, Юнгу, Дюпону, Картеру и другим.

Всем сердцем твой

Иоганн Филипп Беккер.

У меня есть для вас 21 франк от портных из Нейенбурга. Может быть, еще кое-что прибавится, тогда я вам при случае пришлю.

¹ Имеется в виду Учредительный конгресс Лиги мира и свободы — буржуазно-пацифистской организации, который должен был начаться в Женеве 9 сентября 1867 года.

² Имеется в виду конгресс I Интернационала 1867 года в Лозанне.

³ Имеется в виду 1-й том «Капитала».

⁴ «Голос будущего».

Ганноверский комитет металлистов — К. Марксу

Ганновер, 5 ноября 1869 г.

Уважаемый господин доктор!

Мы взяли на себя смелость и надеемся, что Вы извините нас за то, что мы, испытывая крайнюю необходимость, обращаемся к Вам. Полные доверия и ожидания, мы рассчитываем, что Вы благожелательно отнесетесь к нашей просьбе. Мы просим не за себя, а за наших братьев в Лüneбурге, которые ныне находятся в крайне бедственном положении. Они терпят огромные лишения потому, что не захотели оставить в беде одного из своих братьев, пострадавших за правду. Он протестовал против того, чтобы в литейной использовали труд детей школьного возраста, что влечет за собой снижение заработной платы, и был за это уволен.

Но все формовщики — девяносто человек — заявили, что они немедленно прекратят работу, если их товарищ будет уволен. Дирекция завода с этим не посчиталась, и тогда все рабочие забастовали. Конечно, это пример большого самопожертвования, если подумать о том, что среди них насчитывается шестьдесят отцов семейств, которые добровольно обрекли себя на нужду и горе. Эти мужественные люди уже четыре недели не работают, и их нужда достигла предела. Все они — члены Всеобщего германского союза металлистов, но вследствие раскола, который произошел в профессиональных союзах из-за Швейцера, и вследствие непредвиденных забастовок в Гамбурге и Майнце мы не в состоянии оказать им достаточную поддержку.

Мы надеемся, что, ознакомившись с нарисованной нами в общих чертах картиной бедствования несчастных люнебургских рабочих, Вы извините нас за обращение к Вам с такой просьбой. Мы так хорошо помним те минуты, когда мы, пять металлистов, были у Вас, уважаемый г-н доктор, и вели с Вами беседу, и слушали ваши руководящие советы, касающиеся нашей партийной позиции по отношению к Швейцеру и Либкнехту (как партийному руководителю). Ваш благожелательный, беспристрастный, основанный на научных знаниях совет не пропал для нас даром, и мы отделились от Союза¹. Но чтобы добиться объединения рабочих-металлистов всех партий Германии, мы созываем на 28, 29 и 30 ноября съезд на основе программы Интернационала. Мы убеждены, что только на этом предложенном Вами пути может быть достигнута цель и тем самым положен конец проискам Швейцера и ему подобных. Хотя Швейцер и писал по поводу сгачки в Люнебурге, что комитет Союза выделил для бастующих люнебургских рабочих соответствующую сумму, но сегодня мы получили оттуда письмо, в котором говорится, что, несмотря на сообщение Швейцера, не получено ни одного пфеннига. Значит, все это ложь и обман, пустые слова. Мне незачем объяснять Вам, что это за личность — незачем. Вы, уважаемый господин, знаете его лучше нас. Этот человек угробил бы всякую эмансипацию рабочих, если бы рабочие сами не взялись за это. Мы не осмелились бы обратиться к Вам с нашей просьбой, если бы наша партия не проявила уже себя столь деятельной и инициативной. Поэтому мы с полным доверием рассчитываем, что Вы дадите нашей просьбе ход. В заключение ко всему вышеизложенному мы хотели бы еще просить Вас направить в качестве делегата на наш съезд подходящего человека, который принадлежал бы к местной организации Международного Товарищества, чтобы он мог помочь нам словом и делом. Если выполнению нашего пожелания будет что-либо препятствовать, то мы выражаем надежду, что Вы письменно сообщите нам в скором времени Ваши столь ценные для нас советы, которые просим направить по адресу г-на И. Хаманна, Шарлоттенштрассе, 65, в Линдене, через Ганновер.

В ожидании, что Вы поможете нам делом, подписываемся

с глубоким уважением

Комитет Союза металлистов:

Карл Бомм

И Хаманн, главный казначей Союза металлистов

Р. Якоби *В. Швабе*

К. Вульф *Х. Каманн*

Г. Фойерхан *В. Зиверт*

К. Хунзельман

Президиум Всеобщего германского
Союза металлистов².

¹ Имеется в виду Всеобщий германский рабочий союз.

² К сожалению, до нас не дошли ответные письма Маркса. Но в протоколе заседания Генерального совета от 23 ноября 1869 года значится сообщение Маркса о получении им письма из Ганновера, в котором речь идет о помощи бастующим рабочим.

Б. Гутсман — К. Марксу

Бреславль, 17 декабря 1869 г.

Глубокоуважаемый господин!

Будучи сам членом Международного Товарищества Рабочих, нижеподписавшийся обращается к Вам, как к секретарю Товарищества, с просьбой о помощи.

В Вальденбургском угольном районе забастовали около восьми тысяч рабочих. Д-р Макс Гирш, «полицейский лакей буржуазии», создающий профессиональные союзы лишь для того, чтобы парализовать классовое движение рабочих, имеет там значительное влияние.

Мы объявили борьбу бастующих рабочих своим делом, и Вы легко поймете, что здесь участие Интернационала, если оно будет успешным, принесет нам большую пользу.

Социал-демократическая партия, основанная в Эйзенахе, уже взяла дело рабочих в свои руки. В субботу некоторые из нас отправятся в тот район, чтобы призвать бастующих к стойкости и воодушевить перспективой поддержки со стороны Интернационала.

Уважаемый господин! Мы почитаем в Вас основателя Международного Товарищества Рабочих, автора «Капитала», — поднимите теперь голос в защиту восьми тысяч рабочих. Призовите Генеральный совет незамедлительно выпустить обращение и провести сбор средств. Пусть скорее направят деньги в редакцию «Volksstaat»¹ (Либкнехт, Бройштрассе, 11, Лейпциг).

Стачка имеет огромное значение. Если же другие страны не поддержат ее, она может легко потерпеть поражение.

Я воодушевлен идеей, которая заложена в Международном Товариществе Рабочих. Пусть же оно выступит в защиту бастующих и окажет им помощь. И тогда идеей Товарищества, подобно мне, воодушевятся тысячи, и клич «Пролетарии всех стран, соединитесь!» распространится по всей земле, повергая в ужас эксплуататоров-вампиров.

С глубочайшим уважением

Гутсман, столяр.

Бреславль, Вердерштрассе, 22.

¹ «Volksstaat» («Народное государство») — центральный орган немецкой социал-демократической рабочей партии (эйзенахцев), издававшийся в Лейпциге со 2 октября 1869 по 29 сентября 1876 года; газета выражала взгляды революционного течения в рабочем движении Германии.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. МАРШАК

★

О ШЕКСПИРЕ

В апреле этого года в нашей стране, как и во всем мире, торжественно отмечалось четырехсотлетие со дня рождения Шекспира. Но неподдельный интерес к его творениям не был исчерпан юбилейными днями. Вышли и продолжают выходить статьи и монографии, посвященные Шекспиру, появляются новые работы в области театра и кино — и почти везде мы встречаемся не с сугубо академическим, а с живым, современным истолкованием творчества великого драматурга.

Ниже мы публикуем статьи, затрагивающие значительные проблемы «шекспировского года»: статью академика Н. Конрада «Шекспир и его эпоха», статью М. Туровской «Гамлет и мы», фрагменты большой работы о Шекспире С. Маршака, которая писалась им для «Нового мира», но была оборвана смертью писателя.

Книги, как и люди, не переходят из класса в класс без экзамена. Даже самым знаменитым книгам приходится держать экзамен у каждого нового поколения в каждой стране. И бывает, что книга, мирно и спокойно стоящая на полке, как-то незаметно теряет свою жизненность и остроту. С ней происходит какой-то невидимый химический процесс. Проступает ее скелет — схема, которая была замаскирована недолговечными покровами. Но, к счастью, есть книги, не поддающиеся разоблачающему воздействию времени.

Столетия, прошедшие со дня смерти Шекспира, — достаточный срок для самой строгой и многократной проверки. И какие столетия это были, как много великих событий уместилось в них. В таком бурном океане времени мог бы потерпеть крушение и пойти ко дну самый устойчивый и хорошо оснащенный корабль. Этого не случилось с Шекспиром. Его чувствует весь мир, так сильно изменившийся после него. В праздновании его четырехсотой годовщины наряду с народами старой культуры принимают участие племена, которые в его эпоху были «dull and speechless tribes»¹ и которые наконец заговорили.

¹ Смутные и бессловесные племена.

Даты юбилеев не назначаются по произволу. Они предопределены. Но для юбилея Шекспира нельзя было бы выбрать более подходящего времени, чем наши дни — время великих подвигов и великих преступлений, время решительной борьбы за гуманизм.

Если многим людям прошлого и начала нынешнего века казались преувеличенными и неправдоподобными характеры шекспировских трагедий и хроник — Калибан, Макбет, леди Макбет, Ричард Третий, Клавдий, Яго и другие, — то последние десятилетия полностью оправдали самую мрачную фантазию великого драматурга. И тем дороже стали человечеству образы Гамлета, Ромео, Джульетты, Корделии — всех тех, кто противостоит людям низменных страстей и темных предубеждений.

Перечитывая Шекспира, с грустью думаешь: как это могло случиться, что до сознания человечества до сих пор не дошли такие простые, четкие, вещественно осязаемые слова о равенстве людей всех рас и национальностей, вложенные Шекспиром в уста Шейлока:

«...I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means,

warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?»¹.

Разумеется, эти слова не могут дойти до слуха фашистов или южноафриканских расистов, но они остаются на знамени всего передового человечества и ждут своей полной победы.

И чем больше становится у Шекспира читателей (а число их растет с каждым годом), тем больше основания надеяться, что он дойдет наконец до сердец всех людей на земном шаре, что он не будет только развлекать зрителей в театре и служить материалом исследований и лекций, а будет воздействовать на жизнь всей силой своего светлого и могучего таланта.

Я рад, что в нашей стране Шекспир становится достоянием миллионов зрителей и читателей даже в тех отдаленных краях, где население до революции не умело читать. В наших среднеазиатских республиках его читают и смотрят в театрах не меньше, чем в Москве, Ленинграде, Киеве.

Молодой актер Смоктуновский, которого в Англии и других странах знают по фильму Козинцева «Гамлет», сумел дать в своем Гамлете образ современного молодого человека, не модернизую этот образ и оставаясь верным стилю подлинника.

Смоктуновский имел на это право. Шекспировские образы потому и живы, что люди каждого поколения находят в них себя.

И не только Шекспир-драматург нашел у нас — можно смело сказать — вторую родину, но и Шекспир-поэт, автор поэм и сонетов.

Переводы сонетов, неоднократно издававшиеся у нас, вышли отдельными изданиями, а также в собраниях произведений Шекспира с 1946 года по 1964 общим тиражом девятьсот шестьдесят тысяч экземпляров. Кни-

¹ «...я жид. Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согреваются и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколеть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем?» («Венецианский купец», перевод Т. Щепкиной-Куперник).

гу сонетов можно увидеть в руках у рабочего или шофера такси. Такая судьба редко выпадала на долю книги стихов.

Наши виднейшие композиторы — Прокофьев, Шостакович — создали на темы Шекспира замечательную музыку. Достаточно вспомнить балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» и музыку Шостаковича к фильму «Гамлет».

Во всех краях Советского Союза так же благоговейно и благодарно чествуют английского драматурга и поэта, как и у него на родине.

На большой карте мира ярко сверкает в эти дни едва заметная на ней точка — Стратфорд на Эйвоне.

II

«Слова, слова, слова», — говорит Гамлет, отвечая на вопрос, что он читает.

Слова, слова, слова — часто говорим и мы, читая многие написанные до нас и в наше время книги.

Слов, произносимых и печатаемых, становится с каждым веком, десятилетием и даже годом все больше и больше. Кажется, это непрестанно размножающееся говорящее племя грозит утопить нас в море бумаги. Созданные людьми по их образу и подобию, слова, словосочетания и целые книги унаследовали от людей их нравы, повадки и характеры. Есть книги умные и глупые, добрые и злые, тихие и кричащие, скромные и честолюбивые, есть книги — друзья человечества, а есть и враги, даже книглоеды. Но, пожалуй, больше всего на свете равнодушных книг, о которых только и можно сказать: «Слова, слова, слова».

Люди сыты словами, люди все больше и больше перестают им верить. Происходит обесценение слов, инфляция, подобная денежной инфляции. Однако, по счастью, у этого плодородного словесного племени наблюдается не только рождаемость, но и смертность. Как и люди, книги стареют, дряхлеют и умирают...

Но, пожалуй, еще чаще недолговечность их объясняется тем, что они тонут, как в реке забвения Лете, в массе подобных им книг.

Давайте же сегодня — в дни шекспировского юбилея — посмотрим свежими и непредубежденными глазами, жив ли, здоров ли и жизнеспособен ли наш четырехсотлет-

ний юбиляр, или же он остается в музеях и университетах только потому, что был когда-то признан великим, что ему поставлены памятники и что библиотека посвященных ему научных трудов пополняется с каждым годом.

В разные времена бывали люди, которые пытались поколебать авторитет Шекспира, посмотреть, уж не голый ли это король. Как известно, Вольтер и другие французские писатели XVIII века считали его гениальным, но лишенным хорошего вкуса и знания правил. А величайший писатель XIX и начала XX века, оказавший огромное влияние на умы своих современников и последующих поколений во всем мире, Лев Толстой — особенно в последние годы своей жизни — попросту не верил Шекспиру, считал его драматические коллизии неправдоподобными, а речи его героев неестественными, вычурными и ходульными.

Жизнь — диалектична, и каждый знаменитый писатель должен быть готов к тому, что последующие поколения посмотрят на него со своей точки зрения, что в одну эпоху он будет на ущербе, в другую его не будет видно совсем, а в третью он засияет полным своим блеском.

Так было и с Шекспиром. Чего только о нем не говорили, чего только не писали! И наконец совсем было потеряли его как личность, распространив среди широких кругов читателей ничем не доказанное убеждение в том, что Шекспир был не Шекспиром, а кем-то другим. В этом меньше всего повинно серьезное шекспироведение. Но достаточно высказать сомнение в чем-либо, чтобы оно распространилось и даже укоренилось глубже, чем точно проверенные факты.

В ту пору, когда автором произведений Шекспира называли то Бэкона, то графа Рэдклиффа, то графа Дэрби, то Марло (и даже королеву Елизавету!), виднейший русский писатель Максим Горький говорил: «У народа опять хотят отнять его гения».

Однако, насколько мне известно, авторы оригинальных и сенсационных гипотез, касающихся личности Шекспира, постепенно перестают кружить над ним стаями и не омрачат для миллиона читателей земного шара шекспировских торжеств этого года.

...Время оказалось лучшим его комментатором. Оно вернее всех литературоведов раскрыло нам загадку Калибана, заставило

наших современников ценою своего опыта понять, в чем сущность трагедии юного Гамлета, диалектически разрешить многие противоречия в речах и поступках героев трагедий.

Одно время казалось, что по сравнению с очень сложными характерами в романах конца XIX и начала XX века характеры персонажей Шекспира бедны, чуть ли не примитивны.

Революционные эпохи резко отличаются от тех, когда люди едва замечают замедленный ход истории, не чувствуя подземных толчков и забывая, что эволюция неизбежно прерывается время от времени взрывами революций.

Вот почему нам легче понять Шекспира, чем нашим отцам и дедам. Нам довелось увидеть собственными глазами и ощутить всем своим существом крутые повороты истории.

В такую эпоху, полную действия, в котором одни принимают участие добровольно и по убеждению, а другие поневоле, нам кажутся убедительными шекспировские контрасты. Мы понимаем, что у его героев характеры не менее сложны, чем у персонажей в романах более мирных и спокойных лет и даже превосходят их в сложности, но в действии, в борьбе проявляются не все, а главные человеческие черты.

III

Но этот правдивейший из поэтов особенно дорог людям нашего времени своим великим оптимизмом — противопоставлением Гамлета, Джульетты, Дездемоны, Ромео — отчиму и матери Гамлета, Макбету, Ричарду Третьему, Гонерилье и Регане.

Это не наивный оптимизм поэтов-романтиков разных времен, обольстивших и обманувших своими иллюзиями не одно поколение.

Шекспир остается оптимистом в конечном итоге, за вычетом всего жестокого, страшного и мрачного, что он знал и рассказал о человечестве. Но он верил, что в конце концов Человек с большой буквы преодолет Калибана.

...Чернокожий африканец Отелло, ревность которого раздувает, как пламя, искусный интриган Яго, навсегда сохраняет в глазах читателей и зрителей свой величавый и благородный человеческий облик.

В нашей стране Шекспира ценят и любят давно. Величайший русский поэт говорил о нем: «Наш отец Шекспир». Первый и лучший из русских критиков Белинский был его восторженным почитателем.

Но только после революции, которая сделала грамотным все многомиллионное население Советского Союза, Шекспир стал достоянием всех читающих и мыслящих граждан нашей страны. Нет театра, который бы не ставил его пьес, нет городской и сельской библиотеки, где бы не было Шекспира.

Мне лично выпало на долю счастье и большая ответственность — перевести на русский язык лирику Шекспира, его сонеты.

Не мне судить о качестве моих переводов, но я могу отметить с удовлетворением, что сонеты расходятся у нас в тиражах, немыслимых в другое время и в другой стране. Их читают и любят и ценители поэзии, и самые простые люди в городах и деревнях.

Шекспира часто трактовали, как психолога, глубокого знатока человеческой природы. Сонеты помогли многим понять, что он прежде всего поэт и в своих трагедиях.



Академик Н. КОНРАД

★

ШЕКСПИР И ЕГО ЭПОХА*

1

В литературоведении, как и в иных областях знания, существует то, что можно назвать «инерцией науки». Суть такой инерции — оперирование положениями и формулами, принимаемыми исследователем за аксиомы. Разумеется, это вполне законно: для того и существует история науки, чтобы создавать некоторое количество общих положений, принимаемых в дальнейшем как общезначимые. Но бывают обстоятельства, при которых необходимо подвергнуть некоторые из общепринятых положений пересмотру.

Такие обстоятельства наступают либо в связи с тем, что происходит внутри данной науки, либо в связи с тем, что наблюдается в более широкой сфере, куда данная наука входит. Нам показалось, что именно по последней причине некоторые положения, ставшие привычными для историков литературы, нуждаются если не в пересмотре, то во всяком случае в расширении, и что такое расширение затрагивает отдельные стороны шекспироведения.

* Некоторое время тому назад Издательство Академии наук СССР (ныне издательство «Наука») обратилось ко мне с просьбой ознакомиться с работой М. В. и Д. М. Урновых «Шекспир. Его герой и его время». Прочитав рукопись М. и Д. Урновых, я увидел, что в их работе затронуты вопросы, выходящие за рамки шекспироведения и даже истории английской литературы вообще. Теперь, когда книга издана, я хочу, разумеется с согласия авторов, поделиться некоторыми мыслями, которые возникали в ходе наших бесед при подготовке рукописи к печати и которые имеют отношение к проблемам общей истории и истории мировой культуры, (Прим. автора.)

Так, включение в орбиту общего исторического процесса огромного материала истории народов Востока позволяет во многом по-иному, чем раньше, и во всяком случае гораздо полнее представить себе и общее течение мировой истории, и ее отдельные явления — например, эпоху Ренессанса. Другим важным обстоятельством является то, что сама эпоха Ренессанса, с которой неразделимо имя Шекспира, подвергается в настоящее время историками новой интерпретации, особенно в той части, которая касается отождествления Ренессанса с гуманизмом. Необходимым становится и пересмотр привычных представлений о Средневековье. Таковы лишь некоторые направления, по которым, на мой взгляд, должно пойти «преодоление инерции» в науке о Шекспире.

2

Работа М. В. и Д. М. Урновых, посвященная Шекспиру, писалась в предвидении 1964 года — того года, когда исполнилось четыреста лет со дня рождения этого английского писателя.

Значит, что же? Очередная работа, сделанная «к юбилею», то есть в соответствии с установившейся практикой литературно-юбилейных «мероприятий»?

Нет, не так. Авторы не намеревались только напомнить в очередной раз о писателе, пусть и великом, но уже давно отошедшем в историю. Они помнили слова Белинского, сказанные им о Пушкине: Пушкин принадлежит «к вечно живущим и движущимся явлениям», не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим разви-

ваться в сознании общества. То же можно сказать и о Шекспире.

Авторы хотели говорить о Шекспире живом — живущем, пусть и посмертной, но вполне реальной для человеческой культуры жизнью, реальной даже для нашего времени. В своих «заключительных словах» они сказали: «...снова Шекспир объединяет людей вокруг своего имени». «Снова» — значит он объединял их и раньше? Да, конечно! Но каждый раз по-новому. По-особенному — и сейчас. Почему? Потому что четырехсотлетие со дня рождения Шекспира приходится на 1964 год. Дело именно в этом году, а лучше сказать — в нашем времени. И книга М. В. и Д. М. Урновых убеждает: да, есть основания для того, чтобы нам в 1964 году обратиться к Шекспиру. И, может быть, даже не столько ради Шекспира, сколько ради нас самих.

3

Для того, чтобы сейчас услышать от Шекспира что-то, нужное нам, надо прежде всего понять его самого. Кто же он такой, этот самый Шекспир?

Ответ на этот вопрос — не один. Впрочем, может быть, лучше сказать — один, но многоступенчатый. Авторы книги его дают.

На первой ступени ответ обескураживающе прост. Шекспир — это некий человек, который тогда-то и тогда-то «родился, женился, приехал в Лондон, переделывал чужие пьесы, писал свои, сделал завещание и умер». Как утверждают авторы, в конце XIX века только это и могли сказать шекспироведы. С той поры появилось много новых биографий, целые «весомые тома», но в них, как пишут авторы, речь идет «вокруг Шекспира», о нем же самом пока ни одному исследователю ничего достоверного, кроме «родился, женился» и т. д., выяснить не удалось.

Не сложен и вполне бесспорен ответ и на второй ступени. Шекспир — один из плеяды драматургов елизаветинской эпохи; самый выдающийся из них.

Однако на следующей — третьей — ступени ответ уже перестает быть выпиской из исторической анкеты. Что такое эта «елизаветинская эпоха»? Как следует из характеристики, данной ей авторами, — пора конечного подъема английского Воз-

рождения. Значит, Шекспир — последний и самый выдающийся представитель ренессансной культуры в Англии.

Но сама ренессансная культура Англии — явление не уникальное и не обособленное; она — часть более широкого явления, слагающегося из ренессансных культур Италии, Германии, Франции, Испании и, конечно, той же Англии. Разумеется — и это полностью учитывают авторы — ренессансная культура в этих странах возникла не одновременно: в одних странах раньше, в других позже. Зародилась она в XIV веке в Италии; Англия же была последней по времени страной, где проявилась эта культура. Таким образом, четвертая ступень ответа: «Английская литература, точнее, английская трагедия конца XVI — начала XVII в., завершает собой развитие европейской ренессансной литературы». Поскольку же высшее выражение английской трагедии — творчество Шекспира, именно Шекспиром заканчивается история литературы европейского, точнее западноевропейского. Возрождения.

Здесь стоит немного задержаться. Факт существования — во всяком случае для эпохи Ренессанса в Европе — литературы западноевропейской, то есть региональной, не подлежит сомнению. Региональные литературы представляют собой вполне осязаемую историческую реальность. В разных географических масштабах с меняющимися границами, с разной степенью внутреннего единства, с разным отношением входящих в них частей региональные литературы — принадлежность многих эпох истории мировой литературы. Некоторые из таких региональных литератур имеют ярко выраженный характер: например, александрийская — эпохи эллинизма. Важно только видеть историческую почву, на которой региональные литературы складывались и существовали. Эта почва в разное историческое время была разной. Например, на одной основе создавалась региональная литература в эпоху народностей, на другой — в эпоху наций. Если подойти к региональной литературе, сложившейся в пределах стран Западной Европы в эпоху Ренессанса, с этой стороны, то необходимо будет сказать, что эта региональная литература возникла в условиях медленного, неравномерного, но неуклонного перерастания западноевропейских народов из народностей в нации. Ренессанс — проме-

жуточная эпоха: между Средневековьем, как последней эпохой в истории народностей, и Новым временем, как первой эпохой в истории наций.

Это обстоятельство важно для того, чтобы понять — на каком общественном слое в такую эпоху держалось единство ренессансной культуры стран Западной Европы. Оно держалось на интеллигенции эпохи, а она, эта ренессансная интеллигенция, была бесспорно международной — в масштабах своего времени, конечно. Это давно подмечено и всеми историками Ренессанса. Кстати, из того факта, что деятелями Ренессанса была интеллигенция, отнюдь нельзя делать вывод, что ренессансная культура была делом какой-то одной узкой среды. В своей книге М. и Д. Урновы не употребляют слово «интеллигенция», они говорят о «гуманистах», но для историков эпохи Ренессанса это одно и то же. И авторы очень правильно отмечают: «Гуманизм как целостная система представлений был доступен узкому кругу лиц. Гуманистов было немного, но гуманистическое, освобождающееся от средневекового догматизма мироощущение оказывалось достоянием целой эпохи».

Однако наряду с этим необходимо учитывать, что эпоха Ренессанса — не неподвижность, а процесс. Ренессансные явления с течением времени преобразались, менялись, теряли одни черты, приобретали другие. Этот процесс коснулся самих носителей Ренессанса: с развитием наций ослабевала прежняя почва, на которой держалась их «международность», Шекспир стоит даже не на пороге, а уже в воротах эпохи наций в Западной Европе, а в то время «международность» строилась уже на другой основе, чем, например, во времена Петрарки. В этом также виден признак того, что английская литература второй половины XVI — начала XVII века, в частности английская трагедия, а это значит — Шекспир, является не только поздним, но и последним этапом великой региональной литературы эпохи Ренессанса в Западной Европе.

Речь, однако, не может идти только о Западной Европе. Идеиное выражение Ренессанса, как известно, — гуманизм. Авторы книги о Шекспире и его времени говорят о гуманизме, как о новом направлении духовной жизни не только Западной, но и Центральной Европы. Это совершенно

справедливо. Ренессансные явления в искусстве, литературе, науке наблюдались в эти века и у народов Центральной Европы. Но к этому надо добавить: и у народов Восточной Европы. Для исследователей Ренессанса в наше время это уже не предмет спора. Достаточно обратиться хотя бы к замечательной книге И. Н. Голенишева-Кутузова: «Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков». Шекспир — завершение ренессансной литературы Европы в целом.

Хочется, однако, сказать и другое: в силу известной инерции о Ренессансе принято говорить не иначе, как в весьма высоких тонах. Без слов о величайшем прогрессивном перевороте, пережитом человечеством, не обходится у нас ни один пишущий о Ренессансе.

Но о Ренессансе в таком смысле говорят, имея всегда в виду Ренессанс в Западной Европе. Конечно, могут быть такие перевороты, которые происходят в группе стран и даже в одной стране, но по своему значению оказываются переворотами в истории всего человечества. Таким был, например, промышленный переворот в Англии. Относится ли западноевропейский или даже общеевропейский Ренессанс именно к такого рода локальным по месту возникновения и всеобщим по своему значению переворотам в истории? Нет, вернее сказать так: Ренессанс действительно один из крупнейших прогрессивных поворотов на исторических путях человечества, но не потому, что поворот этот, происшедший в одной стране, потом затронул и все другие, а потому, что поворот этот на определенном этапе истории произошел и у некоторых других цивилизованных народов мира, причем у каждого из них возник самостоятельно — в связи с течением собственной истории. То, что у нас названо «Ренессансом» в истории народов Европы, — явление общемировое, а не местное.

Как уже говорилось, началось западноевропейский Ренессанс в Италии. Что представляла собою тогда Италия среди прочих народов Западной Европы? Старейшую страну, «заслуженного деятеля» истории, страну, имевшую в этой части Европы самую длительную и притом непрерывную историю, то есть имевшую свою долгую Древность, свое многовековое Средневековье. Италия в XIV веке среди народов Западной и Центральной Европы была

страной, обладавшей богатейшим культурным наследием.

В этом наследии соединилось все, что дала европейцам Античность, то есть культура древней Греции и древнего Рима; все, что дало европейское Средневековье — в рамках Римской империи христианского периода. В силу же движения собственной истории Италия тогда была той страной в Европе, которая в общеевропейском историческом процессе шла впереди всех остальных.

Но разве Италия была единственной страной с подобной историей и культурой? Ведь такую же длительную и непрерывную историю, включавшую в себя и всесторонне развитую Древность, и свое широко развитое Средневековье, имела и другая страна — Византия. Для народов Восточной Европы она была тем, чем была Италия для Западной и Центральной. А помню Европу? Такую же историю имели народы Ирана, Индии и Китая. В этих странах была отнюдь не менее высокая, а в некоторых областях и более богатая цивилизация. И вот у этих древних культурных народов в определенный момент их истории начали возникать явления, весьма сходные с теми, которые мы в Европе назвали «ренессансными». Особенно ярко такие явления выразились в огромном и весьма своеобразном подъеме литературы, искусства, общественной мысли, науки. В Италии такой подъем начался в XIV веке; в Иране и в тесно связанных с ним частях северо-западной Индии и Средней Азии — в IX веке; в Китае еще раньше — в VIII веке. Чтобы сразу же почувствовать, что процесс тут — в своих больших линиях — один и тот же, достаточно немного внимательнее почитать стихи таких поэтов, как Петрарка, Ронсар, Рудаки, Саади, Хафиз, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и. Этих поэтов у нас знают хорошо, но разрозненно, а каким новым блеском засверкало бы их творчество, если бы они предстали перед нами рядом — в одной серии книжек: «Сокровища поэзии мирового Ренессанса!» Это было бы гораздо более убедительным аргументом в пользу признания Ренессанса мировым явлением, чем иные исторические исследования.

Здесь не место вдаваться в исследование Ренессанса, как общемирового явления. Следует только подчеркнуть, что мировой Ренессанс — движение. История демон-

стрирует нам Ренессанс, как некий вал, прокатившийся по всему необъятному континенту Евразии, а вернее — Афроевразии, поскольку северная Африка с глубокой древности составляла одно историческое целое с присредиземноморскими странами Европы и Азии. Движение это началось в VIII веке на восточном конце евразийского континента — на берегах Тихого океана, а закончилось в XVII веке на западном конце — на берегах Атлантического океана.

Разумеется, в эти девять веков мировой эпохи Ренессанса история не стояла на месте. Сама разновременность возникновения Ренессанса в разных странах — свидетельство движения истории. История некоторых стран Востока подвела их к своему Ренессансу раньше, чем Италию. И ничего удивительного тут нет: в те времена великие старые народы Востока стояли впереди народов Запада. Европа стала обгонять Азию начиная с XVI века, и чем дальше, тем решительнее.

Необходимо помнить и о другом обстоятельстве. Поскольку Ренессанс — движение, и движение историческое, судьба его подчинена общему ходу истории. Поэтому ренессансные явления не оставались постоянно одними и теми же. Даже в одной стране они меняли постепенно и свое содержание, и свой облик. Тем более разнообразны ренессансные явления в движущейся истории разных стран: в каждой стране, в каждый исторический момент они глубоко индивидуальны. И уже совсем особую картину дает движение мирового Ренессанса в целом: ренессансные явления в одной стране могут постепенно ослабевать, могут исчезнуть совсем, в то время как в другой стране они в это время существуют в полной силе. Но все же, если иметь в виду ренессансное движение в целом — от его исторического начала до его исторического конца, то можно говорить о действительно мировой эпохе Ренессанса с VIII по XVI век.

Следует отметить, что движение, называемое нами Ренессансом, начиналось, как правило, в странах наиболее старых, богатых своей историей, но впоследствии захватывало и другие страны — исторически более молодые. Так, например, было на Дальнем Востоке, где китайский Ренессанс вызвал к жизни ренессансные явления в Корее и Японии; так было на Среднем Во-

стоке, где индоиранско-среднеазиатский Ренессанс вызвал к жизни такие же явления у народов Закавказья; так было и в Европе, где итальянский Ренессанс захватил страны Западной, Центральной и Восточной Европы, проникнув даже в страны Закавказья, например, Армению, в культуре которой элементы Ренессанса западного своеобразно скрестились с элементами Ренессанса восточного. Необходимо поэтому различать Ренессанс автохтонный, то есть саморожденный, и Ренессанс занесенный или отраженный. Полностью автохтонным явлением, возникшим в силу движения собственной истории, был Ренессанс в Китае, в индоиранско-среднеазиатском комплексе стран и в Италии. В остальных странах он был отраженным.

Однако «отраженность» ренессансных явлений не делает эти явления менее выразительными для эпохи. И это видно хотя бы в истории ренессансной драмы. В Европе, например, высшее достижение ренессансной драматургии не драма, появившаяся в Италии, то есть на родине общеевропейского Ренессанса, а драма, появившаяся в Англии, то есть в одной из стран, на которую распространился Ренессанс, начавшийся в Италии.

Подобные факты наблюдаются и в общей истории мирового Ренессанса. Ренессансная драма началась в Китае XIII—XIV веков. Это так называемая «юаньская драма». Но высшее достижение ренессансной драматургии в этой части мира — японская драматургия XVII—XVIII веков, сложившаяся в стране, где явления Ренессанса не были автохтонными.

В истории драматургии мирового Ренессанса на двух концах мира стоят два имени: Вильям Шекспир и Тикамацу Мондзаэмон. Это два великих имени, но по масштабу и характеру проблем, по силе художественного выражения, по общечеловеческой глубине содержания — на первом месте стоит безусловно Вильям Шекспир.

Итак, не вправе ли мы сказать, что Шекспир — гений не только английской, не только западноевропейской, не только европейской в целом, но и мировой ренессансной драматургии? И не будет ли это добавление частью того, что можем сказать нового о Шекспире именно мы, именно наша наука и притом именно в 1964 году?

4

Для авторов новой книги о Шекспире особенно существенно то, что творчество великого драматурга относится к концу ренессансной эпохи. Поэтому и важно понять, что такое эта ренессансная драматургия вообще и что с ней случилось на конечном этапе ее исторического существования.

Историки театра часто говорят, что ренессансная драма лежит на пути от мистериально-площадных форм драматического искусства к литературному театру. С этим, в общем, можно согласиться. Для театрального искусства Средневековья характерны представления, рассчитанные на массового зрителя и поэтому не требующие особо устроенной сцены: сценой могла быть городская площадь, территория монастыря, площадка перед дворцом или замком, широкая паперть храма. На такой сцене разыгрывались либо мистерии, либо неприятельные фарсовые сценки. Такое театральное искусство в самых различных формах мы находим всюду: и на Востоке, и на Западе, и в Азии, и в Европе. Слово в них могло совершенно отсутствовать: так было в представлениях типа пантомим, танцевальных или полуцирковых сцен, процессий и шествий. Там же, где слово присутствовало, оно играло обычно подсобную роль, как одно из средств инсценировки какой-либо фабулы, часто хорошо знакомой зрителю.

С наступлением эпохи Ренессанса положение стало меняться. Если под драмой понимать театральное произведение, в котором фабула превратилась в законченный сюжет, рассчитанный на специфически театральные способы его изложения; если в этом изложении словесная часть получила полноценное значение, то придется признать, что драма — в том ее облике, в каком она предстала на феодальном этапе развития человечества, — появилась именно в эпоху Ренессанса. В этом убеждает нас вся история театра. Именно такова, например, «юаньская драма» XIII—XIV веков в Китае — первая по времени возникновения ренессансная драма вообще. Такова и «драма Но» XIV—XV веков в Японии.

И все же это еще не был театр литературный. В книге М. и Д. Урновых есть одна интересная глава. Она озаглавлена:

«Пристрастие к музыке». В этой главе авторы указывают, сколь важное место в пьесах Шекспира занимает музыка. Дело идет при этом не об известных ремарках, вроде: «Фанфары. Входя с трубами и барабанами» и т. д. Авторы пишут: «Музыка включается в драматическую концепцию Шекспира и в замыслы его пьес, вносит заметные оттенки в их поэтическую атмосферу, используется им для решения идейно-эстетических задач». Это очень верные слова.

Верной представляется мне и следующая мысль: «Язык музыки не соперничает в пьесах с речью персонажей, но дополняет ее и порой выражает нечто, о чем молчит слово, то ли не решаясь досказать все до конца, то ли не чувствуя в себе необходимой силы и полагаясь более на непосредственность музыкального выражения». Если бы нужно было указать в драматургии на что-либо такое, что сразу же выдает принадлежность ее к Ренессансу, то лучше такой приметы, как мне кажется, трудно что-либо найти. Сказанное М. и Д. Урновыми о музыке в драматургии Шекспира полностью приложимо к музыке в «юаньской драме» и в «драме Но».

И это понятно. Ренессансная драма все еще — театр, а в стихию театра входит музыка. И не как иллюстрирующий элемент, не как сопровождение слова, а как элемент самой драматургии. Эту мысль авторы книги о Шекспире выразили в словах: «В театре Возрождения музыка — организующая основа всего хода представления: она управляет не только речью актеров, но и их движением, их игрой».

Но это относится к драматургии Ренессанса, когда Ренессанс был еще в своей полной силе. К концу Ренессанса положение стало меняться. Авторы приводят много примеров, когда о музыке в пьесах Шекспира говорят, рассуждают, и это уже не Ренессанс. Когда в драме о музыке говорят — это значит, что музыка становится чем-то внешним. О том, что является необходимым элементом жизни, не говорят: этим живут. В «юаньской драме» и в «драме Но» действующие лица о музыке не философствуют, а просто живут в ней. Разговоры о музыке в пьесах Шекспира — свидетельство того, что конец чисто ренессансной драматургии уже наступил.

Да, именно так и произошло. Драма все более и более становится произведением,

переходящим в область литературы, «драматической литературы», как потом ее называли. Тексты пьес получали все более и более самостоятельное значение. Правда, во времена Ренессанса эпоха литературного театра еще не наступила: она началась с Нового времени — с театра Барокко и Просвещения. Но подход к драме как произведению литературы, пусть и особой — «драматической», по мере движения Ренессанса обозначается всюду: в китайской драме XV—XVI веков, в испанской драматургии XVI века, в японской драме XVII века. Яркие образцы такого подхода к литературному театру дает английская драма второй половины XVI — начала XVII века, а в ней — драматургия Шекспира. Она действительно принадлежит к концу Ренессанса.

Это обстоятельство отнюдь не простая историческая подробность. Время, когда жил и творил Шекспир, то есть конец Ренессанса и начало Нового времени, определило не только общий характер и форму, но и содержание шекспировской драматургии. А это содержание и заставило М. и Д. Урновых снова заговорить о Шекспире, и заговорить о нем именно в наши дни. В этом весь пафос их работы.

5

М. и Д. Урновы в конце своей книги, упомянув о прошлых шекспировских юбилеях, сказали: два юбилея — предшествующий, 1939 года, и нынешний, 1964 года, — «оказались отделены друг от друга событиями поистине шекспировского трагизма».

Мысль глубокая. И, думаю, понятная нам всем. К тому же сами авторы, разбирая пьесы Шекспира, подсказывают многое. Вряд ли только с чисто театральным интересом мы можем сейчас смотреть: такую, например, пьесу, как «Ричард III», или слушать такие реплики Макбета, как «Лей кровь и попирай людской закон...»

Но авторы имели в виду не события, как таковые. Трагическим была полна вся эпоха Шекспира, и именно эта общая трагичность эпохи выражена в пьесах Шекспира с огромной художественной силой. Именно она и находит отклик в наших душах в наше время. Мне кажется, что книга М. и Д. Урновых сама представляет такой отклик. В ней звучит голос исследователя, специалиста по английской литерату-

ре, шекспироведа, и вместе с тем чувствуется взволнованность человека нашей эпохи — не того, который только живет в наше время, а того, который нашим временем живет.

Лейтмотив всего, что авторы нашли в 1964 году нужным сказать о Шекспире и о его современниках, — мысль о кризисе, о кризисе, заложенном в самом их времени.

Это понятно. Время Шекспира — конец одной эпохи и начало другой. В плане социально-экономическом — последний этап эры феодальной и первые шаги капиталистической. Позади Шекспира, еще совсем недалеко от него, была Нидерландская революция — первая буржуазная революция в мировой истории. Впереди — Английская революция, с которой многие историки вообще связывают начало капиталистической эры. В плане культурно-историческом — это закат Ренессанса и заря Просвещения.

Однако в Англии время Шекспира имело свое особое содержание. Это был не только конец Ренессанса, но и сам Ренессанс, во всяком случае, как пишут авторы, самый решительный для Англии его этап. М. и Д. Урновы указывают: «...если в Европе Ренессанс растянулся на целые столетия и складывался, как, например, в Италии, многоступенчатым процессом, то в Англии он с торопливостью сдвинул все — в государстве, обществе, умах — и был по своей решительности, напряженности и краткости особенно похож на революционный переворот». К этому можно добавить: краткость, даже торопливость, и вместе с тем решительность и напряженность свойственны революционным переворотам тогда, когда они происходят в странах, находящихся позади других и рвущихся вперед. И вот, пишут авторы, самый решительный этап величайшего прогрессивного переворота в английской истории уместился в пределах одной, да и то укороченной, человеческой жизни. Едва Англия избавилась от безвременья, как «связь времен порвалась». «Избавилась от безвременья» — видимо, означает: перешла к Ренессансу. «Связь времен порвалась» — видимо, означает: и тут же наступил кризис Ренессанса.

Но что же такое этот самый Ренессанс? Время особого, небывалого расцвета искусства, литературы, науки? Сказать так явно недостаточно. Начало капиталистической

эры? Это просто неверно, особенно в свете мировой истории.

Время Ренессанса — не начало буржуазно-капиталистической эры; но без той подготовки, которая за время Ренессанса была проведена, не могла бы наступить новая, более высокая по сравнению с предыдущей, ступень исторического процесса. Для того чтобы разрушить Средневековье и подготовить Новое время, нужен был крутой поворот в плане идейном, культурном. У нас принято говорить: поворот к гуманизму. В этом аспекте слова «Ренессанс» и «гуманизм» стали у нас почти равнозначны.

В таком отождествлении Ренессанса с гуманизмом есть, как мне кажется, серьезная ошибка. Бесспорно, Ренессанс органически связан с движением, которое можно назвать гуманистическим, но это не значит, что гуманизм появился на свет только в эпоху Ренессанса. Мне кажется очень важным, что авторы новой книги о Шекспире преодолели здесь инерцию своей науки. Гуманизм существовал и в Древности, и в Средние века и притом повсеместно — во всех странах Европы и Азии, история которых знала и свою Древность, и свои Средние века. Гуманизм — проявление того, что обозначается словом *humanitas* — «человеческое начало» в природе человека, человечность. Это начало и легло в основу всей деятельности человечества. Но масштаб и конкретные черты гуманизма менялись. Поэтому о гуманизме времен Ренессанса следует говорить только как об одном, исторически определенном облике этого действительно вечного спутника человека.

Чем же этот исторический облик характеризуется? Авторы дают обычный ответ на этот вопрос. Суть ренессансного гуманизма они видят в «рождении личности, освободившейся от тысячелетнего гнета средневековых догм», в «появлении человека с новым типом сознания и нормой поведения». Что такое эти «религиозные догмы»? «...Догма о двойственности и порочности человеческой природы, о немощи человека перед высшими силами, о бренности земного существования», — отвечают авторы. А что такое «новый тип сознания»? Дерзание, творчество, свободная, реальная, действенная мысль. большого теоретического и трактического размаха, призванная заменить прежнюю скованность, ригоризм,

бесплодное схоластическое умствование. Что такое «новая норма поведения»? «Повседневная практика самоутверждения, духовная стойкость и неистощимое жизнеутверждение, как основа преодоления всякого трагического надлома».

Все это верно. Но именно это, а не обычные, столь свойственные многим историкам Ренессанса инвективы по адресу пресловутого «Средневековья». Обычно оно у них только «мрачное». Оно длилось много веков, но это было лишь многовековое гонение плоти. Высшая мера обвинения, обычно предъявляемого Средневековью, — упоминание о «страшной» формуле: «Философия есть служанка богословия». Поэтому мне кажется очень важным, что М. и Д. Урновы в своей книге о Шекспире устранили эту «инерцию науки», своим происхождением обязанную либо предубежденности, либо просто недостаточному знанию реальности.

Не будем здесь вдаваться в то, могло ли Средневековье вообще быть сплошным адом, в котором человечество пробыло тысячу лет и из которого это бедное человечество извлек Ренессанс. Думать так — значит прежде всего недооценивать **человека, его силы, его труд**. Ограничимся лишь напоминанием, что в это самое «мрачное Средневековье» сложились всеобъемлющие мировоззренческие системы — христианство, буддизм, ислам, философские по своему существу, но представленные, что и было естественным для того времени, в категориях религии.

Можно вспомнить также готическую архитектуру, зодчество и скульптуру буддийских храмов, мавританские дворцы и сады. Можно подумать и о лучезарной поэзии трубадуров и миннезингеров, о рыцарском эпосе и романе, о жизнерадостных, брызжущих юмором народных фарсах, о захватывающих массовых зрелищах — мистериях, мираклях и о многом другом, в разных формах и в разных уровнях представленном в культуре и Запада и Востока. Средневековье — одна из великих эпох в истории человечества. А то, что это была эпоха во многом очень тяжелая, трудная для людей, так разве Ренессанс привел их в рай? Это «вдохновенное время не было безоблачным, оно проходило в непрерывной борьбе. Его окрашивает скорее суровость, нежели счастливая улыбка. Все, что в процессе переворота сдвинулось и не на-

шло себе подобающего места, вставало на пути новой мысли и деятельности. Религиозные столкновения, войны, сословная, кастовая, групповая и личная вражда, политические схватки...», — написали М. и Д. Урновы.

В эпоху Ренессанса стало ясно, с чем надо было бороться, от власти чего надо было освободиться, от чего раскрепостить личность: «от тысячелетнего гнета средневековых догм». Откинем слово «тысячелетнего». Неужели переход от рабовладельческого общества к миру феодальному уже с первых же шагов был сплошным бедствием и не был для своего времени прогрессивным, необходимым шагом истории? Дело поэтому не просто в «средневековье», а в том, что в определенный момент его истории в его мировоззрении появились догмы.

Всякому учению — религиозному и философскому, если оно не идет вслед за временем, не развивается, не пополняется новыми чертами, угрожают две опасности: догматизм, то есть превращение свободной творческой мысли в догму и скепсис, то есть появление сомнения в ценности данного учения вообще. Скепсис может привести к плохому — к нигилизму, интеллектуальному и моральному, может привести и к хорошему — к плодотворной переоценке ценностей. Догматизм же останавливает всякое движение, а это значит — саму возможность прогресса. Великие религиозно-философские системы в конце средневековья действительно стали превращаться в каменные глыбы догм. Задерживалось, следовательно, дальнейшее развитие не только самих этих систем, но и общества, культуры, человеческой личности.

Так произошло по крайней мере в трех из указанных мировоззренческих систем: в конфуцианстве, христианстве, исламе. В Китае это выразилось в конфуцианском «правоверии», догматы которого изложены в известном своде, сделанном в VII веке Кун Ин-да и так и озаглавленном «Пятикнижие в правильном истолковании». Свое «правоверие» образовалось и в исламе. Превратилась в систему догм, особенно ярко выраженную в знаменитом сочинении Фомы Аквината, и христианская религиозно-философская мысль.

Против этого догматизма и восстала свободная мысль человеческая и притом на двух путях: скепсиса и вольномыслия. Но, для того чтобы эту борьбу вести успешно,

нужно было укрепиться на каких-то новых позициях. Эти позиции создал Ренессанс. Лучшие умы Ренессанса боролись не с религией, как таковой, не с какой-либо определенной философией, а с догматизмом как в религии, так и в философии. Борьба велась при этом различными средствами. Одним из них было обращение к другим направлениям мысли, к другим учениям, в особенности к мистическим. В Китае это был даосизм — для конфуцианства, некоторые секты — для буддизма, в странах ислама — суфизм, в христианских странах так называемые «ереси». Другим средством было обращение к разуму, к свободной творческой мысли. Это движение умов и создало то, что применительно к Ренессансу назвали гуманизмом.

М. и Д. Урновы дают, как мне кажется, правильный ответ на вопрос, что представлял собой этот ренессансный гуманизм в его глубинной сущности. Они написали: «...причастен к духу нового времени» всякий, кто имел смелость считать «себя своим собственным творцом»; «человек осознал свое достоинство; уверовал в свои силы, себя поставил на место бога».

Не следует думать, что слова «себя поставил на место бога» означают, что деятели Ренессанса стали пламенными богоборцами, воинствующими атеистами или бесчинствующими безбожниками. Были среди них, конечно, скептики и вольнодумцы, не верившие ни в сон, ни в чох. Они могли быть даже князьями церкви. Все это хорошо известно. Но формально они придерживались религии, а большинство гуманистов были даже искренне верующими. Так было в странах ислама, в странах христианства. В Китае Ренессанс не был связан с религией — в своей теоретической части он целиком реализовался в сфере философской мысли. Но в то же время слова о «возвысившейся до бога личности» верны и для китайского гуманизма: стоит только вспомнить мысль Ван Ян-мина (1472—1528), что не человек комментирует канонические книги, а они комментируют человека. Это равносильно тому, как если бы на Западе в Средние века кто-либо сказал: не я комментирую священное писание, а оно комментирует меня.

Средневековье создало свой гуманизм, а в нем — свой принцип мышления и поведения. После падения казавшегося таким великим старого рабовладельческого мира

надо было браться за переустройство общества, его жизни, его воззрений. Для этого требовались гигантские силы, огромная энергия, уверенность в том, что переустройство не только нужно, но и возможно. Где же найти эти силы, эту уверенность? Конечно, в себе самом — другого источника ведь не было. Чтобы перестроить мир, казалось, нужны были такие силы, которые делали человека чуть ли не всемогущим. И именно это скрытое сознание возможно всемогущества человека нашло свое выражение в категориях — для мышления того исторического этапа — наиболее ясных и понятных: в религии, в представлениях о божестве, как носителе всемогущества. Именно такая интерпретация своих возможностей и дала тогда человеку необходимые интеллектуальные и моральные силы для исторического творчества, именно она и составила суть средневекового гуманизма. Это относится и к Средневековью арабскому с его исламом, к Средневековью китайскому с его даосизмом и буддизмом.

По мере того как перестройка общества была в основном произведена и феодальный мир пошел по своему пути, этот гуманизм, бывший сначала «больше энтузиазмом, страстью, чем системой мышления», как правильно отмечают М. и Д. Урновы, стал в свою очередь развиваться и принимать другой вид. Стали появляться строгие, точные формулы. Сначала это было полезно и необходимо. Это делало работу по дальнейшему развитию общества более сознательной и уверенной. Но формулы не поспевали за быстро движущейся жизнью, требовались новые, а люди цеплялись за старые, старались в новой практике следовать им. Но поскольку сила их, бывшая некогда реальной, теперь ослабела, ревнители старых формул постарались их реальную силу заменить абстрактной, превратив прежде жизненные формулы в догмы. Так возник тот догматизм, который и стал главной помехой усилиям человека идти дальше по своему историческому пути.

6

Когда один источник силы иссякает, обычно появляется другой. Человек нашел его опять в самом же себе, но только «себя поставив на место бога». осознав, что те силы в себе, которые он воспринимал как

нечто, относящееся к божеству, являются вполне человеческими. Так создалась новая основа гуманистической, то есть человеческой деятельности, и на этой-то основе и произошло то великое обновление лица культуры, которое в какой-то мере действительно может быть названо Возрождением.

И вдруг — неожиданность: «...какие бы личные задачи ни решал Гамлет, какими бы муками ни мучился, — во всем сказывается его характер, его умонастроение, а через них духовное состояние, испытанное, вероятно, самим Шекспиром и многими его современниками, представителями молодого поколения: это состояние глубочайшей потрясенности», — так написали авторы книги о Шекспире. А потрясением явился крах гуманизма, точнее — его идеала: «Гамлет, его характер, переживания, судьба дают представление, сколь тяжким, а для многих приверженцев гуманизма, по-видимому, непоправимым потрясением явился крах гуманистического идеала».

Неужели с ренессансным гуманизмом произошло то же, что случилось в свое время с гуманизмом средневековым? Неужели и он превратился в догму? В известной мере так. Авторы упоминают, что гуманистов называли «гордцами», так как они смотрели на других как бы свысока, а поступали они так потому, что считали себя носителями непреложной истины. Но такой истиной ко времени Шекспира эти принципы уже не были. О таких гуманистах можно сказать то, что М. и Д. Урновы сказали об Отелло: «Он продолжает мыслить догматически и доходит до безрассудного педантизма при обстоятельствах, требующих широты взгляда, трезвой гибкости, мужественного такта, волевой сдержанности, пронизательного доверия». Хорошие, верные слова! Но все же самым существенным в кризисе ренессансного гуманизма был, как они правильно отметили, крах самого гуманистического идеала. Пользуясь словами авторов, это можно пояснить так: свободная и гармонически развитая личность, как норма жизни, оказалась прекрасной, но утопической идеей гуманистов и потерпела крах... Вставал «жестокий век самоутверждения абсолютистско-буржуазного общества», — пишут авторы.

Да, по времени это так. Крах ренессансного гуманизма обозначился в обстановке

назревавшего переустройства общества. На этот раз — в духе буржуазно-капиталистического строя. Отсюда понятно и то, что особым потрясением этот крах оказался в Англии времен Шекспира; тогда — и притом не в очень большой исторической дали — уже вырисовывались контуры буржуазной революции, которая для судеб народов Европы имела значение большее, чем буржуазная революция в Нидерландах. «Умонастроение принца Датского», то есть молодого человека того поколения, «передает надломленный дух времени».

В чем же эта надломленность времени состояла? «Time is out of joint» — «порвалась связь времен», «век расстроен», «век расшатан» — так по-разному передавали эту знаменитую фразу русские переводчики, и каждый из этих переводов отражает очень емкий смысл английского выражения.

Конечно, вполне законно принимать за основную причину краха гуманистического идеала этот начавшийся переход от одной общественной системы к другой. «В людских душах Средневековье (то есть феодализм. — Н. К.) сталкивалось с Новым временем (то есть с началом капитализма. — Н. К.) и было видно, как сложен, пестр и противоречив этот процесс», — пишут М. и Д. Урновы. И все же правильнее, как мне кажется, сказать, что этот переход образовал только почву, на которой возник кризис ренессансного гуманизма.

В одном месте своей книги авторы приводят глубокое наблюдение одного из лучших в нашей стране в прошлом исследователей английской литературы Н. И. Сторожено: «...не кровавые события, не ужасы, а потрясенный страстью дух становится главным содержанием трагедии». Именно — потрясенный дух.

Но откуда же взялась эта душевная потрясенность? Это «разочарование» в ренессансных «доблестях», это «скептическая реакция на энтузиазм Возрождения»? Дело в самой природе ренессансного гуманизма.

Это хорошо подметили авторы. В связи с характеристикой творчества одного из предшественников Шекспира — Лили — они сказали: «...ренессансное раскрепощение человека чревато кризисом». Почему? Потому что гуманистический принцип «человек — мера всех вещей» превращался в личный практический девиз: «Все дозволено». Потому что остатки ренессансных гуманистических понятий как будто бы еще держа-

лись, но «внутренние нормы, дисциплина чувств и мышления обладали уже не широтой и свободой, а распушенностью». Макбет, как замечают авторы, «охваченный честолюбивой страстью, спешит освободить свой интеллект от нравственных принципов и бытовых правил, считая их пустыми предрассудками. В нем бурно кипит энергия, неукротимая инициатива не чувствует узы, он прищипывает волю и устремляется к цели, преодолевая навязчивые сомнения, не страшась риска, и крушит препятствия, не разбираясь в средствах». Вот, значит, в чем дело! Путь, по которому пошел ренессансный гуманизм, привел его к краху, как категорию не только интеллектуальную, но и моральную.

То, что авторы подвели своего читателя к этому выводу, имеет очень серьезное значение. Гуманизм на всякой ступени своего исторического пути всегда требовал определенной дисциплины ума и чувства, дисциплины интеллектуальной и моральной. Средневековый гуманизм создал такую дисциплину; это была дисциплина, основанная на религиозных представлениях о мире и деятельности человека в нем. Ренессансный гуманизм стал создавать свою дисциплину, строя ее уже на антропологических воззрениях. Интеллектуальную сторону этой дисциплины он искал на путях рационализма. (Замечу, кстати, что черты рационализма свойственны Ренессансу, где бы он ни проявился. Вполне явственно, например, черты рационализма ренессансного уровня проявились в философии китайского Ренессанса — в так называемом неоконфуцианстве.) Эти черты в эпоху Ренессанса в Европе еще не сложились в определенную систему, но присутствие их ощущается всюду — в естествознании, исторической науке, даже литературе. Моральную же дисциплину ренессансный гуманизм продолжал брать из религии. И в этом, между прочим, также обнаруживается переходная природа этого этапа истории человечества. Ведь только с наступлением эпохи Просвещения, этого подлинного века рационализма, была создана на новой — строго антропологической основе — и дисциплина интеллектуальная, слившаяся с дисциплиной моральной.

Именно эта недостаточная еще развитость в условиях Ренессанса новой мировоззренческой опоры — рационализма — и привела к краху моральной дисциплины

гуманизма. Действительно, ренессансное раскрепощение личности было само по себе «чревато кризисом». Действительно, принцип «человек — мера всех вещей», то есть антропологический гуманизм превратился в практический девиз: «Все дозволено». И как ярко в истории Ренессанса это проявилось! И как отчетливо отразилось в исторических хрониках и трагедиях Шекспира! К равновесию — при взаимной зависимости — дисциплины интеллектуальной и моральной привел только век Просвещения с его рационалистической философией. Впрочем, также на определенное время: гвердые основы рационалистической дисциплины интеллектуальной и моральной создал Декарт, но у Канта развитие на этой основе привело к тупику антиномий, то есть опять к краху гуманистического идеала. Понски нового гуманистического идеала пошли по другим путям.

Крах ренессансного гуманизма, как этической категории, и обусловило то состояние глубокой потрясенности, которое М. и Д. Урновы видят в душе Гамлета, а через него — самого Шекспира, а через него и вообще молодого человека конца XVI — начала XVII века — конечной поры истории Ренессанса вообще.

Шекспир с огромной силой отразил тот душевный надлом, которым заканчивался ренессансный гуманизм; тот надлом, который создает в человеке «рассудок, отуманенный безумьем», «кипящий мозг». Но тот же Шекспир показал и пути выхода из этого кризиса. Этот выход — в восстановлении в человеке утраченной гармонии.

Лучшим выражением гармонии, ее символом у Шекспира, как считают авторы, служит музыка. И вот эта гармония, представленная музыкой, решает все: «Торжественный напев врачует рассудок, отуманенный безумьем, кипящий исцеляя мозг».

Эти слова взяты авторами из «Бури», этой поистине самой удивительной из пьес Шекспира. Позволю себе выписать одно место книги М. и Д. Урновых, которое мне представляется крайне важным для всей их концепции:

«Волшебник Просперо, центральное лицо драмы, призывая «музыку небес», передает авторское мироощущение. Тяготение к музыкальному звучанию жизни может показаться надзвездным, а монолог о «могуществе ужасного заклятья», снимаемого музыкой, — ворожкой алхимика.

Между тем метафорическими словами облечено просветление и поэтическое прозрение. Возможно, в основе его необычной силы—чувство жизни, ее ритмического биения, непрерывно ощущаемого. Эту силу питает опыт, проверенные впечатления от человека, знание народной жизни. Вслушиваясь в этот ритм, вдохновляясь мощью разума и воли, Просперо, последний герой Шекспира, откликается на радостный возглас дочери: «Как род людской прекрасен!»... Просперо, а вместе с ним покидающий театр Шекспир заново обращают надежды к человеку».

К какому человеку? К человеку прошлого, то есть Средневековья? Но авторы хорошо показали, что Шекспир там ничего найти не мог. Они очень удачно вспомнили про Мэлори, который еще за сто лет до Шекспира,—при всем своем восхищении рыцарями Круглого стола,—показал крах этой «рыцарской вольницы». К человеку будущего, то есть наступающего буржуазного века? О, нет! Авторы хорошо пояснили это, вспомнив о Ленгленде. Разве «видение» этого тогда еще далекого века вызвало у Питера-Пахаря, простого человека своего времени, восторг? Совсем наоборот!

Было бы не только дешевым, но и просто удручающим заговорить здесь о человеке иной, послебуржуазной эпохи. И авторы, конечно, этого не делают. В мечтаниях драматурга об идеальном обществе и новом человеке не следует искать «теоретическую программу или стройную систему практических указаний»,—справедливо пишут они. Дело идет не о человеке какой-либо конкретной исторической эпохи; дело идет о человеке вообще, а еще точнее—о гуманистической вере в человека. Тут следует только отметить, что такая вера в человека характерна не только для гуманизма времен Ренессанса, но для гуманизма любой другой эпохи. Иначе это просто не был бы гуманизм.

Что же питает эту веру в человека? Да еще когда «ужасный век, ужасные сердца»? Авторы хорошо это объяснили, и их объяснение, может быть, самое существенное в их книге—отклике человека нашей страны, наших дней на думы Шекспира. Веру в человека питает «перспективность мышления». «Ощущение надвигающегося хаоса никогда всецело не овладевало Шекспиром. Потому ли, что в нем жило, как в

Пушкине, чувство далекой перспективы или он в большей степени был прочным человеком момента?»—задают себе вопрос авторы. И отвечают: Шекспир «трагически потрясен неустойчивостью и разладом, и только гениальная перспективность мышления удерживает его в пределах гуманистической веры...»

К чему же привела эта действительно гениальная перспективность мышления? К оптимизму. Да, к оптимизму!

Шекспир оптимист даже тогда, когда пишет свои хроники, даже такую кровавую, как «Ричард III». «Ужас и кровь, наполняющие историю Англии, представляются ему искупленными открывающейся перспективой».

В процессе работы над рукописью авторы заменили бывшее у них ранее в этой фразе слово «оправданными» словом «искупленными». Ужас и кровь никогда и ничем не могут быть оправданы. Их либо прощают, либо искупают. Но простить может лишь тот, кому дано это право, искупить же их обязано человечество. Ужас и кровь, наполняющие историю Англии, представляются Шекспиру, как раскрывают авторы, искупленными открывающейся ему перспективой—может быть, тогда и очень еще далекой—великих трудов человечества, направленных на устранение из жизни английского народа и всех народов земли ужаса и крови, устранение их на основе нового, еще более глубокого и всестороннего гуманизма.

На чем же основана у Шекспира эта оптимистическая вера в человека? Авторы отвечают: «Одно слово... вырывается и сразу становится заметным, ибо оно тянет за собой ту же цепь гамлетовских ассоциаций. Слово это—«совесть».

Совесть и позволяет не бросать надежды на будущее человечества даже в самые тяжелые времена. Не могу не вспомнить, что в конце китайской эпохи Ренессанса с особой силой было произнесено слово, по смыслу тождественное русскому «совесть»—«лян-синь». О совести как о великом начале человеческой природы, направляющем всю деятельность человека, заговорил тогда последний представитель ренессансной философской мысли в Китае, уже раз упомянутый Ван Ян-мин.

Мне кажется, что у Шекспира есть даже нечто такое, что можно понять как высшее

проявление именно гуманистической совести. Но предварительно следует вспомнить, что говорил о своем времени, о своем трагическом двадцатилетии один из современников Шекспира — Джон Донн, автор «Анатомии мира». Позволю себе повторить цитату, приведенную в книге М. и Д. Урновых:

Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет.
На атомы вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится,
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас.

(Перевел Б. Томашевский;

«Обратимся еще раз к Шекспиру. Кто главный герой «Бури»? Просперо, то есть тот, который вызвал эту самую бурю. Но он же и укротил ее. И не только укротил, но и открыл путь к миру и счастью. На чем основано его могущество? Он — маг, открывший «тайну страшную природы», великую и действительно страшную силу природы, и овладевший ею. Но, испробовав раз эту почти сверхъестественную мощь, увидев, что это такое, он отрекается от нее. Не совесть ли, как удивительное свойство человеческого начала в человеке, как

высшая этическая категория, заставила его так поступить?»

М. и Д. Урновы написали книгу о Шекспире. Конкретно историческом Шекспире. Но «художественная мысль, насыщенная жизнью и нашедшая свой образ, обретает нечто вроде самостоятельной жизни», — читаем мы у них. «Посмертная жизнь» Шекспира, о которой они сказали в самом начале своей книги, и есть ставшая самостоятельной жизнью его трагедий.

Один аспект этой жизни мы с особой силой ощутили в минувшее, к счастью, минувшее, двадцатипятилетие нашей истории, действительно исполненное, как сказали авторы, поистине шекспировской трагичности. Нужно ли после написанного выше разъяснять, почему в книге М. и Д. Урновых следует видеть не юбилейное мероприятие, а горячий отклик на творения Шекспира человека нашей эпохи, нашей страны — страны великой перспективности мышления, огромной гуманистической веры в человека, страны, жизнью которой должна управлять наряду с разумом и волей именно совесть — образ и выражение высшего этического начала в человеке?



М. ТУРОВСКАЯ

★

ГАМЛЕТ И МЫ

Шекспировская мера

Режиссер Григорий Козинцев взял эпиграфом к своему очень интересному введению в исследование о «Гамлете» слова Романа Роллана: «Даже когда мы возвращаемся к произведениям прошлого — (причем никогда разные эпохи не выбирают одно и то же в великих Складах прошлого...) — то это не прошлое воскресает в нас; это мы сами отбрасываем в прошлое свою тень, — наши желания, наши вопросы, наш порядок и наше смятение».

В великих складах прошлого наше искусство вновь и вновь выбирает Шекспира. В истории советского искусства Шекспир составляет как бы некое мерило познания действительности. Оно не одинаково в разные годы. Одни из них богаче постановками Шекспира, другие — беднее. Одни отдают предпочтение трагедии, другие — комедии. Одни отмечены новым и важным в истолковании Шекспира, другие лишь добросовестны в продолжении уже сложившихся традиций. Эта шекспировская мера в чем-то отражает самосознание общества, оглядывающегося на себя на каждом новом историческом рубеже.

Разные годы избирают себе разных спутников из огромного понятия «театр Шекспира». Наиболее богаты и классичны в этом смысле годы тридцатые. Они так же богаты свершениями в области современной драмы. И едва ли простое совпадение, что А. Попов, открывший для сцены совершенно новых героев Погодина, по-своему «открыл» «Ромео и Джульетту» и «Укрощение строптивой», сделав Петруччо и Катрину такими же «нашими друзьями», как и погодинского Григория Гая («Мой друг»). придав им тот же земной, неукротимый созидательный пафос.

А разве старый король Лир в исполнении С. Михоэлса не переключался как-то в нашем сознании с героями антифашистской литературы — с ее защитой разума и уважения к человеческой личности?..

Но более всех других героев Шекспира — Отелло. Можно сказать, что тридцатые годы в нашем шекспировском театре прошли под знаком «Отелло». Не только потому, что его больше других играли и трагедия «Отелло» стала как бы своей, национальной пьесой для целых национальных культур.

Душевная цельность Отелло, его бескомпромиссность — трагическая в реальной прозе действительности и все же не изменяющая себе, — сделала этого ревнивца одним из положительных и даже идеальных героев тридцатых годов.

Отелло-Остужев и Отелло-Хорава, Отелло-Вагаршян и Отелло-Нерсисян, Отелло в разных театрах и на разных языках, в разной трактовке, которая все же в чем-то существенном и главном остается неизменной для всех исполнителей.

Еще Пушкину принадлежит пронзительная мысль о том, что Отелло не ревнив, а доверчив. Но именно тридцатые годы сделали ее осознанной и последовательной трактовкой, какие бы индивидуальные оттенки она ни принимала у разных исполнителей.

Это понятно и естественно: в то время, когда искусство стремилось создать героя, который, по словам Горького, был бы «прост и ясен так же, как велик», Отелло, сыгранный в пушкинском ключе, стал незаменимым спутником положительного героя современности. Он был ясен и прост, и он был велик, как может быть велик шекспировский герой. Он был образом цельности,

человеком идеала и человеком дела (у Остужева — больше идеала, у Хоравы — дела, разное распределение светотени не меняло главного).

Отелло тридцатых годов не нес в своей душе никаких темных чувств, никакой подозрительности и возможной мысли о вероломстве. Напротив — он хотел верить в добро, и если «честному Яго» удавалось в конце концов пробудить его подозрения, то именно потому, что он слишком верил в добро и не позволял себе подвергнуть сомнению честность «честного Яго», соратника по походам и боям. Разум его неохотно склонялся к возможности предательства Дездемоны, но, раз поверив в эту возможность, он шел до конца и судил ее беспощадно. Убийство Дездемоны не казалось ему убийством (хотя на самом деле было убийством). Оно казалось кровавым, но справедливым возмездием...

Следует ли удивляться, что в годы, когда развернувшееся по всей стране творчество новой жизни побуждало художников искать героя великой простоты и великой ясности, когда Отелло стал естественным спутником героя современности, другой шекспировский герой — Гамлет, принц Датский — стал самой неразрешимой из шекспировских загадок?

Ни театры, ни теоретики не хотели отказываться от этого знаменитейшего из шекспировских образов. Но сложность его — в эпоху поисков величия простоты и простоты величия — казалась сомнительной и двусмысленной. Были предприняты героические усилия, чтобы спасти шекспировского героя от сложности, которую так прочно связывала с ним традиция.

В Гамлете искали той же цельности и ясности, что так счастливо была открыта в Отелло.

Но в то время, когда простота и ясность искомого героя современности все больше начали вырождаться в элементарность и примитивность, даже «сильный» Гамлет не мог рассчитывать на право жительства на сцене. Художники продолжали вынашивать мечту о Гамлете. Но не было ни условий, ни, говоря всерьез, даже настоящей потребности в этом шекспировском герое. Вл. И. Немирович-Данченко после многих репетиций отказался от мысли выпустить шекспировскую трагедию.

1954 год стал переломным в сценической судьбе «Гамлета».

Г. Козинцев показал спектакль на сцене Ленинградского театра имени Пушкина. Н. Охлопков — на сцене театра имени Маяковского в Москве.

Нужды нет, что по статистике первое место среди шекспировских пьес по-прежнему и прочно принадлежит «Отелло». Как шекспировский театр тридцатых годов сложился под знаком «Отелло», так в пятидесятые годы Шекспир вошел на нашу сцену под знаком «Гамлета». Теперь в каждом театре находится если не идеальный, то подходящий, если подходящий не вполне, то приблизительно подходящий исполнитель роли Гамлета. Режиссеры, до того чрезмерно осторожные в подходе к этому мировому образу, вдруг дерзают и добиваются успехов.

Спектакли «Гамлета» имеют шумный и громкий успех, какого давно не знали шекспировские пьесы и смысл которого выходит за театральные рамки...

Пьеса Шекспира была окутана плотным слоем толкований, традиций и легенд: сравнения восходили к Мочалову, споры по поводу трактовки — к Гёте. Сейчас, оглядываясь назад, на тот отрезок истории советского шекспировского театра, который был начат «Гамлетом» Г. Козинцева и завершен «Гамлетом» Б. Захавы (театр имени Вахтангова), мы должны признать, что в пылу спора критика бывала порой строже к первым постановщикам трагедии, чем того заслуживали их интересные опыты. Но недооценка значительного в искусстве так же, как переоценка незначительного, — привилегия современников. Между тем смысл этих спектаклей в том, что они принесли с собой новую тему — тему времени.

Гамлет пятидесятых годов

Время пришло — и «Гамлет» был поставлен. Оно привело на сцену Б. Фрейндлиха и Е. Самойлова и дало им мужество и силы сыграть великую роль.

Когда вслед за «Гамлетом» Г. Козинцева в Ленинграде появился «Гамлет» Н. Охлопкова в Москве — разница оценки (ленинградский спектакль был принят довольно сдержанно, московский — восторженно) оказалась намного больше различия самих спектаклей.

Да, поиски Охлопкова отличались в формы более цельные, законченные, монументаль-

ные. Эксперименты Козинцева с перемонтировками шекспировского текста, с несколько навязчивым комментарием на языке условных символов и немых сцен были рискованнее и противоречивее.

И все же при всей несхожести этих спектаклей то общее, что в них было, уже не кажется случайностью из бессвязных несовпадений отдельных образов и сцен; оно выступает в перспективе времени как нечто существенное.

Есть ли задача более трудная и неблагодарная, чем истолкование шекспировского «Гамлета», разбор — по актам, по эпизодам — странных поступков и ужасных обстоятельств жизни шекспировского героя?..

Ведь содержание трагедии далеко не исчерпывается ее фабулой, и духовные следствия оказываются для смысла пьесы гораздо существование породивших их реальных причин.

Впрочем, в любой хорошей пьесе содержание больше и значительней фабульных мотивов, но, кажется, ни в одной разность эта не достигает такой величины, как в «Гамлете». Меньше всего это история о том, как дядя принца Датского злодейски убил его отца и вступил в преступный брак с матерью, как сын и законный наследник престола был призван к мести Призраком, и о том, как (в самом деле, как?) и почему (почему, в самом деле?) он медлил с возмездием узурпатору, убийце и тирану...

Фабула «Гамлета» проста и в то же время исключительна. Духовные процессы — сложные, многообразны, многозначны, всеобщие. Размышления и колебания, которые посещают Гамлета по поводу этих злодейств, — осложнены тончайшими оттенками мысли и чувства. «Гамлет» — пьеса с «растянутым диапазоном» духовной жизни героя...

Житейские поводы устаревают, духовные последствия — нет. Есть ли задача более благодарная, чем истолкование «Гамлета», если только следовать не букве интриги, а логике его духовных процессов?

Именно так случалось, когда за «Гамлета» брались Гёте, или Тургенев, Мочалов, или Белинский, Качалов, или Михаил Чехов. Их Гамлеты были не только Гамлетом Шекспира, но и ими самими, тенью настоящего, отброшенной в прошлое.

Конечно, в «Гамлете» очень важен его собственный исторический смысл — переломная эпоха, финал Возрождения, отра-

жившийся в нем трагическим кризисом гуманистического идеала. Но как бы полно ни было восприятие истолкователями историческое содержание «Гамлета», его объективная реальность — пьеса не могла бы стать зеркалом для целых эпох и народов, если бы они не находили в нем еще и себя, свое время.

То объективное, исторически достоверное, «вечное», что заложено в шекспировском образе, служит фундаментом для особенного и сегодняшнего — часто спорного, всегда неполного и всегда чем-то обогащенного прочтения Гамлета, в котором совмещаются две реальности: автора и истолкователя. «Гамлет» — вечный перекресток прошлого и настоящего...

Итак, то общее, что было в спектаклях Козинцева и Охлопкова, можно свести к двум главным чертам. Одна дает себя знать в известном сужении философского плана трагедии за счет максимального развития всех личных мотивов в образе Гамлета. Другая — в противоречии между этим личным, человеческим, быть может, «слишком человеческим» в актерском исполнении и монументальностью режиссерского образа спектакля. Дисгармония колоссальных масштабов замысла постановщика и простых, почти домашних интонаций актеров была тем первым впечатлением, которое бросалось в глаза.

Режиссеры могли бы возразить, что оба эти обстоятельства случайны и не зависят от замысла. Что они задумывали зрелище «Гамлета» как грандиозное, всечеловеческое, как то и подобает Шекспиру. А если у них под руками не оказалось Мочалова...

А может быть, в тот момент, чтобы отомкнуть душу зрителя, уставшую от пустых грандиозностей, как раз и не нужно было Мочалова? (Впрочем, в свое время не что иное, как современность дала такую мощь Гамлету мочаловскому. Когда время его прошло, мочаловский Гамлет потерял свое обаяние даже для самых горячих поклонников.) Быть может, чтобы завоевать Гамлету наше признание, нужны были на первых шагах именно эти простые, почти домашние интонации, и горести и беды «простого», «обыкновенного» принца, а не величавости в черном гамлетовском плаще?

У Шекспира Гамлету тридцать лет (если верить словам могильщика). У Охлопкова ему можно было дать восемнадцать, самое большее двадцать. Во всем его облике юно-

ши, почти мальчика с побледневшим от скорби лицом и встревоженными глазами, в его трепетной настороженности и страстных порывах сердца были горечь и боль впервые оскорбленной юности. Дело, конечно, не в цифре — дело в мироощущении Гамлета. У Шекспира (в конце трагедии во всяком случае) он зрелый человек. У Охлопкова он оставался юношей.

Гамлет Самойлова по преимуществу лирический. Это пылкая, юношески светлая душа, смятенная первым столкновением со злом. Он пленял нас душевной чистотой, впервые омраченной сознанием человеческой низости.

При взгляде на него, невольно приходили на ум строки Александра Блока:

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.

Да, это был юноша — Гамлет с первой любовью в сердце, с кровью, тоскливо холодеющей, когда коварство плетет вокруг него свои сети...

Герой Фрейдлиха был старше, сдержаннее, интеллектуальнее, ироничнее. Он больше апеллировал к нашему разуму — и, может быть, поэтому находил меньший, менее благодарный отклик, чем Гамлет Самойлова, который обращался к чувству. И, однако, в главном они были похожи, как братья.

Гамлет-Фрейдлих носил на груди портрет отца. Это не случайная деталь. Мотив любви и преклонения перед погибшим королем занимал большое место в драме этого Гамлета. Жгучая скорбь об отце терзала его сердце.

У него было любящее и доверчивое сердце, ему не хотелось и жаль было разочаровываться в людях. Может быть, поэтому он с такой жадностью глядел в глаза Офелии, ища в них ответа: друг она или враг.

Может быть, поэтому он встречал Розенкранца и Гильденстерна в первый момент с радостью, как университетских друзей. И даже убедившись в их вероломстве, пронесил свои знаменитые слова: «Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне... Что же вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой?» — не с раздражением, не с гневом, а с умной и горькой иронией, как будто даже с жало-

стью к душевному убожеству этих людей.

Десять лет назад мне довелось рецензировать обоих «Гамлетов». Рецензенты первых «Гамлетов» (и я в том числе) требовали от постановщиков именно того, что они и сами хотели нам преподать — Гамлета «вообще», «Гамлета», исчерпывающего Шекспира, — это удалось им лишь отчасти. На самом деле они дали нечто другое. Десять лет спустя стало очевидно, что этого требовало время.

А разве не Козинцев и не Охлопков подсажали Б. Фрейдлиху и Е. Самойлову эти простые, душевные интонации и эту искреннюю — пусть всего лишь сыновнюю, человеческую — скорбь?

Как ни парадоксально это может показаться, Гамлет-датчанин — претендент на престол целого королевства, Гамлет, принц Датский — образ, в котором видели себя отраженными целые эпохи и народы, — возвратился на нашу сцену как бы для того, чтобы утвердить права частного лица и обыкновенного человека...

Козинцев — постановщик спектакля (употребим здесь то условное разделение режиссерских функций, к которому прибегал Вл. И. Немирович-Данченко, но режиссеров-постановщиков и педагогов) — вероятно, ни за что бы не признал это. В его спектакле тема престолонаследия или — прибегнем к анахронизму — Гамлета — государственного деятеля была заявлена с самого начала трагедии в немом прологе, где принц Датский, коленопреклоненный перед гробницей короля-отца, являл собою как бы живую надежду стоящего поодаль простого люда Дании. Точно так же была заявлена историческая тема Гамлета-гуманиста, причем окончательная победа светлого начала наглядно утверждалась появлением в финале грандиозной статуи Ники (Победы) на фоне безоблачного синего неба...

Но между тем как Козинцев-постановщик отдал эту дань обычным ожиданиям поверхностной публики, Козинцев-педагог вступил с ним в спор. И в исполнении Фрейдлиха на сцену вышел обыкновенный человек, пораженный, разгневанный и опечаленный всем дурным, что ему пришлось увидеть и пережить в собственной — пусть королевской — семье.

Удача спектакля Охлопкова по сравнению с постановкой Козинцева хотя бы в том, что в нем было больше живого и цело-

стного действия и меньше теоретичности, некоей литературно-критической концепции, наложенной поверх пьесы.

И в образе главного героя он смелее рвал с традицией тридцатых годов, дальше отводя его от прежнего образа Гамлета — государственного деятеля с мечом в руках — в сторону глубоких душевных переживаний.

Так случилось, что его Гамлет — даже более откровенно, чем Гамлет Козинцева, — пришел на сцену не только затем, чтобы предупредить тех, «кто раздумывает, пока враг не дремлет» (как объяснял сам режиссер свой замысел), но больше всего затем, чтобы утвердить право человека на духовный мир, на душевную сложность, на раскованность простых и естественных чувств; право разума и размышления, которое иногда бывает выше повелительных прав долга.

Быть может, эта задача, которую сполна решали первые Гамлеты (даже в ущерб своим чисто «гамлетовским» задачам), была скромна и ограничена. Зато она была исторически необходима.

Отелло был человеком великой веры, великого долга и немедленного, нераздумывающего действия. Он верил Дездемоне, но, однажды поверив Яго, совершил над ней свой беспощадный суд.

Гамлет, даже догадываясь, что Призрак не солгал, медлит с выполнением долга: слишком о многом надо ему поразмыслить. Слишком во многом, над чем он никогда прежде не задумывался, ему пришлось сразу усомниться.

Отелло — герой действия, Гамлет — раздумья.

Раздумье о жизни, поиски правды — это тоже то новое, что принес на сцену Гамлет пятидесятих годов.

Шекспировский герой снова становится спутником героя современности. Там, где была сила этого образа — в углубленном внимании к человеческой сущности, в не боязни «личного», в размышлении и стремлении к правде — там же была и сила нового современного героя драмы. Там, где была невольная слабость сценического Гамлета — в известной узости, замкнутости в мире личного опыта, в невозможности подняться до широкого, философского осмысления действительности, — там была и слабость современной драмы.

Так, Гамлет пятидесятих годов оказался современен в том именно высоком смысле,

о каком говорил Ромен Роллан. В этом же смысле был он и ограничен. Оба спектакля — Н. Охлопкова и Г. Козинцева — явственно отмечены печатью середины пятидесятих годов. И того нового, что эти годы несли с собою, и того старого, с чем они еще не могли расстаться.

Я думаю, что отсюда то противоречие между актером и постановкой, которое бросается в глаза в обоих спектаклях.

«Гамлет» — самая «чеховская» из пьес Шекспира. Вероятно, только чеховским ключом (как прозорливо предсказывал Немирович-Данченко) может отомкнуть ее наше время. Это «чеховское» было угадано Охлопковым и Козинцевым в углубленном психологизме главного героя, в его обыкновенности, непарадности, в преобладании непосредственно «человеческого» над официальным. «Чеховское» не было схвачено там же, где не было схвачено и «шекспировское». Обоим спектаклям не хватало социальной широты, всеобщей связанности личных мотивов с мотивами внеличными и внесценическими, с широко развитым историческим фоном.

Вероятно, и Козинцев и Охлопков полагали, что эта историческая широта достаточно выразит себя во внешней монументальности постановки, в ее аллегориях и символах. Но как бы интересна сама по себе не была работа таких крупных художников, как Н. Альтман (театр имени Пушкина) и В. Рындин (театр имени Маяковского), — факт остается фактом. Грандиозность постановки Охлопкова, его знаменитые ворота во весь портал, олицетворявшие идею «Дании — тюрьмы», как и символы Козинцева, еще не создавали широты исторической картины, ибо эта широта — во взаимоотношениях людей, в глубоких внутренних мотивах их поступков. Внешняя сторона спектакля приходила в противоречие с актерами, подавляя их и отгесняя на второй план в сознании зрителя...

Спустя два года после премьеры Охлопков сделал чрезвычайно смелый эксперимент, введя на роль Гамлета нового исполнителя.

Этим исполнителем был двадцатидвухлетний М. Козаков, только что окончивший школу-студию Московского Художественного театра. Гамлет был его сценическим дебютом.

Роль, к которой не дерзали прикоснуться умудренные годами и опытом актеры, была

отдана новичку, почти что мальчику, у которого могло не хватить даже чисто физической тренировки для столь сложной задачи. Ее и не хватило, и те, кто указывал впоследствии на профессиональные недостатки в игре Козакова, на его профессиональные ошибки и недочеты — были правы.

И все же они были не правы, а прав был Охлопков, рискнувший на этот головоломный эксперимент и поглядевший сквозь пальцы на все профессиональные огрехи своего юного и слишком неопытного Гамлета.

Охлопков был прав хотя бы потому, что он был всего лишь последователен в своем замысле, где юность Гамлета была важным условием происходящего.

Но он был прав не только по этой частной причине. Появление М. Козакова в роли Гамлета завершило и как бы подвело итог той теме, которую начали Гамлет Самойлова и Фрейндлиха.

Дело в том, что молодость Гамлета-Козакова означала не только известный возрастной ценз, благодаря которому все его переживания стали ярче, острее, непосредственнее. То, что прозвучало в игре Самойлова и Фрейндлиха как некая обшегуманистическая тема, приобрело у Козакова конкретность своего времени. Этот Гамлет принес с собою ясную тему, быть может, наиболее ограниченную во времени, но наиболее последовательную и острую.

Но прежде чем говорить о Гамлете-Козакове, мне хотелось бы сделать отступление и вспомнить, что происходило в это время на нашей сцене помимо «Гамлета». Ведь это было время бурных сдвигов и бурных споров в искусстве, отмеченных рубежом XX съезда партии. И Шекспир не безразличен к ним, как они не безразличны к Шекспиру...

Современная интермедия

...На страницах журналов и в газетных полосах десятилетней давности (только вчера — и уже история!) обсуждению шекспироведческих проблем сопутствует появление новых названий, новых имен, новых героев. «Годы странствий» А. Арбузова... (дискуссия!), «В добрый час!» В. Розова... (спор!), «Фабричная девчонка» А. Володина... (ожесточенная полемика!).

Теперь театральные бури улеглись, многие поводы их забыты, подробности стер-

лись, имена Александра Ведерникова, Андрея Аверина, Женьки Шульженко уже не вызывают кипения страстей... Но все они остались в памяти, как собирательный образ «молодого человека», пришедшего на сцену тогда, когда стало очевидно, что прежнее представление о современном герое больше не вмещает реальности и слишком часто вырождается в элементарность или обывательскую пошлость.

Александр Ведерников из пьесы А. Арбузова «Годы странствий», обошедшей все театры, был первым и старшим из них. Он встретил Отечественную войну, уже успев окончить медицинский институт и обзавестись семьей. Андрей Аверин и Женька Шульженко в это время не ходили даже в первый класс. Шурка Ведерников обозначил на сцене и в литературе нового героя, которого уже нельзя было по элементарной схеме записать в «положительные» или «отрицательные»: он страдал чем угодно, только не элементарностью.

А страдал он многим. Недаром его появление на сцене вызвало шквальную дискуссию и породило целую литературу. Конечно, эта полемика была порождена тем, что он — первый. Но она была вызвана и тем, что он — сложный.

В самом деле, как быть с непривычной сложностью героя? С его обезоруживающей правдивостью и обезкураживающим лганьем? С безалаберной талантливостью и беззаботным эгоизмом? С верностью своему призванию и переменчивостью желаний? С беспечным равнодушным к славе и бесславным невниманием к близким? Со всей этой смесью заслуженных удач, нравственных падений, легкомыслия и честности, с неудовлетворенностью в любви, увлекающей Ведерникова от одной женщины к другой?

Наша сцена долго не знала этой сложности. Ведерникова встретили шумными поздравлениями, но и подозрениями. Один из критиков даже назвал его «политическим негодяем» и, ничтоже сумняшеся, отбросил «за пределы морали нашего общества»¹.

Но даже те, кто отнеслись к Ведерникову с пониманием и сочувствием, не удержались от традиционного упрека в индивидуализме, видя в нем корень всех бед. Что до автора, то он тоже под конец явно не справился со своенравным героем. В фина-

¹ Д.м. Щеглов «Новаторство и инерция формы». «Театр», № 8, 1934, стр. 77.

Мальчики, выросшие после Великой Отечественной войны, лишь понаслышке знавшие ее опасности и труды; мальчики и девочки, получившие известный материальный достаток как готовую данность; молодые люди, чье первое вступление в жизнь ознаменовано было XX съездом партии, — они хотели сами искать свое собственное, завоеванное раздумьями и жизненной борьбой место, а не получать его готовеньким. Многие и сразу показалось им тогда сложным...

В самом деле, цинизм Андрея Аверина, как и задиристая дерзость Женьки Шульженко — героини пьесы А. Володина, — это поспешная самооборона еще не установившейся, но честной природы против пафоса, совершенно оторвавшегося от всего житейского, с одной стороны, и против житейского, порвавшего со всяким пафосом, — с другой.

В характере «фабричной девчонки» Женьки Шульженко это сказалось, быть может, с наибольшей остротой, потому что она меньше других героев этого толка рассуждала, а действовала более импульсивно и непосредственно.

В свое время Женька вызвала даже больше споров, чем все остальные «сложные» герои, отчасти из-за жаргона, на котором она (как, впрочем, и другие героини молодой литературы) изъяснялась. На какой-то момент жаргон даже стал проблемой номер один. Говорили об узости, убогости, бедности духовного мира героини там, где дело шло о бедности, убогости, обуженности ее жаргона.

Но дело в том, что язык Женьки вовсе не выражал самое Женьку. Язык Женьки не столько раскрывал, сколько прикрывал своей ёрнической, шутовской манерой то незащищенное и чистое, что жило в Женькиной душе (кстати, ведь и Андрей Аверин, мальчик из «культурной» семьи, прибегал в этих случаях к жаргону).

Язык Женьки был невольным и потому самым действенным средством ее самообороны.

Женька от всех — даже от самой себя, от собственного, временами горького жизненного опыта — агрессивно охраняла то сокровенное, что заставляло ее, пионерку-детомовку, салютовать в темном коридоре при звуках Интернационала.

Видимая обыденность языка и всего обихода пьесы скрывала под покровом этой

сгущенной жанровости остроту конфликтов и страстность поисков. «Интернационал» не был обмолвкой.

Оставаясь внешне в рамках обыденности, пользуясь для самозащиты ее жаргоном и ее цинизмом (который ни в коем случае не надо отождествлять с душевной опустошенностью), этот новый герой, пришедший на сцену и в литературу в середине пятидесятых годов, пока он еще не выродился просто в скучающего молодого человека, всем своим существом, всем напряжением своей внутренней духовной жизни противостоял обыденности и обывательщине. Сложный — он стремился к ясности, раздробленный — к цельности, одинокий — к общению и пониманию. Недоверчивый — он доверчивоверял нам свои сомнения и тревоги. Недовольный — он больше всего был недоволен самим собой. Циник на словах — он был еще не осуществившимся романтиком на деле. Сейчас это «идеальное» начало в нем особенно очевидно.

Гамлет Козакова был сверстником и современником этого героя.

* * *

Молодой актер сыграл Гамлета по-новому и по-своему.

Конечно, игра его была неровна и далека от совершенства, но он был оригинален в своей трактовке шекспировского героя не потому, что старался быть оригинален и нов, а просто оттого, что был современен.

Речь идет не о натянутых исторических аллюзиях — такие аллюзии всегда коротки и натянуты. Речь идет о той истинной современности, которая одна только может сообщить классику на сцене живую, а не музейную ценность. Переломный возраст, который недаром сделал условием своего Гамлета Охлопков, совпал с переломным временем.

Вот почему Козаков, оставив без внимания какие-то важные гамлетовские мотивы, в то же время очень легко разрешил для себя целый ряд сложных моментов роли. Например, сакраментальный вопрос, почему не следует Гамлет настоящим призывать Призрака к мести и медлит с убийством Клавдия.

Этого Гамлета настолько поражала открывшаяся ему изнанка действительности, так важно было ему понять до конца все

происходящее, что на немедленную месть у него просто не хватало ни времени, ни душевных сил. Познать было важнее всего. Эта страсть, эта лихорадка познания понижала всю роль беспокойными, стремительными ритмами. Гамлет Козакова жадно искал свое место в жизни. И если монологи далеко не всегда давались молодому актеру, то тот монолог, где его герой с сомнением и страхом испытывает свою душу и спрашивает себя, не трус ли он, — мог бы послужить ключом к этому Гамлету, стремящемуся познать себя, свои силы так же, как он познает жизнь.

Страшные события, разыгравшиеся в стенах Эльсинорского замка, застигли Гамлета-Козакова на том переломе отрочества и юности, когда душа еще не успела закалиться в жизненной борьбе, когда она особенно чутко, напряженно и бурно откликается на малейшую несправедливость и ложь. Вот почему так больно ранила этого Гамлета смерть отца и измена матери.

В актерской палитре Козакова, естественно, не было красок желчной иронии, язвительности, едкого сарказма. Суровость война и бойца чужда была его Гамлету, а широта философского обобщения не свойственна его возрасту. Но у него был юношеский максимализм и непримиримое бесстрашие мысли, стремящейся додумать и узнать все до конца, как бы горько и страшно ни было знание.

Мы видели английского Гамлета-Скофилда, уже испытанного в страданиях и борьбе, несмотря на молодость. То, что происходило в душе Гамлета-Козакова, происходило впервые. Вчера еще жизнь была для него ясной, простой и понятной, и вот он уже повергнут в бездну отчаяния и сомнений.

Гамлет Козакова переживал мучительный, жадный и острый процесс познания, в котором душа его порой готова была ожесточиться, отбросить прочь все, во что верила прежде, и черпать силу только в отрицании. И тогда «эта прекрасная хранина земля» казалась ему «пустынным мысом», а «венец всего живущего» человек — «квинт-эссенцией праха». Он пересматривал все свои прежние наивные, радостные, доверчивые представления о мире и на вопрос Полония: «Что вы читаете, принц?» — в сердцах отвечал: «Слова, слова, слова», — потому что и книга не в силах дать ответ на

все те «проклятые вопросы», которые с неоторыми: пор осаждают его, не давая дыхания.

Сложны и противоречивы были отношения этого Гамлета к окружающим. Он откровенно и зло издевался над Полонием, но порой мгновенная мысль о том, как страшно жить среди подлецов и предателей, пронзала его и доводила до изнеможения: «Они меня совсем с ума сведут».

Но, пожалуй, ни в чем так не сказалось своеобразие игры Козакова, как в отношении его Гамлета к Офелии. В его исполнении не было любви и нежности к ней, как у Самойлова. Можно было подумать, что Гамлет холоден к возлюбленной — он говорил с ней резко, жестоко, почти враждебно. Юноша, обманувшийся в своем доверии к миру, он не просил Офелии ни грехов своей матери, ни ее собственного обмана. Именно в ней, такой чистой и невинной, он искал и находил предательство и ложь — общее проклятие века. Лишь в сцене «мышеловки», оставшись с Офелией наедине, он на мгновение доверчиво и жадно прикинул к ее коленям: это была секунда забвения, минутное возвращение детства. Ему было жаль Офелию и самого себя, хотелось быть искренним и нежным, хотелось, как прежде, верить и плакать. Но он уже невозвратно был отделен от детства роковой чертой своего знания, обречен быть подозрительным и жестоким, быть начеку, хитрить, и лгать, и выжидать. Возврата в детство не было. И только когда Офелии не стало и Гамлет в отчаянии бросился на ее гроб, мы понимали, что он любил ее, «как сорок тысяч братьев любить не могут», но в жизни его не было места для этой любви...

Это был Гамлет, который переживал пору первого отрицания, защитного юношеского цинизма, жестокого недовольства собой и страстных поисков самого себя.

Этот Гамлет был смятен, взбаламучен, он был весь в вопросах — еще без ответов — к миру и к самому себе.

Конечно, Козаков еще более, чем Самойлов, не доиграл своего Гамлета даже до зрелости. Конечно, он не создал всеобъемлющего и могучего шекспировского образа. Но он подвел итог тем поискам, которые в пятидесятых годах все же сказали кое-что свое и о прославленном шекспировском герое, и о времени.

вал с наивной и отважной самоуверенностью юности (на этот раз без кавычек). Гамлет оказался для него настоящим «своим», что, уйдя из Ташкентского театра, он предпринял героическую и весьма интересную попытку в одиночку исполнять трагедии Шекспира на эстраде...

Гамлет — 1964

К четырехсотлетию Шекспира и через десять лет после возвращения на сцену «Гамлет» вышел на экран. Событие это было воспринято делово и ни у кого не вызвало удивления. «Гамлет»? — естественно. В постановке Григория Козинцева? — разумеется. С Иннокентием Смоктуновским в главной роли? — конечно.

У некоторых после просмотра фильма, что греха таить, прозвучал даже оттенок разочарования: от Шекспира, Козинцева и Смоктуновского можно было ждать большего...

Десять лет назад романтическая взволнованность сопровождала наше восприятие постановок «Гамлета», так же как и режиссерские замыслы.

«Угрюма и неприветлива ночью черная громада замка Эльсинор Волны холодного моря с шумом бьются о его подножье. Мчатся над вершинами зубчатых башен темные тучи. Со всех сторон налетают на него суровые ветры и развевают граурные стяги. Длинные тени их мечутся по стенам башен. И в их мелькании, и в коротких резких вскриках фанфар — тревога, тревога тревога...»

Так писала я сама в 1954 году о «Гамлете» Козинцева, но в этом духе писали, кажется, все.

С тех пор мы привыкли к «Гамлету» в афишах, как и ко многому другому. Его «созвучность» из сенсации стала почти гризизмом. Экранизация Шекспира — тоже в порядке вещей. Не сыграй Смоктуновский роль Гамлета — это показалось бы досадным и странным упущением. Проблема трактовок потеряла свою сугубо шекспироведческую остроту...

И хотя в фильме Козинцева есть по-прежнему «волны холодного моря», и построенная по всем правилам инженерного искусства «неприветливая громада замка Эльсинор», и стяги и башни, и символы и аллегории, в которых не так уж трудно узнать

многие из прежних находок режиссера, — старое противоречие между актером и постановкой сгладилось и больше не режет глаз.

В самом деле: «Дания — тюрьма», — скажет принц, и в фильме будут решетки, и крепостные стены, и глухие своды ворот. «Железный век», — подумаем мы, когда тонюсенькую Офелию будут заковывать в железный корсет придворного кринолина. Но подобного рода метафоры уже не кажутся режиссеру столь глубокомысленными, как десять лет назад. Само собой разумеется, он отказался от пролога у гробницы старого короля и от эпилога с Никой Самофракийской, а вместе с ними и от несколько демонстративного «оптимизма». Символы и аллегории растворяются геперь в сюжетном движении картины, не создавая некоей системы условностей, наложенной поверх пьесы, как то было в спектакле. Они не болес, как знаки препинания в тексте фильма.

Козинцевский «Гамлет» символичен в меру и историчен в меру. Постановка строга и проста. Хмурое балтийское побережье, холодное море, серые сланцы, крепостные стены и башни замка Эльсинор создают естественный и обозримый фон для действия. И само это действие так же просто, понятно и обозримо во всех своих поворотах и отступлениях, как козинцевский Эльсинор с его переходами, колодцами, сводами ворот и рельефами стен...

Естественно, что, перенося «Гамлета» на экран, Козинцев должен был сократить текст трагедии. Естественно, что сокращению подверглись прежде всего монологи, варьирующие гамлетовские колебания. Но, помимо естественных требований экрана, в этом упрощении «есть своя система»: некоторые купюры текста обнаруживают ее недвусмысленно.

Например, когда король Клавдий кается в грехах, это нужно Шекспиру, чтобы остановить карающую руку Гамлета. Козинцеву это пужно для разоблачения Клавдия. Гамлет тут ни при чем.

Когда Гамлет встречает войско Фортинбраса, идущее «из чести» на ненужную войну, он видит в этом укор своему вялодушью. У Козинцева речь идет о бессмысленности этой войны — и только.

Но дело не в одних купюрах текста. Действие козинцевского «Гамлета» лишено всяких околличностей, туманностей и неразрешимостей. Совсем, кажется, недавняя

острота шекспироведческих дебатов о «слабовольном» Гамлете и Гамлете «сильном», о Гамлете и «гамлетизме» снята в фильме без остатка. Картина не полемизирует с созданным XIX веком понятием «гамлетизма» — она просто игнорирует его. При этом она теряет кое-что и от самого Гамлета. Что же она приобретает взамен?

Этот «Гамлет» не требует специальной шекспироведческой эрудиции и томов комментариев — он доступен любому зрителю.

Точно так же, как вы не замечаете, что герои Шекспира большей частью говорят стихами, вы почти забываете о «проклятых вопросах», которыми так любило задаваться человечество по поводу датского принца.

Можно было ожидать скорее обратного. Можно было думать, что режиссер, однажды поставивший трагедию на сцене, написавший о ней интереснейшее исследование и изучивший все «гамлетоведческие» проблемы за триста пятьдесят лет, захочет все их и отразить в своем фильме. Но Козинцев не повторил этой ошибки вахтанговского спектакля. Между экраном и залом не возникает исторической дистанции.

Гамлет И. Смоктуновского современен в каждом своем движении и внятен в каждом своем поступке. Когда он проходит среди придворных и за ним остается полоса отчуждения, или когда он быстро-быстро просканивает по ступенькам дворца, метнув в Розенкранца и Гильденстерна насмешливую реплику, вы вдруг ловите себя на том, что всегда ожидали увидеть Гамлета именно таким — долговязым и белесым, чуть-чуть странным и вполне обычным, ничуть не картинным, несмотря на черное трико и башмаки с пряжками. При этом у вас ни на секунду не возникает ощущения «костюмности» — той неловкости, которую обычно испытываешь, когда современный актер облачается в трико и башмаки с пряжками. Весь его облик настолько абсолютен и непреложен, что заранее отвергает любое сомнение.

Нет, это не парень, который «с королем ругается». Это Гамлет, принц Датский — в нем очевидна преемственность историко-культурной традиции. В то же время вы легко можете представить себе, что этот студент Виттенбергского университета, родись он несколькими веками позже, стал бы ученым или, положим, композитором...

Сквозь облик Датского принца прорисовывают другие персонажи Смоктуновского, в нем есть неразтворимый осадок личности актера.

Если существует понятие «современный актер», то в нашем искусстве Смоктуновский, пожалуй, олицетворяет его с наибольшей полнотой. Не потому, чтобы игра его была как-нибудь особенно лаконична (это часто считают главным признаком современности) или интеллектуальна, но потому, что, входя в роль больше других, он больше других умеет остаться в ней самим собой.

Каждое время требует своих актеров. Еще не так давно казалось, что лучший актер тот, кто наименее узнаваем, кто может играть все, и все одинаково хорошо. Иначе говоря, актер-исполнитель, добросовестно воплощающий намерения автора. И только.

Но за последние десять—двенадцать лет так много сдвинулось с места и изменилось, что этот актер-профессионал, как бы ни был высок уровень его мастерства, уже не может удовлетворить потребность зрителя в чем-то более глубоком и важном. Актер становится по-настоящему интересен, когда он не просто «создает образ», но открывает в образе и свой внутренний мир современного человека. Когда он выражает на сцене что-то свое, интимное, личное и в то же время общее. Именно к таким редким артистическим индивидуальностям принадлежит Смоктуновский.

Я не хочу этим сказать, что он играет себя. Смоктуновский — актер характерный. У него то неопределенное лицо, которое легко принимает в себя любое выражение и может быть некрасивым, смешным, простоватым, одухотворенным, прекрасным, исполненным иронии и ума — и все это почти без грима. Его черты обретают определенность, как бы формируясь изнутри одним только душевным усилием. Точно так же и его духовный мир легко и органично принимает в себя наслоения разных эпох и разных характеров — интуиция актера в этом смысле огромна, — но если им не откликнется какая-то исповедническая нота в душе, Смоктуновский падает до уровня посредственности. Перевоплощение его безупречно, но в чем-то самом главном его исполнение хочется назвать «автобиографическим». Не в буквальном значении, разумеется. Следуя автору, актер преломляет обстоятельства

роли через современное, сегодняшнее, свое, наше...

Так поразил он всех в 1958 году в спектакле «Идиот», поставленном Г. Товстоноговым по роману Достоевского.

Его князь Мышкин не был простой актерской удачей. Это становится очевидно, как только поставишь его в ряд с Акимом из «Власти тьмы» Л. Толстого, сыгранным И. Ильинским, с чеховским Ивановым — Б. Смирновым, с Федей Протасовым из «Живого трупа» того же Толстого, так счастье открытым в удивительном исполнении М. Романова через несколько лет после киевской премьеры.

То, что привычно представлялось лишь ошибками «толстовщины», издержками «достоевщины», прозвучало вдруг отчетливой и ясной этической нотой. Было ли то упование на добро, на естественную справедливость, вера в последнюю из прав — в человека, или призыв к совести в исполнении Ильинского, Романова, Смоктуновского — это во всяком случае уже не казалось ни наивно, ни глупо, ни смешно...

«Рыцарь бедный» с его пронзительной душевной чистотой послужил для Смоктуновского как бы прелюдией к Гамлету. Он же, возможно что-то и отнял от датского принца.

Если природа располагает материалом, из которого делаются Гамлеты, то Смоктуновский сделан из этого материала.

Когда Козинцев, а за ним Охлопков поставили «Гамлета» на сцене, казалось, что известная камерность шекспировского героя определяется еще и масштабом возможностей исполнителей.

Быть может, если бы у Козинцева десять лет назад был Смоктуновский, его спектакль стал бы свершением, а не обещанием, картиной, а не эскизом шекспировской трагедии.

Может быть, если бы Смоктуновский десять лет назад получил роль датского принца, он сыграл бы то, что от него многие ожидали теперь — Гамлета в первой поре его становления, со всем идеализмом молодости, с ее духовным максимализмом, с первыми страстными порывами отчаяния, с немолимой привычкой допытываться до сути вещей, когда познание опережает деяние...

Гамлет в фильме — зрелый человек. Он оставил позади тревожную и нестройную пору юности.

Вопрос о возрасте шекспировского героя

не праздный вопрос. У Смоктуновского ему все тридцать (эту цифру и называет у Шекспира могильщик). Не потому, что Смоктуновский выглядит немолодо — он чувствует немолодо. За его плечами опыт жизни.

Это Гамлет, который уже знает...

Он знает, где добро и где зло, и знает, что зло — хитро и изворотливо. Он отлично видит, что Клавдий — мерзавец, королева — всего только женщина, а его так называемые друзья Розенкранц и Гильденстерн — просто доносчики. Он брезгливо и скучливо смотрит на мелкого интригана Полония и слишком понимает ограниченность старательной и послушной Офелии. Он знает цену предательству, лжи, насилию, обману...

Старый дискуссионный вопрос о том, слабоволен ли Гамлет от природы или, напротив, энергичен — не имеет по отношению к нему никакого смысла. Он делает все, что положено делать Гамлету: подстраивает королю «мышеловку», пугает придворных безумными речами, выворачивает наизнанку душу матери, мучает бедную Офелию и дерется с ее братом, и однако ж вопрос — почему он медлит с мстью убийце и узурпатору Клавдию — не посещает вас. Впрочем, он и не медлит. И дело здесь не только в купюрах текста...

Разумеется, ни Охлопков в своем спектакле, ни Козинцев на сцене или на экране не рискнули вымарать из текста Шекспира знаменитый гамлетовский монолог «Быть или не быть».

Еще бы — этот знаменитый вопрос давно уже стал пословицей, поговоркой, крылатым словом — символом Гамлета и «гамлетизма».

Между тем к каким бы ухищрениям ни прибегали режиссеры, чтобы спрятать свое равнодушие к этому прославленному монологу, он так и остался «белым пятном» в их концепции трагедии. Десять лет назад Охлопков увел Гамлета от зрителя за решетку ворот и дал ему в руки кинжал, чтобы проблема «быть или не быть» получила, так сказать, «наглядное» решение. Монолог был превращен почти что в пантомиму, в дивертисмент, где шекспировскому тексту уделялось явно второстепенное место.

Но и Козинцев не решился в этом пункте оставить Смоктуновского наедине с Шекспиром. Он тоже повернул его спиной к зрителю и увел текст за экран. Увы, в этом

«нешаблонном» решении явственна в то же время капитуляция.

То же самое можно сказать и о сцене на кладбище над черепом «бедного Йорика». Она казалась в спектаклях, кажется и в фильме запоздалой, лишней и странной перед самым концом трагедии, когда дело с очевидностью идет к развязке.

Таким образом, кроме купюр фактических, текст Шекспира подвергся купюрам, так сказать, «психологическим», и в этом, по видимому, тоже есть своя система.

Можно упрекнуть за это художников. Нужно упрекать за это художников, не выразивших Шекспира во всем его объеме. Нужно также понять художников, которые, по слову того же Шекспира, являются краткой летописью времени, а не просто лицедееми.

Монолог «быть или не быть» долго считался ключом к Гамлету, и это был Гамлет рефлектирующий, меланхолический принц, которого в XIX веке в особенности любили изображать размышляющим над черепом Йорика.

Монолог «быть или не быть» перестал быть ключом к Гамлету, в котором на первый план выдвинулись совсем другие мотивы и черты.

Гамлет Смоктуновского во многом не похож, хотя в чем-то важном и похож на Гамлетов пятидесятых годов; он подводит им итог. Да, надо сознаться — ничего тут не поделаешь — это не тот Гамлет, решимость которого вынег «в бесплодие умственного тупика». В этом смысле полемические теории «сильного» Гамлета не прошли даром, хотя Смоктуновский преодолевает их своей игрой. Его Гамлет думает, но не философствует, он спрашивает себя и отвечает себе, но не знает вовсе, что такое изнурительное «бесплодие умственного тупика».

Это Гамлет (или Гамлеты, здесь видны черты общие всем описанным в этой статье исполнителям), приуроченный к времени, когда «физики в почете», когда дисциплина мысли кажется настолько обязательной, что она не покидает героя даже в момент безумия (мнимого, а для скольких Гамлетов оно было подлинным!), зато многие «странные» поступки датского принца (вроде «мышеловки») вовсе не кажутся странными... Это Гамлет «действенный», если понимать под действенностью совершенное отсутствие рефлексии, сомнений, колебаний — всего, что традиция так привычно

связывала с именем датского принца и обозначала словом «гамлетизм». Но уверен ли он, что свяжет «распавшуюся цепь времен»?

Да, это Гамлет, который обдуманно и точно делает все свои «гамлетовские» дела: подстраивает королю «мышеловку», пугает придворных безумными речами, выворачивает наизнанку душу матери, защищает и нападает, потому что иначе нельзя не только отомстить, но даже просто выжить, а между тем знает, что убийство Клавдия ничего не решит и мало что изменит. Но в этом знании нет того трагического отсвега, который назывался когда-то «мировой скорбью». Это знание слишком трезвое...

Поэтому Гамлета Смоктуновского не назовешь ни трагическим, ни романтическим, ни поэтическим. Правильнее всего назвать его интеллигентным.

Это не только граковка — это еще и неотъемлемое свойство артистической личности Смоктуновского, которое делает его исполнение безошибочно современным.

Если можно максимально приблизить к нам шекспировского героя — Смоктуновский делает это.

При этом он остается Гамлетом в исторической цепи Гамлетов естественно в большей степени, чем это получалось у слишком молодых Козакова или Рецетпера.

Различие тут бросается в глаза, как и сходство. Сценические Гамлеты пятидесятых годов при всей их разности были одинаково смятены зрелищем открывшихся им кровосмешения, блуда, убийства, узурпации. Потрясение моральных основ было так сильно, осознание зла так болезненно, что это почти не оставляло сил для мести.

Гамлет Смоктуновского как-то странно спокоен на протяжении всей картины, как будто ум его оценивает меру содеянного зла и необходимость мстить за него, но первая боль души уже притупилась...

Может быть, первый жар души, наивную веру в добро, смятение перед злом, отчаяние, скорбь, надежду — это напряжение духовной жизни — актер сыграл раньше, в прежних своих ролях: князя Мышкина в «Идиоте», Моцарта в экранизации оперы Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» даже в современных, Фарбера, например («Солдаты»).

Но в его странно уравновешенном, совсем не юном Гамлете вы все время ощу-

шаете скрытую вибрацию духовной жизни, высоту интеллекта, ненужную и опасную среди пошлости и подлости «Дании — тюрмы». Это делает его сильным и это делает его уязвимым. Опасное превосходство — духовности над практицизмом, иронии над хитростью, сложности над односложностью, индивидуальности над банальностью — то и дело ставит его на грань катастрофы, обеспечивая победу разве что в перспективе будущего... И вот почему этот действенный до прямолинейности Гамлет нигде не превращается в ограниченного Лазарта.

Герой ли он — без страха и упрёка, каким мы иногда без достаточных к тому оснований хотим видеть датского принца? Нет, разумеется, иначе пришлось бы признать, что актер отошел от Шекспира на ту недозволенную дистанцию, где пресловутые «сильные» Гамлеты, оставив в покое «вывихнутый век», превращались в борцов за престол. И однако ж в неромантическом Гамлете Смоктуновского есть та духовная сила, которая на опасной черте Клавдиева мира позволяет сохранять присутствие духа и мужество — своеобразный героизм этого своеобразного характера, созданного драматургом три с половиной века назад и не потерявшего по сей день своего смысла...

Когда «Гамлет» вышел на экран, одних постигло разочарование: они нашли, что постановка Козинцева не дает достаточно новаторского решения гамлетовской проблемы. Другие, напротив, нашли, что фильм наконец-то и навсегда решает все проблемы трагедии — слишком пылкий комплимент, который вряд ли может польстить художнику и исследователю, знающему секрет бессмертия Шекспира...

* * *

«Гамлет» — странная пьеса. Трудно назвать другое произведение, в которое каждое время с такой уверенностью влигало бы свой смысл и свои собственные заботы.

Стендаль как-то назвал роман зеркалом, с которым идешь по дороге. Перефразируя Стендаля, можно было бы сказать, что «Гамлет» — зеркало на дороге человечества, в котором вот уже четвертый век оно видит самого себя.

Ведь то, что мы называем «гамлетизмом», суть состояние духовного кризиса, примысленное к Шекспиру XIX веком. Гамлет Гёте — герой Гёте, Гамлет Тургенева — тургеневский герой, а между Гамлетом Мочалова и Качалова такая же примерно дистанция, как между поэзией Лермонтова и чеховской прозой...

Может быть, это происходит оттого, что в основании фабулы трагедии лежит загадка, не разрешимая до конца простой логикой, которую каждый век и каждый исполнитель волен разгадывать и перетолковывать на свой лад.

В самом деле, почему, получив от Призрака доказательства виновности Клавдия и недвусмысленное указание отомстить, принц Датский медлит?

А между тем духовный, интеллектуальный процесс, приведенный в движение этой исходной фабульной неопределенностью, настолько емок, глубок и всеобщ, что он способен захватить в свою орбиту причины и следствия, куда более существенные, чем убийство короля-отца, измена королевы-матери или месть королю-дяде. Он вобрал в себя шекспировскую мысль о трагическом кризисе гуманистического идеала на переломе двух эпох. Но и всякая другая переломная эпоха может вложить и вкладывает свой смысл и содержание в этот духовный процесс.

Вот почему академические постановки «Гамлета», как никакой другой пьесы, не удаются никогда. Впрочем, в той или иной степени это относится к каждому произведению, которое мы называем «великим» и которое может рассчитывать не только на торжественный юбилей, но и на живой интерес потомков.



Ю. КАРЯКИН

★

ЭПИЗОД ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ ИДЕЙ*

Речь идет о полемике, вызванной повестью А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ставшей звеном идеологической борьбы на международной арене. Два факта предопределили особую остроту этой полемики. Во-первых, открытое выступление руководителей КПК против мирового коммунистического движения (прежде всего против КПСС), их стремление использовать сегодня те самые «аргументы», которые вчера были монополией антикоммунистов. Во-вторых, разоблачение в повести некоторых крайних проявлений того, что названо «культом личности».

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЧУТЬЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Для определения социального смысла полемики вокруг повести обратимся сначала к такому объективному критерию, как «практическое чутье самих заинтересованных лиц» — представителей различных направлений, партий и классов (В. И. Ленин. Соч., т. 13, стр. 335). Антикоммунистам и раскольникам их практическое чутье продиктовало здесь ту же самую реакцию, что и по отношению к политике искоренения культа личности. О преступлениях, разоблаченных в повести, одни говорят: было **только** это; другие — этого **не** было. Одни — это **вся** правда о коммунизме; другие — это **никакая не** правда. Одни кощунственно спекулируют на этой трагедии, другие скрывают, что культ личности и означал такую трагедию. Одни злорадствуют, другие — боятся.

Антикоммунистическая пресса уверяет: повесть — беспросветна, природа русского народа — в долготерпении, у Ивана Денисовича Шухова нет ничего советского, лагерь — вот воплощение коммунизма.

Антикоммунисты восхваляют повесть как «победу литературы над политикой». Эти утверждения опровергаются как содержанием самой повести, так и отношением к ней ЦК КПСС. Н. С. Хрущев говорил, что повесть написана «**правдиво, с партийных позиций**» и что «**партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон жизни они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплачивают и укрепляют его силы**». Такая оценка высказывается и коммунистами других стран. Сэм Рассел свидетельствует, к примеру: хотя буржуазная печать и надеялась нажать политический капитал на публикации повести, «этим надеждам не суждено сбыться. Ибо сама публикация этого произведения .. является частью гарантий того, что ни советский народ, ни весь мир никогда больше не испытают нарушений социалистической законности» («Дейли уоркер», 31 января 1963 года).

Но вот что говорят некоторые люди, также называющие себя «коммунистами»: «Эта повесть написана, чтобы лишь угодить вкусу тех, кто ратует за ликвидацию последствий культа личности и клеветает на социалистическое общество и руководство партии. Это — «декадентское», «контрреволюционное произведение», в котором «отрицается сама советская власть». Подчеркивая связь появления повести с политикой КПСС, с курсом XX съезда (и в этом они, несомненно, правы), они и выступают против повести, против этой политики, лично против Н. С. Хрущева, одобрявшего такие произведения, которые якобы «распространяют яд буржуазной идеологии». В этот «черный список», кроме «Одного дня Ивана Денисовича», входят поэмы А. Твардовского «За далью — даль», «Василий Теркин на

* Перепечатывается из журнала «Проблемы мира и социализма», № 9, 1964.

том свете», фильмы «Чистое небо» и «Тишина» и т. д.¹

У всех тех, кто фальсифицирует и ненавидит повесть, есть очень веские «основания» делать это. Можно сказать, что у них есть для этого даже значительно больше «оснований», чем подсказывает их чутье, которое отнюдь не способствует просветлению их разума или приобретению таких качеств, как объективность, добросовестность и пр.

2. АНТИНАРОДНОСТЬ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Антинародность культа личности — такая основная идея повести А. И. Солженицына. Речь идет, следовательно, не только о трагедии людей, но и — это главное — о тех силах, которые позволяют преодолеть эту трагедию, об изживании культовых иллюзий и о вызревании народного приговора произволу и беззаконию. И все это, разумеется, обращено не только в прошлое. Повесть разоблачает те самые «идеалы» и порядки, которые и **сегодня** насаждаются защитниками культа личности — маоистами, их сторонниками и последователями.

С чем покончил XX съезд и что защищают его противники

Если один человек полагает, что у другого не может быть собственных убеждений, а этот последний стыдится своего мнения, боится его высказать, старается избавиться от него (следовательно, слепо верит кому-то), перед нами — элементарная предпосылка отношений культа личности. «Малейший отрыв от идей Мао Цзэ-дуня, то есть субъективное стремление сделать что-либо по-своему, может привести к неудаче, провалу», — учат ныне в Китае. Но теперь хорошо известен предел таких отношений. Он выражен в словах из инструкции, которую, как ежедневную «молитву», читает в повести А. И. Солженицына начальник караула. Эти

¹ «Зери и популит». 12—14 июня 1964; «Чхоннен мунхак» № 12. 1963 г. и пр. Позиции раскольников, как это часто теперь случается, совпадают с позициями троцкистов: «Читая Солженицына, можно подумать, что... выживали только те, кто умел гнуть спину». Троцкисты объявляют Ивана Денисовича «антигероем» и в итоге заключают, что повесть порождает лишь «горький пессимизм...» («Partisans» № 12. 1963, pp. 163. 165).

слова звучат символически: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь **без предупреждения!**...»

«Нельзя, чтобы все были рулямы», нужны «нержавеющие винтики», — внушают маоисты китайскому народу. Но они скрывают, к чему **в конце концов** приводит такая «философия»: человек перестает быть человеком с фамилией и именем, он становится не личностью, а пронумерованным «эзком». Мало того, и номер-то надо скрывать, «стараться надо, чтоб никакому надзирателю тебя в одиночку не видел, а в толпе только».

Славить Мао, славить «рядовых» его армии, «выпестованных идеями Мао», — так формулируется сегодня официальная задача искусства в Китае. Реально это направлено на **унижение** великого народа и его искусства. Народ хотя и (но никогда не смогут) превратит в стадо, блеющее от радости при одном упоминании о пастыре. А стадо считают «по головам». И вот к чему в конце концов сводится роль художников: «Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой — ну, точно как поп миром лбы мажет». (Картины для «начальства» и о «начальстве», а для народа — номера — не таков ли идеал искусства, «оплодотворенного идеями председателя Мао»?)

Сторонники культа личности стремятся все регламентировать, а на деле содействуют расцвету произвола. И вот правдивая картина **крайнего** произвола: «Свистит над голой степью ветер — летом сухойветный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно. Хлеб растет в хлебрезке одной, овес колосится — на прояскаде. И хоть спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь — из земли еды не выколотить, больше, чем начальничек тебе выплещет, не получишь. А и того не получишь за поварями, да за шестерками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкальвают. А ты — вкальвай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет».

Кто не работает, тот не ест — это убеждение в крови у трудящегося человека, и он с неискоренимой силой презрения и ненависти относится к паразитам, которых пита-

обстановка беззаконий. На это кровное убеждение масс и опираются коммунисты в борьбе за построение истинно человеческого общества.

Культ личности извращает все принципы социализма. И вот перед нами еще одно такое **предельное** извращение: для того чтобы построить «Соцгородок», сначала «надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить»... Но среди строителей — масса людей, самоотверженно строивших социализм на воле и больше всего мечтающих строить его — **добровольно**.

Люди — «самый ценный капитал», кадры — «золотой фонд партии» (Сталин)... Но вот документально точная и одновременно глубоко символическая сцена — выход на работу:

«Стоят эски перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой:

— Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

— Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

— Стой! — шумит вахтер. — Как баранов стадо. Разберись по пяты!

Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер — чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтер громко, резко отсчитывал:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спинок, десять ног.

А второй вахтер — контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли.

И еще лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И еще лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распинешься — своей головой заменишь».

Кажется, ты видел все это своими глазами...

Это случилось не со всеми. Счастье для тех, кто этого не испытал. Но тем более каждый обязан знать:

Вот с чем покончил XX съезд КПСС.

Вот что защищают его противники.

Вот каких разоблачений они боятся.

И вот почему они так люто ненавидят повесть, срывающую с них все и всяческие маски.

«Чем дальше, тем крепче утверждался»...

Подчеркнем еще раз: А. И. Солженицын дает социально-художественный материал для решения вопроса о культуре личности в его **самом крайнем**, поистине **предельном** выражении. Если даже в лагере (с массой невинно заключенных) есть такие силы, которые могут противостоять нечеловеческим условиям существования, — значит **тем более** нет оснований для вывода о «беспросветности», «пессимизме» и т. д.

Французский писатель-коммунист П. Дэкс отмечал: «Солженицын не из тех, кто царапает раны для того, чтобы их беречь... Этот лагерь несет в себе самое собственное разрушение с того самого момента, когда люди могут здесь побеждать... «Один день Ивана Денисовича» — это составная часть нынешних усилий, очищающих революцию от тех преступлений, которые ее грязнят, и более того: эта книга нацелена на то, чтобы вернуть революции все ее значение...» («Леттер франсез» № 967, февраль — март 1963 г.).

Одних жестокость истины закаляет, поднимает на борьбу. Других расслабляет, пугает, принижает. А третьи закрывают на нее глаза или объявляют ее ложью и клеветой.

В повести нет ни одной нотки жалобы, никакого малевания ужасов. «Рассказывает без жалости, как не об себе» — эти слова Ивана Денисовича относятся ко всему произведению.

Художественность в повести гармонически соединяется с документальностью, символика — с предельной конкретностью. «Что» и «как» здесь слиты абсолютно. А. И. Солженицын вместе со своим героем презирает легкий промысел, вроде раскраски ковриков («наложки трафаретку и мажь кистью сквозь

дырочки... Заработок, владать, легкий, огневой»). Перед нами живой протест против той небывалой инфляции слова, которая принимает размеры настоящего бедствия и развращает и писателей, подчас малюющих книги, как красила — ковры, и читателей, скупающих эти поделки. Художник словно подключился к незатейливому, но по-своему глубокому и последовательному ходу мыслей Шухова. Так подслушивает иногда народный напев музыкант и очень осторожно, редкими искусными аккордами начинает его сопровождать, выявляя все, что хотел выразить певец, и в то же время несравненно больше. Автор ничего не навязывает читателю, а предоставляет ему возможность **свободного** размышления, грудную радость **сотворчества** — надежный признак настоящего искусства, которое делает из человека не потребителя, а будит в нем творца.

А. И. Солженицын не идеализирует никого из своих героев. Иван Денисович и в бога верует («как громыхнет — пойдя не поверь!»). «Обо всем за него начальство думает — оно будто и легче». Он соглашается: «Это верно, кряхти да гнись. А упрешься — переломишься». Все эти качества — не только одно из следствий культа личности, но и одно из его условий.

Однако характер Шухова ни в коем случае нельзя свести к «долготерпению» и к «выживанию». Все дело для него не просто в том, чтобы выжить, а в том, как и для чего выжить. Он выживает не за счет других, а в труде и для труда.

Идут «эзки» из лагеря на работу, «как на похороны». Идут обратно — тот же мотив: «как на похороны». Но даже тяжелый труд для **большинства** из них — это как **воскрешение**: «Стояла ГЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозняка трешит; ни обогривалки, ни огня искорки. А все же пришла 104-я — и опять жизнь начинается». Так думает про себя Иван Денисович. Кладка стены — это символ самоутверждения человека в самых нечеловеческих условиях. В работе Шухов и с бригадиром — на равных, он и с десятником разговаривает «с насмешечкой», он — снова человек! Он делает, а не с ним делают. Вот почему, когда окончилась работа, Шухов, «хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку,

слева, справа. Эх, глаз-ватерпас! Ровно! Еще рука не старится!»

В таких, как Шухов, не только сила, но и слабость народа. Однако **главное, решающее, обнадеживающее** заключается в том, что Шухов «не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Это сказано не о нем. Это он сам о себе так думает. Это — его **самосознание**.

Конечно, народ далеко не исчерпывается шуховыми, но можно ли **противопоставлять** шуховых советскому народу, как это делают маоисты? Да, можно, если забыть о его человечности, о его труде, об отсутствии малейшей национальной нетерпимости, о его вражде к паразитам, о том, что он сумел «себя поставить». Можно, если проглядеть неслучайную близость Шухова к кавторангу Буйновскому: в главном — в сохранении человеческого достоинства, в отношении к труду — капитан для него — **свой**, таких коммунистов он уважает и признает. Можно, если отбросить то, какую власть защищал на войне, почему он после ранения «доброй волею в строй вернулся». Да, все это можно. Но это уже один раз **было**: его уже однажды не признали за советского. Расправа над Шуховым в жизни и попытка лишить его советского гражданства в качестве литературного образа — это два крайних звена одной цепи. Ненависть нынешних защитников культа личности к Шухову имеет социальное происхождение. Они относятся к нему так именно потому, что он начал ставить опасные для них вопросы, и они боятся этих «наивных» (и убийственных) вопросов со стороны своих шуховых.

Однако народ в повести представлен не одним Шуховым. Не народное ли пророчество звучит в словах Тюрinna, бригадира, обращенных к «наблюдателю» — десятнику: «Прошло ваше время, заразы, срокá давать!»

А «терпелик» Сенька Клевшин, словно продолжавший судьбу шолоховского Соколова из «Судьбы человека»? Герой бухенвальдского подполья, незаконно попавший в лагерь на родине, он и здесь человека «никогда... в беде не бросит».

Или тот, не названный «эзк», который развевает все иллюзии об «отце народов»: «Пожалеет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» Вот оценка молитв-жалоб, обращенных к тому, с чьей воли и совершались без-

закона. Эта короткая фраза не случайна, она тоже концентрирует итог огромного народного опыта...

Или кавторанг Буйновский. Он произносит по адресу лейтенанта Волкового, издающегося над заключенными, всего несколько слов, которые едва не стоили ему жизни: «Вы не советские люди!.. Вы не коммунисты!» Недавно мы узнали, что жив кавторанг. Сейчас он (его подлинная фамилия Бурковский Б. В.) начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора». Вот его отзыв о повести: «А людей-то в нас не затоптали... Как правдиво описан наш труд... Это хорошее, правдивое произведение». А вот еще отзыв, тоже коммуниста, но из другой страны. Витторио Страда (Италия) пишет о «неотразимой силе», с которой А. И. Солженицын рассказал о народной трагедии: «Побежденные оказываются победителями... Гранитная тяжесть культа Сталина не уничтожила, не раздавила то лучшее, что было в массах...» «Солженицын... не провозглашает вечных добродетелей, абсолютное благо, абстрактную положительность. Он хорошо знает, что от начальника лагеря до чемпиона бюрократии тянется невидимая, но прочная нить и что страдает от этого только социализм». Что заставляет Шухова так вдохновенно трудиться? — спрашивает В. Страда и отвечает: «Как можем мы определить его сознание, если не социалистическим, социализмом «в самом сердце»!.. Книга эта непонятна для тех, кто ставит ее в разряд литературы только о концлагерях... На страницах произведения Солженицына я снова открываю ту истину, что причины превосходства социализма кроются лишь в нем самом. Я, может быть, «советизировался» настолько, что читаю Солженицына, как его читает большинство советских читателей? Тем лучше» («Ринашита», 6 июля 1963 г., «Еуропа леттерариа» № 26, 1964 г.).

Если появление повести немисливо без XX съезда, то, прочитав ее, мы еще раз убеждаемся, что этот съезд имеет глубочайшие корни в народе: партия выразила то, что народ уже начал сознавать.

Революции критикуют себя, чтобы уяснить собственное содержание

Указывая на факты произвола, беззакония, разоблаченные на XX и XXII съездах, антикоммунисты заявляют: вот наилучшее

доказательство того, что такое коммунизм на практике. Они испытывают удовлетворение: мы, мол, всегда говорили, что натура человека заражена первородным грехом и нет такого строя, при котором можно было бы изжить этот грех. Единственным «нормальным» земным обществом является общество буржуазное.

Марксисты отвечают на это: вот доказательство того, что «мертвый хватает живого». Старый мир как бы мстит новому за свою неизбежную гибель. Не о «первородном грехе» идет речь, а о «грехах» — предрассудках, привычках, страстях, рожденных тысячелетним антагонизмом социальных отношений. Эти болезни тяжелы. Но если буржуазная идеология и религия признают их врожденными, неизлечимыми и в конечном счете смертельными, то марксизм устанавливает их социальные источники и находит средства избавления от них.

Можно объяснить появление культа личности (это — особый вопрос), но ничем нельзя оправдать его, нельзя признать фатальную неизбежность его победы, нельзя, наконец, свести к нему сложную многолетнюю историю целого народа. Главное было не в культе личности. Вопреки ему была — и в этом вся суть дела — борьба советского народа за социализм. (Не забываем мы об этом и при ссылах на современный Китай.) И советский народ построил социализм. Иначе — на какой почве мог вырасти курс XX съезда? Иначе — почему коммунисты сами разоблачили культ личности, чуждый природе социализма?

Маоисты апеллируют к истории: она, мол, «все спит». Это только сейчас царит «увлечение критикой», а потом станет ясно, что культ был необходимой платой за великие победы, одержанные социализмом...

Да, победы были. Но не благодаря культу, а вопреки ему. (Концепция маоистов по существу тождественна основному аргументу всей антикоммунистической пропаганды: социализм немислив без насилия над массами.)

Марксистская критика культа личности не имеет ничего общего с самобичеванием, с религиозным покаянием, которое от экстаза быстро переходит к апатии. Она мужественна, а не истерична. Она ведется с позиций научного коммунизма, во имя коммунизма и противостоит всяким спекуляциям на его трудностях. Она порождает уверенность,

основанную на знании, а не бесплодный скептицизм. Короче говоря, она есть проявление действительной силы коммунизма и умножает эту силу. И значение XX и XXII съездов КПСС не только в том, что они разоблачили беззакония, а главным образом в том, что они мобилизовали силы, способные покончить с этими беззакониями. Их значение не только в **восстановлении** социалистической законности, но и в ее **развитии**, в выработке **новых** перспектив борьбы советского народа за коммунизм.

Маркс писал о том, что революции пролетарские постоянно критикуют сами себя, чтобы уяснить свое собственное содержание и отбросить то, что противоречит их сущности. Они «...то и дело останавливаются на ходу, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, затем, чтобы еще раз начать это сызнова, с жестокой основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток...» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения. М., 1952 г., т. I, стр. 215). «Мы теперь уже знаем,— предупреждал Маркс,— какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать». В. И. Ленин выписал и особо подчеркнул это высказывание (см. В. И. Ленин. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса. 1844—1883 гг.», М., 1959 г., стр. 310).

Марксистская критика созидательна, именно поэтому она направлена на то, чтобы вырвать культ личности с **корнем**. И тайна открытой или скрытой вражды служителей этого культа к курсу XX съезда заключается в том, что они не в состоянии решать новые задачи по-новому. Они — **бесплодны**. Они только кажутся сильными в своих «убеждениях». На самом деле они боятся. За их самодовольством скрыта **слабость**. А поэтому они грозят, заугивают. Критика культа подрывает «основы», а мы — последние защитники этих «основ»... Но о каких «основах» реально идет речь? Они защищают основы **казарменного** коммунизма. Они действительно «последние защитники» этих основ. За их демагогией скрывается стремление к узурпации власти над партией и над народом.

Марксизм выдвинул задачу сократить и смягчить муки родов нового общества. Никогда реально не было столь много для этого сделано, как за последнее десятилетие. Представители же казарменного коммуниз-

ма — маоисты с религиозным фанатизмом доказывают, что «чем хуже — тем лучше». Они унаследовали от старого общества строй сознания, которое по существу является своеобразным суррогатом, светским вариантом религиозного.

3. СВЕТСКИЙ ВАРИАНТ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

«Интереснейшая рецензия»

Вернемся к повести. Вспомним разговор «чудака в очках» с кинорежиссером Цезарем в очереди за посылками:

— А у меня «Вечерка» свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

— Да ну?!

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..»

Действие в повести происходит в январе 1951 года, а в декабре 1950 года в «Вечерней Москве» была опубликована рецензия на премьеру пьесы А. Сурова «Рассвет над Москвой». Случайно или нет это совпадение, неизвестно. Но перечитать пьесу и рецензию параллельно с «Одним днем» безынтересно.

В пьесе поднимают бокалы «за любимого человека, за того, кто сделал будущее — настоящим, кто вернул старикам юность и юношам дал мудрость...» Глядя на светящееся ночью окно в Кремле, герои пьесы восклицают в религиозном экстазе: «Если свет горит, значит его окно». «Мы так думаем потому, что не представляем его спящим... Мне кажется—это он всякий раз рассвет над Москвой своей рукой включает!»

В спектакле «живет настоящая правда», писал рецензент, однако «с недостаточной силой звучит тема рассвета»...

Читать это сегодня и смешно, и горько. Не верится, что так было, но это доказывает, насколько далеко мы ушли от тех времен и порядков. Однако это не только было, это есть: достаточно познакомиться с китайской литературой, прославляющей того, кто своей рукой включает рассвет над Пекином: «Два красных солнца — одно на небе, а второе среди людей».. И еще: «Говорят, что произведения председателя Мао — это солнце. Я бы не сравнил их с солнцем, ибо солнце всходит и заходит, а произведения председателя Мао всегда излучают свет».

**«Разоблачить самоотчуждение в его
несвященных образах» (Маркс)**

По Марксу, «...религия есть самосознание и самочувствие человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял... Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях... Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, стр. 414—415).

Однако строй сознания, основанный на поклонении и слепой вере, на самоотчуждении, не исчерпывается его «традиционными», «чисто» религиозными формами, так или иначе связанными с церковью, с верой в бога, будь этот бог Христом, Буддой или Иеговой. Имеются и его светские модификации — от преклонения перед бюрократом до преклонения перед «демоническими» силами современной техники. «Задача истории... — писал Маркс, — с тех пор как исчезла правда потустороннего мира, — утвердить правду посюстороннего мира. Ближайшая задача философии, находящейся на службе истории, состоит — после того как разоблачен священный образ человеческого самоотчуждения — в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах... Критика религии завершается учением, что человек — высшее существо для человека, завершается, следовательно, категорическим императивом: повелевающим испровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, поработанным, беспомощным, презренным существом...» (там же, стр. 415, 422).

Превратное, религиозное сознание во всех его разновидностях исчезает лишь по мере того, как отношения практической повседневной жизни людей выражаются во все более прозрачных и разумных связях их между собой и с природой, в связях, уста-

навливаемых и регулируемых на основе научного знания.

В светском варианте религиозного сознания сменяется предмет, объект поклонения, но само поклонение сохраняется и совершенствуется. «Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий», — писал Маркс. Невежество, незнание, неинформированность — все это и одно из следствий, и одно из условий распространения «светской религии».

Идол, подобно богу, ненасытен ни в славе, ни в жертвах, которые ему приносятся невежественными идолопоклонниками. Вера враждебна знанию, и она стремится учинить расправу над знанием. Все массовые психозы основаны на какой-либо слепой вере.

«Истина» для верующих преподносится лишь как откровение свыше, как чудесный дар, а еще чаще — как приказ, требующий беспрекословного повиновения. Предел подобных взаимоотношений между «пастырями» и «овцами» характеризуется библейским изречением — «слепые вожди слепых».

Мы видели уже, какие заповеди чтятся ныне в Китае: ни малейшего отрыва от идей Мао Цзэ-дуна... Так вот посмотреть на нового бога «снизу». А вот откровение «сверху». Мао Цзэ-дун сравнивает китайский народ с «листом чистой бумаги». «На первый взгляд — это плохо, на самом деле — хорошо... На листе чистой бумаги ничего нет, но на нем можно писать самые новые, самые красивые слова, можно рисовать самые новые, самые красивые картины».

«На первый взгляд», это сказано «хорошо», на самом деле — это оглушение народа, унижение его, презрение к нему. Известно, что за «картины» были нарисованы, например, во время предпринятого руководителями КПК «большого скачка» и кто платил за эти «художества».

Марксизм как наука заменяется ныне в Китае маоизмом как своеобразным суррогатом религии. Самый худший враг не сможет нанести такого ущерба идеям коммунизма, как те, кто превращает эти идеи в разновидность религиозных догматов (питаем тем самым «аргументами» многих антикоммунистов). Что может быть противоестественнее, чем слепо верующий коммунист и коленопреклоненный перед идолом марксист?

**Спор Ивана Денисовича
с Алешей-баптистом**

Обратимся теперь к спору Шухова с Алешей. Перед сном Иван Денисович бросает фразу:

«— Слава тебе, господи, еще один день прошел!..»

Услышал Алешка, как Шухов вслух бога похвалил, и обернулся.

— Ведь вот, Иван Денисыч, душа-то ваша просится богу молиться. Почему ж вы ей воли не даете. а?..

— Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или «в жалобе отказать»... Я же не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится».

Алеша уговаривает прославлять бога за тяжелую участь: это, мол, испытание веры. В ответ Шухов говорит: «Вишь, Алешка... у тебя как-то ладно получается. Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чем?» Когда Алеша убеждает Ивана Денисовича молиться только о хлебе земном, цитируя евангелие: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!», тот с убийственной иронией переводит эти слова на язык реальной жизни. «— Пайку, значит?— спросил Шухов».

И Шухов, и Алеша остаются при своих убеждениях. Но Иван Денисович побеждает в этом споре, хотя бы потому, что начинает преодолевать свои собственные предрассудки. Бог без оных владений уже не бог. Религиозное сознание еще далеко не преодолено, но уже начинает раскалываться. Это важнейшая предпосылка конца всякого культа — небесного или земного. Рассуждения Ивана Денисовича выражают несравненно больше, чем просто отношение к религии. В его словах — итог его жизни. И подлинный смысл спора сильнее всего выражен в мыслях Ивана Денисовича о баптистах: «С них лагеря, как с гуся вода».

Небезынтересно сопоставить этот спор с центральной главой «Братьев Карамазовых» Достоевского («Pro и contra»), в которой рисуется спор другого Ивана с другим Алешей. Трудно сказать, «запланировал» ли автор эту ассоциацию, но совпадения здесь (даже с учетом всего различия ситуаций) весьма многозначительны. Иван Карамазов говорит брату: «Я не бога не принимаю,

пойми ты это, я мира им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять... Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не бога я не принимаю, Алеша, а только билет ему почтительнейше возвращаю».

Как видим, только один диалог Ивана Денисовича с Алешей (настоящий идейный финал повести) поднимает массу «проклятых вопросов», старых и новых. И все эти вопросы остались для «критиков» повести — из числа антикоммунистов и догматиков-маоистов — тайной за семью печатями. Политическая примитивность делает их абсолютно невосприимчивыми к общей социально-художественной, философской проблематике повести. Они могут барахтаться только на поверхности. Они либо и не подозревают о глубине и остроте поставленных вопросов, либо боятся заглянуть в эту глубину.

**В. И. Ленин: ни слова на веру,
ни слова против совести...**

Коммунист не может уподобиться тем, для которых «лагеря, как с гуся вода». Слишком дорогая цена уплачена, чтобы в конце концов ограничиться лишь сохранением тех убеждений, с которыми коммунисты начинали труднейшее дело строительства нового мира. Это необходимо, но недостаточно. И если уже такая цена уплачена, надо извлечь из пережитого опыта все возможное.

Одно из главных следствий разоблачения культа личности заключается в чрезвычайном обосрении чувства ответственности каждого человека (и в особенности коммуниста, марксиста) за все, что его окружает, за все происходящее в мире. Мало признаться: «Не знал, а потому слепо верил». Труднее и несравненно важнее спокойно разобраться в том механизме собственного сознания, который «срабатывал» определенным образом в те годы и который надо перестроить так, чтобы он уже никогда больше таким образом не «срабатывал». Освобождение от предрассудков культа личности — это не только правда о Сталине, но и правда о себе, о своих иллюзиях. Это — не копание в себе, а самокритика по-марксистски.

В своих последних статьях В. И. Ленин связывал судьбу России, судьбу революции с такими людьми. «... за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», которые «не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели» (Соч., т. 33, стр. 447). Ленинские идеи прямо противоположны «добродетелям» культового сознания: верить на слово, идти на сделки с совестью, скрывать трудности и дрожать всякий раз, когда нужно выбирать между борьбой, сопряженной с риском, и приспособленчеством.

Культовое сознание по природе своей антигуманно. «Подлинная любовь к человеку возможна,— утверждает Мао Цзэ-дун,— но лишь после того, как во всем мире будут уничтожены классы». Опасная проговорка, особенно если сравнить с ней антигуманную практику китайских руководителей. Принципы коммунистического гуманизма должны осуществляться не только в отдаленном будущем, но и сегодня — иначе они не будут осуществлены никогда. Если они не реализуются ежедневно, они будут откладываться до бесконечности. Главное в том, чтобы эти принципы культивировались с **первых** же шагов человека. И если всем детям делают прививки от массы болезней и делают успешно, то еще важнее — с **детства** же предохранять людей от той психологии, которая царит в «городе одинаковых человечков», существующем, к сожалению, не только в известной сказке. Маоисты же дошли до того, что воспитание детей в духе гуманизма квалифицируют как «разложение» и «отравление сознания ядом буржуазной идеологии»...

Наступит время, когда все услышат голос китайского Ивана Денисовича: «Зачем вы нас за дурачков считаете?», когда и в Китае по-своему пройдет свой XX съезд и появятся свои художники, разоблачающие культ личности, когда и там смешно и горько будет перечитывать сегодняшние номера «Жэньминь жибао» и трудно будет поверить, что вообще было возможно такое.

Так, несомненно, будет. А пока разворачивается серьезная борьба именно за то, чтобы так стало.

* * *

Повесть А. И. Солженицына, сам факт ее публикации оцениваются коммунистами как еще одна серьезная победа курса XX съезда и поражение его противников. Издержки от публикации повести (спекуляция на ней со стороны антикоммунистов и нынешних защитников культа личности — маоистов) неизбежны, как неизбежны они при всякой критике и самокритике коммунистов. Но эти издержки остаются и останутся позади. «Отдача» повести несравненно больше, и она растет. Марксистская критика разных стран все глубже и все успешнее разъясняет смысл повести. Она не требует восхваления, но опровергает злословие. Она не говорит, что тот, кто не признает повесть **выдающимся** произведением, тем самым оказывается сторонником культа личности, консерватором, ретроградом и т. д. Но она бескомпромиссно борется со всеми, кто уверяет, будто это — антисоветское, антисоциалистическое, антипартийное произведение. Логика реальной жизни, логика классово-борьбы показывает: чем дальше, тем больше повесть ненавидят и боятся, как ненавидят и боятся живого и сильного врага. — такой ненавистью к ней автор может только гордиться. Чем дальше, тем более деятельную роль играет она в борьбе и с антикоммунистами, и с маоистами — сторонниками казарменного коммунизма. Тем очевиднее становится ее дальний прицел и дальний прицел ее публикации, тем сильнее «обжигаются» на ней те, кто хотел бы на ней спекулировать. Никого повесть не оставляет равнодушным. А это самое главное. Как сказано у польского писателя Б. Ясенского: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предадут, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ст. Рассадин. О людях, которые работают.— Л. Лебедева. Выбирать могут все — В. Непомнящий. Могущество любви.— М. Ландор. Рассказы о современной Америке.— Л. Швецова. Обобщение или упрощение?

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Сухаребский. Ленинская забота о здоровье трудящихся.— В. Гоффеншефер. Жизнь, не ставшая прошлым.— Мих. Лифшиц. Книга, которую следует переиздать.— Марк Поповский. Добрая память современников.— В. Сиденко. В джунглях апартеида — Р. Ланда. Голос свободного Алжира.

Литература и искусство

О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

С. Маршак. «Умные вещи». Сказка-комедия. «Юность», № 8, 1964.

Новая (и, к несчастью, последняя) пьеса-сказка С. Я. Маршака «Умные вещи» начинается сценой ярмарки. На ярмарочной площади толчется нестрый люд, разложены товары, на разные голоса покрикивают торговцы — на разные, потому что тут сразу сказывается давно нам известная способность Маршака давать своим героям мгновенные характеристики.

Шелковые шали!
Сами вышивали!—

выпевают женские голоса; но сказочник мог бы и не указывать нам, что это именно женские голоса, — мы это и сами поняли да к тому же расслышали в их интонации ласковую протяжность. А вот разбитной говорок ярмарочного завсегдатая:

Развлекься
Не хотите ль?
Американский
Житель,
Настоящий янки,
Плавающий в банке!

Ярмарка вообще написана по-маршаковски ярко; но это не только веселая и шум-

ная, не только русская ярмарка, — по многим приметам можно догадаться, что действие пьесы происходит не в те незапамятные, легендарные, условно сказочные времена, в которых обычно повествуют народные сказки, а в более определенные. Это скорее «некрасовская» по времени ярмарка (разумеется, дело здесь не в дотошной хронологии, а в определенности быта, стиля, характеров).

Об этом говорит многое. И лубочный товар на прилавке книгоноши: «Сказание о царе Александре Македонском», «Похороны козла», «О мудрой девице и семи разбойниках». И ученое слово, которое ввернул книгоноша в разговоре с баринном, обидевшись за свои книги: «Их иной раз даже ученые люди, профессора читают и хвалят. Народным творчеством или — как это по-ученому? — фольклором называют». И костюмы героев — хотя бы европеизированный костюм барина, которого к тому же сопровождает лакей с бакенбардами. И даже лавка «умных вещей» при всей сказочности своего товара (скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, шапка-невидимка и т. п.) напо-

минает магазин, торгующий изделиями народных мастеров. А хозяйин ее, старик волшебник, — словно бы сам русский мастер-умелец, отвовавший своими золотыми руками право на достоинство и независимость

Совсем не похож на традиционного сказочного царя и царь из пьесы «Умные вещи». Автор так представляет его: «Царь. пожилой, но моложавый, с усами, без бороды, в генеральских штанах, но без мундира, в одной рубашке с расстегнутым воротом, сидит у открытого окна».

Маршак сказал однажды, что, в отличие от «мужицкого» царя Дормидонта из прежней его сказки «Горя бояться — счастья не видать», этот царь — генерал. И правда. в его языке, во внешности, в повадках, в характерной генеральской простоватости, воспитанной на привычке к ранжиру, так и виден отстающей корлуной командир, ныне по-военному (раз-два!) командующий вверенной ему губернией.

Таково и его окружение: министр внутренних дел — нечто вроде полицмейстера, канцлер — канцелярская крыса, выслужившееся кувшинное рыло; словом, типичные губернские чиновники с типичным чиновничьим обликом.

Но Маршак не отступил здесь от сказочной народной традиции. Быт и характеры его пьесы необычны для фольклора, но сказочник остался верен главному — народному взгляду на вещи.

Царь Дормидонт из «Горя бояться...» был более традиционным характером — он словно бы прямо шагнул в пьесу из народной сказки. Ведь мужики, слагатели сказок, ничего не знали о жизни и быте русского венценосца, живущего где-то там, в далеком Питере, непонятной и незнакомой жизнью. Они кроили сказочных царей по своему образу и подобию, делая их — и по психологии и по быту — просто богатыми мужиками. И отношения в таком царстве подобны отношениям в недавно расслоившейся крестьянской общине, где богатый уже подмял под себя бедняка, но не перестал еще походить на него (недаром в одной народной сказке говорится, что мужичок Капитонко «на квартире стоял от царя рядом», да еще они «испо-лу промышляли»).

Так был создан и Дормидонт. Он ничем не отличался от мужика, разве что богатством да наглостью, пришедшей с богатством. Когда Горе-Злосчастье разорило его,

он вновь превращался в обычного старичка, которого было даже жалко. Все уходило вместе с казной.

В «Умных вещах» Маршак решил изобразить два действительно разных мира — народный и господский, уже давно разошедшиеся во всем — в психологии и в быте, давно противостоящие друг другу. Здесь мужицкий царь Дормидонт был бы не на месте, — и вот на этот раз Маршак надел корону на генерала, чей облик был хорошо знаком всякому мужику, прошедшему солдатчину.

Сюжет пьесы развивается по двум — но очень близким и нередко соприкасающимся — линиям. Первая — это рассказ о том, как барин купил на ярмарке «умные вещи», как пытался выслужиться и преподнести их царю, но в его неловких и нерабочих руках вещи разладились, и ничего, кроме царского гнева, барин не выслужил. Вторая линия — история деревенского парня-плотника, прозванного Музыкантом за чудесную игру на дудке: история о том, как несправедливо обвиненный барин в краже дудки-самогудки он попал в тюрьму, как его друзья — книгоноша, два портных, Черный и Рыжий, а больше всех его невеста — боролись за него, как они ловко провели царя. Кончается пьеса, как и положено сказке, свадебным пиром.

Две эти сюжетные линии существуют в пьесе, как две музыкальные темы — поэтично-романтическая и гротескно-язвительная. Да и вообще в пьесе встретились сатира, ирония, быт и волшебство, романтика, возвышенная поэтичность; в ней ужилось то, что обычно в народной сказке не уживалось.

В русском сказочном фольклоре поэзия и сатира как бы поделены между волшебной сказкой и народным бытовым анекдотом. В волшебной сказке выразилась мечтательность народной души, ее поэзия, ее тоска по недоступному, чего можно достичь разве что с помощью сапогов-скороходов либо ковра-самолета. В юмористической сказке, в анекдоте прославлялась крестьянская сметка, оборотливость, хитроумие; да и счастливый исход здесь был хоть и не распространен в жизни, но все же реален. Крестьянин ведь и вправду мог откупиться и разбогатеть, а потом накуражиться над промотавшимся баринком, попов работников тем более мог обмануть хозяина, а то и соблазнить поповскую дочку. Волшебство здесь было попросту не нужно.

Две эти сказки по сути изображали разные миры, несовместимые друг с другом. Один был вымышленным — поэтому и могли в нем торжествовать поэзия и справедливость; другой — более реальным, и в нем приходилось вести игру по жестоким правилам, установленным хозяевами жизни. Не случайно, что, когда симпатичнейший герой волшебной сказки Иван-дурак забредал в грубоватую действительность анекдота, он оказывался там и в самом деле дураком, не приспособленным к этой жизни недетской.

Маршак сумел совместить в своей пьесе поэзию и сатиру, и это потому, что он творчески развил народную традицию, потому, что тонко проанализировал те задачи, которые выполняли поэзия и сатира в народной сказке, и применил их возможности в своей более сложной сказке. А это ведь и есть настоящая верность традиции.

В сказке Маршака наиболее поэтичны (вернее, единственно поэтичны) люди труда. Это понятно, именно их естественная, наполненная смыслом трудовая жизнь сделала их душевно здоровыми и гармоничными. А тот, кто не трудится, кто живет за чужой счет, кто отъединен от человеческого содружества, тот неизбежно приходит к вырождению, к ущербности, к античеловечности.

И им занимается уже не поэзия, а сатира.

Мир «господ» в пьесе Маршака не так уж однороден. Скажем, барин — прямой подлец, оклеветавший Музыканта, изловившийся и перед царем. Сам царь — по-своему порядочнее. Но это небольшая разница. Все они равно противостоят народным героям пьесы, как противостоят народному образу жизни их пустое, паразитическое существование.

«Боже.. меня храни!..» — задумчиво напевает царь, томясь от безделья в своих палатах. И это смешно не только потому, что здесь пародийно переиначена строка монархического гимна, но и потому, что это точная и язвительная формула своекорыстного существования, заполненного только собой, только заботами о собственной сохранности.

Да, Маршак не стал делать своего царя злодеем, но какие бы относительные достоинства мы в нем ни видели, все равно характер его сатиричен. Мелкие чувства владеют им.

Вот он диктует министру высочайший приказ: «Записывайте!.. Тому, кто доста-

вит во дворец в течение трех месяцев ниже следующие чудеса (список возьмите в канцлера), обещаю в награду полцарства!»

Царица жалобно вскрикивает: «Ваше величество!..» — и царь поспешно поправляется: «Ну, треть моего царства!»

Ц а р и ц а. Как можно?!

Ц а р ь. Прошу не перечить мне! Ну, четверть!.. И быть по сему!»

Комический эффект здесь вновь вызван пародийным переосмыслением. Ведь всем известно, что эти «полцарства», которыми сказочные цари оплачивают услуги, давно стали чем-то вроде денежной единицы; в одной сказке братьев Grimm рассказывается, что король выдал каждому из четырех спасителей своей дочери по полцарства. Но в пьесе Маршака этот сказочный штамп столкнулся со свежестью народного восприятия, с наивным и лукавым буквализмом народной речи.

И все-таки этот юмор был бы внешним, если бы здесь не столкнулись еще и величавый царски-генеральский жест («обещаю в награду полцарства!») с обыкновенной житейской скупостью — недаром царь, сохраняя величественность, так легко уступает царице.

Да и все эти «умные вещи» нужны царю для удовлетворения самого вульгарного тщеславия. На этом мелком чувстве и ловят его книгоноша и подручный старика волшебника, которые, переодевшись послами «тридевятого царства тридесятого государства», проникли к нему во дворец и пробудили в нем жадный интерес к «умным вещам», находящимся в руках барина. Тут уж царь дает выход своему тщеславию: «Ежели все в порядке, завтра же мы поедем к нему в имение. И посла этого треклятого, то бишь тридевятого, царства пригласите с переводчиком. Пусть «влият, что не только у ихнего царя чудеса есть!»

Но книгоноша обманывает царя вовсе не ради корысти, как бывало нередко в народном анекдоте. Сама эта игра ведется во имя счастья Музыканта и его невесты, во имя любви и дружбы, во имя солидарности.

Маршак создает характеры «господ» и народных героев разными средствами типизации. Царь и его окружение — фигуры острохарактерные, написанные по всем правилам сатирической комедии. В Музыканте и его друзьях, напротив, подчеркивается не внешняя характерность, а внутренняя поэтичность.

В пьесе Е. Шварца «Тень» главный герой ее, вдохновенный чудак Христиан-Теодор никак не мог поверить слухам о победе Тени: «Не верю!.. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают!»

Герои «Умных вещей», разумеется, не показаны в процессе своего труда: Музыкант не плотничает, портные не держатся за иголку, но во всем, что они делают и говорят, ощущаются «люди, которые работают».

Об этом говорят и так называемые «речевые характеристики».

Маршак не признавал внешнего подражания народной речи, ненавидел стилизацию. В прежних своих пьесах (в том же «Горя бояться...») он редко-редко использовал явные просторечия — и то не просто «ради смеху», а с характеризующей целью. «Я манже хочу — жрать, понимаешь?» — орал на своего придворного царь Дормидонт, и мы остро чувствовали комичность его нелепого и неумелого подражания иноземному.

В пьесе «Умные вещи» таких просторечий еще меньше. Сначала невольно сожалеешь о таком самоограничении, но потом понимаешь — оно не случайно. Маршак поставил перед собой наиболее сложную задачу: он хотел, чтобы речь его персонажей была народной, крестьянской, в общем оставаясь в то же время в пределах литературного языка. Ведь и Пушкин учился языку у прозвирен не затем, чтобы натуралистически его воспроизводить.

Поэтому речь народных героев Маршака нелегко цитировать — в ней нет словечек, рассчитанных на выигрышность отдельного звучания, ее естественность и неподдельность оцениваются только в контексте. Более того, чем значительнее, чем поэтичнее характер героя, тем меньше Маршак придает ему и его речи внешней характерности.

Он не заботился, чтобы портные, Рыжий и Черный, были ощутимы как индивидуальные характеры. Ему это просто не было нужно: портные, балагуры и исполнители интермедий явно происходят от скорморохов и зазывал, героев народного балагана — поэтому их язык бросок, как язык клоунады; он близко и прямо связан с их ремеслом. Когда Музыкант достойно отвечает барину, они хохочут: «Ловко отрезал!.. Славно отшил!», когда пляшут, то покрикивают: «Эх, накаляй утюги!.. Пошли строчить!», а в песенке их поется: «Всех как есть своим аршином мерить мы готовы».

В речи Музыканта нет такой прямой соотнесенности с его конкретной профессией, с плотничеством. Его язык и весь его облик связаны с народной основой тоньше и глубже.

Сам прекрасный русский язык — полновзвучный и певучий, язык, которым Маршак так совершенно владел, он сделал частью внутренней характеристики героя. Музыкант лучше всех остальных владеет поэтичностью русской речи, особенно заметной рядом с отрывистостью и казенностью речи царя, с придворным жаргоном министров, с внешней цивилизованностью барина. Не случайно в кульминационных моментах роли он переходит на песню. Вот он грустно размышляет в тюрьме: «Эх, старичок, старичок! Ты бы уж мне вместе с дудкой и шапку-невидимку или ковер-самолет подарил, что ли! Не сидел бы я в этой клетке, только бы меня и видели!» — и тихо запекает песню. Здесь нет нарочитой ритмизации, это не ритмическая проза, но она так распевна и строй ее так приближен к строю народной песни, что трудно уловить момент, когда в словах Музыканта рождается песенный ритм.

Да и сами его песни чудесны.

Написала бы митому письмо я,
Да писать я, мой милый, не умею,
Да писать я, мой милый, не умею,
Писаречка да не имею!..

А рядом совсем другая песня:

Нут-ка, дудка-самогудка,
Брось ты старую погудку,
Заиграй на новый лад,
Пусть запляшут стар и млад!..

Что здесь придумано самим Маршаком и что взято у народа? Не так-то легко ответить на этот вопрос...

Совместное звучание сатирической и поэтической тем не было бы таким согласным и осмысленным, если б сюжетные линии пьесы не связывались историей «умных вещей».

Когда Музыкант, отыскивая для невесты зеркальце, попадает в лавку «умных вещей», он задает старику волшебнику вполне резонный вопрос: «Вот я все думаю и никак понять не могу: зачем вы эти чудесные вещи продаете? Коли у вас есть скатерть-самобранка да сапоги-скороходы, так вы и без торговли безбедно прожить можете. Ешьтей задаром да гуляй себе в сапогах-скороходах по городам и селам, по горам и до-

лам. А захотел от злого глаза укрыться — шапочку надень...»

И старик ему отвечает: «Нет, парень, наши умные вещи должны по белу свету странствовать, из рук в руки переходить. А ежели мне их для себя в сундуке держать, так они свой ум и силу потеряют».

И еще есть свойство у «умных вещей» — как они ни умны, но им нужны хорошие руки. Музыкант спрашивает у старика о дудке-самогудке: «Сама играет?», а тот объясняет: «На то она и самогудка. А все же музыкант ей нужен. Без него в ее песне души не будет».

Попав в дурные руки — в руки барина, «умные вещи» и впрямь теряют свою умную силу. Даже больше, теперь они обращаются против новых своих хозяев: сапоги-скороходы превратились в сапоги-самопады — так что одевший их наследник насажал себе шишек; самобранка стала самодралкой — и отдубасила прикоснувшегося к ней лакея; а меч — сто голов с плеч, на который в особенности рассчитывал царь, оказывается, мог снести с плеч и его генеральскую голову. Счастье царя, что к мечу он не успел притронуться...

И все это произошло не просто от незнания, как было у ученика чародея из гетевской баллады, которому хватило умения вызвать на свет чудеса, но не хватило искусства с ними справиться. Маршак показывает, что «умные вещи» по самой своей природе предназначены для других рук.

Когда эти вещи оказываются у господ, те обрекают их на жалкую судьбу. Скажем, увидев шапку-невидимку, бариня решает: «В шляпе я буду ездить, куда приглашают, а в шапочке — куда не приглашают». А покупая самобранку, радуется: «Завтра же я рассчитаю всех наших поваров и кухарок. Они так много едят, а еще больше крадут». Барин возражает: «Пожалуйста, не рассчитывай на скатерть-самобранку. Я буду брать ее с собой на охоту!» Лакей, накрывая на стол, раздумывает: «Мала она больно, самобранка эта, кругом нее все не усядутся. Она у нас вроде буфета будет...» То же происходит и с другими «умными вещами» — они хранятся в господском доме под устрашающими надписями: «Руками не трогать!», «Совершенно секретно!», а меч царь приказывает отправить на полигон для испытаний (кстати, в истории с мечом особенно просвечивает ненавязчивая, естественная злободневность пьесы).

Смысл и направленность этой иронии ясны.

В самом деле: народ придумал все эти сказочные чудеса для того, чтобы его любимые герои совершали несбыточное: чтобы самобранка кормила голодного, шапка-невидимка укрывала героя от врага, а меч сражался за справедливость. Старик волшебник так и говорит о своих вещах: «Ведь каким людям они на своем веку служили — витязям, богатырям, великанам!..» А теперь, когда они попали в дворянский, благополучный, налаженный быт, им уготовили судьбу безделок и развлечений.

Немудрено, что «умные вещи» — воплощение народной фантазии, мечты, творчества — не могли смириться с этой ролью. Они сами решили свою судьбу.

Когда Музыканту возвращают отнятую у него дудку и он подносит ее к губам, она начинает так играть, что все, кто есть в барском доме, пляшут. Пляшут под дудку Музыканта — так оживает здесь эта полустершаяся метафора. И в этой пляске сохранен, но комически преломлен характер каждого: «Приплясывает, боязливо косясь на царя, министр внутренних дел. Но царь и сам, не вставая с места, притопывает и прищелкивает пальцами. Царица тоже танцует в кресле. Министр иностранных дел дирижирует. Канцлер подскакивает на стуле и чуть слышно старческим голосом охает в лад: «Ох, ох! Ох, ох!..» Даже солдаты, стоящие у дверей, пляшут, не сходя с места и стуча прикладами».

Таково веселое торжество справедливости в этой сказке. Веселое подтверждение того, что мир держится «на людях, которые работают»...

До последнего дня жизни Маршак думал и говорил об этой пьесе. Уже написав ее, уже сдав в журнал и в театр, он возвращался к ней, дописывал интермедии, критиковал иллюстрации, хотел непременно сам прочесть ее многим своим гостям, представлял, как будет играть царя Ильинский. И вот он не увидит премьеры. Не дождался он даже выхода журнала.

У современников есть привычка видеть особый смысл в том, что какое-то произведение писателя оказалось его последним произведением, видеть в нем нечто вроде завещания. Это в общем-то естественное стремление нередко приводит к натяжкам.

Не надо искать этого и здесь. Просто

последняя пьеса Маршака написана с той же полнотой самоотдачи, с какой писались все его лучшие вещи. Любимые мысли писателя воплотились и в ней.

Евгений Шварц писал о Маршаке 1924 года: «Если верить Ромену Роллану, индустриальные религиозные философы прошлого века утверждали, что учат не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собрались в конце концов люди верую-

щие, исповедующие искусство — а разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: как народно!.. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно».

Таким Маршак остался до конца.

Ст. РАССАДИН.



ВЫБИРАТЬ МОГУТ ВСЕ

Миколас Слущикис. Лестница в небо. Роман. «Знамя», №№ 5, 6, 7. 1964.

Кто бывал в Прибалтике вскоре после войны, помнит, наверное, брошенные хозяевами хутора. Мрачные дома — окна закрыты ставнями, ставни перечеркнуты косыми крестами набитых на них досок. Пусто, тихо... и тревожно. Поброди по двору и, быть может, поймешь, что хозяева надеялись вернуться.

Не война прогнала их отсюда. Их подняла с насиженных мест социальная битва; происшедший в Прибалтике социальный переворот так или иначе решил их судьбы.

К первым послевоенным годам в Литве — ко времени, сместившему многие социальные акценты, взметнувшему все души, заставившему думать о себе днем и ночью даже тех, для кого, казалось бы, все в жизни давно решено и прочно поставлено на свои места, — относятся те несколько дней, в которые происходит действие нового романа М. Слущикиса «Лестница в небо».

В книге этой нет второстепенных действующих лиц и нет маловажных жизненных проблем. Все остро, все напряженно, все тесно переплетено в тех истинных конфликтах, о которых можно сказать словами поэта Николая Дамдинова: «Они не любят шутить, они сердца разбивают...»

Не всем пришлось определять свое отношение к новому строю. Для одних это было свое, ожидаемое, завоеванное; для других — чуждое, ненавистное, враждебное, опрокинувшее буржуазный порядок. Но в крестьянской, хуторной Литве немало было и таких, кто должен был заново решать, на чью сторону встать, к какому лагерю примкнуть, кого назвать своим.

И в каждом случае решение, какую бы

форму оно ни принимало, было невероятно, а порой разрушительно трудным.

Говоря так, я, конечно, не имею в виду приспособленцев, для которых смена социального строя — предположим, нежелательная для них — означает лишь судорожные поиски удачной мимикрии. Для таких людей все было ясно: можно спрятать офицерский мундир, можно зарыть автомат или оставить его на чердаке у родственников, живущих в глуши на хуторе, — пусть даже им придется солоно, когда оружие найдут у них. Если же все это окажется недостаточным, то «один наш приятель придумал чудесный вариант ссылки: «Широка страна моя родная...» Почему я не могу тихонечко уехать на какую-нибудь шахту в Казахстане или на строительство электростанции?»

Так рассуждает, например, Паулюс Шаткаускас, один из персонажей романа «Лестница в небо».

Рассуждения Паулюса занимают в романе довольно значительное место. «Лестница в небо» вообще построена на внутренних монологах героев. Правда, не все персонажи высказываются, «самораскрываются», но тех, кто молчит, характеризуют другие.

Нельзя не признать, что Миколас Слущикис четко определил форму для решения избранной им темы. И в основном точно выбрал героев, которым «предоставил слово», — за исключением, пожалуй, того самого Шаткаускаса, который был уже упомянут. Ему предоставлен слишком большой «плацдарм», а в этом нет нужды. Рассуждения Шаткаускаса ничего или почти ни-

чего не прибавляют к тому, что мы узнаем о нем по его поведению и по тому, что говорят и думают о нем другие.

Шаткаукасу нужно изворачиваться, а всем другим героям романа нужно по-человечески решать основное: как жить. А иногда ведь люди оглядываются или даже пытаются опереться на шаткаукасов — это все равно, что, взбираясь по деревянной лестнице, ступить на прогнившую, но на вид крепкую ступеньку. И если через гнилую ступеньку можно перескочить, то через шаткаукасов не всегда «перескочишь» — в жизни все связано иначе, чем ступени лестницы. Пусть время разъединяет, разбрасывает людей, ставит между ними преграды — связь существует, и никуда от нее не убежать. Это, пожалуй, первая из нескольких сложных, диалектических и очень тонко, убедительно решаемых в романе линий. Сама композиция книги подчинена этой мысли, хотя осознаешь это, конечно, лишь дочитав роман до конца.

«Лестница в небо» — роман в новеллах. В первой половине книги чередуются главы о двух молодых героях — студентке Рамуне, дочери хуторянина Индрюнаса, и студенте Янукисе, начинающем литераторе, «бурном» романгике.

Рамуне с невероятным трудом вырвалась с хутора в город, в университет — хотела уйти, убежать от власти своего, «собственного» дома. Олицетворение этой власти — отец девушки, старый Индрюнас, человек, наделенный большой цепкостью и жизнеспособностью, человек с характером и неглупый, но все свои способности «вбивший» в собственное хозяйство. Противопоставление отца и дочери все время проходит в книге. Сила сопротивления Рамуне велика (ведь она унаследовала от отца душевное упорство!), но дом неудержимо влечет ее назад, потому что уйти, не решив то, что неизбежно надо решить, невозможно. Ведь просто убежать от решения — значит отказаться и от тепла родного очага, и от привычной с детских лет, милой сердцу скромной красоты родного края, и от близости с матерью, и от еще многого, что непередаваемо словами, но что ассоциируется в человеческой душе с чувством любви к родной земле.

М. Слуцкис здесь ничего не упрощает. Известно, что хуторянин — собственник, что это плохо, что с ним надо бороться и т. п. Между тем бороться надо, как и показывает Слуцкис, прежде всего с тем, чтобы

собственность не становилась хозяйкой над человеком, с тем, чтобы привязанность к родной земле не оборачивалась неодолимой привязанностью к родной картошке. Где человек переходит эту грань, не всегда легко уловить.

Рамуне возвращается на хутор. Идут дожди, гниет в поле невыкопанная картошка, мать больна и уже не может ворочать, как лошадь. Надо помочь семье, и тогда можно снова уехать учиться.

Таков внешний повод возвращения — простой до примитивности.

Но внутренне все не так, все в тысячу раз сложнее. Рядом с Рамуне мать, отказавшаяся когда-то от той же самой мечты вырваться с хутора. Рядом брат Юргис, отданный в жертву тому же самому хутору, можно сказать, вколотенный в землю во имя проклятой «хозяйской самостоятельности», во имя того, чтобы старшая дочь Индрюнасов Ингрида могла стать «ученой», могла выйти замуж за Шаткаукаса, офицера... Да и Рамуне проводил в дорогу, когда она уезжала в Вильнюс, тот же Юргис. Покрасил на дорогу ящик-чемодан, в котором лежат домашние сало и колбаса.

Все подробности жизни семьи — и большое, и мелочное — остаются свежими и в душе Рамуне. Как устоять, как не поддаться «дому» и вместе с тем как сохранить те драгоценные нити, что связывают, например, с матерью?

Рамуне внутренне ощущает свое сходство с отцом — человеком, растворившимся в своем хуторе, увязшим в глине своих картофельных полей. Она прокладывает это сходство, но иногда в чем-то признает и необходимость этой связи для себя.

С чего начинался Индрюнас, так сказать, как социальный тип? С поисков возможности утвердить себя, с поисков права сказать: «Я могу...» Об этом очень точно сказал М. Слуцкис в одном из эпизодов. Индрюнас ворчит по поводу новых порядков: «— Ну и времена, работника нанять нельзя! Нельзя — и basta! Власть голодранцев!..»

...Рамуне слушает злое отцовское ворчание. Хорошо, что он не молчит, изливает сердце — не так, как мать, у которой лицо, словно черепина! — хоть работников он никогда не нанимал, даже когда можно было». (Подчеркнуто мной. — Л. Л.) Это символично. Призрак возможностей, призрак некоего — в том числе и духовного! — могущест-

ва, призрак независимости увлекает Индрюнасов, а когда приходит к ним долгожданная обеспеченность и «самостоятельность», возможности не осуществляются, они обесмысленны. Человек стал приложением к хутору, работающим до изнеможения и доводящим до изнеможения всех, кто вынужден работать вместе с ним...

Вот что стоит за поездкой Рамуне. И еще многое другое. И эту сложность, эту противоречивость инстинктивно почувствовал Яунос, случайно встретивший Рамуне на площади в то время, когда она тащила к поезду свой ящик-чемодан.

Рамуне и Яунос полюбили друг друга уже в эту первую короткую встречу. Рамуне уехала; Яунос не знает, куда. Он ищет девушку и, получив в редакции командировку, едет вслед за ней в деревню, в Жвирблундай, в край разбросанных далеко один от другого хуторов, в край, где идет ожесточенная борьба в самом простом и кровавом смысле этого слова. Бандиты («лесные») вырезают целые семьи «большевиков», опасаясь, впрочем, особенно задевать «самостоятельных хозяев» — свою потенциальную опору. А те, кто ловит и обезвреживает бандитов, те, кого называют защитниками, тоже невероятно ожесточены этой борьбой и отнюдь не с нежностью обращаются с теми, кого должны защищать.

Приехавший на хутор Индрюнасов Яунос в первую же ночь становится невольным — и вынужденно безучастным! — свидетелем того, как нагрянувшие в дом «лесные» жестоко избивают старого Индрюнаса. Не так давно они потребовали, чтобы Индрюнас направил сына Юргиса в лес, к ним, старик сделал вид, что подчинился, а на самом деле спрятал сына в каком-то тайнике, скрытом даже от матери.

Не успел еще Яунос «переварить» нашествие «лесных», как в двери стучат защитники. И у них серьезные претензии к хуторянам — «пособничаєте бандитам!».

Не много времени проходит, пока Яунос, расставшись с наивно-романтическими представлениями о формах классовой борьбы, приходит к новому, более «взрослому» пониманию их, но эти несколько часов стоят нескольких лет.

Нет, не случайно пути Рамуне и Яуноса пересекаются здесь, на хуторе Индрюнасов. Этот хутор, так похожий на тысячи других, — точка пересечения многих путей и многих жизненных линий, узел противоре-

чий, подчас разрешимых только ценою человеческой жизни. Да и разрешение ли это?

Приезжает сюда и Шаткаускас с Ингридой, ищут «материальной опоры в трудные дни» — попросту говоря, приезжают за салом и колбасой. Наведывается на хутор председатель Алексас Алексинас. Алексас когда-то был влюблен в Ингриду, их соединяли сложные отношения, и теперь он, который своими руками переделывает жизнь хуторян и знает всю изнанку этой жизни, цену хорошего и дрянного, почти готов поверить Ингриде, сбежавшей из города на хутор спасать свою шкуру и затевающей с ним своекорыстную игру. Он разговаривает с ней всерьез.

«— Говорите, жизнь растоптала? — Алексинас опрокидывает полный стакан и, не поморщившись, ставит его пустым. — Нет, человек сам топчет свою жизнь, топчет и коверкает...»

— Да, мужчины могут выбирать. Женщины — нет... — потупляет глаза Ингрида...

— Все могут выбирать, — упорно, пригнув шею, отрицает Алексас ее слова...»

Да, выбирать могут все, Алексас прав, но легко ли сделать выбор? Можно верно выбрать дорогу и вдруг свернуть на тропу, ведущую в болото, — ведь и Алексас почти готов пойти с Ингридой. Его удерживает яростная вспышка Рамуне: «Тебе лгут, Алексас... И отец, и мама, и она, Ингрида! Все тебе лжем!.. Наш Юргис скрывается. Отец его спрятал... Помогите нам, Алексас... Юргис не виноват!»

Крик Рамуне будто развязал долго сдерживаемые страсти. Во дворе Индрюнасов, где только что все было внешне спокойно, кричат и мечутся люди. Взвизжит от ярости Ингрида, с кулаками бросается на Рамуне отец, его перехватывает Алексас.

«— Не смей трогать девочку, Индрюнас!.. Лучше покажи, где скрываешь Юргиса. Где, Индрюнас?»

— Замолчите все. Чего вы кричите? — вдруг ясно, очень ясно говорит мать, и все ее слышат — так тихо, пустынно становится. — Вот едет Юргис...»

Да, едет Юргис, но не сам, — его везут на повозке, покрытого темным полотном. Везут народный защитник Меркис и Яунос. Юргис застрелился. Не выдержал жизни в той берлоге, в какую запрягал его отец.

Легко ли сделать выбор?

Легко ли любить друг друга Яуносу и Рамуне — любить в такое время, когда нужно

решать (и нельзя не решать!) такие вот проблемы?

Легко ли сохранить «лестницу в небо» — чувство победы над противным мирком шаткаускасов, над убожеством индрюнасов, чувство творчества, чувство правоты своей жизни? Ощущает под ногами ее невидимые ступени, должно быть, каждый человек хотя бы раз в жизни, но достоин считать ее своей лишь тот, кто подымается по ней до старости. А это нелегко...

Роман М. Слущикса вызывает много раздумий, и это не только потому, что автором избран острый, как говорится, «конфликтный» сюжет. Книга написана так, что при всей конкретности событий, происшедших уже довольно давно на хуторе Индрюнасов, она оказывается созвучной современному человеку, ибо заставляет осмысливать большие, может быть, даже общечеловеческие проблемы.

М. Слущикс в своем творчестве стремится к глубине и точности психологических характеристик; детали, находимые писателем, иной раз поражают своей значительностью, неожиданностью ассоциаций. В доме Индрюнасов «блестит материн сундук с приданым, разрисованный тюльпанами, наивно красующийся рядом с городским шкафом. Шкаф и сундук кажутся разноцветными глазами на одном лице: карий глаз и голубой». Эти «разные глаза» весьма выразительно повествуют об одной из сторон быта Индрюнасов, об их стремлениях. Таких деталей множество в романе, точнее, пожалуй, было бы сказать, что вся ткань его сплетена из них — и они не кажутся нарочитыми, придуманными, за исключением тех мест романа, где М. Слущикс «переживает» с психологизмом. Это относится главным образом к попыткам писателя передать «лихорадочный» поток мыслей героев, — таково, скажем, довольно длинное «размышление-ощущение» Яунюса о гибели родителей защитника Меркиса или воспоминание Рамуне о том, как мчались они трое — Яунюс, она и Алексас — в повозке, попавшей под обстрел бандитов.

Не так давно в литовской газете «Тиеса» было опубликовано письмо американского литовского писателя и прогрессивного об-

щественного деятеля Р. Мизары по поводу романа «Лестница в небо» и ответное письмо М. Слущикса. Р. Мизара выступил в своем письме как сторонник преимущественно эпического романа и упрекал М. Слущикса в излишнем увлечении психологизмом.

Отвечая, М. Слущикс высказал немало интересных мыслей о современной литературе, которые здесь нет возможности излагать в подробностях, но кое о чем сказать нужно. Совершенно, как мне думается, справедливо утверждая право романиста на лирическое и психологическое письмо, М. Слущикс не менее справедливо говорит о том, что манера эта сама по себе не делает роман камерным. Основанная на глубоких идеях творческая самостоятельность, ощущение духа времени и вера в необходимость своей работы, — так определяет Слущикс неотъемлемые черты истинного писателя. Но к этому перечню хотелось бы добавить еще одно — чувство стиля.

Свой стиль, несомненно, есть у М. Слущикса — это ощущается даже по переводу романа и ранее публиковавшихся на русском языке рассказов. Но, как уже было сказано выше, в некоторых именно психологических эпизодах чувство стиля М. Слущиксу изменяет, и тогда его проза становится несколько вычурной и претенциозной, напоминает манеру, бывшую в моде в начале XX века, — назойливые повторы, не очень убедительная имитация эмоционального «потока».

Таких мест в романе немного. И, может быть, кое-что здесь следует отнести за счет недоработок перевода. Прозу М. Слущикса переводить нелегко — это утверждают все, читавшие ее в оригинале. В данном случае переводчица З. Курторга, по-видимому, верно уловила и, в общем, точно передала манеру М. Слущикса, но кое-где она недостаточно отшлифовала свой перевод («шелестение можжевельника», «он еле держится от боли и разочарования», «Индрюнас не спит, бдительный, как кот» и т. д.). Для последующих изданий это можно и должно исправить, тем более что роман М. Слущикса будут читать и увлеченно и вдумчиво многие читатели — в этом нет сомнения.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

МОГУЩЕСТВО ЛЮБВИ

Вадим Андреев. *Детство. Повесть.* «Советский писатель». М. 1963. 291 стр.

Когда встречаемые незнакомые люди здоровались с отцом, я чувствовал себя гордым и важным. Это чувство гордости за отца мне приходилось очень часто испытывать в детстве... Уже позже, когда я вырос, слава отца обернулась другой стороной... как только мой собеседник узнавал, что я «сын», я переставал для него существовать, мое маленькое «я» растворялось в личности отца, и часто проходили многие месяцы, прежде чем я приобретал право индивидуального существования».

Эти слова из повести Вадима Андреева я вспомнил, когда, перевернув последнюю страницу книги, вновь перечитал аннотацию: «В этой книге старший сын известного русского писателя Леонида Андреева, Вадим Леонидович, рассказывает о своем детстве и о своем отце. Автор начинает свои воспоминания с 1907 года и кончает 1919 годом, когда Л. Н. Андреев скончался. Воспоминания вносят ценные штрихи в характеристику Леонида Андреева...» Далее говорится о том, что автору удалось правдиво обрисовать исторический фон.

Издательские аннотации всегда скупы и не всегда точны. В приведенных строках все верно; возможно, больше, чем сказано, в них и нельзя было сказать. И все же здесь есть глубокое и неизбежное несовпадение с истинным содержанием и характером повести «Детство». Аннотация рассчитана в первую очередь на любителей мемуарного жанра. Между тем мы имеем дело вовсе не с мемуарами. Далеко не каждому мемуаристу удастся сделать то, что под силу художнику, — воссоздать и передать нам само ощущение иной эпохи, непосредственное и цельное.

Воздух повести Вадима Андреева — это воздух начала века. Ощущение это приходит не только с характерными фактами и событиями того времени, оно обнаруживает себя и там, где таких фактов и событий нет, проникает в сознание странными подчас путями и охватывает тогда, когда этого меньше всего ожидаешь.

«Я вижу за решеткой сада, около подъезда, освещенный изнутри автомобиль. Я знаю, что отец должен ехать к матери в больницу. Вдруг фары автомобиля беззвучно — память не сохранила шума мотора — описывают дугу, скользят по мокрой

решетке сада и внезапно гаснут. Мимо проплывает освещенное изнутри желтое автомобильное окно. И самое страшное — там, внутри, за плоским запотевшим стеклом я не могу никого рассмотреть. Мне кажется, что автомобиль едет сам, по своей воле».

Это описанное в самом начале повести одно из первых детских впечатлений, связанных с отцом, рождает в сознании неясную вначале поэтическую ассоциацию. Она возникает невольно, беспокоит воображение и память — и наконец выливается в знакомые строки:

Подлетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор...

В том, что эта ассоциация не случайна и не субъективна, убеждаешься, то и деда встречаясь в дальнейшем со строками и образами, вызывающими знакомые чем-то и дорогие ощущения, с цитатами (в том числе — и из «Шагов Командора»), с размышлениями о поэте, чей голос слышался на одной из первых страниц книги.

Блоковский взгляд, блоковское восприятие эпохи обозначают для нас тот рубеж, где мемуарная достоверность повести Вадима Андреева перерастает в поэтическое ощущение духа времени. Блоковское начало помогает нам, читая эту книгу, вдохнуть воздух утра великого и сурового столетия — неповторимое единство тревоги и радости, краха и надежды, распада и возрождения, сумерек и надвигающегося рассвета.

Может показаться странным, что, говоря о книге, написанной «сыном известного русского писателя» Леонида Андреева, я прежде всего называю имя совсем другого писателя. Но когда речь идет об искусстве, не так уж важно, кто чей сын; важна иная преемственность. Почувствовав эту преемственность, мы ощущим личность автора в ее «индивидуальном существовании», и вот тогда будет можно и нужно вспомнить о том, что повесть «Детство» написана сыном Леонида Андреева.

В читательский и научный оборот сегодняшнего поколения Андреев если и вошел, то вошел, как с клеймом, с известными словами Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Имя его извлекалось из литературного небытия почти исключительно для нотаций. Вряд ли нужно отбрасывать сегодня все

упреки ему; к прошлому надо быть требовательными. Но к прошлому нельзя быть неблагодарным; и потому наступает такой момент, когда следует отбросить привычные формулировки и посмотреть на «представителя» и «выразителя» как на художника и человека, честно думавшего и неподдельно страдавшего,— посмотреть простым и внимательным человеческим взглядом, не с предвзятостью, а с сочувствием, без снисхождения, но с готовностью понять то, что можно понять.

На Леонида Андреева уже давно никто такого взгляда не обращал.

Это сделал его сын.

Вадим Андреев не строит концепций, не философствует, не спорит. Он рассказывает о простых вещах; он вызывает в памяти и запечатлевает для нас неповторимые мгновения бытия. Мгновения своего детства. Мгновения общения с отцом.

Это были действительно мгновения. Потому что минут общения с отцом выдавалось не так уж много. Отношение его к сыну было долгое время достаточно спокойным, почти равнодушным. Как истинный художник, он умел видеть и чувствовать ценность простых человеческих проявлений, но ему казалось, что этого мало, что надо стремиться напрямик к «общему» в его непосредственном выражении, постигать законы, минуя людей. формулировать правила, отбрасывая исключения; его манили бездны вечного со своим апофеозом — смертью. Может быть, поэтому он больше любил писать и говорить, чем читать, наблюдать и слушать. Может быть, поэтому он стремился в творчестве к аффективному, библейски-космическому, а в быту любил все колоссальное по размерам, как камин в доме героя «Жизни Человека». Он мечтал «сурово замкнуться для трагедии» в своем огромном доме на Черной речке, где горел такой же исполинский камин, в своем одиноком внутреннем мире, полном роковых вековечных проблем. Но когда он стал понимать и чувствовать, что вместе с миром всеобщей несправедливости и лжи, который он ненавидел, рушится и расплывается его собственный мир, слишком отвлеченный,— он все чаще и чаще стал обращать внимание на мальчика, не сводившего с него глаз, и для него понемногу стало важным и значительным то, как сын провел ночь, сыт ли он и не было ли у него вчера вечером жара.

Но это было уже в конце жизни. И вот он, как бы торопясь наверстать упущенное, читает Вадиму «лекции о необходимости и святости труда», наблюдает за ним, записывает в дневнике: «В нем избыток отвлечения, и не хватает чувства жизни, ее простых прелестей...» — и этим как будто бессознательно старается обелить себя, поскорее сказать о сыне то, что гораздо справедливее было бы отнести к себе.

А мальчик уже задолго до этого ловит каждый миг, связывающий его с отцом, каждое мимолетное впечатление и запоминает их. Ибо ребенок лучше взрослых умеет видеть и ценить мгновения; этим он и подобен поэту. И вот мы узнаем про исходящий от отца запах «мыла и свежести», уловленный в полусознательном младенческом состоянии; читаем об утренних тайных посещениях святого святых — отцовского кабинета, где в пепельнице венчиком расположились окурки, а из машинки, ритмический стук которой раздавался всю ночь, торчит лист недоконченной рукописи; видим чердачную комнату с ее «голубиной музыкой», комнату, где висят лавровые венки, преподнесенные «яркому таланту, чьи пламенные слова зажгли...» и наполовину общипанные для супа. Узнаем про нечаянно подсмотренный последний момент разрыва Андреева с Горьким, про зарево над горящим Кронштадтом, про страстные монологи отца о жизни и смерти, о человеке и России, про памятную счастливую прогулку, когда после робкого вопроса подростка: «Я хочу тебя поцеловать, можно?» — «он наклонился ко мне, и прикосновение его холодных щекочущих усов осталось для меня самым сильным переживанием этого ветреного ноябрьского дня». Узнаем о том, как за несколько часов до своей смерти отец ел суп, и «его лицо казалось черным от головной боли», и как бабушка, чуть не окончившая с собой в день смерти своего «Ленуши», читала вслух газеты над гробом Леонида Андреева.

И как спутник этой жизни проходит через всю повесть история чернореченского дома — гигантского сооружения, почти замка, который, возникнув в дни расцвета литературной славы Андреева, постепенно оседал под собственной тяжестью, кренился, рушился и наконец был продан на слом, лишь ненадолго пережив своего хозяина.

Так воссоздается Вадимом Андреевым история духовной трагедии одиночества,

мучительного умирания красивого, талантливого, мрачного и столь любимого им человека.

«Молчание отца было мучительно и страшно: казалось, что молчит не только он один,— становилось беззвучным летнее море, знойно горело безветренное небо, молчали недвижные, как будто окаменевшие, деревья. Но это было не только отсутствием звуков — в молчании, сером и твердом как камень, таились невысказанные и невысказываемые мысли, немые слова окружали отца, и этот ухом не улавливаемый шум был особенно тяжел и мучителен... По дороге отец продолжал молчать. На мосту, сойдя с велосипеда и облокотившись на низкие деревянные перила, он смотрел вниз, туда, где под нависшими над самой водой осинами, спокойной и медленно старей рыбак Вилли Бедный ставил конусообразные мережки для ловли миног. Вилли молчал, беззвучно текла летняя маловодная речка, вдалеке бесшумно, поднимая облако желтой пыли, катилась тяжелая телега».

С этой жутковатой, беззвучной, как во сне, сценой, нечего делать тому, кого интересуют лишь «факты биографии известного русского писателя»: важны они или неважны? — или «проблематика творчества»: приемлема она или неприемлема? Здесь не так уж много фактов. Здесь много понимания, сострадания и любви.

Даже молчание отца — для сына звучит. Даже когда отец далеко, мысли и сны о нем — здесь. И когда его совсем нет — все полно «отсутствием отца».

Эта беспредельная любовь делает все связанное с отцом одинаково значительным, делает так, что весомость этих мгновений в наивном восприятии ребенка оказывается их подлинной человеческой весомостью, запечатленной для нас уверенной рукой художника.

И дело тут не только в том, что в повести Валима Андреева — удивительное ощущение вкуса жизни даже в ее горестях, яркая выразительность деталей, музыкальность ритма, смелость образов. А дело еще и в том, что, растворяя, казалось бы, свое «я» в личности отца, безоговорочно превращая автобиографическую повесть в повесть о другом человеке. Вадим Андреев на самом деле выявляет богатство своей личности, убеждая в том, что человек действительно не может быть личностью, живя только в себе.

Спокойным достоинством слога и выражается это скромное человеческое достоинство повести Валима Андреева, написанной в вынужденном отдалении от родины, но полной пафоса русской духовной культуры, полной ощущением величия ее традиций, чуждой мелочных пристрастий и антипатий.

Не случайно, рассказывая о том, как пробивал он стену, отделяющую его от отца, Вадим Андреев не позволяет себе в этом рассказе ни малейшего прямого упрека отцу. Здесь — не просто самоотречение любви, не просто благоговение перед памятью умершего. Здесь — благородная и гуманная терпимость, готовность понимать и уважать внутреннюю жизнь другого человека даже в ее изъянах, если она сложна и мучительна. В этом умении проникнуть в чужую душу и понять ее, в этой человеческой широте — свойство настоящего художника. И именно поэтому повесть сына — не апология отца. Только безгранично любя Леонида Андреева, можно было с такой документальной и эмоциональной убедительностью показать всю неизбежность, всю беспощадную закономерность его духовной трагедии. Только беспредельно уважая его память, можно было с такой ошеломляющей в любящем человеке объективностью показать, в чем и до какой степени он был ограничен: от непонимания и отрицания поэзии, насмешек над стихами сына и над ним самим: «Ты думаешь? Да ты погоди еще думать, рано», — до непонимания революции; от способности полностью и безраздельно подчинять себя и окружающих деспотической власти своих увлечений — до свято-искренней и потому мучительной болезни «военного» патриотизма. «Война — единственное спасенье. Ведь сейчас дело идет о всей России», — сказал он о той бессмысленной и преступной бойне, которая самому Вадиму внушила совсем иные впечатления и иные чувства:

«Красные товарные вагоны, переполненные мобилизованными, заполняли все пути — и на север, и на юг, и на запад, во все стороны, по всем железнодорожным веткам, заблудившись, скитались поезда. Они были окружены пением и визгом и непрерывным, то стихающим, то вновь нарастающим, похожим на морской прибор криком «ура». Студенческие фуражки, картузы, мягкие шляпы, шапки, давно потерявшие свой первоначальный облик, лица, белые, розовые,

красные, покрытые загаром, пылью и железнодорожной копотью, с оскаленными криком ртами, в хаосе кулков, чемоданов, цветов, под лучами желтого солнца, в синем дыме лесных пожаров, ночью, при тусклом свете станционных фонарей, под свистки паровозов и лязганье буферов — все это плыло. качалось, несло, без конца и начала, мимо окон нашего вагона... Когда на четвертый день пути мы добрались до Москвы и погрузились в провинциальную тишину Малого Левшинского переуллка, меня еще долго, и во сне и наяву, преследовали привидения воинских поездов и жирный, отвратительный, из края в край, из конца в конец, одуряющий вопль «ура».

В этом громыхающем и стремительном куске война хотя и не изображается, но предстает во всем своем подавляющем и бесчеловечном хаосе. Здесь нет прямой полемики с Леонидом Андреевым, увлеченным войной; просто здесь художественно проявляется иной взгляд на мир, иное понимание эпохи. Эта художественно-философская полемика с отцом рождена любовью — любовью к нему, к людям, к истине. Она формирует всю лирическую ткань этой книги. И она же дает Вадиму Андрееву право сказать в конце: «Отец всю жизнь шел по краю пропасти и не мог отвести от нее глаз... В наши дни... произведения моего отца должны восприниматься иначе: ощущение провала уходит в историю, а на поверхность выступают доброта и человечность — «второе дыхание», которым и поныне живы рассказы и пьесы Леонида Андреева».

Об этой доброте и человечности заставляет нас подумать тот, кто своей любовью завоевал ответную любовь, пришедшую к Леониду Андрееву «вторым дыханием» в конце жизни. И наверное, Вадим Андреев прав, потому что любящий взгляд умеет видеть добро везде, где оно есть.

Только при таком взгляде можно было, поднявшись на башню доживающего без хозяина последние дни чернореченского дома, увидеть покосившийся горизонт и, рассказав об этом, заставить нас ощутить великую и скорбную истину о том, что со смертью каждого человека умирает мир. И только при таком взгляде можно было, придя через сорок лет разлуки с родиной на место, где стоял этот дом, и увидев лишь бушующую зелень, сказать нам: «А на месте дома — роща. Окруженная со всех сторон камнями еще уцелевшего фундамента, она разрослась густо и весело; выше всех поднялась тоненькая береза; она выросла на том месте, где была столовая, — прямая, стройная, наивная в своей неудержимой молодости. И опять, как на могиле отца, густые заросли цветущего шиповника. Ничего не осталось от сирени и жасмина, а шиповник разросся, низкий и сильный — не пройти... Чувство восторга и печали охватило меня...»

Эти слова самоотречения и радости — о том, что прошлое, которому нет возврата, живет в нас самих так же, как живет в нас будущее, и что потому-то, в сущности, не так уж всеильна смерть.

В. НЕПОМНЯЩИЙ.

☆

РАССКАЗЫ О СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКЕ

Современная американская новелла. Перевод с английского. После-
словие Е. Романовой. Издательство иностранной литературы. 1963. 461 стр.

Первые страницы книги переносят нас в Нью-Йорк, и появляется ощущение чего-то знакомого, даже привычного. Джеймс Болдуин, автор рассказа «Выйди из пустыни», словно предвидел это. Некрасивая девушка в конторе бредит киногероем, — и в одной фразе дан конспект гипичной судьбы «Наступит день, когда она удовлетворится самым малым и будет рожать детей столько же безотказно, как конвейеры Форда выпускают автомобили, и никогда не пожалеет о том, что не сбылось, тем более что ничего

и не могло сбыться в ее жизни, прожитой в залах кинотеатров». Сколько мы уже читали о таких почти призрачных существованиих?

Но, взятые вместе, эти рассказы составляют пеструю и кое в чем неожиданную картину Америки. Они открывают нам глушь, не то сонное царство Юга, где живут герои Фолкнера и Колдуэлла, но и не ту идиллическую провинцию, которую воспевают иллюстрированные журналы. Просто писатели ищут чистые чувства

подальше от копоты и повседневной погони за долларом.

Индийцы приютили скитальца, негрятянского музыканта; после смерти к нему пришла шумная слава... Рыбаки утешают, как могут, своего товарища: у него сын попал в топь и не вернулся... Горцы опускаются к реке — посмотреть спектакль плавучего театра и послушать, как состязаются скрипачи: местная гордость и приезжий...

Писатели показывают нам островки патриархальной жизни в индустриальной стране. Их герои свободны в выражении своих чувств — радости или горя; у них свои тяготы, но им неизвестны автоматизм и рутина конторской работы. Эти рассказы, чаще грустные, чуждые идеализации, — о достоинстве, отзывчивости, товариществе.

Неуютный мир и чистые души — это изблюбленная тема американских новеллистов. Она часто разрабатывается в рассказах о детях. В сборнике помещено несколько таких рассказов: два из них можно считать антитепами.

Коротенькая новелла Боба ван Скойка называется «После каникул». В сущности, это драматическая сценка. Ребята возвращаются из лагеря: среди них — тшедушный мальчуган с обгорелым носом. Его встречает отец, но разговор у них не клеится: один задает банальные вопросы, другой принужденно отвечает. Скоро мы понимаем, в чем дело: тшедушному пареньку надо идти к матери, а у нее новая, чужая ему семья; отец тоже стал для него далеким человеком. Кто у него есть, так это маленькая черепашка, у которой выведено на спине: «Лагерь «Радостный».

Новелла Джона Лэнгдона традиционнее по форме. Это не драма, схваченная острым взглядом со стороны, а рассказ от первого лица о том, что пережито. Неторопливый рассказ Нила идет к финалу необычному в современной прозе.

На выпускной вечер все должны прийти в синих костюмах. Откуда его взять Нилу, если отец сидит без денег? Выручает дедушка: ради такой оказии он достает габардиновый костюм, в котором когда-то венчался. В этом одеянии вид у Нила потешный, но дед предложил свой дар от души и отказаться — значит его обидеть.

Конечно, ребята встречают Нила шутками. «Ты кого, собственно, изображаешь, — язвит один, — старика Эйба Линкольна? А где тогда твой цилиндр?» Даже учитель-

ница кусает губы, чтобы не рассмеяться. Нил клянет свою судьбу. И вдруг — перемена. К нему подходят даже незнакомые ребята и дружески заговаривают о том о сем. Он в центре внимания, герой вечера. Когда он идет за дипломом, ему аплодируют.

Все это оборачивается гуманной мыслью: другие могут тебя понять. И то, что ты чувствуешь, и то, чем был этот костюм для твоего деда. Герою Боба ван Скойка рано открылась разьединенность людей; герою Джона Лэнгдона — человеческое понимание.

Рассказы сборника не похожи не только по материалу и подходу к теме. Ощущение пестроты возникает и потому, что они обращены к разной аудитории.

Во время своей поездки в Японию Фолкнер заметил не без грусти: «Наша культура — это массовое производство». Он имел в виду, что в США чувство стиля — редкость. Это глубокое замечание Фолкнера не стоит понимать буквально. Конечно же, в Америке среди серьезных писателей немало превосходных стилистов; в самой их манере письма чувствуется отталкивание от грубой утилитарности бизнеса. К такого рода прозаикам принадлежит Джип Стэффорд; в сборник вошла ее ироническая новелла из университетской жизни «По образу и подобию». И, разумеется, Дж. Д. Сэлинджер: он представлен рассказом «Голубой период де Домье-Смита», известным читателям «Нового мира».

Многие новеллы из этого сборника предназначались для массовых журналов; они рассчитаны на неискушенных читателей. И Сэлинджер и Стэффорд рассчитывали на иных читателей, подготовленных. Тех, кто оценит легкую насмешку над «всеобъемлющей» филологической эрудицией; тех, кому доставит удовольствие грустно-насмешливый рассказ о молодом «знатоке» современной живописи, который в коротких отношениях с «беднягой Пикассо». Но подобные вещи находят достаточно широкий круг ценителей: они также издаются массовыми тиражами.

Американская литература развивается не по одной линии, и было бы опрометчиво думать, что углубленно-психологическая проза, с ее артистизмом и тонкостью отделки, может отменить иные традиции. Вслед за новеллой Джип Стэффорд в сборнике помещен рассказ, который производит впечатление своим полнокровным и сильным

реализмом. Это «Столетний юбилей» Мака Хаймена.

Семья фермера едет в город, подпрыгивая на ухабах. Все едут, как на праздник: девушки в розовых атласных платьях; младший сын Джонни едва выглядывает из-под огромной соломенной шляпы. И попадают на праздник: у дверей магазинов флаги, через всю улицу — транспарант. Южный город Кальвилль отмечает столетний юбилей.

Семья разбредается: кто идет в бильярдную, кто за покупками, кто еще куда... Перед Маком Хайменом была задача, похожая на ту, что решал де Сантис в фильме «Рим в 11 часов»: удержать в поле зрения массу народа, индивидуализировать все фигуры: каждая мелочь должна быть исполнена смысла. Повествование очень насыщено: из новелл сборника эта, быть может, дальше всего от традиционного короткого рассказа.

В конце — горестное возвращение. Кончился нелепый, никому не нужный праздник, исчерпаны городские удовольствия. Сельский застой и городская суета сопоставлены: бог весть что лучше.

По большей части новеллы сборника — это психологические драмы. В том же жанре написана и упоминавшаяся уже новелла Джеймса Болдуина «Выйди из пустыни». Нервная, аналитическая проза этого писателя, как всегда, заставляет думать о самом остром вопросе национальной жизни Америки.

Он вечно гладит против шерстки белых либералов. Они готовы свести дело к вопросу о правах: добейся негры равноправия, и уйдут в прошлое века расового гнета. Болдуин напоминает: эти века оставили свой след в психике.

«Выйди из пустыни» — это рассказ о несчастной негрityнке. Почему, собственно, несчастной? Ведь как будто бы все у нее есть. Хорошая служба в страховой компании. Любовь. Подругам Рут только и остается судачить о своем начальнике, а она ждет звонка Поля.

Но попробуйте представить, каково той, кого демонстративно приняли в передовую компанию. «Рут работала в атмосфере, настолько наэлектризованной межрасовым доброжелательством, что никому из служащих и в голову не пришло бы проявлять в чем-либо искренность». И в любви она не находит спокойствия, гармонии: ее не по-

кидает ощущение неравенства. Поля — художник-неудачник, но он белый, и он, кажется Рут, тяготеет к ней. Рут даже мерещится, что неприкаянные люди, вроде Поля или ее давнего друга актера, — все это дети белых хозяев: в их взгляде — не только слабость, бесприютность, но и жестокость.

Рут уже давно уехала с Юга. Она вспоминает гимн, который пела ее мать: «Выйди из пустыни». Как будто бы она выбралась из пустыни. Но затерялась в новой пустыне — Нью-Йорке.

В послесловии к этому сборнику Е. Романова предупреждает, что за ним должен последовать второй и третий; новеллистика США богаче, чем можно судить по этому сборнику. Это справедливо. Все же, приветствуя это издание, которое знакомит нас с интересными новеллистами, хочется сказать о том, чего не хватает в нем.

В нем чувствуется явный дефицит мысли.

Это особенно заметно, если указать крайние точки в этой книге. С одной стороны — мрачный набросок Сеймура Эпштейна «Мистер Айзекс», напоминающий физиологический очерк. С другой — не очень удачная, сверх меры сентиментальная и благополучная сценка Уильяма Сарояна «Во имя любви к Дэзи». Между этими крайними точками располагается немало грустных, милых, хороших рассказов об одной судьбе, об одном переломном моменте.

У нас охотнее всего выбирают для перевода либо новеллы непосредственно обличительные, либо психологические, без общих размышлений о жизни «в наше время».

И может сложиться впечатление, что традиция Шервуда Андерсона и Хемингуэя не развивалась после войны. А это не так. В Америке не перевелись новеллисты, остро думающие о современном обществе. Под их пером и старое, привычное освещается по-новому.

В прошлом году «Неделя» напечатала рассказ Трумэна Кэпота «Проданные сны». Как будто бы еще одна, тысячная история девушки, затерянной в Нью-Йорке. Но рассказана она так, что этот гротеск передает нам ощущение послевоенного мира. И в других вещах Кэпот переосмысливает давние темы, например, в самой известной своей повелле «Один из путей в рай».

Для американской прозы стала традиционной антитеза: человек со странностями и мир обывателей. Недавно Джон Апдайк

дал ей новый, современный поворот. В этом году он опубликовал новеллу «Христиане — соседи по комнате». В ней соотносятся два типа: чудак-индеец, с экстравагантными привычками и твердыми принципами, — во время Корейской войны он уклоняется от призыва и его сотоварищ по колледжу, благосный провинциал, который думает, «как все», и живет по плану. Проходят годы. Это дельный медик и довольный мешанин. Не предусмотрел он только одного: жить ему, оказывается, естественнее без мысли, порывов, «без бога». Емкий рассказ

Апдайка дает тонкий и иронический комментарий к послевоенной американской жизни.

Такого рода вещей и не хватает в сборнике.

Пусть последующие выпуски будут такими же разнообразными, как и первый. Даже еще разнообразнее: где, например, американский юмор? Но прежде всего в них должны быть представлены рассказчики высокой культуры письма и острой критической мысли.

М. ЛАНДОР.

★

ОБОБЩЕНИЕ ИЛИ УПРОЩЕНИЕ?

А. Кулинич. *Русская советская поэзия. Очерк истории.* Учпедгиз. М. 1963. 382 стр.

В заметке «От автора», открывающей книгу А. Кулинича «Русская советская поэзия», так говорится о цели его работы: «Назрела потребность в сжато написанной обобщающей книге по истории русской поэзии советской эпохи — книге, в которой наряду с творческими характеристиками ведущих наших поэтов были бы освещены основные этапы ее развития и общие проблемы поэтической культуры. Такого рода попыткой является предлагаемая работа».

Как видим, задача, поставленная А. Кулиничем, сложная и ответственная. Справился ли он с ней? Ведь обобщение — это не популярное изложение общеизвестного (хотя бы и в сжатом виде), а проникновение в глубь материала, способность к новому, свежему осмыслению фактов.

Основу книги составили очерки того же автора — о поэзии двадцатых годов и «Русская советская поэзия 30-х годов», изданные Киевским университетом имени Шевченко в 1958 и 1962 годах. Они состояли из сравнительно краткого обзора поэзии десятилетия и нескольких монографических глав. Теперь к главам о Маяковском, Демьяне Бедном, Есенине прибавились статьи об Э. Багрицком, Асееве, Тихонове, Исаковском, Суркове, Твардовском и появились новые обзоры. «Поэты на войне» и «Поэзия мира и созидания».

Очерки о поэзии двадцатых и тридцатых годов вызвали при своем появлении ряд критических замечаний, но, к сожалению, они почти не были учтены автором при последующей работе. И хотя в открывающей книгу главе «Поэзия революционных лет»

А. Кулинич не ограничивается привычной «обоймой» имен, все же картина литературного процесса оказывается обедненной.

Лучше говорится в главе о творчестве пролетарских и комсомольских поэтов, о поэзии Пролеткульта и «Кузницы». А. Кулинич верно пишет о революционном пафосе пролетарских лириков, которые были впоследствии незаслуженно забыты, и об ошибочных теориях, которые наносили урон их творчеству. Но и здесь то и дело встречаются слишком беглые характеристики, перечисления вместо анализа: например, только названы произведения М. Светлова — «Рабфаковке», «Гренада», «Перед боем», «Граница» — и нет серьезной попытки раскрыть их своеобразие. А так как монографической главы о Светлове в книге нет, то творчество его, в сущности, выпадает из истории поэзии.

Что же касается таких поэтов, как Б. Пастернак, И. Сельвинский, то читатель не получает ясного представления о их творчестве и роли в развитии поэзии. Лирика Б. Пастернака по существу зачеркивается, как малодоступная, субъективная. Говоря об И. Сельвинском, А. Кулинич делает упор на его формалистических заблуждениях той поры.

Беглые и невыразительные характеристики крупных поэтов (в том числе Маяковского, Есенина) в главе «Поэзия революционных лет» отчасти восполняются монографическими главами. Но столь же поверхностно говорится в обзоре и о творческих течениях в поэзии двадцатых годов, о литературных группировках, их идейно-эстетиче-

ских поисках. И хотя здесь многое названо, упомянуто — футуризм, имажинизм, лефовцы, конструктивисты, «Серапионовы братья», «Перевал» и т. д., — читатель не всегда получает ясное, объективное представление об этих явлениях.

А. Кулинич, согласно старым литературоведческим представлениям, оценивает все группировки в равной мере отрицательно, не показывая их конкретно-исторической роли, влияния на творчество отдельных поэтов. Между тем важно учитывать, что появление тех или иных течений, художественных платформ нередко происходило в те годы в пылу полемики, взаимоотталкивания, при искреннем стремлении создавать полноценное советское искусство. Так, лефовский лозунг «социального заказа» противостоял тенденциям аполитичности в литературе, хотя и имел упрощенный характер. Пафос мастерства, стихотворного новаторства, присущий группе Маяковского, был обусловлен не только формалистическими влияниями, но и стремлением противопоставить высокое мастерство той художественной невзыскательности, которую проявляли рапповские журналы.

В поэзии двадцатых годов в целом А. Кулинич видит больше ошибок и заблуждений, чем достижений: «Богатый опыт советской литературы периода ее становления поможет современным литераторам находить верные пути, избежать ошибок прежних лет», — заявляет он. Но разве только в этом значение литературы того времени?

О поэзии тридцатых годов А. Кулинич пишет с большим подъемом и увлечением, чем о поэзии двадцатых годов. Правда, в начале главы говорится, что успехи поэзии были скромнее, чем в предыдущее десятилетие, что «смерть Блока, Маяковского, Брюсова, Есенина не могла не сказаться на общем уровне поэтической культуры». Однако тут же утверждается, что поэзия «продолжала поступательное движение».

А. Кулинич горячо и справедливо ратует за простоту, народность, развитие классической и фольклорной традиции. Все эти черты нашли отражение в поэзии тридцатых годов. Но здесь были и свои потери, связанные с опрощением, с нивелировкой формы. что особенно проявилось к концу десятилетия. Тенденции культа личности способствовали облегченному подходу к изображению жизни, догматическим представлениям об искусстве. Критик отмечает упрощенные

картины будущей войны в некоторых песнях и стихах, но не раскрывает всех особенностей сложного десятилетия, его влияния на поэзию. Однако, повторяем, здесь А. Кулинич чувствует себя более уверенно, материал ему ближе.

Содержательно рассказано о расцвете советской массовой песни в тридцатые годы, о появлении жанра интимной лирики, который считался предосудительным в первые годы революции. Однако хотелось бы более конкретного разговора об эпической поэзии тех лет, о творчестве Бориса Корнилова, Павла Васильева. О них мы почти ничего не находим, кроме кратких упоминаний.

Нет и анализа развивавшейся в те годы исторической стихотворной драмы, хотя и перечисляются некоторые произведения этого жанра. А здесь наряду с достижениями намечались уже и недостатки, связанные с влиянием культа личности, — неправомерное возвеличивание Ивана Грозного, шаблон в изображении выдающихся деятелей прошлого и т. д.

Глава «Поэты на войне» посвящена периоду, еще мало изученному. А. Кулинич рассказывает о фронтовой работе поэтов, называет газеты, в которых они печатались, приводит много выдержек из стихов и поэм. Он останавливается на творчестве поэтов и самых старших, таких, как Анна Ахматова, И. Сельвинский, В. Инбер, и среднего поколения, которое сформировалось в тридцатые годы и выступило с яркой патриотической и военной лирикой (О. Берггольц, А. Сурков, К. Симонов), и самых младших — С. Гудзенко, М. Луконин, А. Нелогонов, В. Лившиц, М. Дудин и другие. Правда, многие поэты (особенно молодые) фигурируют только в перечислениях, и лишь некоторые охарактеризованы, но все же этот обзор полезен.

А. Кулинич говорит о многообразии жанров в поэзии военных лет: о поэмах, о песне, о фронтовой лирике и сатире. Отдельные оценки здесь спорны. Так, вряд ли можно зачеркивать полностью лирический цикл К. Симонова «С тобой и без тебя», как якобы «предназначенный для развлечения в узком холостяцком кругу».

Последняя глава книги «Поэзия мира и создания» посвящена послевоенному периоду. Период этот с точки зрения развития литературы по существу разделяется на два. Первый был отмечен влиянием культа личности. Многие явления в поэзии того

времени вызвали тревогу и неудовлетворенность. Оживление в поэзии, развитие лирики началось после 1954—1956 годов.

А. Кулинич рассматривает весь послевоенный период как единый, хотя такие произведения, как «За далью—даль» Твардовского, «Середина века» Луговского, с одной стороны, и «Колхоз «Большевик» Грибачева, «Алена Фомина» Яшина—с другой, принадлежат разному времени. Говоря о поступательном развитии поэзии в течение всего периода, критик упрощает картину этого развития.

Последний обзор также достаточно краток, но здесь все же меньше перечислительных «обойм». А Кулинич ведет более конкретный и живой разговор об отдельных произведениях и о творчестве некоторых поэтов, например, В. Луговского, С. Смирнова и других.

На протяжении всей работы автор в разной связи противопоставляет «пушкинские традиции», «здоровый вкус классиков к четким ритмам», «напевный стих» — стиху «усложненному», «джигитовке» в поэзии. Похвальна и оправдана направленность книги А. Кулинича против формалистических излишеств в поэзии. Но аргументация его в этой полемике не всегда серьезна. Ведь крупные поэты никогда не удовлетворяются повторением уже открытых форм, а вносят свое новое. И пушкинская традиция в творчестве советских поэтов претерпевает существенные изменения. Вряд ли следует также ограничивать поэтов в их поисках на том основании, что «все это уже было».

В последней главе критик вновь резко высказывается против экспериментов в области формы, характерных для некоторых со-

временных поэтов. Но одновременно он утверждает, что «сплошь и рядом высокая напряженность и экспрессивность... требуют упругих ритмов, разрыва строки на ритмические единицы». Как согласовать с этим ненужные и навязчивые противопоставления размеров «правильных» и «неправильных», стихов «мелодичных» и «не мелодичных», которые проходят через всю книгу?

Большое место в книге занимают монографические главы. Здесь есть страницы, написанные живо, с увлечением, как, например, об Есенине, Исаковском, Суркове. Мы находим в них свежий исследовательский материал. Есть живые страницы в главе о Багрицком, особенно там, где речь идет о «Думе про Опанаса», о связи ее с фольклорной традицией. Но критик затрудняется анализировать такие произведения, как «Человек предместья», «Последняя ночь», и тогда появляются стереотипные фразы о том, что «поэт забывает о читателе», что стихи его «малопонятны» и «субъективны».

Не удовлетворяет во многом глава о Маяковском. Сухо, невыразительно говорится в ней о раннем творчестве поэта. О более поздних произведениях Маяковского А. Кулинич пишет лучше, хотя и не открывает здесь ничего нового.

В целом книга А. Кулинича едва ли может быть оценена как обобщающий труд, опирающийся на все накопленное литературной наукой. Это скорее популярная работа. «Проблемы поэтической культуры» не находят в ней должного освещения, так как к анализу сложных явлений критик подходит с упрощенной меркой.

Л. ШВЕЦОВА.

★

Политика и наука

ЛЕНИНСКАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Б. М. Потулов. В. И. Ленин и советское здравоохранение. «Медицина». М. 1964. 183 стр.

«Все принципиальные вопросы в нашей деятельности, все основные законопроекты Наркомздрав предварительно докладывал Владимиру Ильичу и согласовывал с ним. Основные принципы советской медицины всегда находили в нем лучшую поддержку». Так писал в своих воспоминаниях первый нарком здравоохранения Советской республики Н. А. Семашко.

Автор рецензируемой книги Б. М. Потулов с большой тщательностью собрал во едино наследие В. И. Ленина в области здравоохранения и показал, какую исключительную заботу проявлял Владимир Ильич о здоровье трудящихся.

Охрана здоровья трудящихся занимала мысль Владимира Ильича не только после Октябрьской революции, но и задолго до

нее. Это на многочисленных примерах показано в книге. Любопытный факт: в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле насчитывается пятьдесят восемь книг и брошюр по проблемам гигиены, санитарии, борьбы с заболеваниями. Вот, например, книга Н. И. Тезякова «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии», издавшаяся в 1896 году. Вся она испещрена различными заметками, подчеркиваниями и отчеркиваниями Владимира Ильича. Собранные в ней материалы Ленин широко использовал в ряде своих трудов.

Внимание Ленина привлекли также работы Д. Н. Жбанкова «Санитарное исследование фабрик и заводов Смоленской губернии (1894—1896 гг.)» и П. Г. Кудрявцева «Пришлые сельскохозяйственные рабочие на Николаевской ярмарке в м. Каховке Таврической губернии и санитарный надзор за ними в 1882 г.», М. С. Уварова «Санитарное положение Тверской губернии. Статистика движения населения и заболеваемости (1894 г.)» и другие. Многочисленные пометки Владимира Ильича на этих книгах свидетельствуют о тщательном их изучении.

Из материалов земской санитарной статистики Ленин делал важнейшие политические и экономические выводы. Так, в своей известной статье «Новое побоище» он с возмущением писал: «Современный порядок всегда и неизбежно, даже при самом мирном течении дел, возлагает на рабочий класс бесчисленные жертвы. Тысячи и десятки тысяч людей, трудящихся всю жизнь над созданием чужого богатства, гибнут от голодовок и от постоянного недоедания, умирают преждевременно от болезней, порождаемых отвратительными условиями труда, нищенской обстановкой жилищ, недостатком отдыха».

С еще большей силой Владимир Ильич писал об этом в своем исследовании «Развитие капитализма в России». Невероятно длинный рабочий день, достигающий нередко 12—15 часов, ужасные условия труда и быта, недоедание, крайне недостаточная медицинская помощь и большое число разнообразных заболеваний,— все это приводило к физическому вырождению рабочих в царской России. Используя, в частности, показатели из исследований Исаева о положении с керамическим производством в Гжельском районе под Москвою, Влади-

мир Ильич подчеркивает, что рабочие здесь «слабогруды, узки в плечах, малосильны... рано теряют зрение...»

С огромным возмущением Владимир Ильич указывает на факты изнурительного труда женщин и детей. Так, в ювелирном производстве детей семи-восьмилетнего возраста заставляли работать по шестнадцать часов в сутки. В условиях капитализма и наука становится служанкой толстосумов и вместо помощи несет рабочим дальнейшее закабаление. В статье «Научная система выжимания пота», опубликованной в «Правде» в 1913 году, В. И. Ленин писал по поводу системы американского инженера Тейлора, что благодаря этой «науке» хозяева «выжимают из рабочего втрое больше труда, выматывают безжалостно все его силы, высасывают с утроенной скоростью каждую каплю нервной и мускульной энергии наемного раба. Умрет раньше? — Много других за воротами!»

Об охране здоровья трудящихся много думал Владимир Ильич, когда он работал над проектом программы будущей партии. Наряду с общеполитическими задачами тут выдвигаются и такие, как восьмичасовой рабочий день, запрещение работы в ночное время, недопущение к работе подростков моложе шестнадцати лет и многое другое.

Ленинские идеи охраны здоровья трудящихся нашли свое выражение в Программе партии, принятой в 1919 году. Вот что предусматривала партия в качестве своей ближайшей задачи:

«1) решительное проведение широких санитарных мероприятий в интересах трудящихся, как-то:

а) оздоровление населенных мест (охрана почвы, воды и воздуха);

б) постановка общественного питания на научно-гигиенических началах;

в) организация мер, предупреждающих развитие и распространение заразных болезней;

г) создание санитарного законодательства;

2) борьбу с социальными болезнями (туберкулезом, венеризмом, алкоголизмом и т. д.);

3) обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощи».

Заботой о сохранении здоровья человека были пронизаны не только положения специального раздела Программы «В области

охраны народного здоровья», но и других ее разделов (посвященных охране труда и социальному обеспечению, жилищным делам, просвещению).

Б. М. Потулов подчеркивает, что в этой Программе «...нашли яркое воплощение социалистический гуманизм и основные принципы советского здравоохранения: профилактическое направление, государственность, общедоступность и бесплатность медицинской помощи, единство медицинской науки и практики, вовлечение в дело здравоохранения широких трудящихся масс».

Исключительна роль Ленина в самой практике организации и развития советского здравоохранения. По его указанию составлены и им подписаны свыше ста декретов по различным вопросам здравоохранения, создан Народный комиссариат здравоохранения. Генеральной линией в деле охраны здоровья народа была признана профилактика.

Владимир Ильич вникал во все важнейшие вопросы здравоохранения, ставил их на рассмотрение Совнаркома. Подписанные им декреты свидетельствуют об огромной заботе Советского правительства о здоровье человека. Содержание этих декретов многообразно. Здесь и декреты о борьбе с сыпным тифом и другими эпидемиями, о санитарной охране жилищ, об обязательном оспопрививании, о санитарно-пропускных пунктах на вокзалах Москвы, об образовании особой Всероссийской комиссии по улучшению санитарного состояния республики, о мерах по улучшению водоснабжения, канализации и ассенизации и другие.

Особую заботу проявлял Владимир Ильич о том, чтобы были созданы наилучшие условия жизни и развития самого юного поколения страны. В декабре 1917 года и в январе 1918 года принимаются важнейшие решения об охране материнства и младенчества. В самые трудные для молодой Советской республики годы были опубликованы декреты «Об усилении детского питания» (1918), «О фонде детского питания» (1918), «Об учреждении Совета защиты детей» (1919). Обеспечение детей всем необходимым (питанием, одеждой, топливом и т. д.) признавалось важнейшей государственной задачей.

А как заботился Владимир Ильич об организации отдыха и лечения людей труда

в курортных местностях. Вспомним знаменитый декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся», опубликованный сразу же после изгнания оттуда Врангеля (1920). Известный революционер М. С. Кедров писал позднее в своих воспоминаниях: «Наверное, не всем известно, что идея передать все дворцы, роскошные дачи, санатории и пр. Комиссариату здравоохранения принадлежала Владимиру Ильичу и лозунг «Курорты для трудящихся» впервые был брошен им. Миллионы лет жизни сбережены пролетариатом с тех пор, и в этом великая заслуга Ильича».

Владимир Ильич всячески способствовал развитию советской науки в интересах максимального ее использования на благо трудящихся. Свои взгляды на медицинскую науку он сформулировал в выступлении на втором Всероссийском съезде работников медико-санитарного труда в марте 1920 года: «Сотрудничество представителей науки и рабочих,— только такое сотрудничество будет в состоянии уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи. И это будет сделано. Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая темная сила».

В книге Б. М. Потулова найдена отражение забота В. И. Ленина о медицинских кадрах, о здравоохранении в Красной Армии и т. д., показано развитие ленинских идей об охране здоровья трудящихся в решениях XXII съезда партии. В принятой съездом Программе КПСС подчеркивается, что «социалистическое государство — единственное государство, которое берет на себя заботу об охране и постоянном улучшении здоровья всего населения».

Этой заботой пронизаны и замечательные законы, принятые недавней сессией Верховного Совета СССР — о пенсиях и пособиях колхозникам и о повышении заработной платы работникам просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и других отраслей, непосредственно обслуживающих население.

Все — во имя человека, для блага человека. Партия верна ленинским заветам, один из которых — постоянная забота о здоровье советских людей.

Л. СУХАРЕВСКИЙ,
доктор медицинских наук.

★

ЖИЗНЬ, НЕ СТАВШАЯ ПРОШЛЫМ

Их простота и человечность (Письма и воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе). Составитель С. Виноградов. Политиздат. М. 1964. 335 стр.

Помню, как в тридцатые годы нам, литературным критикам, приходилось бороться против двух взаимосвязанных тенденций в изображении нового героя.

Одна из них исходила из неверного представления, что черты социалистического человека начали складываться только после социалистической революции. Такой взгляд породил немало умозрительных схем-конструкций нового человека, способ изготовления которых высмеял еще Ленин, критикуя пролеткультовцев. Конструкторы «социалистических человечков» не считались со сложной в своем диалектическом развитии современной жизнью и считали зазорным в поисках нового человека оглядываться в историческое прошлое.

Последователи другой тенденции, придерживаясь того же вулгарного взгляда на становление нового человека, поступали еще проще: они принимали и выдавали за новые черты социалистического человека элементарную добпорядочность, выработанную человечеством на протяжении тысячелетий. Характеристика героя строилась (увы, нередко строится и поныне) от обратного, и черты нового человека исчерпывались лишь тем, что он не вор, не шкурник, не хам и т. д.

Если дело ограничилось бы историями о пионерах, героически возвращающих владельцу забытые на пляже часы, куда бы ни шло. Но бывали в нашей литературе и случаи, когда в положение такого пионера ставился даже Ленин. Наряду с произведениями, глубоко раскрывающими его образ, встречались и такие, где человеческие качества Ленина подчеркивались и выделялись посредством сопоставления их с поведением... чванливого вельможи или заурядного обывателя.

Ошибочность такого изображения Ленина ощущалась тем более болезненно, что обращение к образам великих революционеров имеет не только историко-биографический интерес, но и огромное значение для воспитания сегодняшнего человека и для предугадания черт человека будущего.

Многое в человеческом характере, получающее ныне массовое выражение в условиях нового строя, родилось еще в прошлом. И многое в этом прошлом стоит еще впере-

ди нас как образец и идеал. Так же, как в недрах капиталистического общества зарождались реальные предпосылки социализма, так на основе этих предпосылок возникали люди — борцы и мыслители, — не только выразившие движение истории в идеях научного социализма, но и сами несущие в себе черты человека коммунистического общества. Такими были Маркс и Энгельс. Таким был Ленин. Такими были лучшие из их соратников и последователей.

То, что в годы культа личности изучение и издание эпистолярного и мемуарного материала, относящегося к биографии, личности и деятельности Маркса, Энгельса и Ленина, было сведено к минимуму, объяснялось не только стремлением к всемерному возвышению Сталина, но и стремлением не напоминать о подлинной демократичности и человеческой простоте, свойственных великим коммунистам.

Как верх бестактности была бы воспринята, например, перепечатка затерявшегося в сочинениях Маркса и Энгельса письма последнего, которое начиналось словами: «Дорогой Плеханов. Прежде всего, прошу Вас перестать величать меня «учителем». Меня зовут просто Энгельс». Или известное письмо того же Энгельса, где говорилось о том, что и Маркс и он были против публичных прижизненных демонстраций в их честь. Или воспоминания о том, с каким гневом Ленин выступал против попыток воскурить ему фимиам.

Это лишь немногие примеры той скромности и простоты, которые были неразрывны с демократизмом в личном поведении людей, борющихся за торжество пролетарской демократии.

И закономерно, что эта идея неразрывности политической цели и личной этики легла в основу сборника «Их простота и человечность», составленного из писем Маркса и Энгельса и воспоминаний о них.

Подборка из переписки открывается не письмом, а отрывком из выпускного сочинения Маркса-гимназиста «Размышления юноши при выборе профессии» (1835) — о том, что «главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше соб-

ственное совершенствование», что «человек может достичь своего усовершенствования только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага» и что «пыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей...» А заканчивается эта подборка отрывком из письма Энгельса Плеханову от 26 февраля 1895 года, где выражается его забота о здоровье Веры Засулич и где он просит разрешения Плеханова послать для нее деньги: «Я Вам pošлю, скажем, для начала пять фунтов, которые Вы ее заставите принять, как бы от себя, так чтобы я вовсе не упоминался».

Эти два документа разделяет шестьдесят лет. И они — как две точки, соединенные линией целеустремленной жизни, в которой самоотверженная борьба во имя того, чтобы принести счастье наибольшему количеству людей и помощь отдельному человеку, были слитны и однозначны. Это пример того, как подлинный гуманизм проявляется и в большом и в малом, как слово не расходится с делом.

Если бы под юношеским сочинением, в котором восславлялась деятельность во имя блага других людей, не стояла бы подпись того, кто впоследствии стал основоположником научного социализма и вождем пролетарского революционного движения, мы восприняли бы его как одно из сотен и тысяч подобных сочинений, выражающих возвышенные и искренние стремления чистых юношеских душ. Но воспринимаемые как слова Маркса, они приобретают для нас особое значение. Ибо высокие помыслы не остались отвлеченным романтическим порывом, не превратились в лицемерную либеральную фразу, а впервые в истории приобрели столь глубокое обоснование, что вышли за пределы субъективных стремлений доброй души и превратились в закон активной борьбы за благо человечества, закон социалистического гуманизма. И именно этому закону, а не благотворительности и буржуазному альтруизму — как ненавидели то и другое основоположники марксизма и их соратники! — подчинялась и их чуткость к людям, и, в частности, та материальная помощь, которую Энгельс оказывал не только Марксу, но и множеству последователей Маркса.

Гуманизм революционера, социалистический гуманизм не знает разрыва между теорией и практикой, идейными принципами и

поведением, общим и единичным, между борьбой за благо всех трудящихся и помощью одному, этому человеку. Человечность не только свойство характера Маркса, Энгельса и Ленина, а принципиальная черта их мировоззрения. И нас не может удивить, что Маркс, отдавший борьбе за освобождение трудящихся всего себя, не ищет в этом морального самоутешения и самооправдания и глубоко страдает от того, что из-за своей материальной нужды не может помочь нуждающемуся товарищу. Да, страдает!

«Уверю Вас, дорогой друг,— писал 26 февраля 1862 года Маркс И.Ф. Беккеру,— что ничто не причиняет мне такой боли, как сознание своей беспомощности и невозможности помочь в борьбе такому человеку, как Вы... Древние — кажется, Эсхил — говорили: надо стремиться добывать себе мирские блага, чтобы помогать друзьям в нужде! Какая глубокая человеческая мудрость заключена в этих словах».

Так мог написать только человек, сам сполна познавший, что несет материальная нужда борцу, отдающему свою жизнь пролетарскому революционному движению, на себе познавший, что самое горькое в нужде — не личные материальные лишения, а невозможность помочь другим.

Мы остановились лишь на одном — наиболее наглядном из множества проявлений той неразрывной, органической связи убеждений, чувств и поступков, которая характерна для человечности основоположников марксизма и сквозит в каждой строчке их переписки. Эта человечность не была нейтральной, она росла и закалялась в ненависти к капиталистическому строю, уродующему человека, в борьбе против буржуазного эгоизма, ханжества, ограниченности. Эта человечность стала самой искренней и действительной лишь потому, что она впервые в истории основывалась не на стихийной доброте, религиозных убеждениях, страхе перед всевышним или правах «естественного человека», а на научном осознании права трудящегося стать хозяином жизни и всемирно-исторической роли рабочего класса в освобождении человечества от всего античеловеческого.

Теперь, когда осуждены нарушения ленинских норм партийной и общественной жизни, процветавшие в период культа личности, когда мы боремся с последствиями и остатками этих нарушений и их зарубежными

защитниками и продолжателями, не только теоретические высказывания, но и пример личного поведения Маркса, Энгельса и Ленина имеет для нас особо актуальное значение.

Ведь и сегодня находятся и даже претендуют на верховный авторитет в вопросах марксизма-ленинизма некоторые «вожди» и «учителя», для которых трудящийся человек все еще «винтик» в их субъективистском конструировании настоящего и будущего и которые готовы во имя идеала будущего пожертвовать самой жизнью, самим существованием трудящихся масс, ради блага коих этот идеал осуществляется.

К сожалению, в сборник не попали некоторые интересные публикации последних лет. Так, мы не найдем в нем письма Маркса к своему молодому другу и будущему зятю Полю Лафаргу от 13 августа 1866 года, — письмо это впервые опубликовано в недавно вышедшем тридцать первом томе второго издания сочинений Маркса и Энгельса.

Чтобы почувствовать драматизм и многогранность переживаний, выраженных в этом письме, его нужно прочитать целиком. Здесь я ограничусь лишь двумя отрывками общего характера.

Маркс пишет Лафаргу: «На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в непринужденном проявлении страсти и высказывании преждевременной фамильярности».

То, что можно было принять за отзвук «старомодного», сентиментально-романтического идеала, выражает здесь, однако, то истинно человеческое, тот идеал чистой и глубокой любви и уважения к женщине, который грубо «прозаизировал» капиталистический строй. Тем более драматически, ибо приходилось все же считаться с «прозой» этого строя, звучат в устах Маркса мотивы, по которым он предостерегает Лафарга от скоропалительного решения вопроса о женитьбе при отсутствии у него средств к существованию: «Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Я не сожалею об этом. Наоборот. Если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое. Только я не женился бы. Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от ри-

фов, о которые разбилась жизнь ее матери».

Это одно из тех откровенных и мужественно решительных писем, в которых с наибольшей силой выражен характер Маркса — борца, мужа, отца, и в подтексте которого ощущаются очень сложные переживания автора.

Если это письмо не попало в сборник по объективным причинам — оно было опубликовано уже тогда, когда сборник находился в производстве, — то отсутствие другого и более обширного материала, опубликованного несколько лет назад, вызывает недоумение.

Речь идет о трехтомной переписке Энгельса с Полем и Лаурой Лафарг, изданной в Париже в 1956—1959 годах. О значении этого издания, содержащего более пятисот неопубликованных ранее писем, для характеристики роли и деятельности Энгельса после смерти Маркса, мне уже пришлось писать (в статье «Революционная диалектика поэтического правосудия», «Новый мир», 1957, № 8). Здесь же необходимо подчеркнуть чрезвычайную важность этой переписки именно в связи с темой сборника, о котором мы говорим. Ибо без преувеличения можно сказать, что после переписки с Марксом переписка с Лафаргами, относящаяся в основном к периоду, когда Маркса уже не было в живых, имеет первостепенное значение для характеристики жизни и деятельности Энгельса и воссоздания его живого образа, познания его человеческих качеств и черт.

Переписка Энгельса с Полем и Лаурой Лафарг читается, как увлекательнейшая повесть. Три талантливых корреспондента обладали даром не только рассуждать о вопросах теории и практики революционного движения и своей борьбы, но и ярко изображать и характеризовать людей и события своего времени.

Пользуясь случаем, хочу высказать пожелание, чтобы, кроме включения вновь опубликованных в этой переписке писем Энгельса во второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, было бы предпринято и полное издание указанной переписки в русском переводе. Сделать это нужно хотя бы для того, чтобы до конца понять и по достоинству оценить ряд важных мест из писем Энгельса, а это возможно только в контексте всей переписки, отсутствие которой не могут возместить никакие справочные приме-

чания и комментарии. Сделать это нужно еще для того, чтобы не лишать читателя ощущения живых человеческих взаимоотношений, ощущения той живой документальной беседы Энгельса и его корреспондентов, которую не сможет заменить никакая «беллетризация» этой переписки. А такая «беллетризация» непременно последует — уж слишком соблазнителен материал.

Что касается сборника «Их простота и человечность», то при его переиздании, — а мы убеждены, что он будет пользоваться у чи-

тателя успехом, — следует не только дополнить его новыми публикациями, но и обстоятельной вступительной статьей. Она превратила бы его из сборника цитат и отрывков для квалифицированного пропагандиста или вообще человека, хорошо знакомого с историей революционного движения и биографиями Маркса и Энгельса, в книгу, глубокий смысл и звучание материала которой были бы исчерпывающе и плодотворно восприняты любым читателем.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.



КНИГА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПЕРЕИЗДАТЬ

Феликс Кон. За пятьдесят лет. Собрание сочинений в трех томах. Издательство Всесоюзного общества политназранж и ссыльно-поселенцев. М. Том 1 — В рядах «Пролетариата». 1932. 360 стр. Том 2 — На поселении. 1933. 320 стр. Том 3 — Экспедиция в Сойотию. 1934. 296 стр.

Феликс Кон. За пятьдесят лет. Издание второе. «Советский писатель». М. 1936. Том 1—2. 517 стр. Том 3—4. 344 стр.

В трагические дни июля 1941 года скончался от разрыва сердца ветеран революционного движения — Феликс Кон. Война унесла его в числе своих первых жертв.

Для нас имя Феликса Кона — это легенда. В ней связаны воедино две исторические эпохи — время, когда небольшие группы героев-революционеров вели неравный бой с царизмом, беспощадной властью, вооруженной всеми средствами зла, и время победы массового движения под знаменем Ленина.

«...Он был для меня окружен ореолом старого непримиримого революционера», — рассказывает Н. К. Крупская о своей первой встрече с Феликсом Коном во время приезда ее в минусинскую ссылку к Ленину в 1898 году. А двадцать лет спустя Феликс Кон делал коммунистическую революцию на Украине, входил вместе с Дзержинским в Временный революционный комитет Польши во время наступления конницы Буденного на Варшаву, был секретарем Исполкома Коммунистического Интернационала.

Воспоминания Феликса Кона изданы в середине тридцатых годов. Обычно рецензии пишутся на книги, вышедшие не так давно. Однако можно себе представить другой тип рецензии — ее задача напомнить о том, что книгу полезно переиздать. И так как вся наша центральная печать откликнулась на столетие со дня рождения Феликса Кона, мне кажется, что мысль о новом издании его мемуаров не является фантастической. Прекрасно написанная, богатая разнообраз-

ным содержанием (включая сюда и этнографические картины жизни народов Сезе-ра), эта книга имеет большое воспитательное значение.

«Предлагаю читателю свои воспоминания о «делах давно минувших дней», — пишет Феликс Кон, — я имею в виду ознакомить его с условиями, при которых приходилось вести борьбу, помочь представить читателю, сколько мук и страданий пришлось пережить борцам до того момента, когда массы откликнулись на их зов и продолжавшаяся десятилетия борьба завершилась победой. Эта борьба стоила жизни тысячам борцов.

Долг оставшихся в живых — сохранить в памяти новых борцов имена и дела погибших товарищей.

Этот долг лежит и на мне, как на одном из немногих, доживших до революции, и этой книжкой я его хотя отчасти пытаюсь выполнить».

Перед нами страницы революционной борьбы начала восьмидесятых годов, героические характеры Варынского, Куницкого и других участников первой польской рабочей партии «Пролетариат», каторжная тюрьма на Каре с ее знаменитой трагедией, о которой речь впереди, удачи и неудачи в непрерывной войне с полицией и много других эпизодов, полных самого драматического интереса. Но Феликс Кон не остался в прошлом, как многие деятели его поколения, он не жил своими почетными воспоминаниями, хотя одного этого было бы достаточно для

общественной благодарности. До последних дней он оставался деятельным коммунистом. Эта черта отразилась и на его мемуарах.

Путь, пройденный Феликсом Коном, есть, собственно говоря, путь от народничества к марксизму. С тех пор как семнадцатилетним юношей он понял, что будущее Польши в освобождении трудового народа, его героями были Засулич, Желябов, Перовская. Тайная организация, в которую он вступил, искала опоры среди промышленных рабочих. И это было естественно — ведь даже в России, где основой основ считался вопрос земли, первые народники семидесятих годов, «чайковцы», имели прочные связи среди рабочих и лишь постепенно пришли к идее революционной агитации в деревне. Так было и в Польше, где рабочий класс занимал более значительное место среди трудового населения, а самодержавие лицемерно заигрывало с крестьянством, чтобы иметь союзника против мятежной шляхты.

Наиболее близкий к марксизму из деятелей партии «Пролетариат» — Людвик Варынский связывал будущее Польши с ее хозяйственным развитием. Имея в виду более конкретную цель, он говорил о социалистическом государстве, владеющем всеми средствами производства. Но сочетать эту задачу, то есть экономическое освобождение трудящихся, с борьбой за демократию Варынский еще не мог. Отсюда характерная для старших товарищей Феликса Кона и для него самого недооценка национального самоопределения польского народа. Как это ни странно, чисто пролетарские классовые формулы партии «Пролетариат» свидетельствовали еще о значительном влиянии старого социализма (в духе Прудона или Бакунина).

Несмотря на все, что приближало пролетариатцев к идеям Маркса и Энгельса, эта революционная организация имела много общего с русским народничеством, и в хорошем и в дурном, вплоть до увлечения террором (особенно после ареста Варынского). Идея экономического террора против хозяев, выдвинутая партией «Пролетариат», делала ее похожей на молодую «Народную волю» восьмидесятых годов. На каторге и в ссылке Феликс Кон еще более сблизился с русскими народниками всех оттенков, хотя появление в Сибири первых марксистов ленинского направления не осталось бесплодным для его политического развития.

Народники, пережившие свою эпоху, име-

ли разные судьбы. Одних история занесла далеко направо — об этих нечего и говорить. Другие после различных колебаний остались в стороне от всякой политической деятельности. В лице Феликса Кона перед нами яркий тип революционера, пришедшего к ленинизму, и притом не только вопреки своему бывшему народничеству, но и благодаря его лучшим чертам.

К числу несомненных достоинств народнического периода относится широкое развитие идеи революционной нравственности. Не нужно думать, что это происходило за письменным столом, хотя литература и публицистика играли в этом процессе большую роль, и книги, подобные «Азбуке социальных наук» Флеровского, пользовались в те времена громадным влиянием. Революционная нравственность рождалась в самой практике отчаянно смелой борьбы против самодержавия, в процессе живого опыта, ошибок и падений. Она была практически необходима, ибо любые параграфы принятых документов сами по себе не могут вырвать людей из рутинной обычной жизни и сохранить чувство взаимной ответственности, рожденное в тесном кругу преданных делу товарищей. Нравственная связь была необходима, так же как противоядие от «генеральства» (по выражению тех лет), то есть возможных повторений нечаевщины, оставившей после себя дурную память. В духе своей романтической теории народники охотно выдвигали сердце против головы и правду-справедливость против правды-истины. Но такое понимание дела было уже одностороннее и, разумеется, ложно. Отсюда вовсе не следует, что, отдавая преимущество объективной истине, то есть верной теории научного социализма, мы должны забыть о нравственном опыте, заключенном в первых шагах революционной борьбы, когда личность каждого воина-подвижника имела неповторимое значение.

Феликс Кон рассказывает больше о других, чем о себе. Его воспоминания содержат целую галерею портретов и небольших, мастерски сделанных зарисовок. Они сохраняют для нас живые черты участников революционного движения, настоящих людей среди окружающей их толпы рабов — исполнителей царской службы, от генерал-губернатора тех мест, где слышно, как замерзает человеческое дыхание, до последнего охранника. Обе стороны находятся между собой

не только в состоянии фактической войны. Они постоянно сталкиваются в нравственных конфликтах — с явным преимуществом в пользу тех, кого не сморили стены тюрьмы.

Среди польских революционеров, судившихся вместе с юношей Коном, был один русский — мировой судья П. В. Бардовский. Этот благороднейший человек связывал молодое поколение с традицией шестидесятих годов и подпольные кружки Варшавы — с подпольной Россией. В работе партии «Пролетариат» он принимал пассивное участие, хотя однажды сделал набросок воззвания к военным, — и этот набросок стоил ему жизни. Так как почерк Бардовского был неразборчив, следственные власти прочесть этот документ не могли, хотя подозревали наличие в нем «преступного» содержания. Но когда вопрос о воззвании по ходу дела возник на суде, П. В. Бардовский встал и сам внятно прочел его от слова до слова. На мгновение в зале воцарилась мертвая тишина. «В этот момент, — говорит автор воспоминаний, — и он и мы сознавали, что участь его решена, что он сам себе прочел смертный приговор».

Рассказывает Феликс Кон о многих эпизодах борьбы с царской полицией, завершившихся полным успехом революционных сил, например, о знаменитом узле десяти смертников из варшавской цитадели, организованном подпольщиками, переодетыми в мундиры жандармов. Рассказывает он о таких событиях, как «якутский протест» 1889 года, когда группа ссыльных, оказавших вооруженное сопротивление, была расстреляна солдатами и казаками вице-губернатора Осташкова. Раненный в этой бойне, Л. Коган-Бернштейн был казнен, и так как он не мог ходить, его повесили прямо с носилок. Обращаться с какими-нибудь просьбами к такому начальству считалось недостойным — грузин Чикоидзе предпочел умереть от чихотки в невыносимом для него климате Якутии, чем просить об отправке на юг.

В этой международной дружине революционеров не было более презираемых людей, чем «раскаявшиеся». Выше всего ценилась стойкость. Но при этом обязательным правилом революционной морали было отсутствие взаимного принуждения. Судившийся по одному процессу с Коном, Мечислав Маньковский писал из варшавской тюрьмы на волю: «Строгость приговоров может кое-кого отпугнуть от работы. Не делайте попыток удержать их в своей среде.

Пусть каждый из вас будет готовым на всё, но помните, что каждый имеет право жертвовать только собою». Никакой жертвенности за счет других!

Бывает между людьми формальное единство взглядов при полном отсутствии товарищеской спайки, бывает и наоборот, как это видно из рассказов Феликса Кона: бесконечные споры и недостаток ясной теории, объединяющей мысль многих людей, при исключительной силе долга перед товарищами. Феликс Кон рассказывает об одном заключенном, который поверил национальной демагогии Александра III. Такие повороты мысли были возможны среди народников. Положение этого заключенного среди других обитателей каторжной тюрьмы вскоре стало невыносимым, но когда ему в виде последнего аргумента предлагали подать заявление о раскаянии, он бросался на обидчика с кулаками. В конце концов, измученный и больной, этот «царист» ударил по голове смотрителя тюрьмы и пытался убить самого барона Корфа, приехавшего на Кару с ревизией. Конечно, такое противоречие между глубокой честностью и темным убеждением — парадокс, сам по себе возможный лишь потому, что революционное движение в целом создавало высокое единство политической сознательности и нравственной воли.

Есть непреодолимое обаяние в том, что рассказано на страницах воспоминаний Феликса Кона. Книга его произведет впечатление на самого равнодушного человека, и даже предубежденный читатель не останется спокойным. Такова сила нравственной атмосферы, окружающей факты революционного героизма. Человек или дело? — Этот вопрос, обсуждаемый в последнее время на страницах нашей печати, не стоит для автора книги «За пятьдесят лет» и его товарищей. Смотри какой человек, смотри какое дело!

Дела, участником которых был Феликс Кон, настолько проникнуты человеческим содержанием, что они не нуждаются в каких-то специальных прибавках или ограничениях в пользу человечности. Да, это такие дела. Вот одно из них.

После разгрома «Народной воли», опьянев от крови, как всякий зверь, шайка царских чиновников решилась на грязное дело — покончить со всякой моральной независимостью заключенных, лишить их последних прав. Политическим узникам Кары

было объявлено, что отныне они подлежат телесному наказанию — в случае малейшего неповиновения их ждут розги и плеть. Местное начальство немедленно применило это распоряжение к Надежде Сегеде, которая дала пощечину коменданту тюрьмы за оскорбление другой заключенной. Сегеда в ту же ночь умерла, приняв яд. Вслед за ней в знак протеста отравились Калюжная, Ковалевская и Смирницкая. Когда весть об этом достигла мужской тюрьмы, было решено, не прибегая к моральному давлению на товарищей, предложить желающим «принять участие в протесте путем самоотравления против гнусного издевательства над Сегедой». Вызвалось четырнадцать человек, в том числе Феликс Кон. Это было единственно возможным, но все же возможным средством доказать правительству, что политические заключенные будут защищаться до конца.

После вечерней проверки яд был принят. Он не подействовал: должно быть, утратил силу от плохого хранения. У заключенных был еще запас морфия, но для того, чтобы достать его из тайника, пришлось ожидать следующей ночи. Когда снова приступили к самоотравлению, оказалось, что морфия не хватает. Бобохов и Калюжный, успевшие принять большую дозу, умерли. Остальные постепенно возвращались к жизни. Феликс Кон, Сергей Диковский, Адриан Михайлов решили совершить самоубийство в третий раз, если царская администрация не отступит. Но телесное наказание было отменено.

Можно сказать, что самоубийство непустякая вещь, ведь жизнь человеческая нужна для пользы дела. Совершенно верно. Но знаете ли вы заранее, что полезно для дела? И разве честь человека, его достоинство не полезны? Рассказывая о карийской трагедии, Феликс Кон дает понять, что в этом случае вопрос чести был важнее всякого практического расчета. Враги смотрели друг другу прямо в глаза. Стоило тюремному начальству и всей вышестоящей банде почувствовать, что заключенные дрогнули, что есть ощутимый предел их сопротивления — и всё погибло. Масса бегущих была растоптана с гиканием и свистом. Значит, победила именно беззаветность, а не расчет. Впрочем, хорошему расчету тоже есть место в таких делах. Феликс Кон и его товарищи знали, что известие об их поступке дойдет до России, получит широкую огласку за рубежом, что эта жертва может из-

менить нравственный баланс в пользу революционных сил. Боялась этого и тюремная власть.

Конечно, не при всяких обстоятельствах это возможно и не каждый человек способен на такой подъем. Вот почему люди более развитые в политическом и нравственном отношении, то есть более ответственные за других, старались не уронить в грязь достоинство человека, понимая, что дальше все покатится — не удержишь. Думать об этом надо вовремя, и это возможно. В истории бывает «игра на понижение», бывает также «игра на повышение», — этим часто различаются между собой исторические периоды. Заражает грязь, но заражает и благородство, честь, человеческое достоинство. Нравственный подъем похож на гребень волны, которая вздымается все выше и выше.

При чтении книги Феликса Кона перед нами проходит множество людей, его соратников по борьбе. Все они своеобразны, имеют свои характерные черты, иногда слабые, даже смешные стороны. Ведь это люди! Но какая замечательная страсть — каждый старается принять на себя самую трудную часть общего дела, никто не прячется за спину других, не навязывает другому самоотречения, не читает ему мораль, не унижает другого даже во имя самых высоких целей. Тут видно как на ладони, что все есть пустая формальность, если человек не ставит на карту собственную жизнь или по крайней мере не доказывает свое право говорить о высоких целях личным поведением — сегодня, здесь и теперь.

Много тяжелого досталось на долю Феликса Кона и его друзей. Бывали внутренние сомнения, мучительные поиски верного шага среди предательства и провокаций. Но какая радость озаряет лица этих людей, какое счастье испытывают они от того, что служат страдающему народу. Как чувствуют они свою товарищескую близость! Под угрозой виселицы, которую требовал для него прокурор, юноша Кон сказал на суде о своих старших товарищах, учивших его революционному делу: «Возможность бороться под одним знаменем с ними я считала для себя величайшей честью».

Мы часто говорим об идейности. Что же следует понимать под этим словом? Знание верных идей, готовность исполнить свою полезную функцию, направленную к их осуществлению? Конечно. Но это еще не все.

Если я только чиновник прогресса и работаю на всемирную историю за приличное вознаграждение, шибко идейным меня, пожалуй, назвать нельзя. Существует в идеологии и нравственная сторона. А в чем она состоит? Об этом можно прочесть в книге Феликса Кона. Впрочем, помните ли вы стихи Пушкина:

Во цвете лет, свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселия не знал
И милых жен лобзаний не достоин.

Значит, настоящим человеком является лишь тот, кто рискует жизнью, а прочие суть обыватели? Конечно, нет. Но кто оставляет в запасе свою драгоценную личность и служит полезному делу только своим мертвым весом в общей системе движения к великой цели, кто не способен зажечь

в другом существе человека, сделав это личным примером, своей беззаветностью, — такой прогрессивный обыватель поистине может быть назван безыдейным, хотя бы он все идеи превзошел и даже пишет статьи или читает лекции о морали. Тут никого не обманешь, ибо народ безошибочно чувствует всякое фарисейство, и вред от этого для самой лучшей идеи, несомненно, произойдет, только вред. В политике, науке, искусстве, технике — во всем моральный потенциал имеет весьма практическое значение.

Жизнь таких людей, как Феликс Кон, является школой революционной нравственности. Вот почему давно пора переиздать его прекрасно написанные воспоминания.

Мих. ЛИФШИЦ.

★

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ СОВРЕМЕННОКОВ

Рядом с Н. И. Вавиловым. Сборник воспоминаний. Составитель Ю. Н. Вавилов. «Советская Россия». М. 1963. 222 стр.

В этой книге речь идет о человеке необыкновенном; выдающаяся роль его в научной и общественной жизни нашей страны еще далеко не оценена и не осмыслена.

В тридцать шесть лет Николай Иванович Вавилов стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, в сорок два — академиком. Без преувеличения можно сказать: его знали все биологи, весь научный мир планеты. Член Английского Королевского общества в Лондоне и Шотландской Академии наук в Эдинбурге, почетный член Индийской Академии наук, почетный член Американского ботанического и Нью-Йоркского географического обществ, доктор университетов Брно и Софии, он с полным правом председательствовал на международных конгрессах по ботанике, генетике, на географических и сельскохозяйственных форумах многих стран. Его доклады, произнесенные по-английски, по-немецки, по-французски, речи на испанском и итальянском языках, на языке фарси печатались в крупнейших научных журналах и по сей день цитируются во многих странах мира.

Ботаник и растениевод, генетик, географ, селекционер, он всегда был пролагателем новых путей в науке. Николаю Ивановичу Вавилову едва исполнилось тридцать лет, когда он сделал одно из своих основопола-

гающих открытий — открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. На огромном материале ученый показал, что родственные роды и виды растений в значительной степени повторяют друг друга в своей изменчивости. Это открытие было существенным вкладом в учение Дарвина о происхождении видов. Н. И. Вавилов понял, что изменчивость в растительном мире происходит не только в зависимости от внешних условий. Он указал на решающую роль в изменчивости внутренних особенностей, возможностей самого организма, выявляя ее закономерности, чрезвычайно важные для науки и практики.

Едва появившись на свет, закон гомологических рядов стал верным помощником ботаников и селекционеров. Вот почему, когда на Третьем Всероссийском съезде селекционеров в 1920 году Н. И. Вавилов впервые доложил о своем открытии, крупнейшие ученые страны встретили его доклад громом аплодисментов. Известный физиолог В. В. Заленский, поднявшись вслед за молодым Вавиловым на трибуну, заявил: «Съезд стал историческим. Биология будет приветствовать своего Менделеева».

Сравнение с Менделеевым — творцом периодической системы элементов — как нельзя лучше отражает душу исследований и

поисков Николая Вавилова. Всю свою жизнь он пытался разобраться и навести порядок в растительном мире планеты, найти законы, по которым растения обитают в том или ином районе, в тех или иных условиях. И конечно же, извлечь из этого богатства как можно больше пользы для советского земледелия. Он был подлинным охотником за «зеленой дичью» и всегда направлялся туда, где природа и человек-земледелец накопили наибольшее разнообразие растительных форм. Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Сирия, Палестина, Греция, Кипр, Крит, Италия, Испания, Португалия. И снова Африка: Французское Сомали, Эфиопия. Потом Япония, Корея, Западный Китай, Латинская Америка, Скандинавия, Кавказ, Средняя Азия, Поволжье...

Тяжелый, поистине героический труд предпринял Вавилов-путешественник. Профессор В. Е. Писарев, замещавший его в институте растениеводства во время поездок, до сих пор хранит десятки почтовых открыток, присланных Николаем Ивановичем с дороги. Рядом с описанием растительных находок то и дело мелькают краткие сообщения о бесчисленных трудностях, поджидавших ученого на дорогах мира. «...Схватил где-то на Крите или на Кипре малярию. Форма довольно скверная. Тороплюсь в Бейрут...» В Сирии советский ученый оказался «субъектом особого внимания». Но военные власти в конце концов позволили ему ехать в бронированном вагоне во фронтную полосу на границе с Палестиной. Из Аддис-Абебы, где в то время не было еще советского посла, короткое сообщение: «Судьба моя решается на этих днях... По пшеницам здесь исключительная важность. Имел 2 аудиенции в 2½ часа у правителя Эфиопии... Не имея за собой, в сущности, поддержки, переживаем все удовольствия быть предоставленным самому себе... Но все равно... Сегодня караван (11 мулов, 12 человек, 7 ружей, 2 копыя и 2 револьвера) выступает в глубь страны».

Тяжелые преправы с растительными коллекциями в верховьях Нила, ночи в лесу под вой шакалов и гиен, нападения на лагерь то павианов, то ядовитых сколопендр... Зато на родину отправляются семена растений, которые должны обогатить молодое социалистическое земледелие.

Поездки Н. И. Вавилова и его сотрудников по всему миру позволили накопить огромный набор образцов растительных

форм — фонд, какого нет ни в одной стране. Во Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде благодаря экспедициям Вавилова и его учеников коллекция одних только злаковых зерновых достигла ста тысяч образцов, бобовых — тридцати тысяч. Но Вавилов не только собирал растительные богатства. В ста шестнадцати гочках СССР, на так называемых географических посевах, все привезенное из-за рубежа прошло строгую проверку, и многие формы, добытые в Африке, Южной Америке и на Среднем Востоке прочно вошли в фонд нашего сельского хозяйства.

Были в науке — и не только в науке — люди, объявлявшие поисковую деятельность Вавилова и его последователей сугубо теоретической, не имеющей серьезного народнохозяйственного значения и даже просто вредной. Сейчас, почти четверть века спустя после смерти ученого абсурдность подобных утверждений совершенно очевидна. «Этот крупнейший теоретик по натуре был очень практический человек», — пишет в своих воспоминаниях бывший заместитель директора Института растениеводства Н. В. Ковалев. Оказывается, среди собранных Н. И. Вавиловым сортов было немало уже вполне готовых форм, применимых в наших условиях: пшеницы Америки, овсы Швеции, картофель со склонов южноамериканских Анд, кенаф из Ирана, кунжут из Индии. Но это только капля в море от той пользы, которую дали стране вавиловские сборы. Коллекция Всесоюзного института растениеводства стала буквально сокровищницей нашей селекции. Доктор сельскохозяйственных наук В. С. Федотов пишет, что, используя мировую коллекцию, собранную Николаем Ивановичем и его сотрудниками, селекционеры Советского Союза вывели не менее трехсот пятидесяти новых сортов зерновых, бобовых, технических, овощных и плодовых культур. Более ста из них районированы поныне и занимают миллионы гектаров!

Но есть еще одна область, где ученый оставил родине не меньшие дары. Это организация науки. Вавилов был тем человеком, который практически осуществил идею Владимира Ильича Ленина о создании в нашей стране сельскохозяйственного научного центра. Н. И. Вавилов был основателем и первым Президентом Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени В. И. Ленина, создателем сети институтов и станций,

которые должны были поставить отечественное земледелие на научные рельсы. Он был создателем ВИРА — Всесоюзного института растениеводства — учреждения, которое при его жизни по квалификации сотрудников не имело себе равных во всем мире.

Николай Иванович имел какое-то чутье на талантливых агрономов-опытников, селекционеров, знатоков местной флоры. Одним из первых он привлек внимание Советского правительства к работам В. И. Мичурина. По настоянию Николая Ивановича Мичурин еще в 1922 году обобщил свои исследования в специальной книге. Вавилов же способствовал изданию этой книги и предпослал ей свое предисловие.

Руководить десятками учреждений, тысячами людей, писать сотни научных трудов и совершать бесчисленные поездки — какие силы нужно для этого иметь?! «Жизнь коротка, надо спешить», — говорил он. И спешил творить то большое всенародное дело, которому посвятил себя.

Н. И. Вавилов — руководитель, увлекавший сотрудников на самые трудные дела, в то же время никогда не приказывал, не командовал. Профессор А. И. Купцов вспоминает, что, когда Николаю Ивановичу подавали на подпись деловые письма к подчиненным, он имел обыкновение устранять приказной тон. Например, выражение «предлагаю Вам» он заменял словами «очень прошу Вас». И просьбы этого обаятельного, дружески настроенного к людям человека выполнялись лучше и точнее, чем иные строгие приказы с угрозой наказания.

«Если бы меня спросили, что больше всего запомнилось в его образе, я, не задумываясь, ответил бы: обаяние... — писал о Н. И. Вавилове профессор П. А. Баранов. — Оно исходило из его умных, ласковых, всегда блестящих глаз, из его своеобразного слегка шепелявящего голоса, из простоты и душевности его обращения». Таким он остался в памяти знавших его: великий трудолюб, яркий талант и простой душевный человек.

Несколько слов об авторах этой книги. Их двадцать девять. Селекционеры, генетики, химики, физиологи... Прославленные академики и скромные сотрудники сельскохозяйственных опытных станций, они впервые оказались в роли биографов и мемуари-

стов. Конечно, не каждому удалось написать свою часть так же ярко и содержательно, как это сделали профессор К. И. Пангалло, профессор Л. П. Бреславец, бывший заместитель директора Института растениеводства Н. В. Ковалев. Некоторые воспоминания состоят всего лишь из одного эпизода, из описания единственной встречи с Н. И. Вавиловым. Но зато в сборнике нет даже самой маленькой статьи, не согретой подлинной любовью к ученому.

Надо отдать должное редактору М. С. Черниковой и составителю сборника, сыну Н. И. Вавилова Юрию Николаевичу Вавилову: они сохранили интонационное своеобразие, присущее каждому автору, и удачно распределили материал, так что образ Вавилова в воспоминаниях современников формируется как бы постепенно на наших глазах.

Симпатия авторов и издателей к герою книги привела, однако, и к серьезному просчету. Желая сберечь для потомства обаятельный облик большого ученого-гражданина, создатели книги, думается мне, напрасно упустили факты, показывающие Вавилова, как борца. В высшей степени терпимый в науке Николай Иванович никогда, однако, не отступал от своих нравственных научных принципов.

Книга воспоминаний о Н. И. Вавилове заставляет задуматься и о том, что в нашей литературе нет до сих пор цельного и яркого жизнеописания этого ученого, чье имя может быть поставлено в один ряд с именами Пирогова, Мечникова, Павлова, Тимирязева. До сих пор обходит образ выдающегося биолога серия «Жизнь замечательных людей». Не попыталось рассказать своим юным читателям об удивительной жизни Н. И. Вавилова — путешественника и ученого Издательство детской литературы. В свое время по произволу Сталина академик Н. И. Вавилов был лишен всех должностей, арестован, а его имя, изъятое из учебников и научных трудов, было предано насильственному забвению. Ныне справедливость восторжествовала, доброе имя ученого восстановлено. Пусть маленькая книжка воспоминаний откроет дорогу и другим книгам об этом большом человеке — ученом и гражданине.

Марк ПОПОВСКИЙ.

В ДЖУНГЛЯХ АПАРТЕИДА

Пер Вестберг. В черном списке. Сокращенный перевод со шведского. «Мысль». М. 1964. 272 стр.

А. Иванченко. Оскорбленные звезды. Рассказы очевидца. «Молодая гвардия». М. 1964. 141 стр.

Тяжело раненный при автомобильной катастрофе, человек лежал на мостовой, истекая кровью. Около него остановилась проходившая мимо санитарная машина. Шофер, у которого был диплом на право оказания первой помощи, попытался было помочь пострадавшему, но люди, окружившие место происшествия, приказали шоферу убираться прочь.

Этот невероятный случай произошел в наши дни в крупнейшем городе Южно-Африканской Республики Йоганнесбурге. Почему шоферу санитарной машины не дали спасти человека? Только потому, что у шофера был черный цвет кожи, а у пострадавшего — белый.

В этой сцене — вся отвратительная, человеконенавистническая суть апартеида. Слово это с малознакомого нам языка — африкаанс (официальный язык ЮАР) можно перевести как «разобшение», «разделение». В условиях южноафриканской действительности оно означает нечто большее: это целая система дискриминационных мер, которые расистское правительство ЮАР осуществляет по отношению к цветному населению страны — африканцам, индийцам и другим. «Белое безумие» расизма глубоко проникло во все поры общественной жизни Южно-Африканской Республики. Оно разрушает домашние очаги, разъединяет любящих, убивает веру в справедливость и братство людей, обрекает на голодную смерть тысячи коренных жителей.

Страшный мир страданий и нищеты, на которые обрекает людей апартеид, встает перед нами со страниц книг П. Вестберга «В черном списке» и А. Иванченко «Оскорбленные звезды».

Пер Вестберг — молодой шведский писатель либеральных взглядов. В 1959 году он совершил поездку по некоторым странам Южной Африки (советский читатель уже знаком с ним по книге «Запретная зона», в которой рассказывается о Южной Родезии). Иные пути привели в ЮАР советского журналиста и моряка А. Иванченко. В Южную Африку он попал, можно сказать, случайно: его корабль участвовал

в спасении английского промыслового судна поблизости от южноафриканских берегов, и англичане в знак благодарности пригласили советских моряков в гости в ЮАР.

Вестберг и Иванченко по-разному смотрят на мир, с различных позиций оценивают явления. Но ни того, ни другого не оставляет равнодушными обстановка расовой нетерпимости, в которой живет Южная Африка. Два чувства — ненависть и любовь — наполняют обе книги. Ненависть к угнетателям, поработившим народ Южной Африки и любовь к тем, кто стал жертвой расового изуверства.

Книги А. Иванченко и П. Вестберга — не первые на наших книжных полках произведения, посвященные южноафриканской действительности. Советский читатель знаком с героями романов Питера Абрахамса «Тропую грома», Филисы Альтман «Закон стервятников», Джеральда Гордона «Да сгинет день...». В прошлом году в переводе на русский язык вышли рассказы южноафриканских писателей, в которых с большой художественной силой разоблачается апартеид.

Произведения Пера Вестберга и Александра Иванченко — путевые очерки. В них нет ни вымышленных героев, ни вымышленных ситуаций.

Ад апартеида — это южноафриканская действительность. Трудно поверить, что такое может быть в середине XX века.

Мир апартеида можно определить как мир сумасшедших, свихнувшихся на мысли о собственном расовом превосходстве. «Среди безумных» — так озаглавил П. Вестберг одну из глав своей книги, в которой он описывает встречу со «столпами апартеида». И он прав: не может человек в здравом рассудке исповедовать доктрину, в основе которой лежит расовая ненависть, расовая злоба. Ему место в сумасшедшем доме или в тюремной камере.

«Нельзя хотя бы на минуту оказаться без пропуска, — пишет А. Иванченко, — нельзя наводиться на улице после девяти часов вечера, нельзя совершеннолетнему сыну ночевать в доме собственных родите-

лей без ежедневного на то разрешения полиции».

«Нельзя... Сто одно нельзя!» — так характеризует А. Иванченко положение, в котором находится африканец в Южной Африке.

В этой стране нельзя полюбить человека другой расы — «закон об аморальных действиях» грозит нарушителям этого постановления тюремным заключением сроком на семь лет. «Полицейские каждую ночь рыщут по домам со своими карманными фонариками, освещают спящих людей и тащат сон и любовь в суд», — читаем мы в книге Вестберга.

В «джунглях апартеида» нельзя переливать кровь, полученную от донора-африканца белому и наоборот. За нарушение этого закона — тюремное заключение. Африканцам нельзя слушать радиопередачи, предназначенные для белых: им продают приемники, настроенные только на определенные волны, по которым передают программы, подготовленные правительством «специально для цветных». Черных нельзя принимать на квалифицированную работу, им не разрешено жить за пределами локаций — африканских гетто, расположенных в нескольких десятках километров от городов, либо резерваций — специальных территорий, где на бесплодных клочках земли африканцы занимаются сельским хозяйством. Им запрещено посещать рестораны и кафе, которые обслуживают «только белых», ездить в трамваях и автобусах, предназначенных «только для белых».

На каждом шагу африканца преследуют, как немой окрик, таблички: «Не белым вход воспрещен!», «Собакам и неграм вход воспрещен!», «Только для белых!» Таблички с подобными надписями развешаны в гостиницах и на почте, на железнодорожных вокзалах и стоянках автобусов, на телефонных будках и скамейках в парках. В больших универмагах и фешенебельных частных домах есть специальные лифты «для африканских слуг, собак и детских колясок». И так повсюду...

Первое, что увидел А. Иванченко, вступив на землю апартеида, были афиши, расклеенные по городу Ораньемунду: в них объявлялось о грандиозном аутолафе. Полиция собиралась съездить на кострах символические чучела знаменитых всему миру писателей. чьи книги запрещены в ЮАР: Льва Толстого, Чарльза Диккенса, Марка

Твена и других. «Простые костры из книг в Южно-Африканской Республике, — пишет А. Иванченко, — уже не сенсация, последние годы что-нибудь запрещают и бросают в костер не так уж редко. К этому давно привыкли. А вот если вместе с книгами запольхают и символические чучела их великих авторов — это совсем иное, это сенсация!»

А чего стоят такие «сенсации», как «кровавый понедельник» в Шарпевиле в 1960 году, когда полиция расстреляла мирную демонстрацию африканцев, запрещение компартии, южноафриканский вариант дела о «поджоге рейхстага» — так называемый «процесс 156»!..

Для понимания расизма в Южной Африке могут многое дать биографии тех, кто стоит ныне у руля государственного управления в «республике апартеида».

«Первый человек» в государстве апартеида нынешний премьер-министр Хендрик Фервурд начинал свою политическую карьеру как откровенный гитлеровец. В 1933 году в Германии он вступил в национал-социалистскую партию и сумел привлечь к себе внимание Геббельса: тот взял молодого профессора в личные референты.

Вернувшись на родину, Фервурд потребовал от правительства ареста ученых-евреев, бежавших в Южную Африку от преследований нацистов. Он издавал и редактировал фашистский листок «Трансваалер», призывавший к погромам. Придя к власти, Фервурд, по словам П. Вестберга, «закрыв школьные двери и открыл тюремных ворот более чем кто-либо за всю историю Южной Африки».

Не менее колоритна фигура президента ЮАР Чарльза Сварта. До войны он жил в США: подвизался в качестве репортера в Нью-Йорке, был киноактером в Голливуде (играл суперменов!). Именно здесь, в Америке, он прошел «школу расизма», которая превратила его в яркого поборника «идеи превосходства белых». Впоследствии, будучи министром юстиции ЮАР, Сварт добивается возрождения тайной полиции, более широко вводит телесные наказания для африканцев.

Нацизм, фашизм, идеология американских расистов — вот из какого источника берут начало мутные воды апартеида! Нужно ли удивляться тому, что под крылышком Фервурда нашли приют многие недобитые гитлеровцы, что мужское насе-

ление иных южноафриканских городов, как например, Уолфиш-Бей, состоит на две трети из бывших эсэсовцев. «Оправдать такое государство,— приходит к выводу П. Вестберг,— можно, только упразднив его».

Но оно существует — существует вопреки резолюциям ООН, осуждающим апартеид, вопреки многочисленным протестам мировой общественности, вопреки здравому смыслу и совести народов.

Почему?

«Деньги — ключ к любой загадке», — говорил О. Бальзак. Загадка существования ЮАР тоже раскрывается с помощью этого ключа. В ЮАР на карту поставлены важные экономические интересы западных монополий. Южная Африка для Запада — это, прежде всего, золото, уран, алмазы.

«В Южно-Африканской Республике,— пишет А. Иванченко,— 67 золотых рудников. Золота из них выкачивают более 2 миллионов унций в год. Большая часть драгоценного металла поступает в бетонированные склады Форта-Нокс в США и подвалы Английского банка в Лондоне».

В книгах А. Иванченко и П. Вестберга хорошо показано, что высокие прибыли американским и английским монополиям обеспечивает именно расистская система апартеида, снабжающая горнорудные компании баснословно дешевой рабочей силой. Как же у политических слуг этих монополий может подняться рука, чтобы убить «курицу, несущую золотые яйца»? Напротив, они делают все от них зависящее, чтобы «одеть в военную броню», еще более укрепить этот режим. «За последнее время,— пишет А. Иванченко,— правительство Фервурда получило из США вооружения и военной техники на 400 миллионов долларов... На территории ЮАР Соединенные Штаты построили три секретные станции якобы для наблюдений за спутниками. На самом деле это три военно-воздушные базы...»

Так раскрывается загадка существования расистского государства на юге Африки.

В сети расистских «ловцов душ» легче всего попадает молодежь, дети. Осколок волшебного зеркала, которое зовется в ЮАР «расовым превосходством», легко проникает в душу ребенка. Судьба белого мальчишки Тенниса, о которой рассказал А. Иванченко, показывает, как легко превратить ребенка в фанатика и изувера. История эта такова: чтобы спасти ребенка

от смерти, кормилица-зулуска по просьбе матери Тенниса дает ему свою кровь. Узнав об этом через много лет, Теннис не может снести «позора» и кончает жизнь самоубийством.

Теннис погибает под тяжестью предрасудков, которые успели вдолбить ему в голову его воспитатели. Но сколько сверстников Тенниса продолжают шагать по улицам южноафриканских городов, одетые в форму скаутов, напоминающую форму нацистской организации «гитлерюгенд». В двенадцать лет им уже дают огнестрельное оружие — даже девочкам. «Мне рассказывали, что из всех, кто носит в Южной Африке оружие,— свидетельствует А. Иванченко,— скауты самые жестокие. Если они участвуют в подавлении какого-нибудь бунта, непременно льется кровь». Так в ЮАР воспитывают безжалостных и жестоких оруженосцев апартеида, будущих фервурдов...

Зато сколько настоящей человечности живет в тех, кому апартеид отказывает даже в праве называться людьми! Книги А. Иванченко и П. Вестберга показывают, что противники апартеида — африканцы, цветные, индийцы и белые — все теснее сплачиваются в борьбе против расизма. Ни полицейский террор, ни аресты, ни пытки, ни концентрационные лагеря не могут остановить освободительного движения в «джунглях апартеида».

«Политическая и социальная система против африканца,— пишет П. Вестберг,— но время и история на его стороне».

Советский Союз последовательно и неустанно разоблачает расизм южноафриканских правителей с трибуны Организации Объединенных Наций и других международных форумов. Он гребует применения к ним самых решительных санкций, с тем чтобы заставить их отказаться от политики расового террора.

Правительство Советского Союза порвало всякие отношения — экономические, торговые и другие — с расистами Южной Африки, отказывается иметь дело с фирмами, представляющими южноафриканские интересы, запрещает заход южноафриканских судов в свои порты, бойкотирует товары, имеющие клеймо «сделано в ЮАР». Решительный протест советских людей и прогрессивной общественности всего мира вызвали судебные расправы над южноафри-

канскими патриотами Нельсоном Манделой, Уолтером Сисулу и их товарищами, приговоренными летом нынешнего года на основании вздорных обвинений к пожизненной каторге.

Борясь против преступной политики апартеида, Советский Союз вносит вклад в борьбу против расизма вообще.

В. СИДЕНКО.

★

ГОЛОС СВОБОДНОГО АЛЖИРА

Ахмед Бен Белла. Речи и выступления. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1964. 178 стр.

Первое ноября 1963 года... Мне хорошо запомнился этот день. Небывалое скопление людей (как отмечали потом газеты, здесь было полтора миллиона человек), заполнивших огромное поле по соседству с аэродромом в Дар аль-Бейда — пригороде алжирской столицы. Люди улыбаются, хором выкрикивают лозунги, аплодируют: в разгаре праздничная демонстрация в честь девятой годовщины алжирской революции. Пронесят транспарант с надписью: «Самоуправление кладет конец эксплуатации человека человеком». Демонстранты скандируют: «Я-хья-Бен-Бел-ла!» («Да здравствует Бен Белла!»)

На правительственной трибуне — группа сравнительно молодых людей в защитного цвета солдатской форме без знаков различия. Вот один из них подходит к микрофону. Это президент Алжирской Народной Демократической Республики и генеральный секретарь Фронта национального освобождения Алжира Ахмед Бен Белла.

«Дорогие братья! Дорогие сестры!»

Его низкий спокойный голос мгновенно заставляет смолкнуть оживленный шум собравшихся на поле сотен тысяч людей. Бен Белла говорит просто, без заранее подготовленного текста, не прибегая к каким-либо ораторским приемам. Собравшиеся жадно ловят каждое слово, одобряют речь аплодисментами и приветственными возгласами. Между оратором и слушателями полный контакт. Вначале кажется, что причиной тому — форма выступления: Бен Белла как бы беседует с аудиторией, рассказывая о том, что произошло в стране за истекший год, что делается и что намечается. Но вскоре становится ясно, что дело не только в умении оратора говорить с народом простым языком о больших и сложных проблемах. Секрет его успеха — в глубоком понимании интересов и настроений слушателей, в уверенности, что они его поймут. И люди понимают его, искренне верят в то, что все об-

стоит именно так, как сказал Бен Белла. Это не слепая фанатичная вера в незаменимого и непогрешимого вождя, а складывавшаяся годами убежденность простых трудящихся в том, что этот человек в военной куртке — подлинный солдат революции, стоящий на страже их интересов...

Известен нелегкий жизненный путь Ахмеда Бен Беллы. Сержант алжирских частей армии Сражающейся Франции в годы второй мировой войны, удостоенный боевых наград за участие в сражениях против немецко-фашистских войск в Италии. С 1947 года — заместитель мэра своего родного городка Марниа. С 1949 года — глава нелегальной боевой организации молодых патриотов Алжира, арестованный французскими властями и совершивший через два года побег из тюрьмы. Руководитель революционного подполья и политической эмиграции, один из основателей Фронта национального освобождения и организаторов вооруженной борьбы против колониального режима, предательски схваченный колонизаторами в октябре 1956 года и освобожденный лишь после прекращения войны в Алжире в марте 1962 года. Сама по себе биография эта во многом объясняет популярность Бен Беллы. Но особенно его авторитет среди народных масс вырос за время пребывания у власти после завоевания Алжиром независимости. За двухлетний период в стране были проведены радикальнейшие меры по национализации средств производства, имеющие огромное значение не только для Алжира, но и для всех стран, недавно ставших независимыми. Социалистический сектор уже стал доминирующим в сельском хозяйстве Алжира. Он завоевал также значительные позиции в промышленности и торговле.

Трудности и достижения, ценный опыт революционных преобразований в Алжире и стоящие перед ним проблемы — обо всем этом мы узнаем из содержательных и ярких

речей и выступлений Бен Беллы, относящихся к 1962—1964 годам, изданных недавно на русском языке. Эту книгу по праву можно считать одним из важнейших источников при изучении истории современного этапа алжирской революции.

Характерная деталь: в речах алжирского президента проблемы восстановления экономики страны и вопросы культурной революции стоят почти всегда рядом. «Достоинство и свобода,— подчеркивает Бен Белла,— никогда не будут полными, пока мы не ликвидируем неграмотность...» Он говорит об индустриализации страны, о борьбе с эрозией почв и тут же — о необходимости превращения колониального раба в нового человека-созидателя.

При всем разнообразии затрагиваемых Бен Беллой проблем все они представляют собой лишь звенья единой цепи — борьбы за полную независимость возрожденного к самостоятельной жизни Алжира. А это, как отмечает Бен Белла в открывающем сборник специальном обращении к советским читателям,— «путь преодоления опасности неокOLONИализма... путь построения социализма».

Отметив, что «современная эпоха родилась в грохоте канонады Октябрьской революции» и что начиная с 1917 года «социализм стал определяющим фактором развития нашей истории», Бен Белла подчеркивает: «Мы полагаем, что своей борьбой, смелостью некоторых своих начинаний наша страна внесла оригинальный вклад в социалистическую мысль, с которым полезно ознакомиться. Мы надеемся, что в дальнейшем этот вклад будет все возрастать».

Специфика вклада, о котором пишет Бен Белла, состоит прежде всего в том, что он является не плодом теоретических кабинетных исследований, а сгустком практического опыта осуществленных в Алжире преобразований. Вот наиболее наглядный пример: трудящиеся массы по собственному почину заняли фермы и предприятия, брошенные бежавшими из Алжира колонистами-европейцами. И чтобы все проходило организованно — создали выборные комитеты рабочего и крестьянского самоуправления. Правительство республики узаконило эту инициативу трудящихся историческими мартовскими декретами 1963 года, заложив тем самым основу для дальнейшего развития социалистического сектора в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Этот про-

цесс продолжается и в наши дни за счет вытеснения европейского и национального капитала.

Представляет интерес точка зрения Бен Беллы по ряду важных вопросов, непосредственно связанных с развиваемой им концепцией социализма. Среди них на первом месте — вопрос о том, какой должна быть руководящая строительством социализма авангардная партия. Бен Белла по этому поводу сказал:

«Партия должна разрабатывать и контролировать политику правительства, но оставаться в стороне от власти, в стороне от выполнения решений».

Нужно также, чтобы руководители не замыкались в своих кабинетах. Они должны общаться с народом, идти туда, где проводятся в жизнь важнейшие мероприятия.

Нужно, чтобы рядовые активисты могли свободно высказывать свои мысли, потому что они живут с массами и именно они могут многое подсказать руководству.

Поток идей, устремляющийся от основания к вершине,— вот что такое демократия, вот о какой партии мы говорим, вот какую партию мы создаем».

Эту точку зрения Бен Белла развил и в других своих выступлениях, в частности — в докладе на проходившем в апреле 1964 года съезде Фронта национального освобождения. Некоторые положения этого доклада вошли затем в программу и устав партии. Это прежде всего положение о недопустимости пребывания в партии лиц, эксплуатирующих чужой труд. «Наша партия — сказал Бен Белла,— не может терпеть проникновения эксплуататоров в свои ряды, не рискуя при этом выродиться или обуржуазиться... Источником силы партии являются крестьяне и рабочие... Социализм в первую очередь имеет целью освобождение этих социальных слоев. Их демократическая организация, их действия в партии составляют ее мощь». Съезд согласился с докладом Бен Беллы и принял решение в ближайшее время принимать в партию только простых рабочих и бедных крестьян, а также обязать всех членов партии дать сведения о доходах, полученных ими с начала революции, то есть с ноября 1954 года.

Антиимпериалистическая внешняя политика свободного Алжира — такова вторая большая тема выступлений Бен Беллы. «Наша внешняя политика,— заявил он еще в октябре 1962 года,— будет отражать формы

строительства внутренней жизни, которые мы избрали в интересах народа... Мы мыслим ее как последовательную антиимпериалистическую, антиколониальную политику, направленную против расовой дискриминации, против военных блоков, за разоружение, за запрещение ядерных испытаний». О том, что внешняя политика Алжира остается последовательно антиколониальной, свидетельствует и такое заявление Бен Беллы, сделанное 6 мая этого года на митинге советско-алжирской дружбы в Москве: «Несмотря на ограниченные средства, наша страна превратилась в лагерь боевой подготовки революционных сил Анголы, Мозамбика, Южной Африки, так называемой Португальской Гвинеи, которым мы оказываем значительную помощь, предоставляя им оружие и финансовые средства». С воинствующим антиимпериализмом этого заявления логично сочетается и достойный отпор антикубинским проискам правящих кругов США в апреле 1963 года: «Я поехал на Кубу, и я снова повторяю, что алжирская революция всегда будет на стороне Кубы. Мы никогда не согласимся взять у кого-то кусок хлеба в обмен на свободу другой страны, особенно на свободу Кубы».

Краеугольным камнем внешней политики Алжира продолжает оставаться дружба и сотрудничество с Советским Союзом. «Я хо-

тел бы отметить,— заявлял Бен Белла еще в 1962 году,— что опыт Советского Союза весьма интересен и очень полезен для нас. Мы предполагаем, что сможем воспользоваться этим опытом у себя в Алжире, разумеется, с учетом наших специфических условий. Думаю, что между нашими странами будут развиваться отношения дружбы и братства».

С тех пор советско-алжирские отношения укрепились, стали еще более дружественными. Значительно расширилось экономическое и техническое сотрудничество между нашими странами, все более ощутимой становится братская помощь Советского Союза Алжиру.

За последнее время советский читатель познакомился с некоторыми философскими учениями, политическими теориями и социальными доктринами, распространенными в завоевавших независимость странах. На русском языке изданы произведения Джавахарлала Неру, Ахмеда Сукарно, Кваме Нкрума... Однако особенности политических теорий и политической практики ряда арабских стран еще мало известны или совсем неизвестны широким кругам читателей. В известной мере этот пробел восполняется выходом в свет книги Ахмеда Бен Беллы.

Р. ЛАНДА.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

М. МОСКАЛЕВ. Бюро Центрального Комитета РСДРП в России (Август 1903—март 1917). Политиздат. М. 1964. 310 стр. Цена 78 к.

В книге М. Москалева широко воссоздается деятельность Бюро ЦК РСДРП со времени возникновения большевистской партии до свержения царизма в феврале 1917 года.

Еще на съезде сторонников ленинской «Искры» в Самаре в 1902 году была создана Русская организация «Искры» — прообраз будущего Бюро ЦК РСДРП в России. В состав избранного ЦК Русской организации «Искры» входили видные профессиональные революционеры: Ф. В. Ленгник, Р. С. Землячка, Д. И. и М. И. Ульяновы, Г. М. Кржижановский, П. Н. Лелешинский, И. И. Радченко и другие, прошедшие ленинскую школу борьбы. Русская часть «Искры» сыграла большую роль в подготовке и проведении II съезда РСДРП.

Русское бюро ЦК РСДРП руководило практической работой партийных организаций России. Особое внимание уделяется в книге приезду В. И. Ленина в Россию осенью 1905 года.

Во второй главе «Средства меняются, цель остается» автор показывает, что в обстановке массовых политических репрессий в годы реакции (1907—1910) только большевики не дрогнули. Русское бюро ЦК РСДРП, преодолевая саботаж и подрывную работу меньшевиков, проделало значительную работу по усилению местных партийных организаций. Читатель узнает далее о роли Русского бюро ЦК в организации массового рабочего движения в связи с Ленским расстрелом, о создании ленинской «Правды». После ареста членов Русского бюро ЦК ее работу фактически выполняла большевистская думская пятерка (Бадаев, Муранов, Петровский, Самойлов, Шагов).

В нашей историко-партийной литературе долгое время бытовало мнение о том, что с началом войны Русское бюро ЦК РСДРП перестало функционировать. Приводимые в книге данные убедительно опровергают это.

В связи с арестом думской пятерки в Петрограде в 1915 году, по указанию В. И. Ленина, был сформирован новый состав Русского бюро ЦК партии. Под его руководством активизировались антивоенные выступления рабочих и солдат, усилилась революционная борьба в стране, приведшая к

свержению царизма и к победе февральской буржуазно-демократической революции. С приездом В. И. Ленина в Россию и избранием на Апрельской конференции нового состава ЦК партии большевиков Бюро ЦК РСДРП в России прекратило свое существование, выполнив свою роль по созданию и укреплению нелегальных партийных организаций и привлечению трудящихся масс на сторону большевистской партии.

В книге удачно сочетается научный анализ обширного фактического материала с доступным изложением.

**С. Марлинский,
Я. Штернштейн.**

Одесса.

★

С ПЕРОМ И АВТОМАТОМ. Писатели и журналисты Ленинграда в годы блокады. Лениздат. 1964. 532 стр. Цена 90 к.

«...Когда я беру газеты времен Отечественной войны, я читаю их, как летопись тех строгих, кровавых дней. На каждой странице там борьба, потоки крови, сражения и на каждой странице подписи тех маленьких летописцев, которые сохранили бесчисленные имена героев. И я горжусь тем, что я сам жил среди них, и сам, такой же маленький летописец, внес свои записи в большую книгу жизни и смерти. Я горжусь, что был работником военной печати в те незабываемые дни испытаний!» — пишет в этой книге писатель Н. Тихонов, выражая чувства и мысли всех ее авторов.

Сорок шесть журналистов и писателей, участников героической обороны Ленинграда, перелистали уже пожелтевшие страницы своих газет и радиопередач, из которых тысячи людей в те годы черпали бодрость, веру, силу.

Бывший редактор газеты 23-й армии «Знамя победы» Л. Пруссян пишет о людях армейской газеты, о тех, кто не выпускал из рук пера в самые тяжелые дни блокады, сменяя его только на боевой автомат. Он вспоминает, как именно тогда формировался в редакционном коллективе поэтический дар красноармейца М. Дудина, как поэт Вадим Шефнер стал в этом коллективе коммунистом и офицером.

Увлекательно рассказали о буднях фронтовой газеты «На страже Родины» М. Гордон и Ф. Самойлов. С интересом читается статья А. Васильева и В. Грудинина о «Ленинградской правде».

Внимание читателей несомненно привлечет воспоминания поэтессы Ольги Берггольц, работавшей во время войны обозревателем Ленинградского радио. Нельзя читать без волнения приведенное ею выступление по радио композитора Д. Шостаковича трагической ленинградской осенью 1941 года. «...Через некоторое время я закончу свою Седьмую симфонию, — говорил композитор. — Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию... Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников культуры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем посту...» А затем Ольга Берггольц описывает, как звучала эта музыка в осажденном городе.

Нет возможности перечислить всех авторов книги, создавших впечатляющий рассказ о том, как большевистская печать в годы ленинградской блокады вселяла в людей веру в победу над врагом.

Одно, на мой взгляд, существенное замечание. Авторы большинства статей ограничиваются простым перечислением имен журналистов — наиболее активных военных корреспондентов и кратким упоминанием о том, остались ли они живы, или погибли. Так, Всеволод Азаров, обещав в заголовке написать о друзьях-товарищах, фактически ограничился перечислением имен, остановившись несколько подробнее на драматурге А. Кроне. А вот о поэте-штурмане Алексее Лебедеве сказал лишь то, что тот напечатал в газете свои стихи перед походом, «который стал для поэта и его друзей последним». Думается, что о многих журналистах и военкорах надо было рассказать подробнее.

Л. Серебрянник.

★

АЛЕКСАНДРА АРЕНШТЕЙН. Юность партии. Рассказ о том, как создавалась и распространялась ленинская «Искра». Политиздат. М. 1964. 96 стр. Цена 13 к.

Пятьдесят один листок тонюсенькой бумаги. Скольких трудов стоили Ильичу эти листки! В книжке говорится об этом очень скупно, и все же мы видим железную волю Владимира Ильича и его титаническую работоспособность: «В декабре 1900 года родился первый номер «Искры»! Десять дней неотлучно провел в типографии Владимир Ильич».

В небольшой книжке Александра Аренштейн сумела сказать о многом. Емкость книги — это одно из ее достоинств. В центре книги — В. И. Ленин. Энергичный, шумный, с лукавой улыбкой. Характерна его речь — стремительная, колкая, с острой политической окраской даже в кругу семьи.

— Подумайте, — смеется Владимир Ильич, показывая на карту Российской империи, — разве не олухи сидят в охранке! Самы разбросали, рассеяли по всей стране революционеров, выслали их в разные города. А потом ахают: откуда новые рабочие кружки, прокламации, даже подпольные газеты?!

Погодите; то ли еще будет, когда выпустим общерусскую газету!.. Дайте только срок! «Из искры возгорится пламя!»

Об издании такой газеты в России не могло быть и речи: после ссылки царская охранка следила за каждым шагом Ленина. С трудом устраивалась редакция и за границей (Мюнхен, Лондон, Женева).

Рассказывая о членах редакции «Искры», Александра Аренштейн отмечает неискренность и властность Плеханова, легкомыслие Мартова. Хорошо показаны агенты «Искры» — «искряки», как называл их Владимир Ильич: И. В. Бабушкин, Н. Э. Бауман, В. З. Кецховели, Г. М. Кржижановский, В. К. Курнатовский, В. М. Велликина, Герман Красин. Только благодаря их усилиям, а порой и настоящему героизму удавалось переправлять газету контрабандой через границу и тайно распространять в России.

В книге рассказывается и о большой моральной поддержке, которую оказывали «Искре» Клара Цеткин, польский революционер Юлиан Мархлевский, немецкие, французские, бельгийские, шведские социал-демократы — рабочие, моряки, железнодорожники.

Особо подчеркивается близость к «Искре» Горького. Кроме моральной, он оказывал ей и огромную материальную поддержку, обзаведшись выплачивать на издание газеты ежегодно пять тысяч рублей. «Мы были готовы платить от радости!» — писал по этому поводу Глеб Кржижановский Н. К. Крупской.

В книге помещены портреты членов редакции и агентов «Искры».

Н. Верещагин.

★

И. КОМЗИН. Свет Асуана. «Молодая гвардия». М. 1964. 207 стр. Цена 50 к.

История Асуанской плотины началась задолго до того, как первые советские строители появились на берегах Нила. Западно-европейские фирмы ни за что не хотели упустить столь выгодный подряд — несколько лет шла крупная закулисная игра. Советский проект оказался экономичнее, целесообразнее других проектов, и потому правительство ОАР заключило соглашение о постройке высотной плотины с Советским правительством. И. Комзин защищал наш проект на заседаниях международной комиссии, он же и начал преворять его в жизнь на берегах древнего Нила.

Много познавательных фактов из истории Египта и Нила узнает читатель. Стройка в Асуане такова, что про нее есть что сказать. Саад аль-Аали — самая большая из двадцати шести тысяч плотин, построенных людьми на нашей планете. Семнадцать пирамид Хеопса могли бы уложиться в Асуанскую плотину.

Однако книжка И. Комзина интересна не только своей познавательной стороной. Автор набрасывает портреты строителей, с которыми работал многие годы на берегах

Волги и Нила. С большой теплотой пишет И. Комзин о прославленных экскаваторщиках Борисе Коваленко, Василии Клементьеве, Дмитрие Слепухе. Борис Коваленко, жизнь которого трагически оборвалась во время авиационной катастрофы на обратном пути на родину, занимает в книге особое место: автор знает и любит своего героя, в характерах этих двух людей есть много общих черт.

И. Комзин на многочисленных примерах показывает братскую дружбу арабских и советских рабочих и специалистов, объединенных благородной целью — создать величественное сооружение двадцатого века.

Со страниц книги предстает портрет и самого автора — неугомонного строителя, который колесит по белу свету. Только что мы находились в Асуане, но вот уже И. Комзин вспоминает о Турции, где он участвовал в строительстве текстильного комбината. Только что автор занимался проблемами Большой химии на берегах Волги, и вот уже самолет мчит его в Бразилию: советских специалистов попросили ознакомиться с энергетическими ресурсами Амазонки, Параны...

Книга «Свет Асуана» была подписана к печати в середине апреля. А через месяц произошло величайшее событие: строители Асуана перекрыли Нил. Пройдут века, подчеркнут Н. С. Хрущев, а высотная плотина останется вечным символом трудового сотрудничества между народами ОАР и Советского Союза.

А. Злобин.

★

ЗДЕНЕК НЕЕДЛЫ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И УЧЕБНЫЙ. «Наука». М. 1964. 272 стр. Цена 1 р. 6 к.

Многогранная научно-исследовательская и разносторонняя общественно-политическая деятельность Зденека Неедлы нашла в этом сборнике свое яркое отражение. В нем собраны его собственные статьи и речи, а также статьи-воспоминания его чехословацких и советских друзей.

Страстный поборник идей Великого Октября, основатель Общества экономического и культурного сближения с Новой Россией в Праге в 1925 году — таким показан Зденек Неедлы в интересной статье З. Фирлингера, бывшего в годы второй мировой войны послом Чехословакии в СССР.

Активной деятельности Зденека Неедлы, как одного из организаторов всеславянского движения, его страстным выступлениям на всеславянских антифашистских митингах в Москве и участию в создании Чехословацкой воинской части в СССР посвятил свои воспоминания генерал-лейтенант А. С. Гундоров.

На основе большого фактического материала, почерпнутого в различных архивах, построены статьи московских историков В. Д. Королюка и Б. М. Руколь о той большой роли, которую сыграл Зденек Неедлы

в становлении советского славяноведения. Профессор Московского университета, он впервые прочитал здесь несколько курсов и спецкурсов по истории Чехословакии. Вспоминают авторы и о том, каким мудрым наставником советских студентов и аспирантов был Зденек Неедлы. Им было написано большое число научных работ, посвященных историческим связям нашей страны с Чехословакией (например, «Отклики в Чехии на русскую революцию 1905 г.», «Из истории связей советской и чехословацкой литературы» и другие). Зденек Неедлы — автор вышедшей в Чехословакии научной биографии В. И. Ленина.

Анализ научного наследия Зденека Неедлы в области истории и истории культуры славянских народов дан в статьях И. Мадцака, И. Ф. Бэлаза, С. А. Никитина.

В памяти наших народов Зденек Неедлы остался как один из наиболее выразительных символов нерушимой чехословацко-советской дружбы. И авторам удалось ярко показать это.

Ф. Александров.

★

А. ЕФРЕМОВ, Е. ФЕДОРОВСКИЙ. Сто дорог, сто друзей. «Молодая гвардия». М. 1964. 192 стр. Цена 45 к.

На обложке — самолет, паром, оленья упряжка. «Сто дорог...» Любопытный читатель безошибочно определит, что это книга о путешествии. И достаточно раскрыть ее, чтобы сразу же стал ясен маршрут: Москва — Мыс Дежнева — Курильские острова — Сахалин — Приморье — Москва. Что же касается цели путешествия, то и тут авторы не интригуют нас, а сразу же сообщают, что не камни они будут собирать, и не гусениц или других насекомых, и не фотографии на фоне исторических памятников, а были и рассказы бывалых людей. И не всякие были, а лишь определенной темы: «Человек и стихия».

Путешествие увлекает с первых страниц. Мы не столько любуемся красотами дальневосточной природы, сколько восхищаемся мужеством жителей этого сурового края: летчика Владимира Сидоровича Орешина, посадившего самолет на двухсотметровую полосу в лютую пургу; шофера Михаила Косогорова, ведущего бензовоз сквозь горящую тайгу; бригадира Лелича, который в штормовую погоду выводит свой вельбот в океан... Надо ли перечислять всех героев книги? Не лучше ли читателю самому познакомиться с ними, прочитав ее?

Характерная особенность книги: авторы как бы между делом сообщают путешественникам-читателям много интересных сведений исторического, научного, экономического характера (тут и тайна гибели воздухоплателя Андре, и техника лова сайры, и проверка одной из гипотез возникновения раковых опухолей, и проблемы изменения климата...).

Один упрек необходимо, однако, высказать: справедливо заметить, что «Дальний Восток — это не только вулканы, сопки, тиг-

ры, киты, трепанги», но что это также «мартевы Комсомольска-на-Амуре, верфи Хабаровска, доки Владивостока, золотые прииски Колымы, новостройки Амурска, нефтяные вышки Охи, термостанции Камчатки», авторы поспешили на более обстоятельный рассказ о предприятиях и стройках, в районе которых пролегал маршрут их путешествия. А ведь они, несомненно, могли это сделать, не выходя за рамки избранной темы.

Но и то, что рассказано, оставляет большое впечатление. Закрывая книгу, думаешь о далеких просторах Советской страны, о сильных и смелых людях и невольно завидуешь авторам, повывавшим так много интересного.

Б. Исаев.

★

С. САВЧЕНКО. Лотошное. Новосибирское книжное издательство. 1964. 112 стр. Цена 15 к.

Лотошное — это средних размеров село, возникшее около ста лет назад в Сибири, на границе Барабинской и Кулундинской степей. Основали его несколько семей местных старожилов, а потом к ним присоединились многочисленные переселенцы с Украины и из некоторых губерний России.

Лотошане не носили лаптей: летом они предпочитали ходить босиком. А чтобы не кололо подошвы, наиболее изобретательные с весны смазывали их смолой. Износу не было такой «подошве».

Это лишь один маленький штрих. Если к нему добавить десятки других, столь же метко схваченных автором, то перед вами возникнет безрадостная картина жизни одной из дореволюционных сибирских деревень.

Историю Лотошного написал его уроженец старый коммунист Сергей Петрович Савченко. Он не литератор, и книга, в основе которой лежат воспоминания автора, а отчасти рассказы старожилов, далась ему нелегко. Об этом говорит в кратком предисловии писатель С. П. Залыгин. Книга без конца передельвалась и переписывалась. В результате читатель получил достоверный, интересный и взволнованный рассказ о жизни и развитии села, каких много в нашей стране.

«Лотошное» подкупает наблюдательностью автора, грезвой оценкой малых и больших событий, а главное — глубокой любовью к людям, строившим село и оставившим след в его истории. Среди них и простые крестьяне, и сельские просветители, и красные партизаны, и организаторы колхозов.

И вот Лотошное, которое к началу нашего века было сплошь неграмотным, в котором на четыреста пятьдесят дворов до 1917 года едва ли можно было найти пять одеял, ныне стало селом высокой культуры, где люди живут зажиточной жизнью, где земля обрабатывается новейшей сельскохозяйственной техникой. Среди лотошан — более двухсот механизаторов. У жителей села сто шестьдесят мотоциклов.

Новое поколение лотошан, выросшее при советской власти, дало родине ученых, партийных работников, агрономов, врачей, инженеров, хозяйственников, офицеров Советской Армии. Их можно встретить во многих краях нашей страны.

Небольшая книга С. Савченко — достойный вклад в нашу так медленно растущую серию историй фабрик и заводов, сел и городов, к созданию которой страстно призывал писателей М. Горький.

В. Константинов.

★

ЛЕОНИД ГУРУНЦ. Шумит Воротан. Роман. «Советский писатель». 1963. 368 стр.

Прижатый каменными берегами, бурливый и голосистый, бежит по ущелью Воротан. Где-то на его берегах строится межрайонная Большая ГЭС, года через два она zalьет светом весь Зангезур, самую горную часть Армении. А пока... сельский механик «заводит» колхозную электростанцию, и огоньки бегут от дома к дому. Издали они светятся, как звезды, и трудно определить, где кончается гора, где начинается небо. Это и есть Веришен, что значит в переводе — Верхнее село, закинутое под облака.

Веришен, как все зангезурские селения, утвердился на камне, на камне создал себе жизнь, стал знаменит на весь край. Где лучше всего налажено молочное хозяйство? В Веришене. А какие веришенские яблоки! И есть ли где сочнее и слаще ягоды туты, чем в садах Веришена? В этом селе и разворачивается действие нового романа Леонида Гурунца, писателя наблюдательного, зоркого, влюбленного в родимый край, в его трудолюбивых, веселых жителей. Не без гордости, хотя и в шутовском тоне, Л. Гурунц говорит о своих героях: «Веришенцы, как и мои меценцы, — бог ты мой, какое совпадение, — любят вообще пыль пускать людям в глаза, тшатся казаться кем угодно, но только не тем, кем они есть. Если форель, то самая крупная в мире, если конь, то самый быstroногий. Корова? Тоже не уступает ни одной корове в мире».

Вот какие люди живут в Веришене. Мы знакомимся с ними постепенно, вступив в круг интересов веришенцев, и проникаемся к ним чувствами симпатии, интереса, восхищения. Едва перевернув первые страницы романа, мы встречаем председателя колхоза Агабека — он верхом на коне. Хотя в колхозе есть автомашины, — конь в горах самый удобный вид транспорта. А потом знакомимся с Маркосом-кери, бригадиром, и его другом балагуром Мисакой, забавным комментатором колхозных новостей, с разговорчивой тетушкой Сато и с тетушкой Гопар, знаменитой дояркой, мужественно перенесшей лихие житейские невзгоды, вызванные войной.

Но писатель вовсе не всегда настроен лирически и благодушно. Остро, с публицистической страстностью рассказывает он, как в его родном Мещене, в Нагорном Кара-

бахе в свое время предписывалось сеять гваюлу, хотя при всем старании колхозников она не могла там прижиться. И в Верешене была своя беда: колхозу зачли как пашню четыре тысячи гектаров непригодной (скалы, ущелья, горные заросли) земли. Пять лет колхозники оспаривали несправедливость, слыша в ответ: «Нет плохих земель, есть плохие хозяева». Но хозяева в Верешене были не так уж плохи.

Леонид Гурунц правдиво, убедительно показывает в романе различные ситуации, складывающиеся в жизни веришенцев, рисует образы столь натуральные и свежие, что их нельзя не полюбить.

М. Плескачевский.

Баку.

★

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ. Меч в золотых ножнах. «Молодая гвардия». 1964. 224 стр. Цена 47 к.

Удачно издана эта книга — изящная, с обложкой, украшенной восточным орнаментом. Видно, художник-оформитель (А. Добрицын) проникся романтикой научного поиска, участником которого был и сам автор — археолог, поэт и писатель Валентин Берестов. Как прозаик он знаком читателям по повестям «Меня приглашают на Марс» и «Приключений не будет» — о раскопках средневекового хорезмского замка. Новая его повесть «Меч в золотых ножнах» также посвящена труду археологов. О раскопках курганов в Кызылкумской пустыне — памятников культуры саков, среднеазиатских скифов, живших в V веке до нашей эры, — автор рассказывает не только, как говорится, живо и увлекательно, но и с непринужденной легкостью с тонким, без нажима, юмором.

Мы получаем при этом много разнообразных сведений по истории, археологии, этнографии, естествознанию и даже по лингвистике и философии. Не только великанский меч-кладенец, но и самые простые находки — скифские стрелы — обретают свой язык, красноречиво рассказывают об эпохе возникновения классов, государств, цивилизации. Мы узнаем, например, что многие мотивы скифского искусства перешли по наследству в прикладное искусство русского народа; что «собака» — скифское слово; узнаем о нравах, обычаях и кровавых обрядах скифов, бесстрашных воинов, которые не столько боялись погибнуть, сколько остаться непогребенными.

С доброй иронией и большой теплотой представляет нам В. Берестов своих товарищей по экспедиции: скромную, серьезную Светлану Оленич, выпысывающую на листок непонятные слова и слышущую «специалисткой по закатам» в пустыне, влюбленного в романтику странствий студента Бориса Ильина, начальника экспедиции Сергея Павловича Толстова, ученого с мировым именем, не пропускающего ни одной походной песни у костра... Автор подчеркивает как бы

будничность их повседневной работы, которая «таит лучшие награды в себе самой». Но достаточно прочитать, скажем, страницы, рассказывающие о неожиданном появлении из земли великанского меча, чтобы понять, как полна и богата жизнь людей, отдавших себя науке.

Курганы, могильники, кости... Может быть, повесть мрачна? Нет, у Валентина Берестова прошлое всегда связано с настоящим, оно и изучается-то для будущего, для жизни. «Пустыня — земля будущего. Все, наверное, здесь будет новеньким, по последнему слову науки и техники, красивым, светлым, просторным, разумным. А мы преподнесем новоселам здешних мест их тысячелетнюю историю».

К. Бродер.

★

РУДОЛЬФ ИТС. Последний аргиш. Этнографическая повесть. «Мысль». М. 1964. 104 стр. Цена 16 к.

«Последний аргиш»... Аргишем таежные охотники-кетты в низовье Енисея называют идущие след в след олени упряжки. Озаглавив так свою книжку, ее автор — ленинградский этнограф Рудольф Фердинандович Итс — образно передал смысл нынешнего этапа развития маленького народа — кетов.

«Этнограф не искатель необычных приключений, его цель — работа», — говорит о людях своей профессии Р. Ф. Итс. Целью его четырех экспедиций в Туруханский район Красноярского края было воссоздать историю маленького таежного народа, ибо нет народов, даже самых малых, без истории. Она просто еще не написана, хотя давно уже творится ими.

У кетов никогда не было письменности. Никто еще не составлял их истории. Никто пока не знает, откуда они появились в этих местах, хотя и населяют их издавна. А «места» эти по площади равны не одному европейскому государству!

Обреченные в прошлом на вымирание, кетты за годы советской власти пережили подлинное возрождение. Но путь их к новой жизни был сложен и труден. «Здесь многое от нового быта, — пишет автор, — много новых людей... Но здесь же рядом с настоящим и будущим есть что-то от прошлого». Еще до самого недавнего времени шаманы «сосуществовали» здесь с авиацией и радио, чумы — с современными домами; до сих пор еще многие кетты живут во власти шаманских суеверий, хотя регулярно смотрят кинофильмы. Как олицетворение этого сложного пути народа встают перед нами судьбы охотников Чуя и Дагая.

В своем документальном повествовании — а «Последний аргиш» это, конечно, не повесть (пусть даже с несколько странным прибавлением «этнографическая»), — Р. Ф. Итс с большой теплотой и — что особенно ценно — с большим знанием бытового и «человеческого» материала, умело вплетая

народные предания и легенды то устами кета Дагая, то от своего имени, рассказывает нам о жизни самобытного народа охотников.

Л. Лерер.

★

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Рассказы молодых прозаиков. Центрально-Черноземное государственное книжное издательство. Воронеж. 1964. 175 стр. Цена 27 к.

Приятен сам по себе факт издания такого сборника. Воронежская писательская организация была всегда одна из самых сильных и многочисленных в Союзе, и отродно видеть, что забота о росте писательских сил в Воронеже выражается таким конкретным образом, как издание сборников молодых. К сожалению, это не так часто делается даже в Москве и Ленинграде — в Ленинграде, например, уже два года все никак не выйдет очередной выпуск альманаха «Молодой Ленинград».

Рассказы, напечатанные в «Дне рождения», неравноценны и в целом не представляют собою какого-то значительного литературного явления, тем не менее то, что они изданы, — справедливо, ибо не всегда полезно откладывать печатание произведений молодого писателя в ожидании шедевра.

В сборнике представлены восемь молодых прозаиков. Е. Дубровин пишет о студентах, И. Китов тяготеет к «морской теме», Ю. Воишев и Р. Харитонов напечатали рассказы о детях, Н. Чаплыгин, С. Матонин, Е. Мистюков — о деревне, Я. Кравченко — о молодых хирургах. Порою несколько наивно и назидательно, но вполне искренне каждый из авторов сборника стремится показать своих героев в борьбе за чистоту человеческих отношений людьми горячими, честными, целеустремленными. Естественно, что почти все герои рассказов — люди молодые, наши современники.

Если рассказы Е. Дубровина и Н. Чаплыгина отличаются скорее журналистской бойкостью, чем подлинной художественной глубиной, то вещи И. Китова и Я. Кравченко уже по-настоящему профессиональны. «Морской закон» И. Китова, где рассказано о том, как паренек Гешка Степанов осваивает морскую науку на рыболовном сейнере, и «Пинцет» Я. Кравченко, в котором даны характеры двух молодых хирургов с их разным отношением к работе и людям, — лучшие рассказы в «Дне рождения».

М. Рошин.

★

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ. Лирика. Перевод с чешского. «Художественная литература». М. 1964. 168 стр. Цена 25 к.

В одном из своих стихотворений, которое вошло в сборник «Стекланный плащ», Витезслав Незвал писал:

...та поэзия, которую люблю я,
идет от букваря.
Когда я счастлив, речь моя проста.

Эпоха, в которую жил Незвал — первые его стихи появились в начале двадцатых годов, а умер он в 1958 году, — была плохо приспособлена для счастья. Выли сирены, рвались снаряды, падали бомбы, горели деревни и города, дымили газовые камеры. Незвал был не из числа тех, кто может отделиться от горя своей страны и своего народа в маленьком мирке личного благополучия. В этом — больше, чем в сюрреалистической поэтике, приверженцем которой в ранние годы был Незвал, — кроется причина того, что речь его не всегда была простой.

Незвал писал стихи простые и сложные, прозрачные и затрудненные. Но и у тех и других есть нечто общее — удивительная искренность.

Книга лирики Витезслава Незвала, вышедшая в издательстве «Художественная литература», невелика по объему. Она, разумеется, не исчерпывает полностью всего лирического наследия поэта. Ее составитель Н. Николаева отобрала стихотворения из разных поэтических сборников Незвала. Это позволяет представить русскому читателю лирику Незвала и одновременно показать поэта в развитии.

«Путь его, — пишет автор предисловия к этой книге Д. Самойлов, — был сложен и противоречив. Но и в противоречиях он поэт цельный. Всегда в поэзии его был стержень — приятие жизни, мужественная нежность, вера в «неизбежность счастья»... Без Незвала — одного из крупнейших лириков XX века — была бы беднее поэзия нашего времени».

И поэтому испытываешь чувство признательности к поэтам (среди которых — Н. Асеев, Б. Ахмадулина, А. Ахматова, Е. Винокуров, В. Корнилов, М. Кудинов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий), благодаря чьим переводам лирическая поэзия Незвала стала достоянием русского читателя.

Л. Левицкий.

★

ЯРОСЛАВ ГАШЕК. Крестный ход. Атенстические сатиры и юморески. Политиздат. М. 1964. 296 стр. Цена 61 к.

Книжная полка многочисленных поклонников творчества Гашека пополнилась еще одной книгой его юмористических рассказов и юморесок. Значительная их часть впервые представлена в русском переводе.

Так как рассказы расположены в хронологической последовательности, легко проследить, как мягкий, беззлобный юмор уступает у Гашека место беспощадной сатире. Если в первой юмореске сборника «Вино лесов, вино земляничное» главный герой, старенький фарарж из Тарновского края, изображен как человек, влюбленный в красоты природы и безразлично относящийся к своим обязанностям священника, то уже в последующих юморесках («В деревне у реки Рабы...»), «Монастырь в Бецкове») отчетливо слышится протест против тяжелой жизни бедняков и политики церкви поддерживающей социальный гнет.

Едко высмеивает писатель пороки католической церкви: лицемерие, разврат, жадность («Как черти ограбили монастырь святого Томаша», «Хвала богу», «Нравоучительный рассказ»). В рассказах «Святые и животные», «Животные и чудеса» (впервые переведены) Гашек пародирует жития святых. В ответ на горячие молитвы святого отшельника муравьи спасают ему жизнь и побеждают волков, а ручной змей спасает в пустыне святого Серапиона от голодной смерти своим молоком.

Многочисленные фельетоны Гашека, написанные им в пору службы в Красной Армии и опубликованные по-русски во фронтовых газетах, представлены лишь двумя: «Трагедия одного попа» и «Дневник попа Малюты». В обоих фельетонах автор разоблачает контрреволюционную сущность «Священного белого воинства» — защитников кровавого режима Колчака.

Последний период творчества Гашека представлен в рецензируемом сборнике широко известной сатирой на религиозный фанатизм — «Уши святого Мартина Ильдефонского» и впервые публикуемым в русском переводе веселым рассказом «Крестный ход». В последнем Гашек, опираясь на подлинные факты работы военной комендантуры Бугульмы в 1918 году, где он был комендантом, рассказывает, как монашки стали работать на советскую власть.

Новый сборник дает довольно цельное представление об антирелигиозной сатире Гашека. Много полезного может почерпнуть читатель из послесловия С. Востоковой. Сборник интересно иллюстрирован художником Е. Ведерниковым.

Ф. Молок.

★

Ю. ХАЗАНОВ. Как я ездил в командировку. Рассказы. «Детская литература». М. 1964. 157 стр. Цена 33 к.

Когда хвалят детские книги, то обязательно говорят о том, что читать их интересно и взрослым. Книжку «Как я ездил в командировку» взрослым читать, пожалуй, интереснее, чем детям младшего школьного возраста, которым ее адресует издательство. Дети

вряд ли в полной мере оценят ее юмор, имеющий больше отношения к быту и взаимоотношениям взрослых, меткие, коротенькие характеристики («Завуч посмотрела на всех и сказала: «Во время перемены нужно ходить по коридору, а не стоять на месте»), отдельные иронические замечания. Некоторые детали нашего быта, включенные в простодушно-серьезную детскую речь, обнаруживают свою комическую сторону, которую мы, взрослые, часто уже не замечаем.

События жизни ребенка предстают в книжке Ю. Хазанова так, что мы видим и их истинный масштаб, и их особое детское восприятие. А бывает и так, что жизнь ставит перед ребенком проблемы, которые имеют ничуть не меньшее значение и для взрослого — умение разбираться в окружающих, устанавливать с ними правильные отношения, уважать дела и права других людей.

Некоторые эпизоды из жизни маленького героя книги — четырехклассника Сани Данилова по-своему драматичны. Ему, например, пришлось пережить разочарование в товарище — с этим и взрослому, закаленному человеку бывает нелегко справиться. А каково же пришлось малышу, который всей душой привязался к однокласснику, увлеченный его изобретательностью в играх, храбростью и широтой интересов, и все же вынужден был расстаться с этим товарищем, потому что все его прекрасные качества сочетались со злобностью и бестактностью.

Нелегко пришлось Сане и тогда, когда он в пионерском лагере потерял свой галстук и не отважился сразу рассказать об этом. И лишь комизм положений, в которые попадает ребенок, неумело прибегающий к малым хитростям, чтобы скрыть свой проступок, смягчает драматизм этого эпизода.

Жизнь маленького человека в рассказах Ю. Хазанова так насыщена всякими делами и хлопотами, что невольно задумываешься: кому это пришло в голову утверждать, что детство — пора бездумья и беззаботности?

«Как я ездил в командировку» — первая книга Ю. Хазанова, до этого работавшего переводчиком, и книга удачная

М. Блинова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 18—21 июня 1963 года. Стенографический отчет. 320 стр. Цена 64 к.

Письмо Центрального Комитета КПСС ЦК Компартии Китая от 15 июня 1964 года. 32 стр. Цена 2 к.

Н. С. Хрущев. О мерах по выполнению Программы КПСС в области повышения благосостояния народа. Доклад и заключительное слово на сессии Верховного Совета СССР 13 и 15 июля 1964 года. 80 стр. Цена 9 к.

Маршрут мира. Визит Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в Данию, Швецию и Норвегию 16 июня—4 июля 1964 г. (Сборник материалов). 295 стр. Цена 31 к.

О. Донченко. Лукия. Антирелигиозная повесть. 208 стр. Цена 30 к.

А. Иванский. Молодой Ленин. Повесть в документах и мемуарах. 760 стр. Цена 1 р. 31 к.

Краткий словарь по эстетике. 544 стр. Цена 60 к.

Е. Кригер. Родословная доблести. Очерки. 152 стр. Цена 18 к.

Д. Крук, Д. Чертков. От чего зависит уровень жизни трудящихся в СССР. 80 стр. Цена 10 к.

Н. Кулаков. Город морской славы. О героической обороне Севастополя. 1941—1942 гг. 80 стр. Цена 9 к.

А. Ложечко. Климент Тимирязев. 72 стр. Цена 9 к.

Ф. Лукинский. Спор, так спор! (О работе с верующими). 104 стр. Цена 10 к.

Г. Марчик. Идеальная убежденность. Заметки журналиста. 54 стр. Цена 6 к.

Н. Масолов. Дновская быль. 88 стр. Цена 10 к.

Г. Набатов. Юные подпольщики. 144 стр. Цена 16 к.

Наше единство нерушимо. Пребывание Первого секретаря Центрального Комитета Социалистической единой партии Германии, Председателя Государственного совета ГДР товарища В. Ульбрихта в СССР 29 мая—13 июня 1964 года. 208 стр. Цена 23 к.

Справочник партийного работника. Выпуск пятый. 448 стр. Цена 79 к.

Страны Ближнего и Среднего Востока. Краткий политико-экономический справочник. 208 стр. Цена 43 к.

М. Твен. Письма с Земли. 320 стр. Цена 68 к.

М. Твен. Размышления о религии. 48 стр. Цена 5 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Четвертая сессия (13—15 июля 1964 г.). Стенографический отчет. 424 стр. Цена 80 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Законы РСФСР и Постановления Верховного Совета РСФСР, принятые на третьей сессии Верховного Совета РСФСР шестого созыва (10—11 июня 1964 г.). 368 стр. Цена 53 к.

В книгу включены также Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР.

«МЫСЛЬ»

В. Вольский. Латинская Америка, нефть и независимость. 364 стр. Цена 1 р. 35 к.

Б. Двоснин, И. Сидоров. Целинный край. 150 стр. Цена 24 к.

Г. Козлов. Действие закона стоимости в условиях современного капитализма. 399 стр. Цена 1 р. 46 к.

А. Кононов. Бухгалтерский учет и отчетность промышленных предприятий. 72 стр. Цена 15 к.

В. Морозов. Разоружение и проблема капиталистического рынка. 254 стр. Цена 92 к.

Новая история (1640—1789). Том I. 567 стр. Цена 1 р.

О воспитательной роли литературы и искусства (Образ нашего современника). Сборник статей. 243 стр. Цена 93 к.

И. Обломская. Материальная заинтересованность — экономическая категория социализма. 93 стр. Цена 20 к.

Н. Орлов и др. Специализация и кооперирование в промышленности СССР. 225 стр. Цена 83 к.

В. Понизовский. Алая жемчужина Антил. 80 стр. Цена 21 к.

К. Попов. Япония. 640 стр. Цена 1 р. 92 к.

Л. Прибытковский, П. Фридман. Сьерра-Леоне. 175 стр. Цена 27 к.

М. Рындина. Критика основных направлений современной буржуазной политической экономии. 186 стр. Цена 20 к.

А. Сидоров. Верховный орган КПСС. 152 стр. Цена 19 к.

В. Туркин. Сквозь джунгли Непала. 206 стр. Цена 32 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Абалкин. В поисках прекрасного. Книга о далеких и близких путешествиях. 236 стр. Цена 35 к.

Р. Бершадский. Из разных книг. 759 стр. Цена 1 р. 24 к.

К. Бобулов. Девушка с юга. Повесть и рассказы. Перевод с киргизского. 175 стр. Цена 31 к.

Я. Гримайло. Подробности письмом. Повесть. Перевод с украинского. 162 стр. Цена 25 к.

Л. Гумилевский. С Востока свет! Избранное. 435 стр. Цена 83 к.

П. Лунницкий. Ленинград действует.. (Фронтовой дневник). Кн. 2. 727 стр. Цена 1 р. 16 к.

С. Маршак. Воспитание словом. Статьи, заметки, воспоминания. 584 стр. Цена 1 р. 24 к.

А. Передреев. Судьба. Книга стихов. 61 стр. Цена 7 к.

Сквозь время. Стихи поэтов П. Когана, М. Кульчицкого, Н. Майорова, Н. Отрады и воспоминания о них. Предисловие И. Эренбургера. 214 стр. Цена 43 к.

Ю. Смуул. Японское море, декабрь. Очерк. Перевод с эстонского. 197 стр. Цена 23 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Артамонов. Франсуа Рабле. 152 стр. Цена 19 к.

Ян Бжехва. Пора созревания. Роман. Перевод с польского. 372 стр. Цена 1 р. 16 к.

З. Згуришка. Бичанка из долины. Роман. Перевод со словацкого. 303 стр. Цена 57 к.

М. Комиссарова. Стихотворения. Поэма. 188 стр. Цена 42 к.

Ф. Мора. Золотой саркофаг. Роман. Перевод с венгерского. 456 стр. Цена 86 к.

С. Ранкович. Лесной царь. Сельская учительница. Разрушенные идеалы. Романы. Перевод с сербохорватского. 520 стр. Цена 92 к.

Саньютэй Энте. Пионовый фонарь. Повесть. Перевод с японского. 239 стр. Цена 28 к.

Т. Тильвитис. Стихи. Перевод с литовского. 184 стр. Цена 36 к.

Б. Четвериков. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 83 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Х. Ашинов. Сердечный перекресток. Повести и рассказы. Перевод с адыгейского. 303 стр. Цена 45 к.

К. Бадигин. На затонувшем корабле. Роман. 464 стр. Цена 80 к.

Р. Вернер. Ольга Венарио. История отважной жизни. Перевод с немецкого. 383 стр. Цена 91 к.

А. Вознесенский. Антимирь. Избранная лирика. 224 стр. Цена 44 к.

М. Герман. Давид. 302 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 65 к.

Ю. Гончаров. Костер над обрывом. Повести и рассказы. 318 стр. Цена 61 к.

Е. Гуляковский. Высокий ключ. Повести и рассказы. 176 стр. Цена 19 к.

Л. Корнюшин. Холодное лето. Повесть и рассказы. 224 стр. Цена 48 к.

И. Кунин. Римский-Корсаков. 240 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 54 к.

Д. Полеску. Белый дождь. Повесть и рассказы. Перевод с румынского. 304 стр. Цена 74 к.

В. Ревунов. Не одна во поле дороженька. Повести. 368 стр. Цена 69 к.

Р. Рождественский. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

Л. Розанова. Процент голубого неба. Рассказы. 224 стр. Цена 26 к.

Романтика дальних дорог. Сборник рассказов о кинопутешествиях. 208 стр. Цена 49 к.

Б. Ручьев. Магнит-гора. Поэмы и стихи. 223 стр. Цена 40 к.

Е. Рябчиков. Засада на черной тропе. Повесть. 159 стр. Цена 17 к.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Далекая радуга. Фантастические повести. 336 стр. Цена 65 к.

А. Турнов. Салтыков-Щедрин. 368 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 73 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Варшавский. Все, что выше материка. 192 стр. Цена 61 к.

А. Вересов. Конец «Русской Бастилии». 416 стр. Цена 92 к.

Л. Воронкова. Где твой дом? Повесть. 192 стр. Цена 39 к.

Ю. Гаецкий. Ранние метели. Повесть о Тургенева 208 стр. Цена 42 к.

Л. Корвин. Сокровища Красной башни. Роман. Перевод с венгерского. 176 стр. Цена 40 к.

В. Мухина-Петринская. Плато доктора Черкасова. Роман. 176 стр. Цена 40 к.

Э. Петри Пароль «Свобода!». Повесть. Перевод с английского. 192 стр. Цена 34 к.

Л. Ренн. На развалинах империи. Роман. Перевод с немецкого. 304 стр. Цена 76 к.

А. Рябоняч. Твой друг — газета. Перевод с украинского. 176 стр. Цена 34 к.

«МУЗЫКА»

В. Александрова, Е. Бронфин. Ян Сибелиус. Очерк жизни и творчества. 152 стр. Цена 48 к.

М. Друскин. Зарубежная музыкальная культура второй половины XIX в. 100 стр. Цена 22 к.

М. Сокольский. Слушая время... Избранные статьи о музыке. 371 стр. Цена 1 р. 6 к.

Б. Штейнпресс. Популярный очерк истории музыки до XIX в. 448 стр. Цена 1 р. 49 к.

«НАУКА»

Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке. XVII—XVIII вв. 137 стр. Цена 5 р.

В. Блаватский. Пантикапей. 232 стр. Цена 1 р.

Вопросы химизации животноводства. Применение биологически активных препаратов. Сборник работ. 300 стр. Цена 1 р. 52 к.

Е. Громов. О районах повышения эффективности общественного производства. 119 стр. Цена 38 к.

Из истории ракетной техники. 256 стр. Цена 1 р. 24 к.

И. Ильинская. О богатстве русского языка. 72 стр. Цена 11 к.

Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. 320 стр. Цена 1 р. 58 к.

В. Канивец. Канинская пещера. 136 стр. Цена 51 к.

Карст и его народнохозяйственное значение. 196 стр. Цена 1 р. 28 к.

В. Келдыш. Проблемы дооктябрьской пролетарской литературы. Горький и русская революционная поэзия. 239 стр. Цена 50 к.

Д. Крайнов. Памятники фатьяновской культуры. Ярославско-калининская группа. 70 стр. Цена 1 р. 35 к.

Краткая история СССР. В 2-х частях. Часть II. От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней. 632 стр. Цена 2 р.

Литературное наследство. Т. 73, кн. 2. Из Парижского архива И. С. Тургенева. Из неизданной переписки. 505 стр. Цена 2 р. 50 к.

М. Марков. Нейтрино. 164 стр. Цена 40 к.
Маяковский и советская литература. Статьи, публикации, материалы и сообщения. 424 стр. Цена 1 р. 41 к.

А. Меньшутин, А. Синяевский. Поэзия первых лет революции. 1917—1920 гг. 442 стр. Цена 1 р. 29 к.

Нравственность и религия. Сборник статей. 216 стр. Цена 65 к.

Освободительное движение в Латинской Америке. 427 стр. Цена 1 р. 51 к.

И. Остапенко. Участие рабочего класса СССР в управлении производством. 208 стр. Цена 66 к.

В. Писарев. Монгольская Народная Республика на пути к завершению строительства социализма. 160 стр. Цена 50 к.

Применение математики при размещении производительных сил. 136 стр. Цена 38 к.

А. Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско. 288 стр. Цена 90 к.

Против фальсификации истории второй мировой войны. 399 стр. Цена 1 р. 76 к.

Н. Прошин. Саудовская Аравия. Историко-экономический очерк. 304 стр. Цена 95 к.

В. Расторгуева. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. 188 стр. Цена 1 р 5 к.

А. Силин. Преступление империализма — трагедия народов. Очерки войны 1914—1918 гг. 160 стр. Цена 24 к.

Советы и союз рабочего класса и крестьянства в Октябрьской революции. Сборник статей 228 стр. Цена 72 к.

Современное искусствознание за рубежом. Очерки. 302 стр. Цена 2 р. 65 к.

Сравнительные технико-экономические показатели по добыче и транспорту топлива по районам СССР. 86 стр. Цена 29 к.

Топливные элементы. Некоторые вопросы теории. 140 стр. Цена 53 к.

Трансформационный метод в структурной лингвистике. 183 стр. Цена 64 к.

У. Франкфурт, А. Френн. Джозайя Виллард Гиббс. 280 стр. Цена 85 к.

М. Френкель. США и Либерия. Негритянская проблема в США и образование Республики Либерия. 324 стр. Цена 1 р.

К. Цертели. Современный ассирийский язык. 103 стр. Цена 30 к.

В. Шелест и др. Проблемы развития и размещения электроэнергетики в Средней Азии. 192 стр. Цена 60 к.

Р. Юсуфов. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в. 270 стр. Цена 88 к.

Б. Ярустовский. Музыка нового мира. 64 стр. Цена 10 к.

БУРЯТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (УЛАН-УДЭ)

Ц. Галанов. Сын отца. Повести и рассказы. Перевод с бурятского. 164 стр. Цена 24 к.

Ц. Хамаев. Перед полетом. Повесть. Перевод с бурятского. 124 стр. Цена 19 к.

ЯКУТКНИГОИЗДАТ

Поиск продолжается. Стихи и очерки писателей Якутии 131 стр. Цена 23 к.

А. Федоров. Я не забуду тебя, Уренча. Рассказы. Перевод с якутского. 139 стр. Цена 29 к.

Якутская советская литература и искусство. Сборник статей. 259 стр. Цена 60 к.



ОТ РЕДАКЦИИ

Не так давно Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР начал прием работ на соискание премий за 1964 год. Рассмотрев и обсудив наиболее заметные произведения, появившиеся в нынешнем литературном году, редакция журнала «Новый мир» приняла следующее решение:

1. Выдвинуть на соискание Ленинской премии А. А. Кулешова за сборник стихов «Новая книга».

Имя Аркадия Кулешова, выдающегося белорусского поэта, широко известно не только в его родной республике, но и во всем Советском Союзе. Это один из самых талантливых представителей поколения, выступившего еще при жизни Янки Купалы и Якуба Коласа. Всеобщее признание А. Кулешову принесла поэма «Знамя бригады», написанная им в суровые годы войны. Переведенная на русский язык М. Исаковским, поэма была отмечена в свое время Государственной премией. В послевоенные годы А. Кулешов выпустил в свет ряд новых поэм и сборников стихотворений, вершиной которых по праву может считаться его «Новая книга», уже получившая высокую оценку в печати. Глубина идейного жизнеутверждающего содержания в сочетании со зрелостью мастерства поэтической формы позволяет видеть в «Новой книге» одно из ярких свидетельств большого подъема советской поэзии в последние годы. «Новая книга» несет в себе, при всем разнообразии ее мотивов, подлинное душевное здоровье, ясность взгляда на жизнь, веру в осуществление заветных стремлений родного народа и всего человечества. Сегодняшнее самосознание советского человека, обнимающее широчайшие горизонты современного мира, находит в «Новой книге» своеобычное, присущее поэзии А. Кулешова сосредоточенное и серьезное лирическое выражение.

2. Выдвинуть на соискание Ленинской премии С. П. Залыгина за повесть «На Иртыше».

Повесть С. Залыгина «На Иртыше» представляется нам одним из самых значительных литературных произведений последнего времени. Сразу же после опубликования на страницах журнала «Новый мир» повесть вызвала живейший интерес читателей и литературной общественности. Число печатных откликов на повесть очень велико. Критика единодушна в ее оценке: «Автор талантливых рассказов и хорошего романа на этот раз словно на две головы вырос... Самобытность и цельность его работы, ее поэзия и драматизм со всей несомненностью поднимают «На Иртыше» до уровня лучших образцов советской художественной прозы».

В своей повести С. Залыгин вновь возвращается к теме коллективизации. Однако этот возврат в прошлое отнюдь не равнозначен повторению чего-либо ранее известного. С. Залыгин нашел новые краски, новые образы, свой угол зрения в изображении событий, уже ставших историческими. и это делает его повесть произведением глубоко современным, новаторским в лучшем смысле этого слова.

Произведение, в котором правдиво и ярко раскрываются пагубные извращения, привнесенные в дело коллективизации во время культа личности, произведение, проникнутое духом гуманизма, утверждения человеческого достоинства, могло появиться лишь в наши дни, лишь после исторических решений XX и XXII съездов партии.

Повесть «На Иртыше» написана выразительно и ярко, исполнена поэзии и драматизма. Похвалы заслуживает язык повести — богатый и самобытный.

3. Редакция представляет также на соискание Ленинской премии в области журналистики и публицистики С. С. Смирнова за книгу «Брестская крепость».

Большая работа С. С. Смирнова «Брестская крепость» привлекла внимание миллионов советских читателей задолго до того, когда она вышла в 1964 году в полном объеме. Публикуя отдельные главы из этой работы, писатель познакомил нас с ярчайшей страницей истории Великой Отечественной войны. Сейчас мы не можем представить историю войны без этой страницы, а между тем десять лет назад мы не имели о ней никакого представления. Честь первооткрытия здесь целиком принадлежит С. С. Смирнову. Проявив незаурядную энергию, он в течение десяти лет собирал материалы о героической обороне Брестской крепости. В процессе этой напряженной работы С. С. Смирнову удалось прояснить многие темные места истории обороны. Благодаря ему неизвестные герои стали известными всему народу, а в ряде случаев была восстановлена и их гражданская честь. Без всякого преувеличения эта благородная работа не имеет прецедента в нашей литературе.

Итогом долгих поисков писателя явилась его книга «Брестская крепость» — строго документальное военно-историческое исследование обороны крепости, сочетаемое с изображением судеб ее защитников. Знание всех обстоятельств жизни героев позволяет ему продолжить их судьбы до наших дней, в результате чего книга выходит далеко за пределы героического эпизода первых дней войны.

Редакция журнала «Новый мир» полагает, что «Новая книга» А. Кулешова, повесть С. Залыгина «На Иртыше» и «Брестская крепость» С. С. Смирнова — значительные явления в нашей литературе и достойны присуждения Ленинской премии.

Редакция приглашает читателей принять участие в обсуждении этих кандидатур. Свои отзывы о представленных нами произведениях можно направлять как в журнал, так и непосредственно в адрес Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР (г. Москва, Неглинная ул., д. 15).

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ГРОССМАН

Этот номер «Нового мира» уже был готов к выходу в свет, когда пришла печальная весть о кончине замечательного русского советского писателя Василия Семеновича Гроссмана. Он в течение многих лет являлся одним из ближайших сотрудников нашего журнала. На страницах «Нового мира» были опубликованы многие произведения Василия Семеновича, в том числе первая книга его романа «За правое дело», над которым автор продолжал работать до последних дней своей жизни. Редакция и редколлегия «Нового мира» вместе с читателями и литературной общественностью скорбят об этой безвременной тяжелой утрате советской литературы.

Редакция журнала „Новый мир“

Умер Василий Семенович Гроссман — известный советский писатель, член правления Союза писателей СССР.

В. С. Гроссман родился в 1905 году на Украине. В 1929 году окончил физико-математический факультет Московского университета. Несколько лет работал инженером по технике безопасности. Начал заниматься литературным трудом в 1934 году.

Первое крупное произведение писателя — роман «Глюкауф», посвященный жизни послереволюционного Донбасса, — привлекло внимание литературной общественности и читателей.

С 1936 по 1940 год В. С. Гроссман работал над романом «Степан Кольчугин», в котором талантливо воспроизвел героическую борьбу русского пролетариата в предреволюционные годы.

В годы Великой Отечественной войны В. С. Гроссман был корреспондентом газеты «Красная звезда». В это время писатель создал много очерков, рассказов и широко известную советскому читателю повесть «Народ бессмертен», посвященную героическим подвигам советских людей на войне.

В послевоенные годы В. С. Гроссман работал над романом «За правое дело», первая часть которого была опубликована в 1952 году.

В. С. Гроссман награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями Советского Союза.

Борясь с тяжелым недугом, Василий Семенович до конца дней своих продолжал заниматься творческой работой. Лучшие произведения писателя сохранятся в памяти советского читателя.

*Правление Союза писателей СССР
Правление Союза писателей РСФСР
Правление Московского отделения
Союза писателей РСФСР*

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Закс (ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора), В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 5-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 12/VIII 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/IX 1964 г.
А 08420. Формат бумаги 70×108^{1/2} мм. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
Зак. 1805. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636